



ЕВГЕНИЙ НОСОВ





**К 80-летию
Евгения Ивановича Носова**

Е.И.НОСОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



Москва · Русский путь · 2005

Е.И.НОСОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том первый



На рыбацкой тропе

•

Снега над Россией

•

Смотри и радуйся...

•

В ожидании праздника

•

Гармония стиля

Москва · Русский путь · 2005

**ББК 84 Р2
Н 84**

**Издание осуществлено при финансовой поддержке
Администрации Курской области**

**Составитель Е.Д. Спасская
Примечания Т.А. Соколовой, Е.Д. Спасской и В.В. Васильева**

**В оформлении издания использованы репродукции
живописных работ, рисунков и фотопейзажей Е.И. Носова**

Носов Е.И.
Н 84 **Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1: На рыбацкой тропе: Рассказы о природе. Снега над Россией: Из ранней прозы. Смотри и радуйся...: Миниатюры. В ожидании праздника: Стихотворения. Гармония стиля: Очерки, выступления, интервью / Сост. Е.Д. Спасская; предисл. В.Я. Курбатова; примеч. Т.А. Соколовой, Е.Д. Спасской и В.В. Васильева. — М.: Русский путь, 2005. — 416 с., ил.**

ISBN 5-85887-187-9

ISBN 5-85887-209-3

В настоящее издание включены практически все произведения известного русского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР и других литературных премий (в том числе премии А.И. Солженицына), кавалера многих орденов и медалей, Героя Социалистического Труда, члена Академии российской словесности Евгения Ивановича Носова (1925–2002), написанные с 1948-го по 2002 г.

Произведения распределены по тематическому принципу. В том 1 вошли рассказы о природе, рыбалке, а также ранние произведения о жизни города, его социально-нравственных проблемах, миниатюры, стихи, публицистические материалы.

ББК 84 Р2

© Е.И. Носов, наследники, 2005
© В.Я. Курбатов, предисловие, 2005
© Е.Д. Спасская, составление, примечания, 2005
© Т.А. Соколова, В.В. Васильев, примечания, 2005
© П.П. Кривцов, фотографии, 2005
© Русский путь, 2005

«КАК ВСЕ...»

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне...

И.А. Бунин

Мы долго смущались и корили друг друга, что Евгений Иванович Носов ушел неслышно, что радио и телевидение промолчали о смерти художника, а сами мы не спохватились. Ну, и не себя, конечно, только корили а и их, кто и знал, да нарочито перемолчал. И сторяча противопоставляли В.П. Астафьеву, ушедшему на полгода раньше, что вот о том говорили, а об этом — нет, что и тут политика-матушка.

А только тот, кто читал Евгения Ивановича и Виктора Петровича как следует и не один год, рано или поздно догадывались, что политика политикой, а только судьба, которая настолько выше политики, что, кажется, и не подозревает о ее существовании, поступила тут с Господней ясностью и справедливостью. Астафьев и Носов были близкими и дорогими сердцу друг друга людьми, и биографии их были похожи деревенским происхождением, войной, тяжестью ранений, немислимой послевоенной жизнью, районными редакциями и даже Высшими литературными курсами в одно время, словно они «списывали» эти биографии друг у друга. А только художественная их судьба, устремление дара, вектор жизни были различны. И чем далее, тем более. Виктор Петрович всегда жил наружу, и мы как-то больше слышали его, словно голос был громче и душа подвижнее. Он любил и умел быть на виду в слове, мысли, поступке, потому что жил громко и прямо. Даже немного с вызовом, что, верно, шло от детдомовского незаживающего детства, которое, говорят, не оставляет человека до последних лет. А Евгений Иванович всегда и рядом, но словно в «тенечке», «в серединке», словно немного стесняясь, оставляя побольше места другим и тем выкраивая лишний час для счастливой, нешумной, но всегда спасительно полной работы.

Я вначале печалился, что не знал его, хотя он часто мелькал в нашей переписке с А.П. Соболевым и В.П. Астафьевым, как-то незримо присутствовал. И поводы к знакомству были, а вот как-то не сошлось.

Я был моложе поколением, но внутренней разницы не чувствовал сейчас, пересматривая ранние фотографии Евгения Ивановича — первые деревенские, послевоенные, редакционные. — только улыбаюсь:

их можно перемешать в альбоме с моими, не сразу отыщешь разницу. Не знаю, писал ли кто об этом, или я сам такой умный, догадался, что война уравнила поколения отцов и детей. Уравнила бытом. Мы донашивали отцовы пиджаки, доделывали отцову работу, допевали их песни, докуривали их сигареты и досматривали их фильмы. Война оказалась страшным бытовым прочерком, остановкой времени. И когда они вернулись с войны, а мы поокрепли и после первых лет тоже как-то уравнивающего нас послевоенного голода стали понемногу втягиваться в мирный ритм и мирное дело, оказалось, что в редкий час покоя мы так же поем «Землянку» и «Катюшу», танцуем «рю-риту» и любим запрещенного Козина. А в молодежных газетах одинаково чуть-чуть фрондируем перед партийными газетами и учимся побеждать прямоотой, искренностью и чистотой стиля. Ведь они — дети последних призывов — вернулись с войны, когда им было по двадцать с небольшим.

Я не знаю, надо ли подробно писать биографию Евгения Ивановича. Он и тут с Виктором Петровичем родня и тоже ничего в своей прозе не скрывает. И даже имя свое часто не будет менять, так что, прочитав, скажем, «Краски родной земли», ты увидишь, как, вспоминая детство, он с дионисиевской бережностью перебирает бедные неисчерпаемые краски того курского угла, в котором Господь сподобил его родиться и, отвоевав, потом прожить всю жизнь. И будут там «бессловесные речушки», «нагретые угорья» и «раскатистые грома», и «солнцеструйные ливни», и «отяжелевшие сады» — родное подстепье, — милая материнская земля. А переедет мальчик в город, и тут ты тоже сразу узнаешь, чем он жил в бедном рабочем Курске на Гужевой улице, по одному имени которой догадаешься, что до автомобильной поры было еще далеко, так что и директор завода ездил на завод на лошади. Что это не картинная деталь, он подтвердит и в более поздней повести «Не имей десять рублей...», чтобы мы лучше чувствовали плотную правду его прозы и его жизни в поколении.

Да и чем тут удивишь старшее поколение, когда и на моем Урале было в точности так, и когда бы Виктор Петрович, тоже живший тогда в Чусовом, меньше сердился на неприветливый к нему после войны город, то он описал бы те же бульжные мостовые и тех же воробьев в конском навозе. Не вышло у Виктора Петровича сразу вернуться в родную Сибирь, и он затосковал и сбил голос. А попади, как Евгений Иванович, сразу в родные края, то и голод был бы милосерднее, и город — роднее. В беде надо за малую милую родину хвататься. Она не подведет. Довоенный Курск детской поры был для Носова тем же, чем Овсянка для Виктора Петровича — кажется, один свет и счастье. И игры те же, и счастье — то же. И даже музыка та же. Витька в Овсянке слышит на окраине скрипку Васи Поляка, которая разрывает сердце мальчика, и он только потом узнает, что ссыльный поляк играл тог-

да «Полонез Огинского». А Женька с ребятами своего двора — слушает Бог весть где найденный чуть живой сломанный приемник, накрывшись старым тряпьем, чтобы отгородиться от уличного шума и заслонить чуть пробивающийся звук, и навсегда запомнит мелодию и спустя годы узнает, что слышал Первую симфонию Калининкова.

Эта сладостная музыка нищеты, эти похищенные у жизни гармонии потом будут беречься в душе как настоящие сокровища и строить душу вернее и тоньше, чем строится она у перекормленных лучшей музыкой толстых душой столичных баловней.

Они жили бедно, голодно, но они были дети и потому были счастливы. И этим счастьем устояли и потом победили в войне, победили любовью, как это ни покажется странным решительным милитаристам. И после войны они, специально не думая об этом да и сейчас, поди, улыбнутся этой моей мысли, первое что сделали — отблагодарили пору светлейшими книгами и сами, наверно, диву дадутся, как милосердная жизнь укрыла их от черной тучи простиравшихся над страной мрачных тридцатых, когда они выросли. Будто история прошла стороной.

Дети вообще живут не в истории, а в вечности. И потом один напишет лучшие главы «Последнего поклона», а другой «Дом за триумфальной аркой» с его игрой и музыкой. Или «Мост» — золотое кружево, а не рассказ — об одном дне за городом, о праздничном отце, о пикнике, об игре в крокет, о девушке Фаине, которой мальчик будет подавать крокетные шары, и от самого звука имени которой будет умирать. Рассказ так нежен, целомудрен, полон световой игры бликов, полного и совершенного счастья, что кажется и написан не словами, а самой любовью.

А история была потом, и она уже была так всеобща, что повредила и всегда лучше защищенное Богом детское сознание. И сегодня представить такой рассказ как «Мост» в нашей литературе уже нельзя, потому что история успела-таки надругаться над материей жизни, успела заразить ее внутренней порчей, из которой еще можно выйти, упрямясь, выйти и даже написать о счастье, но уже сделать это сознательно, как опыт сопротивления. А это совсем не то, что естественно светиться небесным светом и открытой, ангелами даруемой простотой. Видели, как у Астафьева потемнел его «Последний поклон», когда он «узнал», когда тень древа познания заслонила свет древа жизни, как сразу потяжелела проза и какой вырвался мрак, будто мальчика на наших глазах подменили и у него не было позади ни «Зорькиной песни», ни «Коня с розовой гривой», ни «Гори, гори ясно»?

Евгений Иванович, конечно, тоже знал страшную силу древа познания, помнил о нем, но не давал ему восторжествовать над деревом жизни, не давал тени перевесить свет.

Он не обманывал нас, и в его книгах есть всё. Есть место горю, тьме, равнодушию, всей страшной стороне жизни, без которой не стоит

русский человек и русский характер, который из-за простора нашего и злой к человеку истории настолько раскидист, что и гуманнейший Достоевский нешуточно мечтал «сузить его». Мелькнут, мелькнут и у Евгения Ивановича нетерпеливые, срыву живущие характеры вроде Игнахи из «Потравы», в котором воля и степь и томительная сила играют в крови и выжигают сердце, запаленное войной, где эта злая игра была к счастью и славе, а дома тесна и беспокойна как дурная кровь, ищущая выхода слепо и темно, так что и человека, коли поперек, да особенно если справедливо поперек скажет, можно убить. И автору уже тяжело видеть эту мутную силу, и он не щадит героя: «И не решаясь больше шагнуть... загнанно, по-волчьи ощерясь, он повел по сторонам вытянутой шеей: "Если что — ничего не знаю..."».

В рассказе «Алюминиевое солнце» от воскресной скуки, от одной не знающей выхода молодой силы, от беспричинности жизни забывают ногами пьяные молодцы святого человека просто так, потому что — тоска.

Закрутится в городе, бросив ночью одного на дороге товарища по рыбалке, добрейшего, бесхитростного спутника, вчерашний директор большого завода, не зная, куда деть свое опустевшее за долгую чиновную опустошающую службу сердце («Не имей десять рублей...»).

Пустота и никчемность выпцветающей, нечистой жизни время от времени будут побуждать его забывать в себе бережного художника и почти напрямую выговаривать боль и досаду на теряющего лицо человека, «вздыбленного водкой и дикостью», творящего зло толпой — «изловят за околицей доверчивую лошаденку, привяжут проволокой к дереву и обольют бензином... и будут дико хохотать и каннибальски приплясывать, глядя, как, охваченное ревушим огнем, корчится и утробно стонет уже бесхвостое, безгривое и обезумевшее животное». Какая уж тут литература — огнем хочется писать. И тут он близко ходит от жестоких «затесей» и мучающих рассказов Виктора Петровича, которые не приносят очищения, не выбаливают в сердце, не преобразуют человека, а терзают его и заставляют слепнуть от безысходности до торопливого обобщения, что и весь человек оставлен Богом в игрушки похотливому дьяволу.

Но в том-то и отличие Евгения Ивановича, как художника, что этими несколькими сюжетами, о которых мне и говорить подробно не хочется, по сути и кончается темная сторона его творчества. Горя, правда, будет еще много, так горе человеку не укор. Оно только озаряет его самым чистым светом, в котором нет тени и укрытия, и весь человек на виду. И это испытание горем его герои проходят, как только русский человек и может пройти. Дерево познания не успевает пустить корней в его сердце. Он и сам к анчару не пойдет, и народное сердце не пустит.

Носов — весь дитя света и в этом свете неисчерпаем. Только свет на Руси ходит об руку со страданием и оттого особенно тонок и чуден,



На зорьке. 1983

и раящ, и целителен. Это знали Тургенев и Чехов, Бунин и Толстой, попозднее и в сверстниках — Георгий Семенов и особенно Юрий Казаков, с которым Носов нет-нет и перекликнется, потому что будет любить его. И не то чтобы сознательно перекликнется, а сами характеры героев заставят нас на минуту поставить эти имена рядом. Прочтешь вот «Храм Афродиты» и надолго замолчишь. И сам вспомнишь, сколько раз тебя мучило в чужих местах острое чувство бездомности и внезапной жальцей тоски посреди застигнутого тебя на ненастной улице заката, как мучает оно героя рассказа, что «он прошел и никогда до конца своих дней не увидит этого человека, как никогда не видел его прежде». И нечаянная спутница вдруг делается страшно близка, будто больше и нет вокруг никого, и к утру будильник будет стучать, как «вынутое сердце», и напоминать об ужасе мгновенного счастья, о необходимости прощания, о какой-то разъединяющей ненадежности русской жизни, в которой золотые мечты ненароком съедаются этим простором, этим вязким, ограждающим от жизни и вместе враждебным ей бытом. Потянешься обмануть себя, сдать порыву и свету, а время и обстоятельства не пустят. И заноза затянется, но не выйдет, как у бедного Пурова из чеховской «Дамы с собачкой», как у казаковских «Адама и Евы», как у героя вот этого носовского рассказа, который коснулся чуда и не осмелился принять его.

А счастливы ли так пленявшие читателя в пору своего появления герои повести «Шумит луговая овсяница» — уже пожившие, детные люди, ухватившие у жизни святую ночь, которой потом обоим на век хватит для боли и горького света. Ночь, рожденную из счастья общего радостного труда, который Носов всегда умеет писать как никто, из обычности народной судьбы милой героини, оставшейся с сыном после опьяненного миром лейтенанта, и из судьбы тоже еще не избывшего войны председателя, которому Носов отдал и свои раны, и свой санбат, и свою неловкую молодость, когда он «из детства вынырнул прямо взрослым парнем, минуя юность», и свою школу, в которой дети принимали его за учителя.

Слишком близок был герой рассказа и слишком любил его недолгое счастье писатель — вот и торопился отдать ему свою жизнь, не придумывать, не искать на стороне, чтобы тем сильнее горело читательское сердце. И опять, как при чтении «Моста», думаешь, что уже не знать больше нашей литературе такого целомудрия и бережности, не знать такой чистоты, задевшей обхватанных жизнью, но не повредивших в себе родниковой ясности людей. И только печально сожмется сердце при чтении и поневоле вздохнешь: что же мы с собой сделали?

А тут нечаянно попались Сартровы «Слова» (всегда ведь, пока пишешь свое, нет-нет и во что-то случайное заглянешь). Так вот он там рассказывает, как писал знаменитую свою «Тошноту» и писал «через

себя», но в то же время чувствовал себя «избранником, летописцем да»: «Я радостно писал о том, сколь тяжостны условия человеческого существования». Вот уж чего нельзя представить у Носова. У других-то, может, и бывает порой (даже порой и у Виктора Петровича Иайдешь, и у Казакова, а уж у нынешних это просто необходимое условие художественности и правды), но у Носова и минутной остроты нет, потому что она враз выдаст «механизм», «школу», «литературу» и отнимет у него и у нас сердце, которое дороже всех «школ».

Всё меня тянет пересказать. И «Пятый день осенней выставки», где ювеет на минуту «Кубанскими казаками», но вдруг прострелится рещиной несчастной судьбы и потерянного рая. И рассказ «Течечка...», где умерла на наших глазах, разбилась о злую жизнь постеснявшаяся себя любовь, изувечилась судьба друг другу на роду написанных людей. Но вот теплится она в нас и не дает повернуть в жалкую сторону. И, и, и... Но это значило бы просто пересказать жизнь.

В рассказе «Во субботу, день ненастный...» он пишет: «Я вспоминаю, что уже давно не писал о таких вот милых пустяках. И вообще хотелось бы написать что-нибудь простое, бесхитрое, ни на жалость не вмешиваясь в течение жизни». А по сути он только так и писал. Только в этом рассказе, воспользовавшись ненастьем, решил действительно поглядеть, выдержит ли жизнь, если ее оставить без художественного присмотра во всей бытовой бедности, как это делают теперь иногда на радио, предупреждая, что «запись сделана без участия журналиста». Вот и тут — «без участия».

Но человеческая жизнь мудра. Она устоит и всё спасет... Только бы ты любил ее. Он это понял давно, с учительской, а там и газетной работой, догадавшись в житейских, военных и корреспондентских скитаниях, что самая подлинная срединная жизнь, народная ее основа не в ярких фигурах отыскивается, не в подогретых страстях и закрученных сюжетах, а в самом именно обыденном, невидном прохожем. Но чтобы эти простые «камешки» жизни открыли глубину и красоту цвета, они должны быть омывты слезами любви, увидены чистым сердцем.

Я не знаю, как он слушал другого человека, но я видел его фотографии и его картины и по их тишине и внимательности легко представляю его сердечную расположенность ко всякому явлению бытия и всякому встречному сердцу. Он редкостно умел чувствовать взаимопроникновение человека и мира, слышать непрерывный «диалог» облака и ветлы, степного мятлика и жаворонка, страхоподного сома под мельницей и деревенского поросенка за печкой. В этом райском саду всем было место, как в ранний час мира до грехопадения. Биограф, может, и улыбнется, но у него и птаха за море не полетит, чтобы там в тепле не затосковать о России. У него и рыбы будут плясать ввечеру под рожок деревенского деда. И гусь выкажет себя мужествен-

ным отцом, погибнув под градом для спасения гусят. И ветер будет «сыт травами, как дыхание стада». И дождь взлетит «стаей скворцов». И «крученый, узловатый гром» будет нарочито греметь над городским лектором, и девочка-подросток будет кричать в звездный час ночи свое имя и ликовать без причины от одной переполненности жизнью: «Ночь сияла, искрилась щедрым, непрерывно струящимся лунно-голубоватым свечением, в логу звенели путами кони, пьяняще пахло аиром... От этого ощущения ночной светлой земли Варька испытывала в себе радостную легкость и тихое ответное ликование» («Варька»). И с нею будет ликовать и писатель. И он же с другим деревенским мальчишкой будет гнать коня, чтобы проехать в радугу («Радуга»), и с другим большим мальчиком расти под шепот тополя под окном, как под биение одного сердца, и будет знать о дереве всё, пока оно не рухнет под пилой рассудительных соседей, унеся с собой для мальчика целое мироздание («Моя Джомолунгма»). Потом эту тему услышит другой русский писатель, Олег Базунов из Петербурга, и воскресит такой же тополь за окном, чтобы тоже прожить с ним жизнь.

Это странствуют не сюжеты. Это русское сердце с поры Аксакова и Толстого, Пришвина и Соколова-Микитова, Бианки и Житкова живет во все еще целом, кажется, только вчера сотворенном мире, который не знает вражды и разделения. И Носов в этом ряду, в этом, не знающем осени древе жизни — прекрасная и сильная ветвь. Живой посреди живого.

Я не люблю цитировать своих коллег, много и прекрасно писавших о Носове, — тут все мы похожи. Если почувствовал свое, то это свое своими словами и скажи, а не списывай чужого мнения. Но одного, самого чуткого, я процитирую с радостью — так просто и обстоятельно он написал портрет Евгения Ивановича в малых словах — только с горечью переведу настоящее время в прошедшее: «Евгений Иванович Носов не любил разговоров о литературе... Но сколь преображался он и молодедел он, если кто-нибудь из собеседников вдруг ненароком касался обыкновенных житейских вещей — к месту рассказывал бывальщину, вспоминал детство, к случаю мог блеснуть завиральной идеей или обронить редкое, но точное по своей выразительности народное словцо. Тут он был в своей стихии, равно, как кажется, и во всем, что напрямую относилось к жизни и человеческим судьбам: в деревенской избе он вполне мог сойти за рачительного и хозяйственного крестьянина, в среде заводских рабочих — за потомственного мастерового, на встречах с ветеранами войны он был солдат окопник, знающий цену страданиям и тяготам фронтовой жизни, на реке — самозабвенный заядлый рыбак, в лесу и степи — знаток родной среднерусской природы».

Это написал критик Владимир Васильев. Я соглашусь с ним и в том, что такое миропонимание в прозе «важно для юношества», но

вздохну, когда прочитаю, что «проза Е. Носова, может много сказать юному читателю, готовящемуся к большой взрослой жизни». Может! Может сказать! И еще как много! Да только остались ли в России юные читатели, готовящиеся к большой взрослой жизни?

Сам Носов уже с горечью думал об этом в очерке «На дальней станции сойду...», печалась пока только о скоро теряющей живой наследованный облик деревенской юности, вытравливающей из себя деревню, как запретный плод, как стыд и несчастье. Теперь, как прежде из деревни, она бежит уж из самой нежной материнской России, если не телом, то душой, делаясь добычей алчного безродного миропонимания, где и русское, если оно хочет сохраниться, предпочитает не живое, спокойное, достойное домашнее существование, а открыто избранное сопротивление (это дома-то!). А это уж эмиграция какая-то, с бедным припевом из Г. Адамовича: «Когда мы в Россию вернемся, о, Гамлет восточный, когда?»

Вдруг ловишь себя на том, что и сам, только на возраст отрочества моложе писателя, заставший край войны и изведавший всю полноту голода послевоенных лет и знавший медленное воскрешение жизни и медленное же, почти незаметное угасание, ты сам уже читаешь эти чудесные книги с тонким чувством духовной археологии. Это твое, это было с тобой, но в какой-то иной, навеки затонувшей жизни, в Атлантиде, где при всем безумии как будто параллельной и вечно враждебной человеку истории еще оставался и был жив и согласен мир. Набоков когда-то криком кричал в Берлине, вспоминая оставленную Родину: «Это было в России, это было в раю», хотя его отец возглавлял партию, искавшую отмены этого рая.

Вот и тут — «это было в раю»: это страдание за бедность своего колхоза, эти засыпающие, как на войне, прямо между словами, загоняющие себя колхозные председатели, эти старые солдаты, стыдящиеся получать юбилейные «незаслуженные» медали, эти его бедные, но всё из живого корня растущие сказки «Как патефон петуха от смерти спас», «Как ворона на крыше заблудилась», «Где просыпается солнце?». Я понимаю, почему Васильев говорил о таящихся здесь уроках новой юности! В Евгении Ивановиче действительно была эта старинная, самой русской литературой воспитанная черта учительства, и, заканчивая рассказ «Тридцать зерен», он пишет: «Я бы хотел, чтобы каждый, кто прочитает рассказ, положил на своем окне тридцать зерен». Дитя своей земли (где всё на миру и всё братством), в высшем смысле русский человек, для которого дума о другом всегда немного впереди своих забот, он и все-то свои книги писал «для того, чтобы каждый...» И не предвидел, что скоро молодые, победно самоуверенные коллеги напишут на знаменах, что литература — это только хорошо найденные слова в хорошо найденном порядке, а предмет не важен.

• • •

А только, слава Богу, хоть суды наши скоры и перемены, как всегда, решительны, но русское слово, оно обид не помнит (русское же! как матери наши — какие обиды?), и оно до времени может жить рядом незаметно, но его сила и воля, его райская красота и небесная глубина не выветриваются и не ветшают, и в нужный час, когда и слова и мир уже как будто расшатаны, встают ополчением Тургенев и Толстой, Достоевский и Чехов, Лесков и Григорович, встают Шолохов и Леонов... И где они — все эти краткие победители жизни, гастрономы мгновения, ткачи художественной пустоты?

И поскольку в войне все становится враз открытым и ясным и настоящая правда видна во все концы света, я погляжу в утешение себе и читателю на носовскую войну, на звездную высоту его духа и слова в тех книгах, где напряжение его было особенно высоко, а слава ярка и достойна. И теперь перед испытанием, которое подкралось к самим основам нашего национального существования, когда уже явственен вопрос: останемся ли мы русскими не только по имени, надо одеваться в чистое — так лучше виден Бог и сияние настоящего Духа.

Он прошел войну в артиллерии, видя врага в лицо, и у него в 19 лет уже тяжелили гимнастерку ордена Красной Звезды и Отечественной войны и медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Эти ордена и раны, заставлявшие зажимываться, когда его видели без рубахи, давали ему право сказать свое выстраданное слово о главном деле жизни.

Он тогда уже написал конец войны, молодое «Красное вино победы», исполненное внутреннего счастья, которое не было омрачено даже смертью закованного в гипс солдата Копешкина, потому что и он все-таки услышал голос Победы и согрелся освобождающей каплей красного победного вина... И хоть страх и боль еще не оставляют рассказчика, за которым Носов не прячет и не таит своего собственного «я», как не таил его в ту же пору в «Звездопаде» Астафьев, и хоть раны невыносимо тяжелы, он уже ухватился за жизнь: «Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее, не я, что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое». Так метался и кричал Петя Ростов: разве можно убить меня, которого все любят? Ах, душа юная — эгоцентризмом он это называет. Да это Бог спасает своего Сына от не слышавших его Божьей воли людей, которую из злого расчета и стяжательной хищности затевают войны, которым надо потом приписать приличное историческое обоснование.

И он написал полную музыки и печали повесть «Шопен, соната номер два», где трубы плакали, «словно войны пали все до единого». Он уже предчувствовал подступающее окаменение нашего сердца, медленную потерю слуха к давним утратам и торопился даже в самом

строе повести сохранить сонатную форму, удержать высокий порядок музыки, чтобы всегда эта третья часть шопеновской сонаты звучала для нас как впервые, и каждое имя на обелиске кричало о жизни.

В великолукском селе Борки, где жил замечательный русский писатель, публицист, друживший с Носовым и высоко чтивший его И.А. Васильев, каждый год, по завещанию ушедшего писателя, проводятся праздники фронтовой поэзии. И каждый год они начинаются панихидой на братской могиле. И всегда это происходит в первые пасхальные дни. И я с незаживающей болью отмечаю, что ни разу священник не говорит в конце всем лежащим под тяжкими плитами солдатам «Христос воскрес!», чтобы и они обнялись в свете освобождения от смерти. И потихоньку шепчу им эти слова сам.

Трава забвения быстро затягивает русскую душу, и траурный марш уже не исцеляет, а смущает наше не любящее лишних огорчений сердце. Война отходит в область предания, делается страницей истории и совершается как будто не на полях жизни, а в умозрении старых книг или, если речь о сегодняшних войнах, на полях утренних новостей, как одна из обыкновенных человеческих работ. И вот тут Евгений Иванович пишет самую великую, кажется, еще и не осознанную нами в подлинном величии книгу «Усвятские шлемоносцы», где не раздается ни единого выстрела, но где война впервые явлена в зляющей смертной силе, вставшей против векового порядка жизни.

Я затрудняюсь определить жанр этой книги, хотя самому ему было довольно обыкновенного «повесть». А только не повесть это, а что-то древнее, вечное, как «Илиада», как «Слово о полку...». Дело не в литературоведческих тонкостях, а в чутье сердца, в том, как отзывается книге душа. Может быть, ближе слова «плач» или «песнь» в их народной горькой торжественности. Он хотел сказать о войне обстоятельно и глубоко, как знал и видел ее, а остановился на самых первых, еще не военных днях, оглядев их, как всю страну, — из края в край. С такой любящей подробностью, как видит мир человек только на великом пороге.

Душа его готовилась давно. Он уже и сенокос писал в «Луговой овсянице» так любяще, жадно, что становилось тревожно, словно наглядеться торопился. И прощание перед войной писал. А только словно «репетировал». Только ждал часа настоящей зрелости, когда уже всё сойдется так, что не умолчишь. И вот он остановил время, как Иисус Навин солнце, чтобы мы могли увидеть каждую былинку и почувствовать каждое прикосновение жизни, потому что она поставлена под угрозу. Кажется, что он пишет «в реальном времени», втягивая нас в ужас медленного расставания. Толстовская выучка сказала, его догадка, что в жизни нет случайностей и всё, что видится и совершается, — совершается единственно для тебя. Да и Гомерова, Гомерова выучка: читать список кораблей, как вживе вести их царственным

строим перед читателем. Не отпускает с покоса трава, счастливо обнимает река, крыжовник встает у крыльца как впервые, чтобы его не забыли, и курица толчется под ногами, чтобы запомнили и ее. И душа просится к душе. Мужики сходятся к деду Селивану и пожимают друг другу руки как впервые «с той облегчающей братской потребностью, с какой деревенский общинный житель всегда стремится к ближнему в минуту разлада и потревоженной жизни».

Душа будто бежит, а мир останавливает и вооружает ее. Смотри: это твоя сила, твоя победа. И старинная книга у деда Селивана только для того единственного часа и лежит, чтобы, разогнув ее, он выкликнул каждого из мужиков по полному значению его имени, как к Господню престолу призывал, и они узнали, что каждый из них по святцам — Шлемоносец, Защитник, Запевала, Победитель. И им «было диковинно оттого, что их имена, все эти Алексеи и Николы, Афоня и Касьяны, такие привычные и обыденные, ближе и ловчее всего подходившие к усвятскому бытию — к окрестным полям и займищам, осенним дождям и распутью, нескончаемой работной чередой и незатейливым радостям, — оказывается, имели и другой, доселе неизвестный смысл. И был в этом втором их смысле намек на иную судьбу, на иное предназначение, над чем хотя все и посмеялись, не веря, но про себя каждому сделалось неловко и скованно, как если бы на них наложили некую обязанность...»

Имя пишется на небесах, и можно не говорить о Провидении и Боге, но судьба придет и скажет в свой час о значении твоего имени и поставит перед ответом. И креста на них может не быть, храм далеко (и тот закрыт), но матери не зря скажут, что коли так — может быть, за святую воду сойдут их слезы. Сойдут, сойдут и станут этой святой водой и спасут детей своих и Родину.

Носов пишет мир так медленно и подробно, что и мы всё острее сознаем, как сладка и велика жизнь. И вот, оказывается, враг чего война. Она — враг утра, травы, свежего хлеба, испеченного матерью, родной конюшни, где каждая лошадь подходит подышать в шею и ткнуться в затылок, враг реки и тумана, враг доверчиво развешанного во дворе белья, где без всякого умысла детские рубашки льнут к отцовой. И писатель возвращает герою всю его 36-летнюю жизнь, чтобы она встала стеной и заслонила его и землю и подсказала ему, что этого простого мира отнять у него нельзя. И теперь, когда они послушают напоследок простые, крепкие, великие слова своего председателя Прошки под новым сельсоветским флагом, что они идут оборонять и этот флаг, и тот главный, который уже не флаг, а знамя, и он «не из материала, сатину или там еще из чего, а из нашего дела, работы, пота и крови, из нашего понимания, кто мы есть». И у них, и у нас займется сердце от высоты и силы, выросшей на наших глазах из такой простой жизни. И, разглядев всё это, мы лучше поймем деда Селивана, когда он покажет нам,

как рождается армия: «Вон она топает, главная-то армия! Шуряк твой Давыдка, да Матвейка Лобов, да Алексей с Афанасием... А другой больше армии нету. И ждать неоткуда... Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье собирается. Нас тут капля, да глянть туды, за речку, вишь, народишко по столбам идет?... Да уж Никольские прошли, разметненские... Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия!»

И теперь мы уже знаем, что они несут — эти ситнянские, Никольские, разметненские, и знаем, почему не видят курганного орла, распростертого над ними, «как черная рубаха». Потому что он реет напрасно. Они не его добыча. И не надо ничего специально говорить об идеологии и не надо горячить кровь большими словами. Любящего победить нельзя и нельзя победить земного человека, знающего счастье труда, покоя и своего малого любимого угла, в котором сходится Родина.

Это была песнь прощания и песнь победы. И, слава Богу, она теперь навсегда с нами.

• • •

И сейчас, когда я оглядываюсь на все творчество Е.И. Носова от чудной краткой странички о малой Родине, от его счастливых «ментальных фотографий» природы и ширококостных, ладных земных рассказов до плача и эпоса «Шлемоносцев», я вдруг вижу, что сомнение мое напрасно. Что это не прекрасная археология и не погружающаяся в предание счастливая (и в самую гибельную пору счастливая) Атлантида, а это опять и опять повторенное в возвышающей единственности толстовское, тютчевское, бунинское, русское, христианское — и все это во мне, и все это мое, и все это я.

Мы можем забегаться и забыться, как неразумные дети, но весь сияющий мир художника уже не изменит нам и будет ждать нашего опаматования, потому что без него, без этого света и неба, без мифа и гордости, без великой любви и печали, мгновенного счастья и долгой боли, без блаженной усталости труда и святого страдания войны, без ликования победы и неоставляющей надежды, мы будем только голые люди на голой земле.

Но этому быть нельзя, потому что вот оно — всегда готовое прийти и укрепить, спасти и вернуть нам силы русское слово, которое было у Бога и пребудет у Него, пока мы знаем горячее счастье родной общности, радость быть как все, и пока у нас есть художники любящей полноты и благородной силы, умеющие оплакать и восславить жизнь, как Евгений Иванович Носов.

Валентин Курбатов

АВТОР О СЕБЕ

Я родился студеным январским вечером 1925 года в тускло освещенной избе своего деда. Село Толмачево раскинулось вдоль речки Сейм, в водах которой по вечерам отражались огни недалекого города Курска.

Из деревенского окна виделась мне просторный луг, весной заливаемый половодьем, и таинственный лес за ним, и еще более далекие паровозные дымы за лесом, всегда манившие меня в дорогу, которой и оказалась потом литература — главная стезя моей жизни.

Детство всегда впечатлительно, и я до сих пор отчетливо помню, как в Толмачево нагрянула коллективизация. Как шумели сходки, горюнились забежавшие к нам бабы-соседки, и как все ходил по двору озабоченный дед, заглядывая то в амбар, то в стойло к лошади, которую вскоре все-таки отвел на общее подворье вместе с телегой и упряжью.

На рубеже тридцатых годов отец с матерью поступили на Курский машиностроительный завод, и я стал городским жителем. Отец освоил дело котельщика, клепал котлы и железные мосты первых пятилеток, а мать стала ситопробойщицей. И я ее помню уже без деревенской косы, коротко подстриженной, в красной сатиновой косынке. Об этом периоде моей жизни можно прочитать в повести «Не шмей десять рублей...», а также в рассказах «Мост», «Дом за триумфальной аркой», «Красное, желтое, зеленое...».

Жилось тогда трудно, особенно в 1932–1933 годы, когда в стране были введены карточки, и мы, рабочая детвора, подштывали себя едва завязавшимися яблоками, цветами акации, стручками вика.

В 1932 году я пошел в школу, где нас, малышей, подкармливали жиденьким кулешом и давали по ломтику грубого черного хлеба. Но мы, в общем-то, не особенно унывали. Став постарше, бегали в библиотеку за «Томом Сойером» и «Островом сокровищ», клеили планеры и коробчатые змеи, много спорили и мечтали.

А между тем исподволь подкрадывалась Вторая мировая война. Я учился уже в пятом классе, когда впервые увидел смуглых черноглазых ребятшек, прибывших к нам в страну из сражающейся республикан-

ской Испании. В 1939 году война полыхала уже в самом центре Европы, а в сорок первом ее озенный вал обрушился и на наши рубежи. В 1943 году, после освобождения Курска, пришел и мой черед идти на войну.

На фронте мне выпала тяжкая доля противотанкового артиллериста. Это постоянная дуэль с танками — кто кого... Или ты его, или если промазал, он тебя... Уже в конце войны, в Восточной Пруссии, немецкий «фердинанд» все-таки поймал наше орудие в прицел, и я полгода провалялся в госпитале в гипсовом панцире.

К сентябрю 1945 года врачи кое-как заштопали меня, я вернулся в школу, чтобы продолжать прерванную учебу. На занятия я ходил с еще не зажившими ранами, крест-накрест перевязанный бинтами, в гимнастерке (другой одежды не было), при орденах и медалях. Поначалу меня принимали за нового учителя, и школьники почтительно здоровались со мной — ведь я был старше многих из них на целую войну.

Закончив школу, я уехал в Казахстан, где так же, как потом в Курске, работал в газете. Корреспондентские поездки позволили накопить обширные жизненные впечатления, которые безотказно питают и по сей день питают мое писательское вдохновение. Много дает мне и постоянное общение с природой: я заядлый рыбак, любитель ночевок у костра, наперечет знаю почти все курские травы. Моей неизменной темой по-прежнему остается жизнь простого деревенского человека, его нравственные истоки, отношение к земле, природе и ко всему современному бытию.

КРАСКИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Вместо вступления

Пусть мне твердят, что есть края иные,
Что в мире есть иная красота.
А я люблю свои места родные,
Свои родные, милые места...

Из песни

Сказывают древние книги, будто великий Дионисий, замышляя расписать новоявленный храм, собирал холщовую подорожницу и уходил окрест — в лесную тишь, в одинокое раздумье. Заповедная нехоженность Ферапонтова межозерья, пряный ладанный дух разомлевших золотоствольных боров и хрусткая настороженность под их сомкнувшимися кронами, где далеко слышать, как стремительно возносится, шуршит коготками по сухому корью осторожная белка или как слюдяно, ломко трепещет крылами стрекоза над фиолетовой свечкой кипрея, — это тихое общение с птицами, травами и родной землей отрешало схимного живописца от расслабляющей повседневности, очищало и возвышало душу, звало куда-то ввысь и заодно собирало воедино, копило в нем слабеющие силы для очередного бессмертного творения.

Но была в том одиноком скитании и своя корысть: пройдет ли Дионисий верховолочьем, берегом ли ручья, сам тем временем неотступно высматривает всякие земные обнажения. Растирает в щепоти мелки и глины, крошит пестиком известняки и цветные камушки, подобранные на перекатах, толчет их в порошок в походной ступе, а потом замешивает в плошке на ключевой воде, пачкает цветной кашицей припасенные дощечки. И долго глядит сощурясь, примериваясь к полученному колеру.

Казалось бы, что можно извлечь из этих спекшихся комьев, из овражных осыпей, озерной гальки или сумрачных ливневых размывов... Но посмотрите на многовековые невянувшие фрески, и вы затихнете восхищенно: какое празднество красок! Хотя и нет здесь ни откровенно красного, ни синего, ни зеленого... Любил тонкий художник мягкие, нежные тона, почти неощутимые переходы, от которых сладко благоговела, смягчалась современная ему человеческая душа, теплилась надеждой. Розово-красный он укрощал до легкой розовости или малиновости, душную зелень смягчал до прозрачной овсяной зеленцы, а охру — до золотистой солоmistос-

ти. А между этими умягченными тонами неприметно пускал еще больше умягченные тональности, и оттого все храмовые росписи — и на стенах, и на сводах, и на опорных столбах — обретали воздушно-легкий, серебристо-радужный колорит, подобный то ли цветной изморози, то ли нерукотворному узорочью. И эта тонкая, неуловимая для глаза вибрация полутонов сообщала живописи чарующее необыкновение!

К расцвету своего мастерства Дионисий извлек из окрестных долов, яруг и холмушек около ста сорока видов красителей и был убежден, что это далеко не все и что красочному воссиянию русской земли несть предела. Надобно только воистину загореться, захотеть одержимо в земной обыкновенности увидеть сокрытую красу и радость и уловить, подглядеть в простой невзрачной тверди как бы застенчивую, но всегда дивную, нежную улыбку матери-природы. «Подвижничество это великое, радостное, как и всякий труд во всеобщее благо и всеобщее спасение, и сил на то утаивать не можно», — думал о своем призвании Дионисий.

В наше время, однако, уже никто не скитается по глухим яругам с пестиком и ступкой. Ныне «улыбку природы» можно без хлопот приобрести в магазине «Канцтовары» или даже в ином просвещенном сельпо. Продается она уже в готовых тюбах. Удобно и просто: отвинтил колпачок, надавил большим пальцем на округлое, матово лоснящееся брюшко упаковки — и — пожалуйста! Благо, что и всякие кисти, холсты, картоны, уже загрнтованные, готовые к исполнению, тоже продаются в достатке. Достигнутый прогресс избавил современного живописца от самой докучливой (с нашей точки зрения) обузы — добывать необходимые краски, освободив его для чисто творческого дела: бери кисть и — твори, выдумывай, пробуй! Было бы и вовсе бесхлопотно, если бы вот так же запросто, нажав пальцем, можно было выдавить из одного тюбика, скажем, необыкновенный замысел, а из другого — вдохновение. Или, допустим, зашел в ателье и заказал себе пару крыл для творческого взлета...

Но, видно, искусство не терпит расслабленности, тем более сделок с совестью, порождающих леность души и меркантильные помыслы. Напротив, оно требует постоянного преодоления задуманного, способствуя, в свою очередь, преодолению художником самого себя и захватывая его той одержимостью, когда, как сказал Дионисий, «сил... утаивать не можно». Так что, как ни всемогущ прогресс, но вдохновения в лавке пока не купишь. Тут изощренный человеческий ум спасовал, ничего не придумал, и все, что касается творческого взлета, осталось по-старому, как и при Дионисии: если хочешь чего достичь — иди и поклонись родной земле. Все остальное — от лукавого.

Тут подоспела пора рассказать одну наглядную притчу.

В послевоенную неустроенную пору откололась от голодной деревни, от обессиленной курской земли тетушка моя Валентина. Не выдержала молодая девка лебеды, завербовалась куда глаза глядят, и завез ее оргнабор аж в озерно-скальную Карелию. Там она сделалась заправским подрывником, нажила семью и до самой пенсии и в снег, и в слякоть прочертоломила в каменном карьере. Всю жизнь проходила в закоженелой брезентовой робе, в железной каске поверх платка, с милицейским свистком на шее, дабы никто не утодил под тротиловую шашку. Ушла на заслуженный вся простуженная, с негнущейся спиной и огрубелыми, почти окаменелыми пальцами. И лишь тогда только наконец вырвалась на родину — через тридцать шесть лет! Ну, конечно, воды за это время утекло много. Приехала в прежнюю свою деревню, сама никем не узнаваемая, ничего и никого не узнавая: все переменялось, перестроилось, ни одного знакомого дома на деревенской улице, ни одного знакомого лица... Дядит вокруг тетка Валентина, волнуется, силится что-то вспомнить, вздыхает горестно, и слезы непроизвольно катятся по ее широкому заветренному лицу, капают за тучную пазуху.

— Ох, девки милые! — запричetyвала она, глядя на реку. — Вы хоть все скопом живете, на прежнем месте. А вот я, сорока, залетела... Да чего уж теперь говорить, жизнь прожита: там у меня дом, внуки, корова теперь в окошко тычется: хозяйку ждет... А все ж душа моя напололам разрывается. Тут-то мне все роднее: вот и небушко — без хмари, и ветер наш, травный, покосный... Чуете: живой чабрец! — Она шумно вздыхает, ловит распахнутым ртом полуденный ветер и, не вытирая слез, говорит: — Вот полечу обратно, теперь, видать, уж насовсем. Не свидимся больше. Ничегошеньки мне не дарите на прощанье, ничего не надо, все у меня теперь есть: шмотки, полированная скарбота... Только дайте набрать землицы! Хоть горсточку, хоть щепотку... Я ж по ней бегала босой да несмышленной. А теперь мама наша под ней лежит... Вот повезу с собой жменьку, хоть когда приноснусь, понюхаю, а не то в слабую минутку потужу-погорюю, что так у меня нескладно получилось...

И вот вопрос: что же, выходит, Карелия для тетки Валентины — не своя земля, чужбина? Своя-то она своя, советская, одна, общей границей опоясанная, а для тетушкиных детей — даже родина. Но так вот устроена душа человеческая, что внутри общего для всех нас отечества у каждого есть еще и особый уголок, та заветная земля, где, как говорят, пупок ниткой вязан.

Если бы человеку дано было выбирать себе малую родину, то один предпочел бы берег южного моря, где благодатно зреют виноградные гроздья под неумолчный накат белопенной ласковой волны. Другой выбрал бы величавые горы, у подножия которых трепе-

щет радуга над водопадом, роняя цветные дождики на гранатовые рощи. Третий избрал бы соседство могучей реки, пахнувшей арбузами, плотами, рыбой, большой открытой водой, а еще — дизельным дымком от натужно выгребавших против течения упористых буксиров. А может, кто-то выбрал бы себе ту же синюю Карелию, которая и на самом деле прекрасна своей Онегой — озером, рубленой стариной и белыми посеребренными ночами, или огнедышащую вулканами Камчатку, где по спинам идущих на нерест лососей, сказывают, можно перейти на другую сторону реки...

Но родину, как и мать, не выбирают. Она у всех такая, какая досталась от дедов и отцов.

Нам, курянам, досталась по наследию курская земля.

Нет у нее ни морских берегов, ни горных радужных водопадов, ни могучих рек... Ее небо не багрянят огненные жерла вулканов, оно не мерцает дивными всполохами северного сияния.

Бунин назвал эту местность сдержанным, но все-таки удивительным словом: подстепье. Мол, оно, конечно, у вас тут уже далеко не те леса, что, скажем, за Орлом, под Белевом и Тарусой, и еще не те раздольные степи, каковые раскинутся южнее, по-за Доном и по причерноморской Таврии, нет, не то и не другое, а нечто смешанное, среднее между лесами и степями — вот именно лесостепь, или по-бунински: подстепье. Ну, а ежели положить руку на сердце, то уж какая там нынче лесостепь... Потому как те невеликие леса, зашедшие к нам от северных соседей, мы, неразумные, порядком извели, а прежние степушки тоже начисто позапахивали, оставив разве что самую кроху былой степи в Стрелецком заповеднике. А еще про нас говорят: среднерусская полоса, и в этом бесстрастном обозначении есть привкус какой-то безликой усредненности. Ко всему тому известный поэт сделал такое наблюдение, может быть, не совсем лестное для курянок, хотя он, по его же признанию, никого не хотел обидеть:

*Очевидный факт, но не печальный,
Так как все курносые носы
Вырастают у людей
Центральной,
Русской,
Черноземной
Полосы.*

Что и говорить, не так-то просто ухватить, воспроизвести, запечатлеть вот такую неэкзотическую, неброскую, не степь и не лес, землю. Какими красками писать? На какие надавливать тюбики? Хорошо было, к примеру, Сарьяну: давил на все краски сразу, осо-

бенно не присматриваясь. Кажется, тыкал кистью, не глядя. И везде попадал...

Но вот закрываю глаза, и — трепетно обмирает сердце — вот она, родимая! Взгорья и ложбины и опять холмы. Вверх — вниз, вниз — вверх... Будто дышит, словно это ее глубокие, натруженные вздохи...

Тут мы и живем, между этими вздохами. Здесь, в заветрии, промеж холмов, приотились наши тихие ракитовые деревушки с мычущими телятами на приколе, с гераньками и неказистыми цветками под названием «мокрый Ванька» в нехоромных оконцах. В этих-то деревеньках, до которых не всяк раз без сапог доберешься, и обитают наши среднерусские, черноземные женщины, а то и наши матери и сестры, и все, что живет около и держится на них — от внуков до кошки и курицы. Пусть не красавицы, пусть курносы, не очень-то белолицые и не доже причесанные, а чаще в наспех наброшенных платках и расхожей одежде, но сколько сделавшие своими корявыми, огрубелыми, навсегда утратившими прежнее девичье изящество руками! Не счесть того, что переворочали они, перетаскали, перелопатили, перевезли, перепололи, перечистили навозу и бураков, передоили, перенячили поросят, телят и ребятишек! А сколь перемерзли, передрожали, перемокли, пережарились, перепотели на этих вздыбленных холмистых пашнях! Сколь перетерпели, перемогли, перемолчали радикулитов, ломоты в пояснице, мужицкого сквернословия, начальственного невнимания...

По лощинам и межгорьям, в лозняках и ольшаниках текут наши робкие, путливые речушки, воды которых потом питают, поддерживают красу и славу легендарного Дона и досточтимого Днепра, который столь могуч, что, по словам Гюголя, редкая птица долетит до его середины... где-то там, действительно, плывут величавые белые теплоходы, горят рубиновые бакенные огни, а на закате плещутся, играют осетры... Здесь же, конечно, все поскромнее, у нас тут свои картины. Правда, весной такая вот бессловесная речушка вдруг зашумит, захорохорится, как подгулявший сторож, какой-нибудь дед Филя в перевернутом треухе, даже своротит и унесет чей-нибудь забор, раскидает дрова или припасенный лес на новую избу.. Но буйства этого разве что на пару-тройку ден. А потом дед Филя поправит как надо шапку, улыбнется виновато и покается: погулял малость, и будя! Так и речушка: покуролесит, да и умиротворенно разольется по лознякам, греясь на мелком, на солнышке. В такие раннеапрельские дни, еще при ночных морозцах, доверчиво, пухово зацветают ветлы, начнут золотить пыльцой темную подножную воду. Там, у реки, по-весеннему пьяняще пахнет талой землей, просыхающими пнями, прошлогодними трубками дягиля, терпким черемухным окорьем. Стрекошет на ко-

лючей груше сорока, снует, вскидывает вороненым, с отливом, хвостом, облюбовывает себе неприступное местечко для гнездовья. Трудно, неуверенно погудывают возле ветел первые, еще слабые после зимовки пчелы. Иные, не одолев разлива речушки, плюхаются в омуток и потом долго и напрасно зыбят крыльями воду, пока не заметит верткий голавлишко и не чмокнет пчелу жадно разверстым зевом.

Это внизу, у воды. По склонам же теплых, нагретых уторий, на уже перекопанных под картошку огородах водят своих замурзанных, обтрепавшихся за зиму кур женихастые петухи, показывают им червяков и, пока те ссорятся из-за подношения, самодовольно и громогласно горланят на всю округу. Еще же выше, на междуречьях, напористый ветер уже пылит подсыхающей дорогой, гонит первые волны озимых, рвет и полощет пока еще не выцветший кумачовый флажок на тракторной будке. А над всем этим — над полями и логами, где дымит зеленовато-желтым дымом светлый, пронизанный солнцем орешник, над чернопашьем, над блюдцами талой воды и бурьянистым омежьем с пригревшимися там курскими куропатками, над скирдами старой, побуревшей соломы и прокладывающим первую борозду трактором, слепяще высверкивающим лемехами, — над всей этой суетой и благодатью серебряно звенят, ликуют, захлебываются радостью бытия наши курские простенькие птахи — жаворонки. А еще будет на этой земле лето, для которого понадобятся новые и совсем другие краски — приспеют долгожданные деньки с раскатистыми громами, солнцеструйными ливнями, с белым цветом калины и медовым дыханием подмаренника, с радостной сенокосной порой, когда луга вдруг наполнятся веселым гамом скоротечной работы, белыми бабьими платками и льняными головенками ребятни, когда повеет волнующим ароматом скошенных и привядших валков, а потом, через неделю-другую, в сумерках, под взошедшей глазастой луной таинственно возвысятся стога, роняющие долгие тени...

И будет потом наша золотая черноземная осень, когда в бездонной сини бабьего лета поплывут невесть куда серебристые пряди, а из отяжелевших садов еще за версту запахнет знаменитой курской антоновкой, с которой, право, не знаем, что делать, куда девать, потому как в самый раз надо убирать тоже знаменитую курскую картошку, известную всему Донбассу и даже на Кубе, а заодно не приходится мешкать со всеми клятыми чумазами бураками, которые потом, однако, отмоют и наделают белейшего курского сахара на потребу каждого шестого жителя России. И зашумят, загомонят по курским городам и весям осенние кустодиевские ярмарки.

А там чередом нагрянет зима с заячьими набродами в белых полях, с завораживающей тишиной в перелесках, с ребячьим галдежом, звоном коньков и клошек на застывшем пруду, с ранними сумерками и уютными огнями в деревенских окошках.

А еще у этой земли есть своя история. Долгая, древняя, уходящая в туманную глубь веков.

Черным сощуренным глазом ревниво и алчно следила за Русью некрещеная степь, и несчетно раз горели посеимские селения от набегов хазар, печенегов и половцев. И потому северский суровый пахарь, или, по-тогдашнему, севрюк, — житель здешних подстепных окраин, идя на пашню, брал с собой топор или бердыш.

*...Москва еще лежала в колыбели,
А Курск уже сражался за Москву...*

За Москву и за самое себя сражалась эта земля и на своей Огненной дуге в сорок третьем. Вглядимся в эти холмы, особенно на закате солнца, когда косые лучи высвечивают всякую неровность, и мы увидим все еще не изгладившиеся шрамы минувшего побоища. Оплывшие, заросшие боярышником и чередой, старые окопы по-прежнему опоясывают околицы деревень, пересекают нераспаханные суходола, змеятся по лесным окраинам и овражным вершкам. А сколько отрешенно белых обелисков, молчаливых и скорбных в своем одиночестве возносятся на здешних высотах!

У войны тоже свои краски.

Да, нелегко воссоздать облик этой не так уж и простой земли без сыновней чуткости и бережности. Но кто поймет ее, для того и она откликнется доверчиво и щедро всеми своими красками, как некогда белозерская земля раскрылась бесконечным и дивным свечением перед внемлющей душой Дионисия.

И выходит, что вовсе не в купленных тюбиках сокрыты нужные краски. Об этом как-то так язычески, зримо и очень верно сказал поэт Эдуардас Межелайтис:

*Из маков — красную, из одуванчиков — желтую,
Из пепла — серую, из угля — черную
Сделали краски, смешали, развели на полотне,
Сотканном из трав земли, написали портрет земли.*

Мне почему-то видится она в облике среднерусской женщины, много поработавшей, народившей много сыновей и дочерей, с усталой, но доверчивой и доброй улыбкой. И на коленях у нее большие теплые руки...

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В настоящее издание включены практически все произведения известного русского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР и других литературных премий (в том числе премии А.И. Солженицына), кавалера многих орденов и медалей, Героя Социалистического Труда, члена Академии российской словесности, почетного гражданина города Курска Евгения Ивановича Носова (1925–2002), написанные с 1948-го по 2002 г.

Его рассказы и повести переведены на многие языки народов мира, включены в школьную программу.

В распределении произведений по томам избран не традиционный хронологический, а тематический принцип, позволяющий зримо представить круг тем и проблематику творчества Е.И. Носова. Даты первых публикаций указаны после каждого произведения и в примечаниях.

В том 1 вошли рассказы о природе, рыбалке, а также ранние произведения, связанные с жизнью города и его социально-нравственными проблемами, миниатюры, стихи, публицистические материалы.

Том 2 составили рассказы о подростках и автобиографические произведения о детстве, повествование о котором разворачивается на фоне довоенной жизни Курского края.

В томе 3 собраны произведения о жизни деревни, которую автор знает изнутри, а также повесть об Онеге, рассказы разных лет и ряд публицистических материалов.

В томе 4 представлены проза и публицистические материалы о Великой Отечественной войне, участником которой был писатель. Произведения расположены по хронологии военных событий: повесть-поэма «Усвятские шлемоносцы» — о первых днях войны, рассказ «Фагот» — об оккупации Курска в 1941 г. (хотя это последний рассказ писателя, созданный им в 2002 г., буквально за месяц до кончины), «Синее перо Ватolina» и ряд небольших рассказов — непосредственно о военных действиях в разное время, затем — «Красное вино победы» и рассказы 80–90-х годов, а также начала третьего тысячелетия, где война представлена в воспоминаниях героев, ретроспективно.

В том 5 включена переписка Е.И. Носова. Она очень обширна и интересна, в письмах столько и фактического, и эмоционального материала, а также интереснейших свидетельств о литературной жизни 50–90-х годов XX в., что почти все они воспринимаются как художественные произведения. Письма расположены не по общей хронологии, а по адресатам, а уже внутри каждой подборки хронология соблюдается.

Вошли в этот том и предисловия, написанные Е.И. Носовым к книгам его друзей, и некоторые публицистические материалы.

На рыбачьей тропе

Рассказы о природе



ТРОПА ДЛИНОЮ В ЛЕТО

1

Приходилось ли вам ходить рыбацъей тропкой?

Это самая длинная из всех троп. Обыкновенные лесные и полевые дорожки торопятся поскорее привести путника, куда ему надо. Но если ступишь на рыбацью тропу, не скоро доберешься до дому: куда река течет, туда и тропа вьется. В ином месте, если напрямик считать, не больше километра будет, а пойдешь тропой-береговушкой, часа два проходишь. То выбежит она на веселую ромашковую поляну, то ужом проползет под корнями, свисающими с крутого обрыва, подмытого половодьем, то затеряется в прибрежном песке, усыпанном ракушками.

Какой длины река, такой протяженности и рыбацья тропа. Ходят по ней от самых истоков до устья. Но и тут не конец тропе. Она перебирается на берег другой реки и провожает воды своей новой спутницы до того места, пока та, в свою очередь, не сольется с еще большей рекой. Так, почти через всю страну, через лесную северную глухомань, среднерусские светлые дубравы, через степные просторы юга, до самого моря ведет рыболовов береговая тропа, зовет их на поиски радостного, но нелегкого и сторожкого рыбацкого счастья.

Трудно сказать, когда после зимнего бездорожья появляется первый след на этой тропе.

Едва только на реке зачернеют промоины, рыбац-непоседа уже укладывает свои нехитрые пожитки. И ведь знает: рано выходить с удочкой, но утерпеть не может. Так радостно журчат вешние потоки, такая вокруг благодать, что рыболов дома места себе не находит. И, приняв решение, отчего на сердце сразу становится легко и беззаботно, отправляется по рыбацъему первопутку. Идет целиной, посередшей, изъеденной туманами. Проваливается в снег, забирая за голенища сапог. Осторожно, опираясь на удилице, скользит по наледям, залитым коричневатой водой, и наконец выбирается на берег. Плядит, а на обрыве уже чернеют в снегу глу-

бокие провалы следов — такой же одержимый обновил рыбачью тропу. С этого дня все больше следов, все торнее становится береговая дорожка. И не стихнет оживление на великом пути беспокойного племени рыболовов до новых снежных заносов.

Тропа не пустует ни днем, ни ночью. В любое время суток кто-нибудь и где-нибудь шагает берегом реки.

Субботним летним вечером рабочие поезда и пригородные автобусы, оцетинившись лесом удилицц, развозят рыболовов во все концы и по всем дорогам. Один за другим, растянувшись на много десятков километров, соскакивают удильщики на полустанках и разъездах, сходят с автобусов у проселочных свертков и тихих деревушек и тотчас теряются в зеленых просторах, в густеющих сумерках. Веселыми компаниями или в одиночку пробираются они к заветной тропе. Идут влажными, согретыми дневным теплом поемными лугами, терпеливо продираются сквозь шуршащее море камышей — необъятное комариное царство, — шагают гулками сосновыми борами и говорливыми осиновыми перелесками.

Ступив на заветную береговую тропу, рыболовы чувствуют себя дома. Постеприимная тропа быстро разведет их по излюбленным «сижам». Одних — к таинственному мельничному омуту, тускло мерцающему отражением звездной россыпи. Других — на самый кончик песчаной косы на перекате. Третьих — под старые сонные ветлы, склонившиеся над глубоким плесом. Четвертых... да мало ли знает рыбачья тропа укромных добычливых местечек! Вот у края кувшинок, закрывающих на ночь свои белые розетки, поднялся водяной бурун. Серебряными брызгами запрыгала рыба молодь, закачались на круговых волнах широкие лопухи. Ставьте поскорее жерлицу и ожидайте поклевки щуки. А здесь, у коряги, опутанной космами наносного ситника, забросьте понадежнее снасть на сома. Не хотите? Тогда ступайте на крутой обрыв, где у самого дна забились на линьку раки. Там прогуливаются черноспинные голавли, поджидая добычу.

Тихо и покорно догорела вечерняя заря. У кого есть — натянуты палатки, у кого нет — принесены охапки сена, свежей травы, сосновых лап, ивовых прутьев. Наскоро выпотрошены полосатые окуни, собран сушняк в прибрежных кустах. И вспыхивают один за другим веселые рыбацкие костры, вспыхивают по всей береговой тропе от истоков до устья. Похоже, что кто-то включил рубильник, и тотчас на всем протяжении великого пути рыболовов засияли дорожные маяки.

Это, пожалуй, самые счастливые, самые безмятежные минуты для тех, кто пришел на берег из душного города. Ярко пылает языкастое пламя, поет и пенится в костре ветка сырой таволожки, взлетают и гаснут хороводы искр. А в котелке булькает ни с чем не сравнимая рыбацкая уха, приправленная лавровым листом и вдвое разрезанной луковицей. Нет в мире более заманчивого лакомства, чем окуневая уха, сваренная на берегу летней ночью!

На тропе слышались шаги. Это сосед идет на огонек. Вот увидите, сейчас скажет, что у него нет спичек и он зашел прикурить от уголька.

Наивная хитрость! Скучно одному коротать ночь. Но вы погодите жалеть, что в вам подсел незваный гость. Потому что, как только трубка будет раскурена, завяжется интереснейший разговор, какой умеют искусно сплестать только рыболовы и охотники. Начинается он обычно с погоды, клева, приманок, снастей, привад, но обязательно перекинется на воспоминания о каком-нибудь небывалом случае.

— Ловил я прошлым летом под Духовцом с лодки, — начинает он, например. — Пускал с носа в проводку... А с кормы свесил жерличку, так, на всякий случай. И, знаете, взяла, окаянная! Слышу, застрекотала рогатулька о борт. Подсек. Эх и понесла же, эх и заходила!.. Попробовал потянуть — не поддается. Минут двадцать куролесила. А потом всплыла. И такое, знаете, весло! Килограммов на десять! Ну, кое-как забагрил, выволок в лодку. Одумалась и давай вытанцовывать. Ухватил я ее обеими руками под жабры, прижимаю, а она ну хвостом меня охаживать. Чую, не удержу, вывернется. Было бы дело на берегу — это проще, а в маленькой лодчонке шутки плохи. Тут и пришло мне в голову: дай, думаю, я ее в сапоги обую. Стащил нога об ногу сапоги, один надел ей на рыло, другой — на хвост. Положил на дно лодки. Вроде успокоилась. И, верите, только я было прошел в нос, к удочке, как подскочит она, как громыхнет сапогами! Один соскочил с хвоста и метра на три шлепнулся в воду. Не успел я и пальцем шевельнуть, как она, окаянная, будто пружина, перелетела через борт и с другим сапогом на голове скрылась в омуте, только на том месте пузыри посыпались. Видно, из голенища.

Вот какие удивительные истории можно слышать в короткие часы летней ночи. Насколько они правдоподобны, оценит ваш опыт. Но как бы он ни был богат, с каждой такой встречей у костра ваши познания становятся еще полнее и глубже. О чем только не переговорают рыболовы у ночного огонька! И, заметьте, какие это тонкие, наблюдательные люди, с каким глубоким пониманием природы, ее мудрых законов, ее бесконечной поэзии!

Поужинав, вы беззаботно распластываетесь тут же у костра, подмяв под бока ромашки и подложив под голову набитую травой кепку. Вечер теплый, пряный, ласковый. Сонно переругиваются лягушки, жуужат и глухо шлепаются в траву привлеченные огнем хрущи. Комары больше не надоедают, как раньше, на заходе солнца. Они попрятались от дыма в ракитнике и осоках. До сих пор вы и не подозревали, что можно так удобно устроиться на ночлег где-то за тридевять земель от своей домашней койки.

И вот тут-то сосед-рыбак, по-хозяйски поправляя угли в костре, задаст каверзный вопрос:

— А плаща вы с собой не захватили?

— Нет. Зачем? И так тепло.

Тогда сосед, пряча в усах добродушную ухмылку, сообщает:

— К утру будет дождь.

— Дождь? Какой там дождь! Небо ясное, ни облачка, тихо, даже ветка над головой не кольхнется.

— А вы не заметили, какая нынче была заря?

Заря? В самом деле, какая же была нынче заря? Увлечшись сбором хвороста, вы и не увидели, как она догорела...

— Розовая... — отвечаете, припомнив, что в книжках зори называют розовыми, румяными...

— Верно, розовая, — соглашается собеседник. — Даже малиновая. Это и есть к дождю. А бывают зори золотистые, светлые. Это погожие.

Оказывается, и комары не зря нынче так отчаянно кусались, и лягушки недаром скандал устроили — все это, как пояснил старый рыболов, к ненастью. И когда он раскрывает одну приметку за другой, забываешь о предстоящих неприятностях и только удивляешься познаниям этого спокойного, рассудительного человека. Да и какая там неприятность — майский дождь!

Первая ночь на охапке свежей травы, когда, закинув руки за голову, лежишь, прислушиваешься к какой-то особенной усталости в теле, когда вовсе не хочется спать, а только одно желание — не шевелиться и смотреть удивленными глазами в бездонную высь.

Первая встреча с бывалым рыболовом, которому искренне завидуешь во всем — манере неторопливого разговора, умению угадывать породы рыб по одному только всплеску, способности спать крепко в то время, когда вы долго не можете уснуть.

Первый восход солнца, встреченный над сторожками поплавокками... Первая добыча — упругая, пружинистая сила в ваших дрожащих руках.

Все, все это никогда не забудется! Даже если обстоятельства надолго разлучат вас с рекой, то и через год, и через два, и много лет спустя вас снова властно позовет к себе рыбачья тропа. Не напоминает ли это тоску прирученной птицы, увидевшей в небе косяк своих вечно кочующих сородичей?!

Но бывает, в спину тому же рыболову, что прошел мимо вашего дома, кто-нибудь пустит:

— Рыбку удим — через год жарить будем...

Честное слово, жаль такого остряка. Он, верно, из тех, кто ни разу за свою жизнь не видел восхода солнца, кто после укуса комара спешит поставить себе градусник, а отдых признает только в Сочи...

Пусть такой насмешник скажет, какие из тысячи трехсот видов растений нашей курской природы он знает по имени. Или пусть сорвет пучок обыкновенной луговой травы и назовет хотя бы одно знакомое ему растение. И мы вместе посмеемся над его невежеством.

Не понимают рыбака и сердобольные домочадцы, считают его чуть ли не мучеником. Особенно если вернувшийся после долгих скитаний рыбак вытряхнет из рюкзака пару-тройку неказистых плотвичек. Сколько жалости в глазах домашних!

— Посмотри на себя. — выговаривают ему. — Весь в колючках, забрызган грязью, усталый. Стоило из-за этих несчастных рыбешек так изнурять себя? Хотя бы улов был порядочный, а то так, мелюзга!

И начнут подсчитывать себестоимость каждой пойманной плотвички. Проезд в автобусе до вокзала — девять копеек. Проезд из Курска до Лукашевки в два конца — рубль двадцать. Выкинуто в реку пареной пшеницы, оборвано лесы, потеряно поплавков, крючков, грузил... Даже приплюсуют к этому износ обуви и одежды. И выйдет, что каждая стограммовая плотвичка обходится втрое дороже семги.

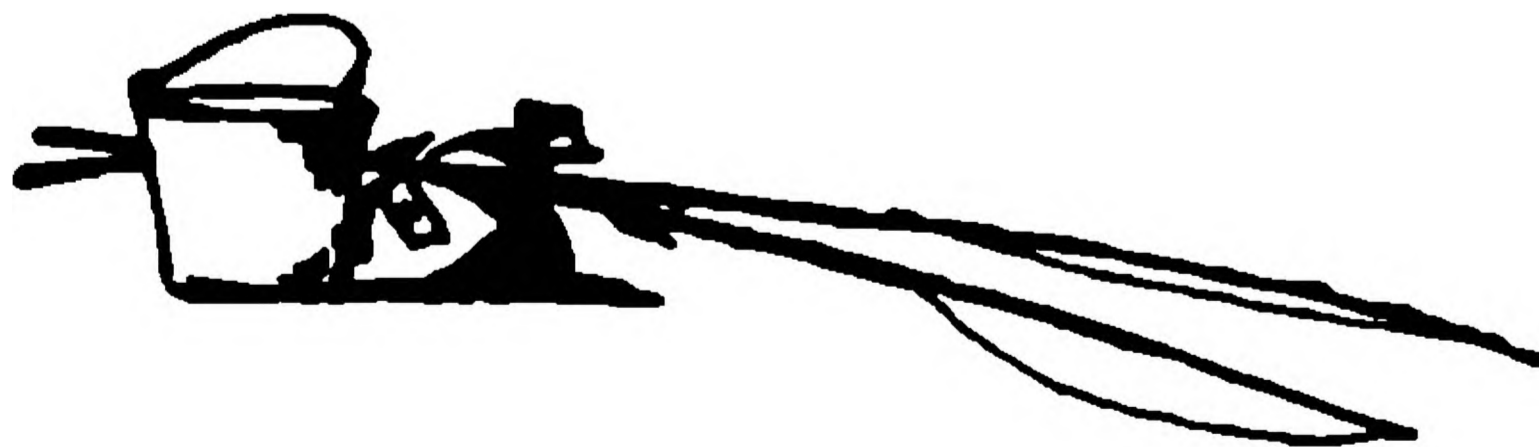
Ну как объяснить таким математикам, что рыболов всегда в барыше?

Природа сурова только с теми, кто закрывает глаза на ее простую, мудрую и целебную красоту. Но придите к ней доверчиво, как школьник приходит к учителю, и она раскроет перед вами удивительные страницы своих учебников. Она быстро стирает городскую неловкость новичка. У более опытных рыболовов, встреченных на береговой тропе, он очень скоро обучится азбуке кочевой жизни, заразится удивительным энтузиазмом этих землепроходцев-следопытов, гусяров природы, от неутомимых походов по родному краю станет духовно крепче и богаче, а телом сильнее и здоровей. И кто знает, может быть, эта самая тропа послужит ему началом большого пути в серьезной работе, истоком будущей профессии преобразователя природы.

2

Рыбачьей тропе, говоря словами поэта, все возрасты покорны. Кого только ни встретишь на ее извилинах!

Вот в прибрежных лозниковых джунглях пробираются дочерна загорелые ребята. Заросли настолько густы, что на влажную еще с весны тропинку лишь кое-где пробиваются солнечные зайчики. И не будь у этих чернокожих вихров, выцветших от воды и солнца, не неси они длинных снизок обыкновенных пескарей и уклек, можно подумать, что тропа завела нас на берега Конго.



— Андрейка! Андрей! — загорланил «африканец» оставшему товарищу. — Где ты?

— Иду!

На упругой, будто высланной резиной тропе дробно зашлепали босые ноги, а из-под куста выскочил Андрей — полосатый от свежих царапин, с улыбкой, от которой шевелились облупленные уши. В одной руке он держал, как копье, обломок орехового удилища, другой сжимал горло большого, судорожно обвинившего ее до самого плеча ужа.

Ребята окружили Андрея и с минуту молча разглядывали его трофей. Из крепко зажатого кулака выглядывала усмехающаяся голова с холодными бусинками глаз. Нервно вздрагивал кончик хвоста, задевая ухо мальчика.

— Здорово жмет? — спросил один.

— А, чепуха! — сплюнул Андрейка.

Мальчики размотали живую пружину. Андрей, бросив удилище, схватил ужа другой рукой за хвост и растянул его во всю длину.

— С метр будет! — деловито оценил он, размахнулся и швырнул ужа в кусты...

Это уже «просоленные», бывалые рыболовы. Они возвращаются домой с охалками лилий, длинные стебли которых небрежно волочатся по городскому тротуару, оставляя мокрые полосы.

— Где нарвали? — ахают встречные.

— А там, — встряхивает вихрами Андрейка, не останавливаясь.

В другой раз они возвращаются с мокрыми рубахами, набитыми раками. Раки шуршат, цепляют клещами за материю, сердито бьют хвостами.

Или несут картузы, полные дикой малины, и прохожие опять удивляются:

— И где растет такая прелесть?

Мне однажды довелось иметь в проводниках такого голопятого следопыта. Я брел правым берегом Сейма, где-то неподалеку от глубокого рва, по которому спускали воду из Линева озера. Оттуда, из-за двухметровой стены камышей, росших вперемежку с крапивой, доносились ленивые вздохи локомотива торфяного пресса. Мне надо было перебраться на другую сторону реки, но лезть в воду не хотелось, а потому решил подождать какую-нибудь лодку.

Стоял знойный августовский полдень. Неистово стрекотали кузнечики, разомлевшие мята и чабрец источали густой аптечный запах. Я растянулся в тени молодой ракитки, удобно пристроив голову на рюкзак. И, разумеется, задремал.

Проснулся от ощущения, что рядом кто-то стоит. Приоткрыл глаза и увидел бронзовый живот, светившийся между подолом куцей рубашонки и поясом штанов. От неожиданности я очнулся окончательно и теперь мог разглядеть всего незнакомца — с ног до головы. Белобрысый мальчонка лет девяти уставился на мой спин-

нинг. Под мышкой он держал ковригу черного хлеба, от которой ломал корки и клал в рот.

Я осторожно кашлянул, и мальчонка, точно кузнечик, отпрыгнул в сторону.

— Нет ли тут поблизости лодки? — спросил я, садясь. — Мне надо на ту сторону...

— Нету. — не сразу ответил он.

— А как же ты сюда перебрался?

Мальчонка хмыкнул носом, переложил ковригу под другую руку, но ничего не сказал.

— Ты ведь на лодке сюда переехал?

— Не... Мы так ходим. Тут мелко...

— А куда хлеб несешь?

— Домой. — мотнул он головой в сторону реки. — В Шатуре покупаем.

— В Шатуре? — удивился я. Я знаю, что под Москвой есть крупный Шатурский торфяной промысел, а местные жители, видно, называют этим словом просто добычу торфа.

— Угу, в Шатуре. — подтвердил паренек.

— А где же ваша Шатура?

— Вона, за камышом. Торф там режут, а батя на молокобиле работает.

Я невольно рассмеялся вывернутому наизнанку слову.

Мальчишка испуганно замер и вдруг засмеялся тоже — доверчиво и открыто. После этого мы как-то сразу сблизились. Парнишка, подойдя к спиннингу, присел на корточки.

— Магази́нская! — с уважением сказал он. И, желая усыпить зависть, добавил: — Мне батя тоже сделает. Ну, пойдем, что ли? — решительно поднялся он. — Штанов не снимай, тут мелко.

Мой маленький проводник, положив ковригу на голову, зашлепал по воде. Я пошел следом. Течение было быстрое, но вода пока доставала только до колен. Пройдя шагов двадцать, парнишка остановился.

— Держись за мной. — предупредил он. — тут вот справа яма.

Затем он круто повернул вдоль реки вверх по течению. Намокшая рубаха вздулась пузырем, сделав мальчишку похожим на большой красный поплавок. Неожиданно белобрысая голова с ковригой исчезла под водой и тотчас вынырнула, плюясь и фыркая.

— Опять яма... Поди, хлеб намок... мамка ругать будет...

Отсюда мы снова повернули к противоположному берегу, вышли на песчаный остров, прошли его и уже там, перебравшись через неширокую, всю в зарослях рдеста протоку, вылезли на противоположный берег.

— Не испугался? — спросил я.

Мальчуган, как и в первый раз, хмыкнул носом:

— Не-е! Мы привычные... За хлебом частенько в Шатуру ходим... Вот только жалко, крючков не продают в ихнем магазине.

Я набрал в рюкзаке пригоршню самых разнообразных крючков и насыпал в мокрый подол моему отважному проводнику. А через секунду, перепрыгивая через кусты колючки, он мчался по луку к селу.

3

Впрочем, нигде в таком скоплении и в такой разномастности не встретишь рыболовов, как в крошечной, прокуренной лавчонке под довольно громкой вывеской: «Магазин "Охотник"». Здесь всегда полно, с утра до вечера. Присядьте где-нибудь в уголке на ящик и наблюдайте за посетителями. Вот именно, «посетителями», а не «покупателями», потому что идут они сюда подчас вовсе не за покупкой. Если дело движется к весне, то у путного рыболова уже давно все куплено-перекуплено. А бредет он в магазин так просто: посмотреть, послушать, поговорить...

В узенькую дверцу протискивается грузный мужчина с седыми отвисшими усами и в черной каракулевой папахе пирожком. Присматриваясь сквозь зыбкое облако табачного дыма к собравшейся публике, он осторожно, бочком проталкивается к прилавку, достает очки и направляет их поочередно на коробки с крючками, поплавками и прочей незамысловатой рыбацкой утварью. Рассматривает он ее с таким серьезным и озабоченным видом, будто выбирает в ювелирном магазине необыкновенный подарок.

— Поддай-ка, батенька, вон тот крючок, — обращается он к продавцу.

На стекло витрины гулко, как подковы, сыплются вороненые крючки величиной с загнутый мизинец. Человек в папахе выбирает из вороха с виду одинаковых крючков один какой-то особенный, долго вертит его перед очками, царапает жалом ноготь большого пальца и наконец кладет обратно.

— А покрепче нет?

— Куда уж крепче, — пожимает плечами продавец. — На подъемный кран годится. Я прошлый раз на такой крючок, знаете, что вытащил?

— Э, батенька, не рассказывай. Я-то уж пробовал...

— Нет, вы послушайте. Потянул — чувствую, что-то пуда на два. И знаете что? Ведро, наполовину песком засыпанное. А вы говорите...

— Ну, ведро, может быть, груз мертвый.

— На сомика, стало быть, готовитесь? — встревает в разговор узкоплечий рыжий рыбак, выпуская изо рта вместе со словами зеленые клубы самосада. — Такой крюк, ежели на добрую рыбину поставить, оно, верно, не выдержит. В два счета разогнет. Со мною, знаете, была история...

Рыжий смачно заплевывает сигарку и тянет седоусого за рукав к ящику. Изловчась начать «историю», он округляет белесые глаза и некоторое время ошалело смотрит на собеседника.

— Работаю я как-то в кузнице, бестарки под хлеб ремонтирую. А кузница наша в конце деревни, на самом берегу пруда стояла. Пруд залили добрый, гектаров на пятьдесят. Пустили в него карпа, с верхов всякая прочая рыба нашла. Баловать никому не разрешали. Одно слово, завелась охота. Так вот, ремонтирую я бестарки. Влетает в кузницу Меланья, моя соседка, баба суматошная, бестолковая. Ноги в иле, подол под пояс подоткнут, бельмы бегают. А тут еще с перепуту на горячую ось голой пяткой наступила. Ну и вовсе скаженная, да и только! У меня даже молот на замахе остался — напугала, окаянная! Никак, думаю, хата загорелась. «Ты что?» — кричу я. «Ох, Митрич, страх-то какой», — присела она на ящик с углем, а сама за обожженную пятку схватилась. «Да что такое?» — осерчал я. «В ставку-то нашем водяной завелся!» — «Ну, выдумала! Какой там тебе водяной!» — «Ей-богу, не вру. Сама видела. Хотела я бочки выкатить, а между ними черная рожа из воды смотрит. Я на нее гляжу, а рожа — на меня. Глаза злющие, синим огнем светятся, а губы белые, как у мертвеца, и шевелятся, будто шепчут».

— Сом! — оживился грузный мужчина и от удовольствия заерзал на ящике.

— Я тоже догадался, что сом, — перехватил рыжий. — Говорю Меланье: «А ну, показывай, где видела!» — «Нет уж, ты сам иди гляди, а я и так страху натерпелась».

Взял пожарный багор, пошел к бочкам. И верно, этакая колода вильнула от бочек, даже брюхо мраморное показалось.

— Ушел? — досадливо щелкнул языком грузный мужчина.

— Вглубь подался. Но только решил я его изловить. Свил шнур покрепче, привязал вот такой крюк, что вы, знаете, сейчас смотрите, ну, а вместо поплавок бочонок прикрепил. Не пожалел цыпленка, общипал, зажарил — самая что ни есть сомовая нажива. Снарядил все это и поставил между бочками. Утром вышел, а моего бочонка и след простыл.

Подъезжаю на лодке, а сам, знаете, остерегаюсь: вертанет еще в ярости хвостом — быть греху. Зацепил багром за кольцо в днище — не поддается, вроде как привязан к чему намертво. И тут только я разглядел, что бочонок плотно в коряге засел — там раньше ракиты росли, их спилили, а развилок в воде остался.

— Ну, а сом-то как? — спросил собеседник.

— А никак! — плюнул сердито рыжий. — Ушел, шельма. Едва только бочонок затесался между стволами, он рванул, и крючок разогнулся.

— Экая досада! — искренне огорчился собеседник. — Да ты-то, батенька, маленький, что ли? Надо было в кузнице покрепче выловить. Я ж и говорю, вот эти крючки — одна видимость.

— Об этом я потом догадался, — сказал рыжий, вдруг раскати-сто и басовито расхохотавшись. — Догадался, знаете... Только в то лето ловить не пришлось. Вскоре похолодало, и сом залез на зиму.

А в мае я его все-таки взял, выковал из ребра косы крюк — и взял. Вот это, знаете, крюк! Вы адресок черкните, я вам посылочку с такими крюками вышлю. Продукция — первый сорт!

На свете стало двумя знакомыми рыбаками больше.

И такие знакомства завязываются в лавчонке каждый день, каждый час. Один посоветовал, как крепче затянуть на леске узел, и дружба от такого совета тоже завязывается накрепко. Другой дал рецепт какой-то неотразимой приманки — пареный горох с анисовым маслом. Третий пригласил на уловистое место, куда еще якобы не ступала нога удильщика и где ходят непуганые лещи, каждый размером с чайный поднос. И все это от души, с щедрым желанием помочь ближнему.

Походите перед открытием сезона в эту лавчонку, в этот «клуб знаменитых рыболовов», послушайте нескончаемые рассказы и советы — и вы словно специальный институт закончите: такое богатство опыта, такая уйма сведений, которые не приобретешь и за долгие годы, если пробовать все открывать самому. А главное, с первым же выходом на рыбачью тропу у вас будут уже знакомые спутники, в большинстве бывалые, знающие толк в своем увлекательнейшем занятии.

Пойдемте на рыбачью тропу, право, не пожалее!

4

Крепкий утренник прихватил в камышах воду, и теперь там целый день похрустывает и позванивает на волне молодой ледок.

Уже второе воскресенье не показывается на приваде мой сосед Анисим Петрович. Человек он с резонем: попусту торчать над поплавками не станет. А уж коли старый лещатник смотал удочки — стало быть, конец летнему сезону.

Я и сам знаю, что клева теперь не видать до весны. Рыба сбилась в стаи, ушла с привычных летних жировок в глубокие омуты. В ямах теперь полно, а от них на много километров вверх и вниз по течению пусто.

Один мой приятель, днепровский водолаз, рассказывал, как он однажды зимой набрел на косяк леща. «Иду. — говорит, — свечу фонариком, разыскиваю сорвавшийся с лодки мотор. Вдруг — что такое? Впереди дно будто бульжником вымощено. Вгляделся — рыба! Лещ! Хребтина к хребтине! Крупная к крупной! Мелкая к мелкой! Головами в одну сторону. Уложена аккуратно, по сортам, как в гастрономе. Посветил фонариком — конца косяку не видно. Может, тысяч десять, а то и больше. Иду прямо на косяк. А он и не думает уходить. Только самые ближние лещи чуть потеснились, уступая проход. Приглядел одного покрупнее, нацелился, хотел схватить. Не тут-то было! Скользкий, гад! Только по хребту и погладил...»

Да, делать нечего!

Я уже начал было сматывать удочки, как с обрыва спустился какой-то дедина. Вижу, не из рыболовов. Без снастей. Через плечо противогазная сумка. Поверх кепки мешок в виде капюшона. Мрачно как-то оглядел меня, присел за спиной на корточки.

— Курить есть?

Я протянул пачку папирос.

Он отсыпал несколько штук, одну сунул в рот, остальные закинул под кепку.

— Значит, удим?

Я промолчал.

Парень курил и сплевывал себе на сапоги. Он больше ни о чем не спрашивал.

Я стал сматывать удочки. Сложил снасти в лодку и оттолкнулся от берега. Лодка легко побежала вниз по течению. Парень все еще сидел на корточках, провожая меня из-под нахлобученного мешка долгим неприятным взглядом.

Плес скрылся за поворотом. По обе стороны стоял глухой поемный лес: старые замшелые ракиты, тальники, непролазные заросли ежевики.

Кругом — ни души. Лишь иногда попадались брошенные прищавы, шалашики с провалившимися боками или в крутом берегу темнели квадратные дыры землянок.

Рыболовы покинули насиженные, обжитые места до будущей весны. Рыбачья тропа опустела.

Вдруг позади что-то тяжело грохнуло. По гулкому пустому лесу заметалось эхо. Из зарослей репейника выпорхнула стайка щеглов. Испуганно пересвистываясь, она неровным — вверх — вниз — полетом перемахнула реку и скрылась на той стороне. Что это? Упало подгнившее дерево? Обрушилась в воду земляная глыба? Что-то не то, не очень похоже...

Я придержал лодку, вслушиваясь. Потом, встревоженный подозрением, развернулся и поплыл обратно. Река наша быстрая, и гнать лодку против течения — дело нелегкое. Чтобы не сносило водой, я прижимал лодку к отмелям и отталкивался ото дна веслом. Так быстрее. И все же поднимался вверх уже более получаса.

Вот и знакомый поворот. За ним широкий плес, на котором мы с Анисимом Петровичем рыбачили все лето.

Над рекой кружило воронье. Серые лохматые птицы, неуклюже махая крыльями, повисали над самой водой, затем быстро взмывали вверх и летели к ракитам.

Я подплыл к тому месту, над которым кружили птицы. По реке широкой лентой плыла рыба молодь — годовалые подлещики. Их несло, как мелкую щепу. Лишь некоторые рыбешки пытались встать на плавники, ошатело кружили на месте и выбрасывались из воды.

Лодка шла прямо по рыбной дороге. Лещи пошли все крупнее и крупнее. Совсем рядом пронесло не менее чем десятифунтовую ры-

бину. Лещ плыл плашмя. Грудной плавник судорожно торчал из воды. Жаберная крышка вяло приподымалась и опускалась, выдавливая на бронзовую чешую жидкую струйку крови.

Я причалил к своей приваде и сошел на берег. Под старой нависшей ракитой в бурой, взмученной взрывом суводи кружились сорванные ветки. Толстый сук, белея свежим надломом, повис над водой на ремешке коры. В ветвях ракиты запутались мокрые водоросли. Береговая кромка истоптана следами резиновых сапог, усыпана рыбной мелочью, вдавленной в грязь. Браконьер, видно, орудовал сачком, выхватывал все, что попадет. Потом стал отбирать самых крупных. Складывать в кучу было некогда, рыбу сносило течением, и он разбросал добычу по всему берегу. А ту, до которой не мог дотянуться, река уносила — великое множество загубленной рыбы.

Негодяй угодил взрывчаткой в самую яму. Я прошел еще раз по берегу, вглядываясь в следы. В кустах лозняка тускло поблескивал ворох рыбы, наспех и небрежно притрушенный сухими листьями. Значит, не все в мешок полезло. Оставил. Но я-то уж знал: сюда он больше не вернется! Хитрый и расчетливый вор действует по-другому. А здесь был жадный и наглый громила. Он даже не пытался замести следы.

Я поднялся на обрыв, по краю которого петляет рыбацья тропинка. На сырой глине четко отпечатались следы сапог, те самые, «елочкой», которые я видел у воды. Браконьер не рискнет идти торной дорогой: побоится встретить рыболова. Значит, свернет на первую же лесную тропку, пробитую коровами. И верно: следы повели в заросли ежевики. На вязкой колчеватой стежке, изрытой копытами, свежие оттиски все тех же «елочек». Шаг нетвердый, ноги разъезжались на грязи под тяжестью ноши.

Я прибавил ходу. Почти бежал. Чтобы не вязнуть в грязи, пробирался краем тропинки. Ветки хлестали по лицу, царапали в кровь руки. И вдруг, наступив на что-то скользкое, упал. Опять рыба! Целый ворох отборных лещей. Не рассчитал, пожадничал, ворюга! Высыпал из мешка, чтобы легче бежать.

Некоторое время я еще шел вдоль тропинки. Но следы больше не появлялись. Значит, полез напролом — лесной чащобой. Где-то теперь пробирается, трусливо озираясь, унося на дне мешка какой-нибудь десяток рыб, десяток из сотен, а может, тысяч, что подняла со дна взрывчатка.

Думаю, что я не напрасно рассказал об этом диком случае.

К сожалению, на рыбацьей тропе все еще встречаются такие выродки. Рыскают они днем и ночью, во все времена года. Иногда подсаживаются к гостеприимному рыбацьему костру, прикуривают от его уголька папиросу, пробуют радушно предложенную уху. А за пазухой у них... взрывчатка, в сумке острога, мелкаячестый бредень, отравы, закатанная в хлеб... Браконьер — враг природы.

враг честного племени рыболовов, он жаден и беспощаден. Недрогнувшей рукой вонзит острогу в спину щуки, выплывшей на мелководье выметать икру, пустит заряд дроби в зазевавшегося голавля. Вычерпнет мелкочейстой сетью всю мелочь, будет потирать руки при виде всплывающей на поверхность рыбы, отравленной ядовитой приманкой.

Держи ухо остро, товарищ! Иначе вот такой, прокравшись на рыбацью тропу, может натворить немало мерзостей, надолго лишит тебя тихой рыбацкой радости, в поисках которой ты проходишь многие километры, мокнешь под дождем и коротаешь бессонные ночи у дымного костерка.

Рыбачья тропа — только для чистых душой!

ПРОПАВШАЯ ЗАРЯ

1

Обо всем, что случилось в тот день с Димкой и его приятелем Коськой, я долго никому не рассказывал, потому что, если бы это дошло до их матерей, ребятам здорово влетело бы.

Но теперь, раскрывая их тайну, я думаю, что за давностью проступка мои герои не понесут наказания. Я заранее обещаю им вести свой рассказ правдиво, без малейшего желания утяжелить их вину перед родителями. Я ведь и сам заядлый рыболов и отлично понимаю, что заставило ребят решиться на такое.

Димка и Коська живут в Рышковском поселке резинщиков. От их дома до Сейма рукой подать. Там, на реке, и пропадали они все лето с удочками, таская незатейливых полупрозрачных пескарей. Рыбешка клевала исправно, ловля была веселая, полная рыболовного азарта, но не приносящая ребятам славы. А как хотелось вместо снизки мелочи пронести по поселку настоящую добычу, чтобы все останавливались и ахали: «Вот это рыбина!», а поселковые мальчишки зеленели бы от зависти.

Однажды, сердито срывая с крючка крошечного безжизненного пескаришку, Димка предложил:

— Давай махнем в Лукашевку, а? Вот где рыбы!

И он рассказал, как они с отцом ездили туда под старую мельницу.

— Мы тогда, знаешь, какого голавлищу поймали? Во-о! — Димка выразительно отмерил руками в воздухе величину пойманного голавля. — Чешуя на нем больше трехкопеечной монеты. А всяких окуней, плотвы — видимо-невидимо. Поедем?

— Одни? — робко спросил Коська, который дальше города не бывал.

— Одни, конечно. Дорогу я знаю.

— Я бы поехал. — без всякого энтузиазма сказал Коська. — Только мамка не пустит.

— Мамка не пустит?! Что мы, первый раз на реке ночуем?

— Но это ж мы на своей речке.

— А почему она узнает, на какой? Скажем, что собираемся на свою, а сами махнем в Лукашевку.

Коська тоскливо посмотрел в лицо друга. Это малодушие озлило Димку. Он отпустил Коськин рукав, который все время дергал, пока уговаривал товарища.

— Ну и лови своих селявок! А я поеду! Пусть тебя тогда съедят завидки.

И желая, чтобы «завидки съели» Коську немедленно, Димка стал живописать прелести поездки к далекой и таинственной мельнице. Как он сядет в вагон поезда возле самого окна, а дежурный по станции в красной фуражке засвистит так пронзительно, что заложит уши. И паровоз ответит ему протяжным веселым гудком. Вагон вздрогнет, ускоряя бег, помчится вперед мимо стрелок, товарных платформ и складов, мимо папиного завода.

Покуда Коська будет таскать своих пескаришек, он сойдет на станции и зашагает лугом к реке, туда, где старинной башней возвышается мельница. Мельница от старости накренилась. Бревенчатые стены поросли зеленым мхом. Ночью под ее сводами кричат сычи. Но Димка нисколько их не боится. Он проберется сквозь кусты лозняка к тому месту, где некогда была плотина. От нее теперь остались только черные сваи, обглоданные весенними льдинами, да известковые камни, которые укрепляли берега. Здесь, на песчаной косе, у переката, он поставит и донки, и подпуска. А когда стемнеет, разожжет большой костер, набросает в угли картошек и, ворочая их палкой, будет ожидать поклевки. А потом, напившись горячего чаю, выроет в сухом песке ямку, настелет побольше тонких пружинистых лозин, свернет-ся на них калачиком и крепко заснет до утренней зари.

А на рассвете... А на рассвете дрожащими руками, полный сладкого ожидания, он начнет проверять снасти. И тогда к Димке придет слава настоящего рыболова, а Коська помрет от зависти.

Так Димка, отчаянный фантазер, выдумщик и коварный хитрец, выбил из-под Коськи последний клин, который все еще удерживал его от послушания. И ребята уговорились на другой же день отправиться к старой мельнице, за пятьдесят километров от дома.

2

На перронной площадке пригородной станции Рышково толпились пассажиры в ожидании рабочего поезда Курск — Льгов. Народу собралось много: была суббота. Возвращались на выходной в села железнодорожники и рабочие с заводов, ехали рыбаки, колхозники и много другого люда. Перрон пестрел корзинами, сумками, чемоданами, удочками, фикусами в деревянных кадках, стульями, тюками ваты — словом, всем тем, что ежедневно перевозится в пригородных поездах во всех направлениях.

Где-то пиликала гармошка и хриплый голос выкрикивал:

*Скоро поезд подойдет,
Красные колеса
Меня к морю повезет,
Ой, служить в матросах.*

Димка со связкой складных удочек и Коська, навьюченный объемистым рюкзаком, протиснулись к двери вокзала. В маленьком зале у билетной кассы нетерпеливо гудела разомлевшая от давки очередь. Возле нее суетился милиционер в красной фуражке. Он то и дело вытирал лицо платком и причитал:

— Граждане пассажиры! Не толпитесь. Все возьмете.

Димка передал удочки другу, приказал ему никуда не отлучаться и пристроился в самом хвосте очереди.

Впереди него стоял длинный сутулый дед с поперечной пилой, завернутой в мешковину. Димка тронул деда за рукав и, когда тот обернулся, спросил:

— Вы не знаете, сколько стоит билет до Лукашевки?

— Нет, внучек. А ты посмотри на таблицу. Читать умеешь?

— Умею.

Димка отыскал на черной доске, висевшей тут же на стене, слово «Лукашевка» и против него — «36 коп.». Затем достал из кармана деньги, перепачканные гипсом (по случаю поездки пришлось разбить копилку), и отсчитал на два билета.

Очередь продвигалась медленно. Затиснутый между дедом и толстой женщиной, жарко дышавшей ему в макушку, Димка взмок. Он ничего не видел, и поэтому стоять было очень скучно. В глаза лез табачный дым. Хотелось пить. Димка был уже совсем недалеко от кассы, когда в зал ворвался зычный паровозный свисток. Очередь смялась, люди повалили к дверям, увлекая за собой Димку. Он видел, как захлопнулось окошечко кассы. Димка отчаянно заработал локтями и вывалился из толпы прямо в ноги милиционеру.

— Граждане пассажиры! — выкрикивал тот. — Не все сразу. Все сядете! Мальчик, ты куда?

— Я к Коське, нам в Лукашевку надо...

— К какому такому Коське?

— Товарищ тут мой.

— Все сядете! — проговорил милиционер.

Коська, встревоженный долгой отлучкой друга, завидев Димку, красного, взъерошенного, радостно крикнул:

— Димка, я здесь! Взял билеты?

— Да, кукиш с маслом!

— А как же теперь?

— Айда за мной!

У вагонов, возле кондукторов, проверявших билеты, образовались очереди. Димка обошел кондуктора сзади и юркнул под буфера.

Вслед за ним, кряхтя под тяжестью рюкзака, пролез Коська. Очутившись на другой стороне, ребята вскарабкались по ступенькам в тамбур. Димка толкнул дверь и первым вошел в вагон.

— Уф! — выдохнул он, проводя по лбу кулаком, в котором все еще крепко сжимал влажные деньги.

3

Занять место у окна ребятам не удалось. Вагон оказался переполненным. Несмотря на открытые окна, в нем стояла банная духота. Недалеко от двери Димка увидел того самого деда, за которым занимал очередь в кассу.

«Не мы одни без билета, — подумал Димка. — Дед тоже. Вот и та женщина, что стояла позади». Это его немного успокоило.

Дед засунул свою пилу под лавку, достал кисет и неторопливо свернул толстую махорочную сигарку. Едкий дым расплылся по вагону, закачался зеленым пологом над головой.

— Мужики, не курили бы, — моляще попросил чей-то женский голос. — Дышать нечем.

— Пойдем в тамбур, — предложил Коська.

В тамбуре было тоже тесно, но зато не так жарко. Димка поставил удочки в угол, у выходной двери, сам стал смотреть в дверное оконце. Правда, вид у него был пока самый скучный. На соседнем пути стоял товарный поезд, и как раз против окна пришелся большой вагон, загородивший собой станцию. От нечего делать ребята принялись читать надписи на вагоне.

— Как это — «годен под хлеб»? — спросил Коська.

— Ну, значит, не дырявый.

— А что такое — тормоз Матросова?

Димка не знал, что это означает, но тоном опытного человека сказал:

— Какой-нибудь новый, автоматический.

Подошел железнодорожник в замасленной до блеска куртке, открыл какую-то крышечку под вагоном, заглянул внутрь. Потом молоточком на длинной рукоятке постучал по колесу и перешел к другому вагону. Звук его молоточка, постепенно затихая, долго еще долетал до ребят.

— Сейчас остукает колеса, и поезд тронется, — пояснил Димка.

И верно: сипло, срываясь на высоких нотах, прогудел паровоз. Товарный вагон сдвинулся, плавно поплыл мимо, перед окном появилась платформа с какой-то причудливой машиной, окрашенной в ярко-голубую краску. Платформа опять сменилась вагонами. Набирая ход, они мелькали все быстрее и быстрее, будто боялись отстать от ушедших вперед. Когда же снова появилась другая платформа, она промчалась с такой стремительностью, что ребята даже не успели разглядеть, что стояло на ней.

Эшелон внезапно оборвался. И тотчас вдогонку ему сорвались телеграфные столбы, станционные склады, деревья... Было видно, как люди, смешно переступая ногами, летели куда-то задом наперед. Тут только мальчики догадались, что товарный поезд никуда не уезжал, а это они мчались мимо эшелона, станционных построек, железнодорожных столбов...

Поезд вылетел за последнюю станционную стрелку и, словно обрадованный открывшимся просторам, затрубил во всю мощь. Димка и Коська, возбужденные быстрой ездой, припали к окну. До самого горизонта раскинулись поля. Желтеющие полосы хлебов сменялись сочными зелеными посевами, черной перепаханной землей.

Но вот уже вагон поравнялся с обширным полем, ударившим в глаза жарко-золотым цветом, настолько сильным, что хотелось зажмуриться.

— Дим, что это растет? — спросил Коська.

— Не знаю. — сознался Димка.

— То-то, что городские жители. Подсолнухов не признали. Небось семечки любите грызть? — За спиной стоял тот же сутулый дед. — А вон то — комбайн! — Дед ткнул в окно корявым, похожим на сосновый сук пальцем.

Подсолнечное поле сменилось пшеничным. По нему у самого края медленно ползла красивая громоздкая машина, непрерывно взмахивающая лопастями. Ребята видели, как лопасти аккуратно подминали под себя зыбкую пшеничную стену, а позади машины оставался ровный прокос.

За рулем, над самыми лопастями, сидел человек. Над его головой покачивался белый зонтик.

— Дедушка, а зачем на комбайне зонтик? — спросил Коська.

— Чтобы солнце в макушку не пекло. А, случись, дождик набегит — и от него укрытие человеку. В старину такой роскоши не знали. Бывало, выйдешь на рассвете с косой — и пошел махать. Целый день на ногах. Жара, сухота, в висках стучит. Потом изойдешь, пока десятину снимешь. Это только хлеб свалить. А еще обмолотить надо. А молотилка-то наша была — один смех: палка, привязанная ремнем к длинной ручке. Опять день-деньской машешь, аж хруст в спине. А комбайн сразу двадцать — тридцать дюжин косцов заткнуть за пояс может. Да столько же молотильщиков.

Комбайн уже давно исчез из виду. На смену хлебному полю накатилась похожая на тростниковые заросли плантация кукурузы, а словоохотливый дед все еще рассказывал про прежнее.

— Заболтался я с вами, — глянув в окно, вдруг махнул рукою он. — Кукуруза-то нашего колхоза! Сразу за нею и станция. Пойду пилу вытяну. А то народ повалит — не пробьешься.

Вагон закрипел тормозами, под полом что-то зашипело, будто кто плеснул воды на раскалившиеся в стремительном беге колеса.

Из коридора, суетясь, повалили пассажиры. Держа пилу над головой, к выходу протиснулся дед.

— Удачливой вам охоты, хлопчики, — кивнул он ребятам на прощанье. — Через одну станцию вам сходить. Это вот, где я живу. — Дьяконово будет. Потом Дичня. А следом и ваша Лукашевка. Знатные места для рыбалки!

4

И снова в окне мелькали полные всяких интересных неожиданностей картины. Поезд мчался то сквозь темно-зеленый коридор лесопосадки, и клубы пара рвались в клочья о щетину придорожных елок, то взлетал на высокую насыпь, откуда открывались взору просторы полей, то гулко проносился по мостику, повисшему над серебристой прожилкой ручья, блеснувшего где-то далеко внизу, среди зелени осок и лозняка.

Из окна поезда все казалось необыкновенным: и ветряки, что маячили на горизонте, и ниточки-дороги, уходившие куда-то в синюющую даль, и крошечные коровы, что паслись по склонам балок.

— Смотри, какие маленькие! — забыв обо всем, в восторге кричал Коська. — Совсем как в стране Лилипутии.

Иногда мимо проплывали деревушки, то далекие, то близкие. Но и те, что терялись за желтеющими посевами хлебов, и те, что жались к железной дороге, были тоже похожи на игрушечные. Каждый раз, когда поезд проносился вдоль деревенской улицы, навстречу ему опрометью бежали ребятишки. Они что-то кричали, размахивали руками, подбрасывали кепки. Но быстро мчавшаяся за окном земля тотчас уносила прочь стайку ребятишек, так и не добежавших до насыпи. Паровоз обдавал клубящимся паром соломенные кровли изб и выносил поезд за околицу.

...Стучат колеса, тонко звенят под ними рельсы, один за другим мелькают телеграфные столбы. Натянутые между ними проволоки линуют небо, как нотную бумагу. А ласточки, что рассыпались по проводам, какая выше, какая ниже, а то сразу несколько штук бок о бок, совсем похожи на музыкальные значки: точка и длинный хвостик и опять — точка и длинный хвостик. И если бы Димка умел, он наверняка прочитал бы песню о том, как чудесно жить на земле, мчаться по ней со скоростью ветра и видеть под собой всю ее ширь.

Но и без того ребята были в хорошем настроении. Димка с удовольствием объявил своему другу:

— Еще целый час будем ехать! Вот насмотримся в окно, а?

Коська в ответ только радостно хихикнул.

— Да ты что ж рюкзак не снимаешь? — участливо спросил Димка. — Такую тяжесть держать на плечах всю дорогу.

— А верно, тяжелый, — сознался Коська. — У меня даже шея занемела.

— Ну-ка, давай я помогу стащить его. Вот так! Бросай в угол. Только котелок не помни. Ты дома пообедал?

— Угу. То есть нет, так себе, перекусил.

— Ну ничего, доберемся до места — поужинаем на славу. Мать мне кусок колбасы положила, а я еще картошки сырой насыпал.

— А мне мама пирог с яблоками дала...

— С такими продуктами хоть на полюс поезжай. — засмеялся Димка и крепко хлопнул Коську по плечу.

5

К выходной двери прошла проводница в синем форменном платье с желтым флажком, свернутым трубочкой.

— Лукашевка! — объявила она. — Ну-ка, мальчики, отойдите от двери. Выход на эту сторону.

Ребята посторонились, и как только она открыла дверь, Димка, захватив удочки, юркнул под ее руку.

— Айда за мной! — крикнул он Коське.

Соскочив на перронную площадку, Димка обернулся, чтобы протянуть руку товарищу. Но вместо него на порожках показалась женщина с большим узлом.

— Паренек, помоги-ка мне сойти. — обратилась она к Димке.

Димка нехотя подставил спину под узел и оттащил его к зданию вокзала.

Из вагона, громыхая чемоданами и корзинами, сходили пассажиры. Коськи не было.

— Коська! Где ты там застрял?

— Да вот никак! — пропищал где-то в глубине тамбура Коська.

— Граждане! побыстрее! Стоянка маленькая. — объявил проводник. — Пропустите мальчика.

Наконец Коська пробился наружу и соскочил на землю. Димка тотчас принялся его отчитывать.

— А если бы поезд тронулся! Что тогда?

— Не мог я. Как начали толкаться! Чемоданищи, узлы. Прижали в угол — и никак.

Димка не стал дослушивать — зашагал через пути к поселку. Коська, все еще не успевший оправиться от суматохи, плелся следом.

Позади раздался гудок. Это трогался рабочий поезд.

Только теперь ребята увидели паровоз, который почти два часа мчал их вперед. Выдыхая фонтаны пара, черная громадина медленно прошла мимо. Массивные стальные дышла, эти неутомимые мускулы локомотива, легко, без усилий, вращали гигантские, в два Димкиных роста, красные колеса. А из будки высовывался, не под стать машине, совсем обыкновенный парень. Он весело покивал ребятам и потянул рычаг гудка. Поблескивая на солнце окнами, замелькали вагоны. Поезд ушел.

— А где рюкзак?

Коська царапнул себя за спину, и худое, остроносое лицо еще больше вытянулось, а веснушки побледнели.

— Где рюкзак, я спрашиваю? — зашипел Димка. Его маленькие черные глазки округлились, на приплюснутом носу выступили капельки пота. Коське, не на шутку струхнувшему, показалось, что у Димки даже уши прижались от злости. В эту минуту он походил на разъяренного хорька.

— Эх, как дал бы в конопатую рожу! — с тяжелым вздохом сказал Димка.

— Ну и бей! На, бей! — вдруг выпрямился Коська, доведенный до отчаяния, когда все становится безразличным. — Сам виноват, а на меня же орет.

— Я виноват? Я? — удивился Димка. — Смотрите на него: он вещи в поезде забыл, а я виноват. Ловко!

— А кто посоветовал снять с плеч рюкзак? — взвизгнул Коська. — Ты посоветовал: «Тяжело, снимай!» Вот тебе и снимай!

— Дурень! Я ж тебя пожалел. Всю дорогу как осел навьюченный.

— Не помер бы... Зато сейчас рюкзак с нами был бы. Ты думаешь, одному тебе досадно? Я, может, землю стал бы грызть...

— Ну и грызи. — буркнул Димка, усаживаясь на кучу старых шпал.

Коська тоже сел поодаль на траву.

Вечерело. Солнечные лучи покинули землю и задержались лишь на самых вершинах привокзальных тополей, куда с шумом и карканьем слетались на ночлег грачи. Да еще жарко пылало окно на башне водокачки. После ухода поезда на станции стало пустынно, безлюдно. Возле приземистого вокзала, окрашенного в сургучный цвет, взад и вперед прохаживался милиционер. Где-то в поселке жалобно тявкал щенок.

Потеря рюкзака надломил слабовольного Коську. Наступающие сумерки, вид незнакомой уютной станции, чужие прохожие, злой и тоже почти чужой Димка вызвали в нем чувство острого одиночества и жалости к себе. И в нем самом тоненько заскулил щенок. Эх, и зачем он дал уговорить себя?

Невеселые мысли роились в Димкиной голове. Было ясно: с пропажей рюкзака нечего и помышлять о ночевке на реке. Они оказались обезоруженными. В мешке была одежда, пища, катушки с лесками, коробка с крючками, котелок и даже мешок с наживкой. Словом, ловить не на что, укрыться ночью нечем, вскипятить чай нельзя. Остались одни удилища...

Прогромыхал товарный поезд, подняв за собой бумажки и пыль. Обжигающий уши рев паровоза взбудоражил грачей. Черными хлопьями они свалились куда-то за деревья.

— Пойдем на вокзал. — принял решение Димка.

6

Деньги, сэкономленные на билетах, оказались как нельзя кстати. Димка и Коська вошли в буфет. За стеклянной витриной на тарелочках лежали селедка, посыпанная луком, тоненькие листики ветчины с зеленым горохом, сыр и пирожки.

— Вам чего? — спросил ребят буфетчик, неторопливо перемывавший пивные кружки.

Димка еще не решил, что купить, но вопрос буфетчика заставил быстро сделать выбор:

— Нам пирожков.

— По паре?

— Давайте по паре.

Сесть за столик ребята не решались. Они вышли наружу, огляделись. За вокзалом под деревьями высились станционные погребя, поросшие травой. Ребята залезли на один из этих зеленых холмов и принялись за еду.

— Пирожок с рисом, — объявил Коська, изрядно проголодавшийся. — А в рюкзаке был с яблоками. Мамка положила. Вкусный!

— Теперь твой пирог уже кто-нибудь съел.

— Пирога не жалко. Вот мамкин плащ — за него влетит.

— А у меня две отцовские катушки. Лесы по сто метров. Да котелок. Да подпуска. Да телогрейка.

— Хороший подарок кому-то достанется, — подытожил Коська. — Попадется порядочному человеку — вернет. А если какому... ненадежному? Только порадуется.

— Да хоть и твой порядочный найдет — что он с ним делать будет? Ну, в милицию сдаст. А дальше что? Адреса-то на мешке не написано.

— Это верно, — согласился Коська. — Дим, а где спать будем?

— Поедем домой. Скоро должен обратный поезд идти. А про вещи скажем, что они упали в реку и утонули. Поругают, и все. Меня, может, и отлупят, — задумчиво прибавил он.

За деревьями показался человек. Он медленно приближался к погребу. Ребята узнали в нем того самого милиционера, что ходил по перрону.

— Что вы тут делаете? — спросил он.

— Мы ничего, — неуверенно ответил Димка.

— На погребя посторонним лазить воспрещается.

— Мы, товарищ милиционер, не знали. Сейчас уйдем.

Димка поднял удочки, лежавшие в траве.

— Рыбаки, значит? — спросил милиционер.

— Угу, — поспешно согласились ребята.

— А рыбка где?

— Да еще не ловили, — смущенно ответил Димка. — Только что приехали...

— Что же вы тогда на погребя прохлаждаетесь? Идите, пока не поздно, на реку. Поглядите, зорька-то какая!

Димка и сам видел, какая пропадала заря: тихая, теплая, ясная... Тяжело вздохнув, он сказал:

— Нельзя нам на реку. Мы сейчас обратно поедem.

— Это почему ж? Ничего не понимаю! — удивленно вздернул погоны милиционер. — Вы, мальцы, что-то путаете. Удочки-то ваши? Не стащили ли?

— Наши это удочки, — нахмурился Димка.

— Вот сведу вас в участок, там и выясним, кто вы такие и зачем по погребам лазаете.

У Коськи внутри опять заскулил щенок. Коська съежился, подбородок у него задрожал, рыжие веки заморгали.

— Чего нюнишь! — цыкнул на него Димка. И, косясь на серьезное лицо милиционера, угрюмо буркнул: — Рюкзак у нас уехал.

— Как уехал?

— Мы сошли с поезда, а он уехал...

— Забыли, значит...

— Да вот он забыл, — кивнул Димка на своего спутника.

— Вот так история! — Милиционер сдвинул фуражку с носа на затылок, открыв ребятам озабоченное лицо. — Надо было сразу ко мне. Так, мол, и так. На то я и на посту стою, чтоб никаких происшествий не допускать. Ну, пошли. Время терять нечего. Будем искать ваши вещи.

Милиционер спустился с крыши погреба. Ребята затрусили следом...

— Тебя, чернявый, как зовут?

— Димкой.

— А тебя?

— А меня Константином.

— Как же это ты, Константин, такого маху дал, а?

7

Милиционер ввел ребят в небольшую комнату рядом с билетными кассами. Комната была уставлена какими-то диковинными аппаратами, металлическими ящиками. Один из аппаратов непрерывно постукивал. Белокурая девушка в цветастой косынке на плечах разговаривала через трубку, не похожую на телефонную: «Вы слышите меня? Под погрузкой двенадцать четырехосных. Да, двенадцать. Теперь, Иван Никифорович, что делать со стеклом? Второй день как пришел вагон, а кооперация не разгружает. Да, уже оповещали!»

Выслушав служебное указание, девушка повернулась к вошедшим.

— Посторонним сюда нельзя! — глядя на удочки, категорически объявила она.

— Леночка, осмеливаюсь доложить: они еще несовершеннолетние.

— Что потеряли? — все так же резко спросила Леночка, переводя взгляд с удочек на заплаканные глаза Коськи.

— Рюкзак! — ответил милиционер.

— Какой такой рюкзак? — переспросила Леночка.

— Рюкзак, Леночка, есть такое немецкое слово. Вернее, два слова. Рюк — это спина. Зак — мешок. Получается: мешок, который носят на спине.

— Мы немецкий не учили. У нас в школе был английский. — быстро нашлась Леночка.

— Это — что охотники и рыболовы носят. Знаешь, с кожаными лямками.

— Товарищ Снопиков, говорите толком, зачем пришли.

— Я и говорю: у этих рыболовов пропал рюкзак. Забыли в рабочем поезде. Надо дать телеграмму. Отстукайте дежурному по станции Пены, чтобы снял вещи.

Леночка взглянула на часы и язвительно сказала:

— Пока вы тут объяснялись по-немецки, поезд уже ушел из Пен.

— Тогда телеграфируйте во Льгов. Давайте сначала набросаем черновик.

Леночка взяла карандаш.

— Пишите: «Дежурному Льгов-один пассажирская. Поезде тридцать первом забыт... забыт вещмешок...»

— Какой он с виду? — повернулся Снопиков к ребятам.

— Зеленый, из брезента, карманы обшиты желтой клеенкой. На одном кармане пуговица оторвана. — ответил Димка.

— Пишите: «зеленый, из брезента», ну и... хватит. А в каком вагоне вы ехали? — снова обратился милиционер к Димке.

— Где-то посередке.

— Пишите: «Осмотрите четвертый, пятый и шестой вагоны». Точка. Все.

Девушка включила аппарат и заговорила в трубку: «Курск... Курск... Курск... Примите срочную на Льгов: "Дежурному Льгов-один пассажирская. Поезде тридцать первом забыт вещмешок"».

Димка слушал, и при каждом Леночкином слове у него все больше пробуждалась надежда.

— Главное сделано! — удовлетворенно крикнул милиционер. — Не унывайте, ребятки. Во Льгове ваш рюкзак задержат.

— Если его не стащили в Пенах, — не удержалась Леночка, чтобы лишний раз не уколоть Снопикова.

Милиционер укоризненно покачал головой:

— Недоброе у вас сердце, Елена Никаноровна. Ребят надо поддерживать, чтобы духом не падали. А вы — «В Пенах стащили». А за телеграмму благодарим.

8

План Снопикова был таков. Рюкзак задержат во Льгове и отправят тем же поездом в Лукашевку. Здесь его вручат ребятам, они сядут в вагон и вернутся в Курск.

— А пока идите в вокзал и ожидайте поезда, — сказал Снопиков.

— Можно, мы на перроне побудем? — попросил Димка. — Здесь веселее. Будем на поезда глядеть.

— Только на пути не выбегайте.

Милиционер ушел.

Ребята присели на корточки у вокзальной стены.

Солнце закатилось за холмистое правобережье реки, прорезав неподвижно застывшие облака пучками золотистых лучей. Там, на берегу, разжигают свои вечерние костры рыболовы, чистят на уху первую добычу...

Над головами ребят из открытого окна доносился монотонный треск аппарата и слышался знакомый голос:

— Курск... Курск... Примите телеграмму...

— А что, если мы ехали в третьем или еще в каком другом вагоне, про который в телеграмме не сказано? — спросил Коська.

— Ну?

— А в телеграмме написано, чтобы осмотрели только три вагона: четвертый, пятый и шестой. Они пойдут посмотрят — нет рюкзака. А рюкзак где-нибудь рядом, в третьем вагоне лежит... или в седьмом.

Коськино замечание было дельным. В самом деле, как же тогда? Будут там из-за какого-то мешка весь поезд обыскивать. Вот если бы они могли попасть во Льгов. Они сразу бы припомнили свой вагон и отыскали вещи.

— Была б у нас своя «Победа». — будто угадав Димкины мысли, сказал Коська. — враз бы в этот самый Льгов слетали. А еще лучше — на ЗИМе. Тот по сто километров жмет.

— Сиди ты со своим ЗИМом. — огрызнулся Димка.

У входа на станцию со стороны Курска вскинул руку семафор. Подходил какой-то поезд. Его не было видно за придорожной посадкой, но белые клубы пара вырывались над деревьями, обозначая движение эшелона. Это оказался один паровоз без вагонов. Он остановился напротив вокзала, потный, разгоряченный. В его могучей груди что-то звенело, шипело.

Из будки вылез машинист в форменной фуражке, на которой поблескивала эмблема — ключ и молоток. Машинист подошел прямо к тому окну, под которым сидели Димка и Коська. Ребята немного подвинулись, чтобы пропустить машиниста. От него остро пахло мазутом и горелым углем.

— Привет, Елена Никаноровна! — осипшим басом поздоровался он.

— Здравствуйте, дядя Папа, — приветливо отозвалась Леночка.

— Подпишите путебочку. Во Льгов. Михаил не проезжал?

— С полчаса как прошел с девяносто четвертым. Возьмите вашу путежку.

— Спасибо, Елена Никаноровна.

Машинист быстро пробежал перрон, взобрался по лесенке в будку. Паровоз направился к водонаборному крану, который, как фантастическая птица, стоящая на одной ноге, маячил впереди на фоне вечерней зари.

— Пойдем посмотрим, как будут наливать.

На тендер паровоза вылез кочегар, прошел в самый его конец. Потом он схватил цепь, что свисала с хобота крана, с силой потянул на себя. Хобот повернулся, повис над тендером. Из будки спустился дядя Паша, подошел к крану и несколько раз повернул большой вентиль. В горле крана что-то засопело, захлюпало. Из хобота ударила тяжелая, брызгающая струя воды.

— Надо конька напоить! — улыбнулся ребятам машинист.

— Дяденька, возьмите нас с собой, — вдруг выпалил Димка давно одолевавшую его мысль.

— Это куда ж тебя взять? — не переставая улыбаться, спросил дядя Паша.

— Нам во Льгов надо. Мы рюкзак в рабочем поезде забыли. Боясь, пропадет.

Дядя Паша внимательно поглядел на ребят, что-то соображая. При этом он оттопырил нижнюю губу, отчего его седеющие, коротко подстриженные усы ошетинились ежиком.

— Надо дать телеграмму, — сказал он. — Постойте тут, я сбегаю к Елене Никаноровне. Она живо отстучает.

— Мы уже дали...

— Так чего ж вам еще? Сидите и ждите поезд. Приедет ваш рюкзак обратно жив и здоров.

— Это верно, — согласился Димка, — только мы точно не указали, в каком вагоне его искать. Так вагон помним, а номера не знаем.

— М-да! — задумчиво пробасил дядя Паша. — Могут и не найти. Ну вот что, ребята. Полезайте в будку. На месте, верно, все виднее. Главное, чтобы нам поспеть до отхода поезда. Опоздаем — и рюкзак ваш поедет обратно, а вы там останетесь... Ну как, Степан, хватит до Льгова? — спросил он кочегара.

— Доедем!

Дядя Паша подхватил Коську под мышки и посадил его в будку. Таким же путем он отправил туда Димку, затем легко взбежал сам.

— Пошел! — ни к кому не обращаясь, скомандовал он и потянул ручку над головой. Будка наполнилась оглушительным ревом.

9

Димка и Коська с любопытством осматривали будку. Она оказалась довольно просторной. Справа и слева, у боковых окон, были привинчены два мягких сиденья. В центре выступала задняя стенка котла с множеством отшлифованных до блеска ручек, какими-то трубками, циферблатами приборов, за стеклами которых чутко вздрагивали красные стрелки.

Дядя Паша сидел на правом сиденье и, покуривая папиросу, смотрел в окно. Его помощник, высокий, молчаливый, то и дело вскидывал взгляд на приборы.

— Степан, угольку.

С тендера, через заднюю дверь, осыпая куски угля, сполз кочегар с лопатой.

— Ну-ка, хлопчик, в сторонку! — сказал он.

Ребята посторонились. Степан откинул тяжелую, толстую дверь топки. Глаза больно резанул ослепительный свет, озарил ребят, прижавшихся в темном заднем углу. Орудя широким совком, Степан ловко забрасывал уголь в узкое отверстие. Он кидал не как попало, а то далеко вперед, то вбок, то на середину огнедышащей топки паровоза. Пламя шипело, темнело, застилалось желто-белым дымом и тут же прорывалось опять, с удвоенной яростью пожирая пищу. Заправив топку, Степан подкладкой кепки вытер лицо. За окном густо синело вечернее небо. В дальних деревнях засветились первые огоньки. Прошел встречный пассажирский поезд, и освещенные окна вагонов слились в огненную ленту.

Паровоз, часто бросая короткие гудки, будто отзываясь: «Иду-у!», мчался не останавливаясь. Внизу тяжело грохотали колеса, лязгающий пол ходил ходуном. Димку то и дело отталкивала качающаяся стена будки. Он пробовал не опираться на нее. Но устоять, не держась ни за что, было трудно. В окно врвался встречный ветер, отдувал рубашку, холодным языком лизал спину. От грохота, качки и рева гудка ребята оцепенели.

Вдруг лампочка, что висела под крышей, мигнула, потом снова зажглась и опять погасла.

— Что там такое? — посвечивая сигаркой, повернулся дядя Паша.

— Патрон растрепался. Надо новый. — ответил из темноты голос Степана.

Залязгал затвор печки, открылась дверца топки. На стенах будки закачались тени людей. Степан взял лопату, дотянулся ею до лампочки. Лампочка загорелась, но не успел он опустить лопату, как погасла снова.

— Ну-ка, хлопчик, который побойчее, иди сюда! — сказал Степан. Димка подошел.

— Вкрути-ка, братишка, лампочку потуже.

Кочегар поднял его под самый потолок. Димка ухватился одной рукой за патрон, а другой стал вкручивать лампочку. Лампочка не слушалась. Тогда он выкрутил ее совсем и завинтил снова. Лампочка стала на место и загорелась чуть вздрагивающим светом.

— Молодец, парены! — похвалил кочегар. — Ты не озяб?

— Холодовато... — признался Димка.

— Сейчас погреемся. Зови-ка своего дружка. Как его?

— Коськой зовут.

— Коська, иди-ка сюда.

Степан усадил ребят на деревянный ящик, покрытый ватной курткой, достал из кармана два кусочка сахара, потом принес две жестяные кружки и чайник. Налил не до краев, чтобы чай не расплескался, и передал ребятам.

— Дуйте, горячий, — предупредил он.

Пить было неловко. Кружки жгли губы, кипятки выплескивались, брызгая в нос. Ребята тянули осторожно и чувствовали, что согреваются.

Опять Степан открыл топку и, задержав перед ней занесенную лопату всего на один миг, будто прицеливаясь, бросал в бушующий огонь уголь. Поминутно подходил к приборам помощник дяди Паши. Сам же дядя Паша сидел на своем месте, изредка отдавая короткие приказания и потягивая рукоятку паровозного гудка.

Паровоз промчался под виадуком, вылетел на другую сторону насыпи. Справа и слева вдруг замелькали огни. Колеса застучали на стрелках. Мимо поплыли горбатые спины товарных вагонов. Размахивая фонарем, прошел железнодорожник.

— Вот и приехали, — сказал дядя Паша. Паровоз остановился напротив поезда.

Димка прочитал на одном из вагонов белую табличку: «Курск — Льгов». Возле поезда толпились люди: шла посадка.

— Это наш! — обрадованно крикнул он.

— Ваш, ваш, — сказал дядя Паша. — Ищите свой вагон и спросите у проводника про рюкзак.

Димка и Коська юркнули вниз по стремянке.

10

На перроне было светло и людно. Разместив свои вещи на багажных полках, высыпали пассажиры — кто покурить, кто попрощаться. Проехала багажная тележка с ящиками посылок и мешками бандеролей и писем.

Ребята шли от вагона к вагону.

— Давай зайдём в этот, — предложил Коська.

Обшарили тамбур, потом прошли по вагону, заглядывали под лавки и на полки. Но рюкзака не было. Перешли через тамбур в следующий. И там ничего не обнаружили.

Вдруг Димка скатился по порожкам на перрон. Коська видел, как он, лавируя между людьми, будто играя в кошки-мышки, опрометью бежал куда-то прочь от вагона. Ничего не понимая, Коська помчался следом. Он видел, как его друг догнал женщину с ведром в руке и тронул ее за рукав. Она обернулась. Коська узнал проводницу из вагона, в котором они ехали.

— А, рыболовы! — обрадованно воскликнула она. — Нашли, нашли ваш мешок. Пойдемте, я провожу вас в багажную контору. Начальник поезда распорядился сдать его туда.

— Как же это вы... забыли? — на ходу спрашивала проводница. — Всем хлопот задали! Только мы с поездом подъехали — дежурный по станции бежит, телеграммой размахивает. Поищите, говорит, зеленый брезентовый мешок. В Лукашевке кто-то забыл. Стала я у двери, осматриваю, что выносят. Когда же все вышли, поднялась в вагон да сразу в тамбуре и увидела...

Проводница толкнула дверь низкого помещения с зарешеченным окном.

— Входите. — позвала она ребят.

Контора больше походила на склад. Вдоль стен и посередине стояли, как в библиотеке, полки, только на них размещались не книги, а чемоданы, сумки, корзины с наклеенными бумажками.

У окна за столом под лампочкой сидел пожилой человек в железнодорожном кителе и роговых очках. Он вопросительно вскинул усталый взгляд на вошедших.

— Петр Степаныч, хозяева мешка нашлись. — сказала проводница, легонько подтолкнув к столу ребят. — Ну, я пойду, а то надо еще кипятку принести.

Железнодорожник в очках строго посмотрел на Димку, потом перевел взгляд на Коську. Мальчики смущенно опустили головы.

— Та-ак! — протянул Петр Степанович. — Паспорта есть?

Димка и Коська отрицательно закачали головами.

— Н-да... значит, беспаспортные... Как же это, молодые люди, выдам я вам вещи без документов?

Ребята молчали, переминаясь с ноги на ногу.

Димка хмуро косился на блестящую под лампочкой отполированную лысину Петра Степановича: «У, вредный!»

«Вредный» приподнялся из-за стола, задев головой железный абажур.

— Наверно, еще и без спроса уехали? А?

Дальше терпеть нудные вопросы очкастого не было сил, и Димка, набравшись смелости, сказал:

— Не верите? Тогда пропустите меня к полкам, и я найду свой мешок. Чужой человек не найдет.

Петр Степанович с живым интересом посмотрел на Димку.

— Да ты, я вижу, прыток!

Усмехаясь, он прошел в глубь склада и вернулся с рюкзаком.

— Ваш? — спросил он, бросив мешок на стол.

— Наш.

— Ну вот что: пишите заявление. Вот вам бумага и карандаш.

Димка присел на табурет, нерешительно положил перед собой лист бумаги. Он никогда не писал заявлений.

— Пиши. — приказал Петр Степанович. — «Начальнику станции Льгов-один». Написал? Теперь ниже посередине напиши: «Заявление». Вот так. Только слово «заявление» пишется через «я», а ты написал через «е». В каком классе учишься?

— В третий перешел. — буркнул Димка.

— По письму тройка?

— Угу.

— Видно, что троечник. — согласился Петр Степанович. — Ну ладно, поехали дальше. Теперь опиши все, как было. А вы, молодой человек. — обратился он к Коське. — присядьте пока.

Димка, покусав карандаш, начал писать. Сначала он каждую букву выводил, потому что боялся наделать ошибок. Но постепенно увлекся, оживился, вспоминая пережитые впечатления, что-то бормотал себе под нос, нетерпеливо ерзал на табурете и писал, уже не заботясь о красоте.

Петр Степанович сидел с закрытыми глазами. Наверно, задремал. Плядя на него, Коська неожиданно зевнул.

— Скоро ты? — тихонько шепнул он Димке. — Поезд уйдет!

— Ну-ка покажи, что ты написал? — протянул руку Петр Степанович.

Он уселся поудобнее, заскрипев стулом, поправил очки и стал читать вслух:

«Начальнику станции Льгов-один... Заявление.

Мы ехали ловить рыбу в Лукашевку. Я — Димка, и Коська — мой товарищ. Когда сходили, Коську прижали в тамбуре. Коська выскочил, а рюкзак остался. Поезд с ним уехал сюда. Мы сели на паровоз и догоняли поезд. Рюкзак нашелся, он лежит тут, на столе. Товарищ начальник, отдайте наш рюкзак».

— Н-да! — протянул Петр Степанович. — Все понятно. Теперь надо составить опись имущества. Пиши: «В рюкзаке находились нижеперечисленные вещи». Двоеточие. Теперь отступи на строчку и поставь цифру «один». И начинай перечислять свои вещи.

Димка написал:

1. Две катушки с лесками.
2. Котелок.
3. Моя телогрейка.
4. Коськин плащ.
5. Коробка от леденцов с крючками и грузилами.
6. Подпусков три штуки.
7. Сумочка с пареным горохом.
8. Мешочек с червями.
9. Колбаса в синей бумаге.
10. Десять сырых картошек, чтобы печь в костре.
11. Четыре булки.
12. Коськин пирог с яблоками.

— Все записал? — спросил Петр Степанович.

— Кажется, все.

— Тогда расписывайтесь.

Димка поставил свою фамилию и передал карандаш Коське.

— Вот и хорошо. Оно, конечно, формальность, но без нее в нашем деле нельзя. А больше для того, чтобы вы знали, на чем свинья хвост носит. Не будете в другой раз рот разевать.

И Петр Степанович мирно рассмеялся.

— А теперь сличим вашу опись, — сказал он, развязывая рюкзак.

Он взял мешок за углы и бесцеремонно вытряхнул содержимое на стол. Загремел котелок, банка с крючками, посыпались булки, картофелины покатались по полу. И все это вперемешку с песком, скопившимся на дне рюкзака за лето.

Димка и Коська, обрадованные, смотрели на весь этот ворох, как на бесценные сокровища. Они кинулись собирать раскатившуюся картошку, шарить по карманам рюкзака, ворошить на столе снаряжение. Все оказалось на месте.

— Фу, сколько у вас всякого хлама! — поморщился Петр Степанович, отмахиваясь от поднятой пыли. — Кто ж червей вместе с булками кладет? Посмотрим, что у вас за нажива.

Он запустил руку в мешочек, вытащил оттуда горстку земли и разгреб на широкой ладони.

— Да разве это черви? Их не только рыба, курица клевать побрезгует. Надо речного. Вот это червяк! Никогда на него не пробовали? А еще жмьшок надо с собой возить. Для привады.

Потом Петр Степанович осмотрел горох, зачем-то понюхал его и недовольно покрутил головой.

— Погодите, — сказал он, — вот кончу дежурство, половим на славу.

— Нам на поезд надо, — напомнил Димка.

— Э, браток! Поезд давно ушел. Я нарочно заставил вас писать заявление, чтобы вы ничего не заметили.

Димка и Коська переглянулись: как же, мол, теперь быть?

— Куда вам ночью-то ехать? — обняв за плечи ребят, сказал Петр Степанович. — Я бы вас все равно не пустил. Пойдемте лучше ко мне. Хорошенько выспитесь, на зорьке вместе половим, а там я вас и на поезд посажу.

Димка посмотрел на Петра Степановича и со стыдом подумал: «Вот те и вредный».

11

Димка слышал, что его кто-то тормозит, но никак не мог открыть глаза. Наконец он пришел в себя, приподнял голову. Рядом стоял Петр Степанович.

— Пора, рыбачки, вставать. Я оставлю вам фонарь, а сам пойду укладываться.

Димка осмотрелся. Рядом на сене, покрытом пестрой деревенской попонкой, посапывал Коська. На дощатых стенах сарайчика висели рыболовные снасти: удочки, вентера, старый разодранный сак. На маленьком столике в углу сарайчика горела «летучая мышь».

Димка кое-как растолкал друга, и ребята принялись одеваться.

Вошел Петр Степанович с кувшином молока, круглым пшеничным хлебом и стаканами. Все трое сели за стол.

За стеной хлопал крыльями и однотоно, пискляво пропел молодой петушок.

— Мой будильник, — улыбнулся Петр Степанович. — Специально купил.

На дворе было по-утреннему свежо. С близкой реки тянуло сыростью. Небо только чуть посветлело на востоке.

— Ничего не забыли? — спросил Петр Степанович, оглядев своих спутников.

— Не. — бодро, сквозь зубную дрожь ответили ребята.

Рыболовы спустились к берегу... Петр Степанович отыскал в камышах лодку, сложил в нее удочки, рюкзак и, гремя цепью, снял замок с причала. Отталкиваясь веслом, он погнал лодку вверх по течению. Димка и Коська, забравшись под плащ, в обнимку сидели на средней банке.

Когда выбрались за последние домики пригорода, причалили к берегу в мелком илистом затончике и наловили червей. Петр Степанович загребал ил большим черпаком с дырами, в которые стекала вода, вываливал грязь на берег, а ребята рылись в ней, отыскивая буро-зеленых речников. Под песчаным обрывом попалось штук пять миног.

— Теперь можно и порыбачить. — удовлетворенно крикнул железнодорожник.

Плыли еще минут пятнадцать. Лодка высоко несла свой острый нос, вода звонко шлепалась о днище. У берега шептались камыши, где-то бодро, радостно щебетала зорюшка. А небо все светлело, наливаясь чуть заметным румянцем.

Причалили недалеко от крутого поворота, где берег стеной вставал из самой воды, а река чернела бездонной глубиной. Быстро выгрузили снаряжение на берег и тотчас стали разматывать удочки. Петр Степанович дал ребятам по миноге — таков был скудный паек этой редкой наживы.

— Червей можно не жалеть. — прибавил он.

Димка выбрал самое крупное удище, прикрепил катушку, отпустил лесу с большим кованым крючком. Потом он нацепил миногу и, раскачав ее, швырнул с обрыва. Вслед за ним забросил свою донку и Коська. По опыту зная, что сидеть возле удищ, поставленных на живца, вовсе не обязательно, ребята с азартом принялись таскать окуней. Попадались добротные окуни. Они отчаянно топили поплавки, упорно сопротивлялись и были приятны глазу — красноперые, зеленобокие, с темными поперечными полосками.

— Ого, какой! — сдерживая восторг, шептал Коська. — Больше твоего.

Но в тот же миг поглавок на Димкиной удочке косо нырнул в глубину, и Димка, с усилием орудуя согнувшимся удищем, выволок на берег окуня шириной в ладонь.

— А у меня еще больше! — ликовал он.

— Что ж вы за удочками не следите? — крикнул Петр Степанович, который ловил поодаль с лодки. — Смотрите, как гнет.

Мальчики вскочили и наперегонки помчались к удилищам.

— Это на моей! — крикнул Коська.

— Нет, на моей.

Клюнуло на Коськиной. Он сильно подсек и потянул на себя. Леса не поддавалась.

— Кажется, зацепился крючок.

Но в то же мгновение катушка на удилище затрещала и стала раскручиваться. Натянутая леса, рассекая поверхность воды, уходила от берега.

— Не мешайте! Пусть идет! — крикнул Петр Степанович, который уже выбрался на берег и бежал на помощь. — Пусть походит на лесе!

Перепуганный Коська с трудом удерживал рвущееся из рук удилище. Возле него суетился Димка, не зная, что делать. Петр Степанович взял у Коськи удилище и велел сбегать за подсачком. Началась упорная борьба с крупной рыбой, какой — неизвестно, а она никак не хотела подняться на поверхность. Рыбина то стремительно уходила от берега, выбирая с катушки чуть ли не всю лесу, то останавливалась как вкопанная, и тогда казалось, что крючок зацепился за подводную сваю, то медленно, с остановками подавалась к берегу. Петр Степанович, ловко управляя лесой, не давал рыбе покоя, стараясь утомить ее.

Но вот при очередной потяжке недалеко от берега взметнулся фонтан брызг и на секунду показалась темная широкая спина.

— Так и знал: голавль! — воскликнул Петр Степанович.

Все это время, пока шла борьба, ребят от волнения трясло как в лихорадке. Они испуганно ахали, когда голавль с новой силой тянул лесу с катушки, и замирали в напряженном ожидании, когда он упирался в глубине.

— Эт-то на м-мою в-в-зялся. — стуча зубами, напомнил Коська.

— Сначала надо вытащить. — резонно ответил Димка.

Петр Степанович, шаг за шагом отводя рыбу от крутого берега, наконец подвел к более удобному месту. Здесь рыба сделала еще несколько бросков. Но едва она, утомленная, подошла ближе к берегу, Петр Степанович, не опуская удилища, быстро вошел в воду и осторожно подвел подсачок под брюхо голавля. В тот же миг он быстрым движением выволок добычу на песок. Ребята заметили, что у Петра Степановича дрожали руки, когда он высвобождал рыбу из сетки. На песке, распластавшись во всю свою более чем полуметровую длину, лежал голавль, проигравший сражение. Он еще поводил крутыми боками, еще жевал воздух толстогубым ртом и оттопыривал жабры, и от него еще веяло первозданной дикостью. Но напрасно с ожесточением хлестал он широким, с черной отороч-

кой хвостом, разбрасывая песок и пыль, марая свое сильное тело, закованное в серебряную кольчугу из крупной чешуи. Последние усилия речного богатыря были бесполезны.

Ребята посадили пленника на крепкий кукан и опустили в воду, в какую-то тину, которую голавль, когда еще был свободен, с презрением обходил стороной по быстрой прохладной струе.

Рыболовы еще не могли успокоиться от пережитого волнения. Обсуждали подробности схватки, восхищались редкой добычей. Наконец опять разошлись по своим местам. Коська, которому уже нечего было наживать на свою донку, принялся за окуньков. Димка же пошел проверять удилице, поставленное на миногу. Раззадоренный Коськиным успехом, он надеялся, что придет и его черед выловить такого же, если не больше, голавля.

Но, к великому огорчению, увидел, что миногу кто-то сорвал с крючка. Взять верх над Коськой было уже невозможно, и Димка возмутился несправедливостью рыбацкой судьбы. Как так? Коська и рюкзак потерял, и хныкал, и вообще пустяковый рыбацкишка, пескарник. По правилам не ему, а Димке должен был попасться голавль. Но Коська оказался с хорошей добычей, а у него одни окуньки.

Солнце поднялось уже высоко, ребята стащили с себя рубахи. Клев постепенно слаб. Петр Степанович окликнул ребят:

— Едем домой.

Петр Степанович оказался самым удачливым. Он вытащил из-за борта сразу два кукана. На одном из них трепетали три голавля, а на другом переливались серебром плоскобокие лещи.

Вскоре лодка быстро побежала вниз по течению.

12

Петр Степанович накормил гостей обедом, подарил каждому по голавлю из своего улова и проводил к поезду. На этот раз они заняли места у окна. Мимо проносились знакомые дорожные приметы: виадук, под которым проезжали вечером на паровозе, разъезды, дальние ветряки, полевые дороги, ракитовые рощицы, мостики через ручьи и речушки, деревушки, станции, работающие комбайны и поля, поля... И опять телеграфные провода чертили небо ровными четкими линиями, то поднимаясь у столбов, то плавно спускаясь посередине. И, как прежде, на них, будто музыкальные знаки, сидели белогрудые, длиннохвостые ласточки.

Ребята поглядывали в окно, а рядом на лавке лежал тяжелый рюкзак с рыбой, из которого торчал хвост Коськиного голавля. Рыбина не поместилась в мешке, а разрезать ее было жалко. Так и оставили снаружи хвост. Широкий, иссиня-черный, он не переставал всю дорогу смущать пассажиров.

— Где такого отхватили? — любопытствовал всякий.

Голавль был Коськин, и, собственно, упиваться славой должен был он один. Но Коська делил славу пополам:

— Это мы во Льгове поймали.

А когда уже подъезжали к Рышкову, он тронул Димку за руку и, часто мигая рыжими ресницами, сказал:

— Дим, возьми себе моего голавля. Я ведь и рюкзак потерял, и... Бери, Дим...

— Что ты, что ты! — отстранился от него Димка. — Насчет рюкзака — брось. Если бы ты его не потерял, не видать бы нам такого улова. Ты только смотри, не проболтайся дома.

РАКИТОВЫЙ ЧАЙ

Никогда не пробовали ракитовый чай? Хороший напиток. Ни одна заварка не сравнится с ним, если приготовить его по всем правилам. А условия такие: во-первых, не пытаться варить чай на кухне. Ничего из этого не получится. Берите чайник, а лучше — обыкновенный котелок, в каких на базаре продают улежалые лесные груши, и отправляйтесь на речку. Вода из крана не годится для этого чая. Непременно нужна речная, чуть пахнувшая тиной, желтыми кувшинками и телорезом.

Надо захватить с собой и удочки. Ведь, придя на берег реки, не станешь сразу, ни с того ни с сего, пить чай. Немножко порыбачьте, благо на вечерней зорьке исправно клюют окуни и плотвица. А когда погаснут самые высокие перистые облака и сумерки загустеют настолько, что не станет видно поплавков, пожалуйста, разжигайте костер и вешайте на огонь котелок. Раньше этого времени начинать варить чай нельзя: покажется невкусным. Когда из соседних кустов в спину пахнет влажной прохладой и обдаст тело мелким ознобом, особенно приятно греть руки о кружку с горячим чаем, вдыхая аромат замечательного напитка. А чтобы чай получился именно ракитовым — чуть-чуть горьковатым, немножко вяжущим язык, чтобы он приобрел цвет палого листа, нужно разжигать костер ветками лозы или ракиты. В этом, пожалуй, главный секрет той прелести, какой славится среди рыболовов настоящий ракитовый чай.

Я вам расскажу, как сам обучался этому необходимому искусству.

Дело было давно, когда мне минул восьмой год, а моему соседу Алексею — одиннадцатый. Алексей уже ходил с ребятами в ночное и нередко приносил в своей холщовой сумке головастых скользких сомят. Сейчас бы эти сомята, величиной чуть побольше столовой ложки, вызвали чувство жалости к ним. Слишком уж они были малы и беспомощны. Но тогда я разглядывал их с восхищением. Ведь мне разрешалось ходить на рыбалку только днем, и обычной моей добычей были пескари и уклейки.

И вот однажды, снимая с крыши сарая связку удилиц, Алексей крикнул:

— Айда, скажи матери, что, мол, Алешка берет тебя на рыбалку. Да сахару попроси. Будем чай варить.

— И заварки спросить? — обрадовался я, кубарем срываясь с забора.

— Заварки никакой не надо. Чай сам по себе заварится.

До реки было километра два пути по заливному лугу, пестрому от цветущих трав. Встречный ветер обдавал нас пахучими волнами разомлевшего за долгий летний день разнотравья. Я был возбужден широким простором, быстрой ходьбой, тем, что нес настоящие удочки, доверенные мне Алексеем, предвкушением ночной охоты и множеством других неуловимых ощущений, которые у взрослых создают хорошее настроение, а у ребятшек вызывают неудержимое желание кувыркаться и горланить. И верно, когда на пути встречались метровые, усыпанные острыми шипами кусты татарок, мы, поджав босые ноги, с гиком пронеслись над их красными шапками или с размаху подрубили комлями удилиц.

Алексей осторожно, чтобы не уколоть пальцы, взял подсеченную головку колючки:

— А знаешь, почему ее татаркой зовут?

— Нет. А ты?

— А я знаю. Это еще когда татары на Русь нападали, они с собой колючки из далеких степей привезли. Вот их и стали называть татарками.

— Нарочно привезли?

— Чудной какой! Зачем — нарочно? Семена могли в конском хвосте застрясть, в походной кибитке, мало ли где.

И вдруг, пускаясь в отчаянный галоп, Алексей загорланил:

— За мно-о-ой! Татарское войско бежит! Ура!

Мы вихрем налетели на колючки и с еще большим ожесточением сшибали им головы, изображая собой что-то вроде дружины Дмитрия Донского, преследующего разгромленное войско незваных пришельцев.

Когда пришли к реке, Алексей, будто вспомнив, что ему не к лицу в моем присутствии быть обыкновенным мальчишкой, каким он был на лугу, вдруг посерьезнел, нарочито сдвинул брови.

— Тут толку не будет. — осмотрев берег, сказал он тоном знатока. — Пойдем-ка к лесу.

Ниже по течению река, извиваясь, вползала в густые заросли лозы, черемухи, мелколистного клена, карагача, среди которых возвышались старые ракиты, иные — расколотые молниями, иные — со сквозными светящимися дуплами, с узловатыми наростами на стволах, с самым фантастическим рисунком кроны. Издали их темные силуэты напоминали сказочных великанов и диковинных зверей.

В лесу даже днем было сумрачно от непроницаемого полога из веток и листвы мелколесья. Редкие травы, блеклые и тощие, безна-

дежно тянулись вверх. Земля никогда не просыхала. Было тихо, прохладно и немножко боязно.

— Лески не оборви. — предупредил Алексей, ступая на тропинку, протоптанную коровами.

Иногда коровьи следы выводили на открытые поляны, поросшие такими буйными травами, что шагавший впереди Алексей скрывался в них с головой, видны были только кончики удилиц, перекинутых через его плечо. Растения, будто наперегонки, тянулись кверху, стараясь оттеснить друг друга, вырваться на простор, к солнечному свету. Гигантские лопухи, под листьями которых можно укрыться от дождя, красноватые зловонные стволы болиголова, цепкие лозы дикой малины были густо оплетены хмелем, выюнком и еще какими-то ползучими травами. Местами под ногами чавкала вода, суходольные растения сменялись зарослями стрелолиста и осоки, среди которых виднелись бело-розовые цветы ядовитой частухи. Иногда над темной болотной зеленью вспыхивали огненно-желтые факелы цветущих ирисов.

И опять мы вступали в сумрачный и гулкий коридор плотно стоящих древесных стволов, голых почти до самых верхушек. Казалось, что этой глухомани не будет конца.

— Леш, скоро речка? — спрашивал я, все время отставая от своего товарища.

— Скоро! — сердито отмахивался Алексей.

— А может, мы не туда идем?

— Не хнычь! Знал бы, что ты такой, ни за что не взял бы.

Лес неожиданно кончился крутым глинистым обрывом. Над ним по самому краю висела протоптанная рыболовами дорожка. Алексей осмотрелся и выбрал место, где обрыв сменился пологим песчаным спуском. Мы сошли к самой реке. Вечерело. Лес ронял на воду длинную тень, достававшую почти до противоположного берега, отчего река казалась глубже и таинственней. Над темно-зеленой водой хороводили комары. Охотясь за ними, то и дело плескалась мелкая рыбешка.

Алексей размотал самую большую удочку, наживил воробья. Потом достал из сумки колокольчик, сделанный из обрезка гильзы от охотничьего ружья. Колокольчик привязал к концу удилица. Ночью поплавок не видно, поэтому о поклевке должен оповестить сторожок.

Мне тоже не терпелось поскорей забросить удочку, но Алексей прогнал меня собирать хворост для костра. Вскоре на песчаной косе вспыхнул и весело заплясал огонь, от которого еще больше загустели сумерки. Лес шагнул к самому огню и остановился, задумавшись и распростав над костром черные лохматые лапы своих ветвей, будто грея их. Мир разделился на две части: одна — маленький освещенный пятачок с костром посередине, все остальное — черное небо, черная вода, черный лес. Наступила ночь. Первая

моя ночь на рыбалке. Она была полна таинственной, невидимой жизни. Совсем близко в кустах шуршали листья. Над огнем, шараясь из стороны в сторону, проносились летучие мыши. В воде что-то шлепало, барахталось. Я ворочал головой, боязливо ловя непонятные мне ночные звуки.

— Леш, что это шлепает?

Алексей сидел по другую сторону костра. Он выкапывал из углей картошку, нахальывал ножом, пробуя, не испеклась ли, и готовую зарывал в холодный песок, чтобы немножко остыла. Дым, словно собака, то ласкался к нему, то лез в мое лицо. Мы морщились и поочередно пускали слезы. Но отодвигаться подальше, в холодную темень, не хотелось.

Вдруг раздался короткий звон сторожка. Алексей мгновенно вскочил на ноги, шмыгнул в темноту и затаился у берега. Звон повторился, на этот раз дольше и настойчивее. Алексей рванул удилице, вода под берегом заплескалась. И вот уже в полосу света шлепнулось черное извивающееся тело соменка. Рыбина судорожно била хвостом, разбрасывая песок. Алексей посадил соменка на крючок и опустил его у берега в воду. Сом живо заходил, всплескиваясь и дергая бечеву.

Снова забросили удочку и принялись за картошку. Ели с аппетитом, пачкая лица обгорелой кожурой и хрустя запеченными корками. Алексей, не остывший от возбуждения, рассказывал, как он подсек, а потом выволок соменка.

Я заискивающе поддакивал, обрадованный разговором, который хоть немножко рассеивал ночные страхи.

Когда доели картошку, Алексей достал из сумки котелок и зачерпнул им из речки воды.

— А хворост-то весь пожгли. — сказал он, шаря рукой в том месте, где был сложен сушняк.

Мы молча глядели, как по углям пробежали последние огненные судороги. Потом Алексей сказал:

— Пойду поищу дров.

Я остался сидеть у костра и, вытянув шею, прислушивался к удаляющимся шагам товарища. Было слышно, как под его ногами шуршала трава, хрустели ветки. Наконец звуки шагов затихли, растворились в ночной тишине.

— Лешка! — завопил я, не выдержав одиночества.

По лесу тревожной волной, будоража листву, прокатился ветер. В огонь что-то тяжело шлепнулось и зашипело. Потом что-то упало в котелок, всплеснув в нем воду. Ударилось о козырек моего картуза, часто застучало по листьям над головой. Костер зачадил едким ползучим дымом. Прибежал Алексей.

— Чего мокнешь? — сердито сказал он. — Возьми в моей сумке клеенку, накройся.

— А ты?

— Я обойдусь. Дрова искать надо.

— Да ну его, этот чай! — захныкал я.

Дождь усилился, гулко и четко забарабанил по клеенке. Вдруг захотелось домой, под одеяло. Скорей бы утро.

— Лезь под клеенку, — позвал я товарища.

— Давай лучше навес устроим, — предложил он.

Мы воткнули в обрыв две палки, привязали между ними клеенку и залезли под нее.

Я вспомнил про кусочки сахара в кармане и сказал:

— Я свой сахар съем, ладно?

— погоди. Скоро дождь перестанет — чай вскипятим.

Но дождь, как назло, лил все сильнее. Рядом, с корневищ, свисающих с обрыва, тоненькими струйками стекала вода. Песок под нами намок, он лип к босым ногам, к одежде, неизвестно как попал на зубы.

Вдруг жерди, воткнутые в обрыв, наклонились, и все наше шаткое сооружение рухнуло. Целое озеро ледяной воды, скопившееся на клеенке, хлынуло на головы.

— Давай, братуха, плясать, а то позамерзаем к чертовой бабушке. Или лучше пойдем дрова собирать. Все равно мокрые.

Будто затем только и лил, чтобы промочить нас до нитки, дождь постепенно стал утихать. Мы вскарабкались по мокрой глине на кручу и ощупью, боясь напороться на торчащие сучья, побрели в чащу.

— Где их искать, дрова-то? — спросил я, протягивая руки в черную пустоту.

— А ты садись на корточки и ощупывай землю. Тут много веток.

Делать нечего: надо было становиться на четвереньки. Боязливо, пядь за пядью ощупывал я подножия деревьев, то и дело задевал тонкие стволы молодой поросли, и на меня каскадом сыпались холодные дождевые капли.

Кое-как собрали топливо, разожгли костер. Дрожа всем телом и окончательно потеряв дар речи, мы сушили над огнем мокрую и грязную одежду. А когда огонь грозился снова погаснуть, оставляли рубахи у костра и голые шли в лес, под холодный душ дождевой капли. Зато, вернувшись с охапкой дров, мы с наслаждением отогревали свои заочневшие тела, чуть ли не давая пламени лизать наши животы.

Наконец-то забрезжил запоздалый рассвет. В посветлевшем лесу мы наломали ракитовых веток и разложили такой костер, какой разжигали в старину полинезийские дикари в дни своих самых торжественных праздников. Да и сами мы походили на полинезийцев — голые, с растрепанными мокрыми волосами, с разрисованными печеной картошкой лицами.

— В-в-во-д-а за-за-к-к-кипела, — пробарабанил я.

— Сн-м-м-май к-ко-телок, — в ответ зацелкал зубами Алексей.

Я снял котелок. Когда чай немного остыл, мы принялись пировать. Алексей отхлебнул первым. Я достал свой сахар, заранее от-

кусил от него маленький кусочек и принял в озябшие ладошки за- копченную посудину. В котелке плавал уголь, подпаленные листья и еще какой-то мусор. Я подул на воду, сгоняя сор к другому краю, и тоже отхлебнул. Чай пах дымом, горелым деревом, вязал язык, немного горчил, но все-таки был удивительно вкусен. Так хорош, что я глотнул еще два раза и только потом передал котелок.

Так мы пили по очереди, экономно откусывая сахар и смакуя каждый глоток чудесного напитка, изгоняющего дрожь и щенячье желание скулить.

Взошло солнце и обсушило траву и деревья. Мы выкупались в реке, смотали удочки и бодро зашагали домой. За моей спиной болтался на бечевке пойманный сом. И то ли оттого, что я впервые возвращался домой с такой добычей, или потому, что я наконец-то «хлебнул» ракитового чая и отныне мог считать себя бывалым рыболовом, только мне снова захотелось горланить и кувыркаться.

С тех пор прошло много времени. Я теперь хорошо владею искусством варить настоящий рыбацкий чай. И когда случается быть на берегу реки, не премину после доброй ухи попить в тишине ночи чайку вприкуску.

ВСТРЕЧА У ПЛОТИНЫ

Жаркий июльский полдень. На отмели возле плотины двое ребяташек ловили корзиной рыбу. Их одежда кучкой свалена на прибрежном песке, и только картузы остались на нестриженных головах.

Рыбешка попадалась мелкая, никчемная. Приподняв корзину, рыболовы быстро хватали маленьких пружинистых карпят и засовывали их под картузы. Тот, что постарше — Сенька, — делал это молча, с озабоченным видом, а маленький Санька, зажав в кулаке рыбешку, всякий раз радостно приговаривал:

— Ага, попался!

— Не дави, сдохнет, — поучал его товарищ.

Санька виновато шмыгал облупленным носом, похожим на редиску, и спешил спрятать карпика.

После нескольких заходов ребята вылезали на берег и опорожняли картузы в ведро с водой.

Увлеченные охотой за мальками, рыболовы не заметили, как к пруду подошел незнакомый паренек в майке, подвернутых до колен штанах, с хворостиной в руке.

— Как успехи, рыбаки? — приветствовал он.

Ребятишки подняли головы и недоверчиво уставились на незнакомца. Потом Сенька, толкнув Саньку в бок, сердито сказал:

— Чего вылупился, живого человека не видел? Заходи вон под тот кустик.

Они проволокли корзину по дну, вытащили из нее добычу и вылезли на берег.

Паренек в майке заглянул в цыбарку и похлопал по ней хворостинкой:

— Мелюзга какая!

— А ты кто такой? — недружелюбно буркнул Сенька, выбирая из волос рыбешку.

— Я? — переспросил мальчик. — Меня Петькой звать. Я с Олышанок.

— А чего на чужой пруд ходишь?

— Какой же он чужой? Это наш, колхозный. Теперь Олышанки объединились с вашим колхозом, и пруд стал общим.

— На чужой каравай рот не разевай, — отрезал Сенька. И командовал: — Пошли, нечего с ним болтать.

Сенька взял за руку друга и зашагал с ним в воду.

На этот раз оба нарочито долго возились, ожидая, что Петька уйдет. Первым не вытерпел Санька. Он озяб, потому что был почти вдвое меньше ростом и ему приходилось лазать по груди в воде.

Стуча зубами, Санька плаксиво сказал:

— Сень, хватит, а? Холодно!

— погоди, пусть тот уйдет.

Но Петька не уходил. Сенька яростно плюнул и, захватив корзину, полез на берег. Мальчики стали одеваться.

Видя, что ребята собираются уходить, Петька сказал:

— А рыбу надо бы пустить. Из нее могут вон какие карпищи вырасти!

— Вот я тебе дам по шее, ты и помолчишь. Ну-ка, Санька, поддержи мои штаны. Я ему покажу.

Санька принял от друга брюки, и тот, семеня голенастыми ногами, как-то боком стал подходить к Петьке.

— Хочешь, дам?

— Попробуй!

— А вот дам!

— Ты не сильный, — спокойно сказал Петька.

— Я-то не сильный? — И Сенька, как бы ища поддержки, оглянулся на Саньку.

Замечание Петьки как-то сразу охладило Сеньку. Он только теперь, смерив противника с ног до головы, словно впервые увидел невысокого, но крепкого паренька, который нисколько не испугался Сенькиного наступления.

— Это я руки не хочу марать, — презрительно сказал Сенька. — Санька, давай штаны.

Наступило молчание. Сенька, присев на перевернутую корзину, ковырял ногой песок. Уходить теперь ему никак нельзя. Это означало бы, что он признал себя слабым, испугался. Но и лезть в драку больше не решался.

— Так что же, пустите рыбу? — снова спросил Петька и подсел к Сеньке. — Ты зря злишься. Понимать надо: вред колхозу делаешь.

— Сень, давай отпустим? — робко предложил младший.

Сенька ничего не ответил, продолжая ковырять песок.

— А если я научу вас рыбу руками ловить, пустите? Не такую мелкую, а во какую, настоящую!

— Прямо руками? Здорово! — захохотал Санька, и его носик еще больше покраснел от удивления и восторга.

— Врет он, — ответил Сенька.

— Зачем врать?

Сенька изучающе посмотрел на своего противника. Ему казалось невероятным то, что говорил Петька. Подумав, он приказал Саньке:

— Иди... выпусти их.

Санька с готовностью потащил обеими руками ведро и возле воды повалил его на бок. Широкая струя, подхватив мальков, хлынула в пруд.

— Ну, мир? — улыбаясь, протянул Петька руку ребятам. — Давно бы так.

— Давай, — конфузливо ответил Сенька. — А только как же руками рыбу ловить-то?

— Сейчас узнаете. Айда к лодке!

Вскоре лодка подплывала к длинному, густо поросшему тиной заливу на другой стороне пруда. Когда она, шурша днищем по водорослям, вошла в затон, Петька перестал грести и перебрался с веслом на нос лодки.

— Сидите тихо, — предупредил он и свесился через борт. Затем он приподнял весло, несильно ударил им в днище и снова посмотрел за борт.

Сенька и Санька недоверчиво следили за Петькой, действовавшим подобно фокуснику, который, перед тем как вытащить ленту из рукава, делает всякие непонятные движения.

После очередного удара веслом рядом с лодкой поднялись пузырьки и вслед за ними струйка взмученного ила. Петька быстро опустил в это место руку и, пошарив некоторое время, вытащил... золотистого толстобочного линя.

— Ого какой! — завопил Санька.

Через полчаса в тот самое ведро, в котором еще недавно копошились мальки, шлепали хвостами крупные лини.

— Что ж тут хитрого, — скромничал гордый своим успехом Петька. — Линь — рыба глупая. Я стукну веслом, а он, вместо того чтобы уйти, старается в ил спрятаться. А мне по воздушным пузырькам видно, где он залег. Цап — и готово!

— Мы думали — соврешь, — сказал Сенька. — Где ты этому научился?

— В рыболовном кружке, есть в нашей школе такой. Раз позвали мы старого рыбака, деда Прокошу, может, знаете? На краю Оль-

шанок живет. Так вот, он нам долго о повадках разных рыб рассказывал. И как линия ловить — тоже научил. Интересно! А еще есть в школе у нас общество такое, чтобы природу охранять. У нас все ребята в него записались. Скворечники делаем, птичьи гнезда не даем разорять, мальков вылавливать.

— Вот, Сенька, не надо было ловить карпов. — укоризненно сказал Санька. — не примут нас теперь в охранники. Петь, можно нам, а?

— Можно, я про ваших мальков — никому!

И Петька, приложив палец к губам, огляделся по сторонам.

СЛЕПОЙ КАРАСЬ

Рыбачить шли большой компанией: я, мой сынишка и двое его приятелей-одноклассников — Сережа и Василек. Договорились: я буду жерлицы ставить, а ребята меня живцами снабжать. Жерлица — это такая самоловная снасть. Ловят на нее хищных рыб. А чтобы хищник заглотнул крепкий двойной крючок, похожий на якорек, на него цепляют рыбью мелочь: пескаря, плотву, да и щуренок годится — щуки прожорливы, даже детей своих глотают.

Рано утром мы уже были на берегу. Солнечные лучи, просочившиеся сквозь дальний лесок, бережно подхватили встречные облака, и те сразу зарумянились. Потом из-за леса показалось само солнце и ласково оглядело наш высокий берег. Ребята рады прикосновению теплых лучей: они озябли, шагая мокрым лугом, и так нажгли босые ноги о ледяную ртуть росы, что ступни покраснели, как гусиные лапы. Река просыпалась: за клубился туман над зарослями куги, где-то с тяжелым всплеском метнулась крупная рыба. Начался клев.

Пока мои спутники возились с удочками, я успел поймать двух пескариков и поставить на них жерлиц. На одной вскоре засекалась небольшая щука, а на другой что-то сорвало насадку.

— Давайте живцов! — замахал я своим помощникам. — Поймали что-нибудь?

Ребята поймали несколько рыбешек, но, к моему удивлению, все не собирались отдавать их.

— Мы понесем их в школу и пустим в аквариум. — ответил за всех мой сынишка.

— Нам их жалко. — пояснил Василек. — Вы их на большой крючок будете накалывать.

Признаться, я даже растерялся перед такой убедительной защитой маленьких рыбешек. И правда, всех этих пескариков и уклек ожидал большой крючок и зубастая пасть хищника. Но я все же решил наступать:

— Что это вы, бастовать вздумали? Самый клев щуки. Давайте сюда пескарей.

— Не дадим... — упорствовали ребята.

— А в чем вы их домой понесете? Ведь пескарница воды не держит. Все равно уснут. К тому же раненные крючками рыбки не годятся для аквариума.

На этот раз замешательство наступило в лагере моих противников. Ребята, насупившись, глядели на пескарницу, торчавшую из воды. Видимо, они раздумывали, как унести рыбешек. Но выхода не было: ни у меня, ни у них не нашлось подходящей посуды.

Между тем солнце поднялось высоко. Постепенно улетела утренняя свежесть, занимался жаркий летний день. Мы проспорили лучшее время клева. Под берегом на кукане шевелила жабрами единственная щучка, в пескарнице затаились живцы — весь наш улов.

Я пошел на мировую:

— Сматывайте удочки, выпускайте пескарей. Пойдемте ловить карасей. Это самая подходящая рыба для аквариума.

— А в чем мы их понесем? — спросил Сережа.

— Караси могут и без воды обойтись. Завернем их в тину и положим в пескарницу.

Ребята быстро собрали снасти, и мы зашагали напрямик по некошеной траве, уже обсохшей и согретой солнцем.

•••

Я знал посередине луга маленькое озерцо, в котором водились караси. Отыскать его было не трудно. На кочковатых берегах озерка селились чибисы. Они носились над лугом, неуклюже размахивая широкими угловатыми крыльями, и плаксиво спрашивали нас: «Чьи вы? Чьи вы?»

Чем ближе мы подходили к озеру, тем смелее бросались нам навстречу эти унылые птицы, стараясь вызвать за собой погоню и увести от своих гнезд.

Озерко лежало в небольшой котловине, куда весной заходила полая вода. Сейчас оно сильно пересохло. Маленький круг воды окаймляла широкая полоса грязи, истоптанной коровами.

— И тут живут караси? — усомнился Василек.

— А как мы их будем ловить? — спросил Сережа. — До воды никакая удочка не достанет.

Я рассказал ребятам об удивительной выносливости этих очень красивых рыбок. К осени из озерка вода почти совсем испарится. Останется только жидкая грязь. Но караси не погибнут. Им хоть бы что! Возьются в теплой жиже, как поросята. А когда мороз прохватит озерко до самого дна, караси глубоко зароятся в ил и будут пережидать там лютую стужу. Очень живучая рыба. Самая подходящая для аквариума.

Карасиная «снасть» быстро была готова: завязали у майки подол — вот и все. Сережа и Василек взяли майку за плечные лямки,

как берут бредень, а сынишка пошел следом загонять рыбу. Утопая по колени в вязком иле, ребята выбрались к воде, погрузили «снасть» и потащили ее к противоположному берегу. Они с трудом выволокли майку, наполненную илом, и, вытряхнув грязь на берег, торопливо принялись ее разгребать.

— Нету тут никаких карасей! Одни лягушки! — разочарованно крикнул в мою сторону сын. — Зря только майку запачкали.

— А вы больше грязь мутите. Пока вода чистая, карася не поймаете.

Ребята снова полезли в воду, и все трое зашлепали ногами, поднимая черные фонтаны грязи. Вылезли они забрызганные, запыхавшиеся и сразу набросились на расплывшийся блин ила, вытряхнутый из майки. Из него запрыгали в разные стороны черные лягушки. Но рыболовы уже не обращали на них внимания.

— Ага! Один есть! — зазвенел голосок Василька.

— Еще один!

— Василек, сбегай помой их, — сказал сынишка. — А то уж очень грязные.

— Мыть не надо, кладите вместе с тиной в пескарницу. Так их лучше нести. — предупредил я.

В очередной рейс «траловая экспедиция» отправилась с еще большим шумом и всплесками. Перепуганные чибисы кувыркались над кипевшим брызгами и смехом озерком. Улов оказался отличным: в пескарницу были опущены и переложены тиной семнадцать чумазых карасей. С каждым разом их попадалось все больше и больше. Увлеченные ловлей, ребята до того перемазались, что стали похожими на негров: и тела, и лица — все было забрызгано грязью, уже успевшей кое-где высохнуть. Блестели только зубы да счастливые глаза. Так и помчались они по лугу к реке, распугивая коз и телят — точь-в-точь охотники африканских саванн, преследующие стадо антилоп.

Хорошенько выкупавшись и поджарившись на солнце, мы бодро зашагали домой с богатой добычей. Дома ребята отобрали тройку самых маленьких карасиков для аквариума. А остальных бабушка изжарила. И тут проголодавшиеся ребята помалкивали насчет того, что караси закончили свою жизнь на сковородке.

• • •

На другой день, когда я возвращался с работы, все трое встретили меня на улице.

— А один карасик-то слепой! — сказал Василек.

— Глаз совсем нет. Одни ямки, — подтвердил Сережа. — Кто ему глаза выклевал?

— Пойдем посмотрим, — потянул меня за руку сынишка. — Все ребята говорят, что карасик сдохнет. Как он, слепой, будет есть?

Мы пошли в школу. В пионерской комнате стоял метровый аквариум с деревянным каркасом, который смастерили сами юннаты. В зеленоватой толще воды среди пышных зарослей роголистника и водяной сосенки плавали отмывшиеся золотобокие карасики. Как только мы наклонились к стеклу, две рыбки тотчас юркнули в зеленую чашу, а одна продолжала стоять на виду, шевеля губами и время от времени встряхивая грудными плавничками. Вместо глаз у карасика чернели пустые глазницы.

— Вот он, — шепотом сказал Василек. — Что с ним теперь будет?

Да, это был слепой карась. Я приставил палец к стеклу прямо перед его носом, но рыбка не сдвинулась с места.

— Он может о стенки разбиться. — беспокоились мальчишки. — и с голоду помрет. Ведь он ничего не видит!

Тогда я поднес палец к поверхности воды и стал медленно опускать над головой рыбки. Карасик вздрогнул, шевельнул хвостом и отплыл в сторону. Я снова занес над ним палец и осторожно макнул в воду. Карасик опять посторонился.

— И вовсе он не слепой! — обрадовался Василек. — Видите, как от пальца уходит.

— Нет, ребята, — сказал я. — Карасик ничего не видит. Но у него есть другие замечательные глаза. Они расположены по бокам тела. — И я рассказал о назначении боковой линии у рыб — этого удивительного органа, который, будто маленький приемник, улавливает малейшие колебания воды. Макнул я палец в воду, а приемник уже сообщил карасику: «Кто-то приближается, сторонись». Этот приемник предупредит рыбку и о том, что впереди стенка аквариума, и вовремя сообщит, где надо свернуть, чтобы не запутаться в зарослях подводных растений.

— Так что, ребята, не бойтесь: карасик будет жить и без глаз. Даже интересно наблюдать за поведением слепой рыбки.

— А как же он найдет еду?

— По запаху. Ведь когда карась роется в иле, он все равно ничего не видит.

Оставалось загадочным одно: как карасик лишился глаз. И я пообещал ребятам постараться разгадать эту тайну.

• • •

Разгадать эту загадку помог мне случай. В конце лета я снова бывал в тех местах, где мы поспорили из-за живцов. Я пришел вечером под выходной день и заночевал в прибрежной деревушке, чтобы встать пораньше и еще до рассвета засыпать приваду. Тогда же вечером я попросил деревенских ребятшек наловить пиявок. На них хорошо берет голавль. Ребятишки побежали к тому самому озерку и вскоре вернулись. Они подали мне полторалитровую стеклянную банку. В ней извивались толстые, жирные пиявки: одни плавали, другие, присосавшись к стеклу, высовывались из воды, ощупывая

край банки. Среди них плавал карасик, которого ребята изловили для насадки на жерлицу.

Я накрыл банку стеклом и улегся спать.

Встал еще до свету. И первым делом, чиркнув спичку, посмотрел, целы ли мои пиявки. На дне банки я увидел черный клубок, из которого торчал рыбий хвостик. Выудив рыбку, я принялся очищать ее от пиявок. Отодрал всех. И только одна держалась крепко. Ее присоска глубоко сидела в глазнице.

Так вот, оказывается, кто ослепил нашего карасика!

КАК КУЗЬМА ТОПОРОМ РЫБУ ЛОВИЛ

Рыболовный зуд наступает дня за три перед воскресеньем. Сначала легкий, без внешних проявлений. Чешется одна душа. Примерно в пятницу начинают чесаться и руки. Рыболов достает рюкзак и, как старьевщик, перебирает содержимое. Чистит до зеркальной ясности блесны, точит крючки, что-то привязывает, прикручивает, перематывает — словом, болеет уже явно.

А в субботу его начинает лихорадить. Бежит в охотничий магазин что-то докупить. Звонит на метеостанцию за справкой о погоде на завтра. Договаривается с приятелями о часе и месте встречи. Вечером снова перетряхивает рюкзак, засиживается за ним до поздней ночи, поставив будильник на петушину рань, не спит, домучиваясь последние часы перед рассветом.

Зато утром болезнь как рукой снимает: настроение бодрое, на душе — светлый праздник, и рыболов добр до удивления.

— Пап, купишь велосипед?

— Куплю обязательно.

— А мне коньки роликовые?

— И коньки...

Возвращается поздно вечером, хмурый, неразговорчивый, рюкзак вешает, не развязывая.

— Пап, когда купишь велосипед?

— Отстань!

И так — каждую неделю.

Мы тоже простые смертные рыболовы. И болезнь протекает, и лихорадит так же, и с пустыми рюкзаками возвращаемся регулярно.

Но о пустом мешке писать нечего, а потому я припомню случай, когда мы вернулись с полным. Да, был такой случай.

За окном поезда — декабрь. У края заснеженных полей — синие леса, над деревеньками в морозном небе курятся дымки. Мы с приятелем, Василь Васнlichem, катим пытать счастья по перволедку.

Сходим на одном из разъездов, забираемся в кузов попутной машины, с полчаса трясемся на кочках еще не накатанной дороги и въезжаем в приречное село, где давно обосновали свою базу у

местного рыболова Кузьмы Спицына. Кузьма живет на отшибе, у перевоза. Летом гоняет колхозный паром, плетет корзины для огородной бригады и ставит переметы. На зиму отстегивает деревянную ногу и отлеживается на печи.

Изба у Кузьмы небогатая, но опрятная и вся какая-то веселая: стены — в пестрых плакатах о страховании жизни, правилах перевозки скота в автомашинах и прочем; потолок выклеен голубыми с позолотой обоями, а на полу — свежие следы рубанка. В углу пылает русская печь. С мороза приятны и этот бесхитростный уют, и запах деревенского кулеша, и светлое пыланье печки. Кузьма поднимается с лавки, прыгает в белом шерстяном носке навстречу:

— Пожалте, пожалте!

Мы снимаем прокалившиеся холодом полушубки, оттираем руки, подсаживаемся к любезно предложенной горячей картошке.

— Куда лучше пойти? — не терпится Василь Василичу.

Кузьма трет ладонью обрубок ноги, шурится, соображает:

— Попробуйте в затоне. Прошлый раз окунь там брался. А нет, на повороте под берегом — на судачка.

Спускаемся с крутого берега. Лед еще молодой, тонкий. Сквозь него на мелководье видно песчаное дно в ракушках, отмершие бурые водоросли. На глубинах подо льдом струится темно-зеленая вода, смотреть на нее жутковато. Лед гнется, потрескивает. Осторожно, не поднимая ног, скользим над омутом к затону. Залив промерз основательно. Лед чистый, гладкий. Василь Василич размахивается, пускает пешню, и она долго катится, тонко позванивая.

— Где остановится, там и пробью лунку. — загадывает он.

Для разведки прорубаем лунки в разных концах залива, разматываем зимние удочки, терпеливо ждем поклевки. Переходим на новое место, рубим лед и снова блесним. Ничего. Идем к повороту под крутой берег. Ничего. Направляемся по течению, пробуем все приглянувшиеся места — ни одной поклевки. Мы уже не разговариваем: идем молча, рубим молча, без слов вытаскиваем пустые блесны. Наконец Василь Василич останавливается, плюет и в сердцах втыкает пешню:

— Какой-то заговор! Или повымерзла, что ли?

Рыболов заговорил — значит отчаялся. Я не отвечаю. Во мне еще теплится азарт.

— Вот бы посмотреть, где сейчас рыба. — ворчит Василь Василич. — Ведь должна же она где-то находиться! Мы вот здесь долбим, а она, может, собралась под тем берегом и посмеивается: вот, мол, дураки!

Василь Василич, поддаваясь собственному пророчеству, отправился к тому месту, где «собралась и посмеивается» рыба, начинает долбить лунку, но неожиданно упускает под лед пешню и возвращается совсем расстроенный.

— Все, конец! Больше не езжу.

Он ходит за мной по пятам, расхолаживает жалобами и зовет в хату. Я не выдерживаю, сматываю удочку, и мы понуро бредем в село.

Кузьма обо всем догадывается по нашему виду, сидит на лавке, поглаживая культю.

— Нога мозжит, — говорит он, — ждать перемены погоды. Я так примечаю: как нога начинает ныть — рыба перестает брать. Вроде как тоже перебаливает.

Мы мрачно молчим, греемся у печки. Кузьма некоторое время раздумывает, потом лезет под печку, достает деревянную ногу, не торопясь пристегивает ее, одевается, берет топор, ведро и выходит.

Вскоре он возвращается, ставит ведро на лавку. Василь Василич, случайно заглянув в него, изумленно свистит:

— Черт возьми — рыба!

Я делаю прыжок к ведру.

В самом деле: в воде барахтаются, извиваясь, черные, в золотистых продольных полосах, вьюны. И у всех отрублены головы.

Я вопросительно гляжу то на вьюнов, то на Кузьму. Вот штука! Мы полдня мерзли на реке — и хоть бы хвост! А он за какую-то четверть часа полведра рыбы наловил.

— Чем ты их, Кузьма, какой снастью? — загорается Василь Василич.

— Топором... — в сузившихся глазах Кузьмы запрыгали озорные чертики.

— Ну, брось! — обижается Василь Василич. — Чего морочишь?

— Говорю, топором нарубил, — смеется Кузьма. — Бац — голова направо, хвост влево.

— Так ведь, чтобы голову отрубить, надо ж сначала изловить! — горячится мой приятель.

— Даша, поджарь-ка гостям вьюнков, — оставляя Василь Василича без ответа, говорит Кузьма жене. — Рыбакам да и рыбки не покушать?..

Дарья, пряча смешок, приступает к делу. Она сыплет в ведро пригоршню крупной соли. Вьюны мечутся от соленого, трутся друг о друга, быстро очищаются от чешуи. На загнетке шипит сковорода. Дарья поддевает трепещущих вьюнов вилкой и бросает в масло.

После обеда Кузьма велит собираться, сует нам по топору. Поскрипывая деревяшкой, он ведет через огороды, спускается на луг, изрытый торфяными ямами, конопляными копаниями. Карьеры и копания соединены между собой проточным ручьем. Возле запрудки из смерзшихся камышовых снопов Кузьма останавливается. Запруда подпирает небольшое озерко, которое образовалось сверху льда во время минувшей оттепели. Потом, видно, ударил мороз, и сверху еще намерз лед. Получились два этажа с тонкой прослойкой воды между ними. Кузьма берет у меня топор и выходит на лед. Он осторожно передвигается, держа топор на замахе. И вдруг с силой рубит по льду. Потом быстро расковыри-

ваает дырку, запускает руку и швыряет нам под ноги обезглавленного извивающегося вьюна.

— Понял? — говорит он, передавая мне топор.

Мы тоже сходим на лед. В тонкой прослойке воды то здесь, то там виднеются черные змеетелые вьюны. Я настигаю одного, бью, промахиваюсь, выслеживаю другого и разрубаю пополам. Охота увлекает. На другом краю озера орудует Василь Василич. Он тоже безбожно мажет, горячится, сердится. Но постепенно начинает осваиваться. Добытых вьюнов бросаем тут же, на лед, и вот уже по всей поверхности озера подпрыгивают, бьют хвостами эти удивительно живучие рыбы.

— Хватит? — окликаю Василь Василича, чувствуя, как начинает от топора побаливать рука.

Василь Василич тоже уходился, останавливается, смотрит вокруг на разбросанную добычу.

Набиваем рюкзаки, и Кузьма ведет нас обратно.

— А здорово ты, Кузьма, придумал! — восхищаемся мы, чувствуя за спиной приятную тяжесть.

— У меня осечки не бывает, потому как при мне всегда барометр. — Кузьма смеется и хлопает рукавицей по деревяшке. — Мозжит нога, значит, вьюн из копаней полез.

В избу не заходим, сворачиваем на большак и бодро шагаем к станции. Редко приваливает такое счастье — вернуться домой с полным мешком за плечами.

ЧТО МЫ ВИДЕЛИ НА ПЕСЧАНОЙ КОСЕ

Как-то отправились мы с сыном на реку. Я — писать этюды, он — рыбачить.

Береговая тропинка приводит в такие сказочные васнецовские места, что, кажется, стоит только выглянуть из-за куста, как над зеленоватой заводью, усыпанной звездами кувшинок, увидишь саму Аленушку.

Особенно хороши на реке утренние зори, когда просыпается и принимается за свою неутомимую работу волшебный живописец — солнце. Одним росчерком луча оно разнарядит все вокруг в такие тончайшие краски, что уловить эту неповторимую гамму и тем более перенести на холст под силу не многим.

Разумеется, я не причислял себя к таким смельчакам. А потому брел береговой тропинкой с этюдником за спиной ради прогулки, чудесного отдыха и крошечной надежды, что у меня что-нибудь получится.

Тропинка почти не видна в густой высокой траве. Жесткие заросли череды сменяются то ковром шелковистого мятлика, то синими островками шалфея. Трава брызжет росой, шуршит о мок-

рые брюки. Ботинки уже давно раскисли, в них чавкает вода, ступни ног скользят внутри обуви, точно по мокрой глине. Но разуваться некогда — я шел крупным шагом, сынишка — мелкой рысцой — спешили прийти до восхода солнца.

Выбрали место, чтобы ни ему, ни мне не было обидно. Узкая песчаная коса далеко вдаётся в реку, создавая быстроток. За косой затишьё с круговым ленивым течением — суводь. Здесь наверняка держится рыба. Это — для сына.

А для моего холста — противоположный берег: крутой, в зарослях молодого разнолесья. Обрыв прощит корнями, пронизан ласточкинскими гнёздами. Ударит в этот обрыв солнце, и — пиши себе глухомань под Шишкина.

Сынишка занялся удочками, я пристроился с этюдником в нескольких шагах за кустом, как за ширмой, чтобы не смущали поплавки...

Поплавки — это заразительная штука, так что если хочешь порисовать, не связывайся с ними. Они никак не уживаются с этюдником. Сколько раз бывало: поставишь удочки, а сам, в ожидании клева, за кисть возьмёшься. Да так и не притронёшься к холсту. Дрогнул поплавок, и... покатилося куда-то рыбацкое сердце! Кисть отброшена в траву, этюдник опрокинут — тигром бросаешься к удочкам. А как только вытащен первый рыбий хвост, то уж от поплавок больше глаз не отведешь.

На этот раз я дал себе слово не подходить к удочкам, представив их своему помощнику и консультируя его из-за куста.

— Дно промерил?

— Промерил!

— Поплавки сумеешь подтянуть?

— Уже подтянул. Ага — есть один!

Я выглянул из-за куста:

— Что там?

— Пескарь! За ноздрю попался! — радостно зазвенел голос сынишки. — А пескарницу-то забыли. Куда теперь рыбу класть?

— Не беда! Вырой лунку в песке, напусти в нее воды — вот тебе и пескарница.

Дела у нас шли успешно. Я уже набросал облака, которые, по мнению сына, оказались похожими на дирижабли, а он то и дело выкрикивал:

— Еще один попался! Еще один!

Спины коснулся ласковый луч взошедшего солнца. Плинистый обрыв вдруг потеплел, налился сочным красно-медным цветом. В кустах малины, что опутывали его край, заблестело множество крошечных солнц, отраженных в капельках росы.

Выпорхнула бабочка и покружилась над палитрой. Я торопливо делал мазки, чтобы успеть хоть сколько-нибудь похоже уловить неожиданно расцветшие краски раннего утра.

Наконец этюд был закончен. С чувством человека, добросовестно выполнившего свой долг, я отправился к песчаной косе, чтобы оценить успехи своего рыболова.

— Как дела, браток?

— С десяток есть. — небрежно бросил сын, не оборачиваясь и сосредоточенно глядя на поплавки.

Я подошел к лунке со взмученной, пенистой водой и запустил в нее руку. Между пальцами скользнул, больно кольнув иголками, щустрый ершишко. Кроме него, сколько я ни шарил в ямке, никакой другой рыбы не было.

— Что-то ничего нет. — неуверенно возразил я. — Один ерш...

— Как так — нет?! — Сын подошел к ямке и сунул руку в мутную воду.

С его лица постепенно сползла лукавая усмешка, и вместо нее появилось выражение растерянности и удивления.

— Куда же они девались? — проговорил он. — Я считал: с ершом десять штук было — четыре пескаря и пять уклейек. Еще одиндохлый пескарь вверх брюхом плавал.

— Не знаю, брат. Вот весь твой улов. — И я вытащил из воды бледно-зеленого, с палец величиной ерша, который устрашающе растопырил свой колючий веерообразный плавник, пучил глаза и судорожно жевал воздух.

— Значит, ушли в реку. — заключил сын.

— Это по песку-то? Хорошо. Допустим, что живые каким-то чудом выпрыгнули из ямки и добрались до речки. Но ведь и уснувший пескарь, тот, что плавал вверх брюхом, тоже исчез!

Логический вывод напрашивался сам собой: рыба кем-то похищена.

— К тебе никто не подходил?

— Кажется, никто. Не знаю. — пожал плечами неудачливый рыболов.

Мы принялись осматривать отмель, рассчитывая обнаружить следы похитителя. Но, кроме отпечатков наших собственных ботинок, ничего не нашли.

И вдруг сын, рассматривавший следы в дальнем конце косы, взволнованно закричал:

— Скорей, сюда!

Я подбежал к нему и посмотрел в направлении вытянутой руки.

По песку, к воде, прыгала лягушка. Из ее рта торчало что-то похожее на непомерно длинный, раздвоенный на конце язык. Это был рыбий хвост! Лягушка в два прыжка добралась до воды и исчезла в тине. Мы даже не успели ничего придумать, чтобы задержать воровку и поближе разглядеть это необыкновенное явление.

Прожорливость лягушек известна всякому рыболову. Эти пучеглазые каналы готовы схватить все, что пошевелится перед их носом. Вытаскиваешь из воды лесу, и если поблизости окажется ля-

гушка, она тотчас погонится за поплавком, грузилом или крючком. Я видел, как ребяташки ловили лягушек на голый крючок, который они спускали на леске и водили перед лягушачьей мордой. Но такого, чтобы лягушка заглатывала рыбу, к тому же длиннее себя, ни читать, ни видеть никогда не приходилось.

Представьте себе эту зеленую разбойницу, заглотившую рыбку длиной в десять — двенадцать сантиметров. Голова рыбы упирается в ее желудок, а хвост, торчащий изо рта, волочится по песку, мешая ей двигаться и вынуждая делать высокие прыжки, чтобы не зацепить рыбьим хвостом за землю.

Было интересно, как она управится с такой добычей. Ведь раскусить или разорвать на части пескаря она не могла. Очевидно, ей приходится ожидать, пока желудочные соки переварят голову рыбы, и тогда она проглотит остальную ее часть.

Было ясно, что разбойничий налет на ямку совершен несколькими лягушками. По-видимому, их привлекли всплески пойманных пескарей и уклеек. Не тронули они только ерша, надежно защищенного колючками.

Мы тут же решили наловить рыбешек, пустить их в лужицу и собственными глазами увидеть самое любопытное — как лягушки расправляются с живой рыбой. Вскоре пара пойманных уклеек уже бойко ходила в лунке, время от времени принимаясь отчаянно трепыхаться.

Мы растянулись на песке в нескольких шагах от ямки и стали ждать. Ожидать пришлось недолго. В прибрежной тине, зеленым одеялом застлавшей заводь, показалась голова матерой озерки. Шлеп-шлеп — и она выбралась на берег. Сделав еще несколько прыжков, озерка оказалась на песчаном гребне, возведенном вокруг лужицы. Здесь она залегла, уставившись своими немигающими глазами прямо на нас.

Тварь вообще препротивная, в эту минуту, когда я с предубеждением рассматривал ее большеротую рожу, она вызывала чувство жгучего отвращения. На лягушачьей морде застыло выражение вызывающей наглости, которое придавали ей немигающие глаза и сложенные в усмешку губы. В ней было что-то от крокодила, от саламандры, от какого-то ископаемого пресмыкающегося. Теперь я понимаю, каким нужно быть злодеем, чтобы превратить Василису Прекрасную в эту отвратительную тварь!

— Скоро она будет бросаться на рыбу? — шепнул сын.

— Сейчас прыгнет.

Я ожидал, что лягушка, улучив момент, сделает прыжок, стремительно набросится на уклею. Но — ничего подобного. Она неторопливо, совсем как крокодил, осыпая песок, сползла с гребня в лужицу и сова будто окаменела. Рыбки проплывали мимо, толкаясь о ее бока, но лягушка оставалась неподвижной. И вдруг, совершенно неожиданно, так, что мы даже вздрогнули, она сделала молниеносный зиг-

заг — прыжок вперед, потом назад, замутила воду и скрылась в ней. Через некоторое время на поверхности показалась лягушечья голова с рыбьим хвостом во рту. С еще живым, трепещущимся хвостом проглоченной уклейки!

Я не вытерпел. Схватил тяжелую раковину беззубки, оказавшуюся под рукой, и что есть силы метнул ее в кровожадную хищницу.

Хороша же, нечего сказать! А еще кто-то ласково назвал ее квакушкой!

Мы собрали свое снаряжение и отправились домой. Сын был явно не в настроении. Да это и понятно. Каково возвращаться рыболову с пустыми руками! Но я его утешил тем, что мы были свидетелями необыкновенного случая, который обогатит наши запасы наблюдений за повадками животных.

— Что стоит твой десяток рыбешек по сравнению с тем, что мы узнали! Придешь в школу и расскажешь о своем необыкновенном приключении.

— Мне не поверят. — резонно возразил он.

Но когда мы переправились через реку и рассказали о случившемся старому паромщику, сын мой нашел еще одного свидетеля.

— Рыбу они запросто таскают. — сказал старик. — А у меня однажды утят загубили. Только вывелись, выпустил я их на болотце — двух и утащили. За лапку и — в воду. Прямо на глазах. Что твоя штука.

ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ Я ПРИДУМАЛ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ АЛЕНКИ

Иду рыбацкой тропой, смотрю, что натворила река в половодье. После двухнедельного буйного водогона она наконец скатилась в летнее русло и теперь, присмирившая, виноватая, тихо струится у молодых осок.

Обнажились добела промытые песчаные пляжи. Их еще не замусорили купальщики: не видно обрывков газет, яичной скорлупы, окурков, песок еще не истолчен следами босых ног. Даже ветер не успел развеять волнистые ступеньки, зализанные отступавшей рекой. Почему-то жаль топтать эту нетронутую россыпь песков. Здесь светло, солнечно и удивительно уютно, будто в прибранной комнате. Идешь по песчаной целине так же бережно, как по свежеразмыванному полу.

Набретаю на строчку маленьких и частых следов. Они тянутся у самой воды, где песок влажен и слегка заилен. На этой чувствительной пленке отчетливо отпечатались ребячьи ступни. Наверно, прошел маленький удильщик.

За поворотом берег одевается кустарниками, и след теряется в травах. Веселой ватагой подступили к самой воде голубоглазые незабудки. Крошечные, скромные, а увидишь — будто кто за руку ос-

тановит — столько в них милой простоты и обаяния. Не за их ли сдержанную, немного грустную и наивную прелесть дано такое чудесное название — незабудки?

За кустами мелькает пестрый ситцевый сарафан и русая головка маленькой девочки. Не видя меня, она рвет цветы, что-то напевая. О мою брезентовую куртку хлестко стегают прутья. Девочка трепетно оборачивается на шум. Я, конечно, напугал ее, и теперь она, пока я приближаюсь, тревожится: что за человек? Она, поджав губку, пугливо смотрит на меня одним глазом в щелку раздвоившегося чуба. Обе ее руки заложены за спину, будто она прячет от меня что-то такое, чего не должен увидеть я.

Поднимаю над головой спиннинг, и девочка успокаивается: рыболов. Она доверчиво показывает из-за спины голубую охапку незабудок. При этом внимательно и озабоченно смотрит мне в лицо, ловя на нем оценку букету. Я еще не успеваю ничего сказать, а она уже догадывается, что букет нравится. Потому что глаза ее вдруг расцветают какой-то радостной голубизной, точь-в-точь две звездочки-незабудки.

— Очень хорошие цветы, — хвалю я. — Только как же ты не боишься заходить так далеко?

— А я тут рядом живу, в деревне.

Мне все равно куда идти, и я провожаю девочку Аленку домой.

Над крутым обрывистым берегом хлопчут речные ласточки. Аленка спрашивает, почему они кружат. Я рассказываю: наверное, ремонтируют свои квартиры, пострадавшие от наводнения. Селятся ласточки в норах, в обрывистых берегах. Птичка-невеличка, а прокапывает в твердой глине ход до метра длиной. Нелегкая работа, зато получается самое безопасное жилище — ни с берега, ни с воды не достать. Одно только неудобство — весной вода заливают. А бывает и так: прилетят береговушки и не могут найти своих прошлогодних нор. Вешняя вода подмыла кручу, и та вместе с гнездами и кустами лозняка отвалилась, сползла в воду. Там, где был птичий пещерный городок, чернеет теперь свежий обвал, а из воды торчит куст лозы, опутанный наносными водорослями. Если затонувшие ласточкины норы не размыло, то в них теперь наверняка набились раки и налимы.

Аленка боится: не случилась ли такая беда с теми ласточками, что озабоченно кружат впереди нас над обрывом? Но видим берег в черных ямках, и Аленка тихо смеется: домики уцелели. Ласточки крикливо носятся над своими гнездами и успокаиваются, как только мы скрываемся в береговых зарослях черемухи. Местами в воду сползли вместе с берегом целые деревья. Обреченные на гибель, они все-таки выбросили молодые листья. Но как только напор весенних жизненных сил иссякнет, они завянут, как умирает ветка вербы или сирени, распустившаяся на окне в бутылке. А потом приедут на лодке люди и спилят их на дрова.

Аленка об этом не знает, а мне не хочется ее огорчать, видя, как она удивлена необыкновенным лесом. Да и мне странно видеть эту рощицу среди воды, под сенью которой плавают голавли.

Досталось нынче и береговой посадке тополей. Мы проходим мимо, и я на каждом шагу примечаю следы борьбы со льдами. Молодые деревца, стоя по пояс в воде, с трудом сдерживали их натиск. Лдины метровой толщины с разгона врезались в упругую стену молодых деревьев, подминали под себя гибкую поросль, ранили острыми краями те, что покрепче, неподатливее. Стволы покрыты свежими задирками и прошлогодними ссадинами. Но жестокая битва и на этот раз выиграна: молодо зеленеют клейкие, будто еще не просохшие лакированные листья, прикрыв под своим шатром остатки водорослей, кучи песка и всякого мусора, нанесенных половодьем.

Над посадкой шумно взлетает воронье, рассыпается по верхушкам деревьев. Сквозь тополевою горечь молодой листвы пробивается запах тлена. Невольно поворачиваю голову на ветерок. В развилке дерева что-то сереет. Аленка тоже замечает и хватается меня за полу куртки. Губы ее тихо шепчут: «Что это?» Я подхожу ближе. Здоровенный русачина свисает с дерева вниз головой. Он попал в развилку ствола брюшным перехватом и держится в ней крепко.

— Что это? — переспрашивает девочка.

— Заяц, Аленка.

— А почему он на дереве?

Я и сам не знаю, как матерый русак оказался между сучьев. Странная смерть. Ведь уцелел же зимой от выстрела охотника, наверно, сумел сбить со следа не одну гончую, а тут на тебе.

Неприятная находка. Спешу уйти подальше от постылого вороньего крика, от дурного запаха. А Аленка трусит за мной рысцой и все допрашивает:

— А зайцы умеют по деревьям лазать?

— Когда земля больше не держит, хочешь не хочешь, приходится лезть и на дерево.

— А когда земля зайцев не держит?

И я начинаю выдумывать историю, стараясь ответить и Аленке и самому себе.

— Жил-был, Аленка, серый зайчишка. У него были длинные уши, чтобы слышать, длинные лапы, чтобы убежать от лисиц и собак, и очень коротенький хвостик. Такой коротенький, что когда случалось, собаки нагоняли зайчишку, то им не за что было ухватиться. И все-таки косому жилось очень скверно, потому что у него вместо сердца был кусочек страха. Упадет с дерева сухой сучок, а страх уже шепчет в большие уши: «Это лисица» — и приказывает длинным лапам: «Бегите!» А бежать вовсе никуда и не надо. И глаза у зайчишки стали косыми от страха. Ест траву, а сам все косится. Да так и окосел. Вот до чего доводит страх!

Всем завидует заяц. Особенно ежу. Вот кто храбр, вот у кого мужественное сердце! Никого не боится еж. Ни собак, ни волка, ни даже медведя.

Раз заяц видел, как на ежа собака напала. Ну, думает заяц, — крышка! Хотел было крикнуть: «Беги, браток, спасайся». Да не крикнул, потому что от страха голос пропал. А еж и не подумал спастись бегством. Наоборот, стал сердито ворчать на собаку, а как только та хотела его сцалать, он так поддал ее в нос колдочками, что перепуганный пес взвизгнул и убежал.

Пробовал и заяц никуда не убежать. Но утерпеть не мог. Чуть что — подскочит и — пошел махать без оглядки.

Особенно трудненько зимой, когда снег выпадает. Куда ни побежит косою, туда за ним и след тянется. Заяц вправо — след вправо, заяц влево — след влево. Тут уже всякий щенок запросто разыщет. Как только ни хитрил косою, чтобы от своего следа избавиться! Да так и не сумел. Тогда он стал запутывать его. Сделает петлю, потом вернется назад, ступая по старому следу, чтобы лапы точно в отпечатки попадали, и вдруг как прыгнет в сторону! Но охотник научился распутывать заячьи хитрости. Только прилег заяц в ямке под кустом, думая, что наконец-то можно спокойно отдохнуть, вдруг — на тебе, охотник с ружьем. Страх на два метра выбросил зайца из-под куста, сзади оглушительно грохнуло, по уху чем-то больно стегнуло. Только некогда разбираться, что к чему, улепетывает косою во все лопатки.

— Живой остался? — спрашивает Аленка.

— Живой! И собаки гоняли — не догнали, и чуть в лапы сове не попал, и голодать приходилось. Зимними ночами, когда ты спала, прибегал к тебе на огород выкапывать из-под снега капустные кочерыжки. Они хоть и мерзлые, а все же лучше горькой осиновой коры. Все было. Аленка, а только все прошло.

Благополучно дожил косою до весны. Набрякли водой снега, охотникам не пройти. Сложили они ружья в чехлы — до осени. Ободрился заяц. Выбрал себе место повыше, чтобы половодье не достало, и зажил спокойно. Только откуда ему было знать, что в этом году вода будет такая большая? Окружила она холмик, стал он островом. А вода все прибывала. Куда ни глянет зайчишка — не видно края. Поднял страх зайца на ноги, да только ноги теперь не спасут.

Видит, что земля его больше не держит, вспрыгнул на проплывавшую мимо льдину. Долго странствовал он на ней по реке. Наконец льдина врезалась в лесополосу, затрещали ветки, заяц увидел лес — обрадовался.

Лесополоса — как большое сито. Все, что ни несла с собой вода, застревало в густой щетке молодых деревьев: солома, щепки, водоросли, ветки. Мусора набралось столько, что он совсем закрыл воду. Заяц и подумал, что это сухая земля. На радостях далеко прыгнул от льдины и... только брызги полетели!

— Вот глупый! — возмутилась Аленка.

— Совсем глупый, — согласился я. — Но слушай, что дальше было. Хлебнул косою воды, забил лапами, кое-как выбрался на воздух, а тут подвернулась эта самая рогулька. Он залез в нее, повис брюхом. Хоть лапы в воде, но все-таки поддержка. А вот сколько он провисел так — не знаю. То ли сразу обессилел и захлебнулся: ведь трудно все время держать голову кверху. То ли умер с голоду. А может, и замерз: ведь вода-то была ледяная.

Аленка шагает рядом, хмурится, но больше ни о чем не спрашивает. И только когда завиднелась деревушка и я остановился, чтобы попрощаться, она вдруг говорит:

— Натя цветы. Они долго не вянут.

ТАИНСТВЕННЫЙ МУЗЫКАНТ

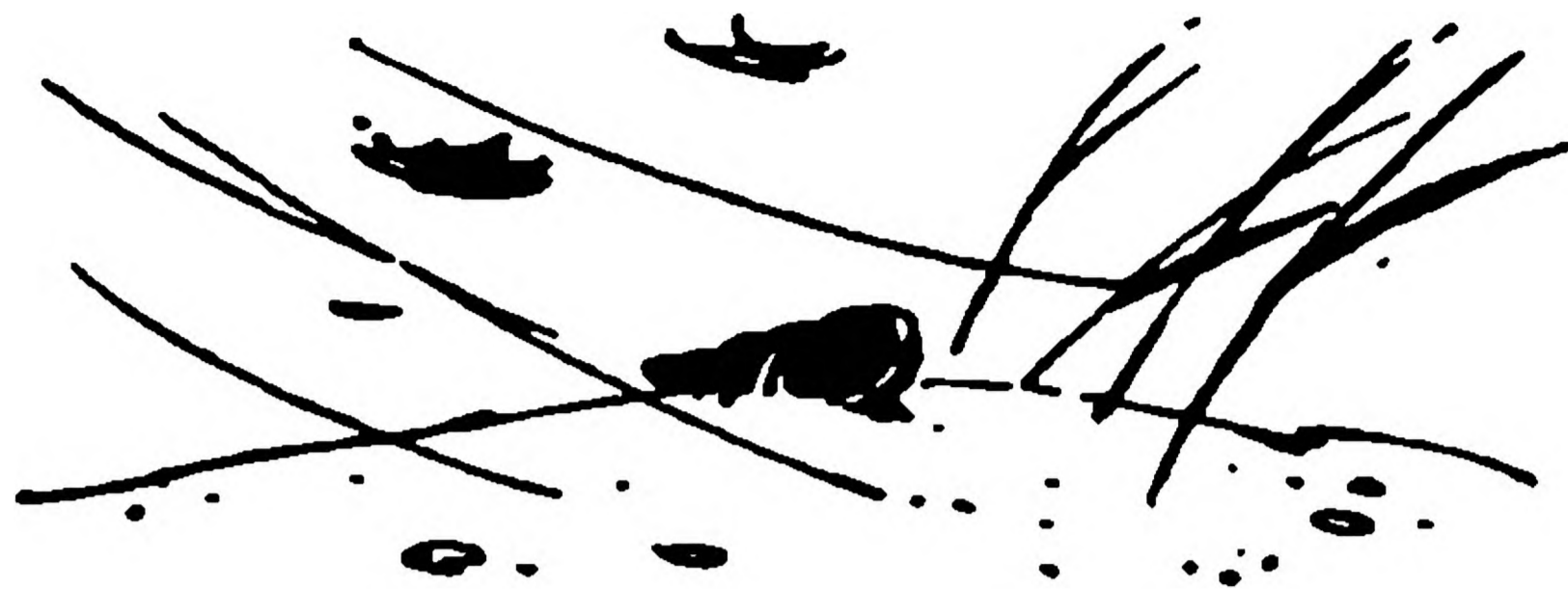
Однажды после долгого хождения с удочкой по берегу реки я присел отдохнуть на широкой песчаной отмели среди прибрежных зарослей. Поздняя осень уже раздела кусты лозняка и далеко по песку разбросала их узкие лимонные листья. Лишь на концах самых тонких, будто от холода покрасневших веточек еще трепетали по пять-шесть таких же бледно-желтых листков. Это все, что осталось от пышного карнавала осени.

Было пасмурно и ветрено. Вспененные волны накатывались на песчаную отмель, лизали почерневшие водоросли, вытащенные на берег рыбацким неводом.

И вдруг среди этих шорохов и всплесков послышались тревожащие своей необычностью звуки. Было похоже, что где-то совсем близко играла крошечная скрипка. Порой тоскливая, зовущая, порой задумчивая и покорная, полная светлой печали мелодия робко вплеталась в неумомонное ворчание хмурой реки. Звуки мелодии были так слабы, что порывы ветра иногда обрывали, как паутинку, эту тонкую ниточку загадочной трели.

Прислушавшись, я уловил закономерную связь между скрипачом и ветром. Стоило ветру немного утихнуть, как скрипка переходила на более низкие ноты, звук становился густым, и в нем отчетливо улавливался тембр. Когда же ветер усиливался, звуки забирались все выше и выше, они становились острыми, как жало, скрипка плакала и всхлипывала. Но дирижер-ветер был неумолим, он настойчиво требовал от скрипача новых и новых усилий. И тогда таинственный музыкант, казалось, не выдерживал темпа, срывался, и... слышались только сердитые всплески волн и шорох опавших листьев.

Как замороженный слушал я этот удивительный концерт на пустынной песчаной отмели. Я прислушивался снова и снова, и напев все время повторялся все в тех же сочетаниях звуков.



Наконец я установил направление и даже приблизительное место, откуда текла эта тоненькая струйка мелодии. Оно находилось справа, не более чем в двух-трех шагах от меня. Но там был все тот же песок, и ничего больше, если не считать полузасыпанной раковины на гребне песчаного холмика. Это была раковина обыкновенного прудовика. Такие у нас встречаются во множестве. Если подойти к берегу водоема в тихий солнечный день, то у поверхности воды можно увидеть плавающие, как пробки, черные, спирально закрученные домики прудовика. Вскользните веткой зеленоватую гладь, и эти домики медленно, как бы ввинчиваясь в воду, пойдут на дно — подальше от опасности.

Я подошел к холмику. Широкое входное отверстие ракушки было обращено навстречу ветру и немного в сторону. Край ее в одном месте обломан. Я наклонился поближе и окончательно убедился, что волшебный музыкант спрятался в раковине. Оттуда, из глубины спирального, выложенного перламутром убежища, отчетливо слышались звуки крошечной скрипки.

Я осторожно взял раковину, чтобы рассмотреть повнимательнее. Но ничего особенного не нашел: обыкновенная, как все другие, которых на песке оказалось довольно много.

Но почему звуки исходили только из этой, а все остальные молчали? Может быть, и в самом деле в ней кто-то запрятался? И мне снова захотелось послушать игру раковины-музыканта.

Я положил ее на прежнее место, приготовился слушать. Но «скрипач» молчал. Похоже, что он рассердился за то, что его бесцеремонно потревожили, и ожидал, пока я снова уйду.

Я, конечно, догадался, что слышанную мной мелодию извлекал из раковины ветер. Но почему после того, как домишко прудовика был водворен на прежнее место, он больше не мог извлечь ни единого звука? И тут я понял, что допустил роковую ошибку, сдвинув раковину с места. Из множества других, видимо, только она лежала по отношению к ветру так, что на малейшее его дуновение тотчас отвечала звучанием. Возможно, этому еще способствовала та самая щербатина, которую я обнаружил на краю отверстия, и даже тот песок, которым она была наполовину засыпана.

Долго я возился с ней, клал так и этак, осторожно подсыпал под нее песок, насыпал внутрь, но так и не смог извлечь ни единого звука.

Огорченный, я положил раковину в карман и пошел домой.

Теперь она лежала на письменном столе, в картонной коробке с речным песком.

Я видел немало диковинных заморских раковин — необыкновенных размеров, необычайной расцветки, удивительной формы. О многих из них ходят целые истории. Говорят, что если такую раковину приложить к уху, то услышишь шум морского прибоя. Конечно, никаких ударов волн в ней не слышно. Шумит раковина потому, что она помогает уху более чутко улавливать окружающие нас звуки. Да в этом и нетрудно убедиться: накройте ухо ладонью, сложенной лодочкой. Слышите шум? Вот и весь секрет.

А эта, что лежит на моем столе, — скромная серенькая обитательница наших тихих речных затонов, — действительно обладает секретом.

Иногда я выношу мой «музыкальный инструмент» во двор, подставляю под ветер, пытаюсь настроить с помощью песка, но пока это мне не удастся. Видно, не хватает терпения.

Когда же я оставляю раковину на столе, а сам выхожу в соседнюю комнату, то мне чудится, будто за приоткрытой дверью кто-то осторожно настраивает маленькую скрипку...

КАК ПАТЕФОН ПЕТУХА ОТ СМЕРТИ СПАС

Дело уже двигалось к весне. Замаслилась дорога, снег во дворе осел и потемнел, а в полдень на солнцепеке все настойчивее барабанила капель. Витька вытер насухо лыжи и спрятал их на чердак до будущей зимы.

И вдруг как-то ночью ударил морозище. Да такой лютый, что и среди зимы не часто случается. К утру деревья, телефонные провода, заборы покрылись лохматой изморозью. Солнце встало в каком-то зловещем ореоле. Прилетевший на кормушку воробей зябко поджимал под себя то одну, то другую лапку, будто пританцовывал, стараясь согреться.

По радио объявили, что по случаю мороза занятий в школе не будет, и Витька засел дома на целую неделю.

Однажды утром бабушка принесла из курятника петуха, и все ахнули. Его широкий, короноподобный гребень, большие, до самого зоба бурды и не покрытые перьями щеки были белы от инея.

— Пропал петух! — заахала бабушка.

Все домашние собрались вокруг пострадавшего и с озабоченностью смотрели на его обмороженную голову.

— Надо резать, — сказал наконец отец. — Все равно сдохнет...

У Витьки при этих словах похолодела спина. Ему стало очень жаль петуха. Он был такой красивый и смелый. На шее — огненное ожерелье, спина серая, в мелких белых пестричках, а в пышном

хвосте длинные, серпообразные иссиня-черные перья. Держался он гордо, выступал вперед широкой, отливающей бронзой грудью, высоко, будто на параде, приподнимая лапы, увенчанные загнутыми кверху острыми шпорами, и был храбр, как истинный гвардеец. На улице не было петуха, который смел бы подойти к нему близко. Он делал навстречу противнику два-три неторопливых шага, будто предоставляя ему возможность еще раз подумать, на что идет, и, если тот не убирался восвояси, стремительно обрушивался на него. При этом он зонтиком растопыривал на шее медно-красные перья, низко пригибал голову, а его длинный хвост волочился по земле, как плащ.

Обычно петухи поспешно ныряли в ближайшую подворотню. И тогда Витька, заложив пальцы в рот, неистово свистел вслед удиравшему. А Витькин петух, великодушно отказавшись от преследования, хлопал крыльями и, изогнув шею вопросительным знаком, горланил на всю улицу свое «ку-ка-ре-ку!». что в данный момент означало: «Я тебе покажу, как забываться!..»

А как голосисто кукарекал он зарю! Сначала за стенкой в сарайчике раздавались короткие удары крыльями. Потом, сразу забирая в головокружительную высоту, петух уверенно брал первое колено песни. Он никогда не торопился переходить ко второму колену и, словно стараясь показать всем соседним петухам свое мастерство, забирал все выше и выше. Голос его звенел чистым, прозрачным звуком меди, и Витьке казалось, что вот сейчас в горле петуха что-то лопнет от натуги и песня оборвется. Витька даже съеживался от этой звонкости петушиной песни, от напряженного ожидания конца знаменитого «р», составляющего венец победного клича. Но петух не осекался. Он плавно переходил на более спокойное «ку», тянул его не менее долго и громко и благополучно завершал все свое «ку-ка-ре-ку!».

И вот теперь отец велел отрубить ему голову. Бабушка ошиплет с него золотистый мундир, завяжет перья в сумочку и подвесит их в чулане рядом с пучком мороженой калины, а из петуха сварит суп.

В горле у Витьки заскребло, глаза часто-часто замигали. Он быстро юркнул в другую комнату и забился в угол.

Мать и отец ушли на работу. Дома остались только он да бабушка. Витька слышал, как тихо шаркали ее валенки, и со страхом ожидал, когда она выйдет во двор, чтобы отрубить голову петуху. Но бабушка что-то не торопилась, и Витька, успокоившись, вышел в кухню.

— Бабушка, а бабушка, — тихо позвал он. — Ты не будешь петуха резать? Пусть еще поживет немножко, а? Может, ничего... отгадет?

— Ишь ты какой! — погладила бабушка Витьку по стриженной голове. — Сердчишко у тебя, видать, жалостливое. Ну что ж... Пусть побудет! Авось отойдет. Мы его сейчас гусиным жиром смажем. Это от морозу помогает.

Витька просиял. Он подбежал к петуху, который сидел под стулом нахоленный, с полузакрытыми глазами, и дружески погладил по сутулой спине.

— Больно, а? Я тоже раз нос поморозил. И ничего. Поболело немножко, а потом зажило. Ты терпи, не поддавайся. А то бабку отрубят.

Бабушка смазала петуху уже успевшие посинеть в тепле гребень и бороду и насыпала на пол пшена. Но петух даже и не взглянул на корм. Голову его с каждой минутой распухало, и пиваясь какой-то прозрачной жидкостью, петух все больше сутулился и гнулся.

Бабушка трингетом стелила, постлала под печку и поставила туда баночки с зерном и водой, посадила петуха и прикрыла железной заслонкой. Витька снова забеспокоился: «Зарубят. Придет отец — и конец!»

Отец пришел с работы поздно и, видно, забыл о петухе. Не заговорил о нем и утром.

А когда все опять разошлось, Вильяма содрогнул заслонку и осторожно вытащил из-под печки петуха. Он был совершенно плох: голова слилась в какой-то красно-синий шар, глаза затекли и смотрели тускло и безразлично. К корму он, как и вчера, не притронулся. Витька поднес банку с водой и насильно макнул в нее клюв петуха. Петух раза два глотнул и заковылял под печку.

Между тем мороз не сдавался. Он трещал в старых бревнах дома, проступал колючей солью на оконных ручках и шляпках дверных гвоздей. Витька давно не казал нос на улицу и уже порядком соскучился по своим друзьям, как вдруг появился одноклассник Колька. Повязанный поверх ушанки пуховой шалью, концы которой крест-накрест охватывали спину, он неуклюже перевалился через порог.

— Ух, какой морозище! — сказал Колька. — За нос так и щиплет. Даже слезы текут.

— А у нас петух поморозился, — поделился новостью Витька.

— Петух — это что! Петух — птица, — серьезным тоном возразил Колька. — У нас от мороза водопроводная труба лопнула. Железо и то не выдержало. А петух — раз плюнуть...



Бабушка напоила приятелей чаем с вареньем, и они пошли играть. Посмотрели книжки, новые почтовые марки, поиграли в «Конструктор». Когда все это наскучило, Витька сказал:

— Я тебе сейчас новую пластинку заведу. Хочешь?

— Ну, давай...

Пластинка и верно оказалась хорошей. Рассказывали басню Крылова «Лягушка и Вол». Лягушка, стараясь раздуться до размеров Вола, напрягалась и квакала. Потом, после особенно усердного кваканья, в патефоне вдруг что-то страшно зашипело, будто из его нутра прорвался воздух. Колька испуганно взглянул на Витьку, а тот в ответ расхохотался.

— Ты думал, патефон испортился, да? Это лягушка от натуги лопнула. Надувалась, надувалась — и «п-ш-ш»... Интересно?

— Угу! А что на другой стороне?

Витька накрутил пружину, перевернул пластинку и пустил диск. Заиграла музыка, из патефона выпорхнули слова другой знакомой басни:

«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!» —

«А ты, Кукушечка, мой свет,

Как тянешь главно и протяжно...»

Умиляясь друг другом, Петух и Кукушка поочередно раздавали похвалы. Но вот, не находя больше слов, они перешли на песни. Из трубы вылетало то звонкое петушиное «ку-ка-ре-ку!», то вкрадчивое, разнеженное кукованье. Обе птицы хвалили друг дружку с таким усердием, что Петух вдруг охрип и начал орать каким-то кошачьим голосом. Витька и Колька покатались со смеху.

— Дохвалился! Даже охрип, бедняга! — сказал Колька. — А ну, давай сначала заведем.

Пластинку завели снова, и птицы с новыми силами принялись состязаться в безудержных похвалах. И вот, когда Кукушкин друг собирался охрипеть во второй раз, Витька и Колька услышали, как откуда-то издалека, будто из-под земли, донесся настоящий, живой петушиный голос.

Ребята переглянулись.

— Слышал? — спросил Витька.

— Слышал...

— Да ведь это же наш, обмороженный, запел! Бабушка! — вскочил со стула Витька. — Бабушка!..

Из сеней с охапкой дров вошла бабушка.

— Бабушка, наш петух запел! Не веришь?

С этими словами Витька вернулся в комнату, схватил патефон, поставил его в кухне на пол и вытащил из-под печки петуха. Бабушка недоверчиво смотрела на все эти странные приготовления.

— Вот слушайте! — сказал он, накручивая патефонную ручку.

Сначала петух подозрительно косился опухшим глазом на вращающийся и поблескивающий никелем диск. Но когда из глубины патефона раздался первый петушиный выкрик, он вдруг вытянул настороженно шею и издал то самое вопросительное «ко-ко-ко?», которое обычно означало: «Что там еще такое?»

— Слышите? Кокочет! — ликовал Витька.

Между тем спела свою партию Кукушка и подошла очередь ее партнера. И как только послышалось особенно отчаянное «ку-ка-ре-ку», Витькин петух вдруг выпятил грудь и сделал навстречу патефону свои два предупреждающих шага. Вот ведь воинственная птица! Даже с распухшей головой и заплывшими глазами петух не мог стерпеть, чтобы противник нагло горланил, спрятавшись в этом ящике.

Сделав еще два шага, петух пригнул голову, распустил на шею перья и сердито долбанул в пол клювом.

Раздайся в эту минуту из патефона еще хоть один петушиный клич, и Витькин петух, наверное, налетел бы на патефон, ударил бы по нему крыльями и дернул шпорами. Но этого не случилось.

Как раз в это время Петух из басни допелся до того места, где полагалось потерять голос, и он сбился, зафальшивил и задержал драной кошкой.

Готовый ринуться в бой, петух остановился, приподнял голову и снова скороговоркой проговорил свое «ко-ко-ко?». Мол, что ж это ты, братец, осип? Эх, ты!.. Потом он вытянулся на голенастых ногах, будто привстал на цыпочках, замахал крыльями, развеяв по полу пшено, и вдруг закукарекал, да так, что у ребятшек заложило уши, а в железном нутре патефона что-то задрезжало. Кончив победную песню, петух важно отошел в сторонку и как ни в чем не бывало стал собирать раскатившееся по полу зерно.

Витька ликовал. Он с гордостью посмотрел на своего золотоперого друга и радостно воскликнул:

— Вот черт! Оттаял-таки!

После этого он уже не сомневался, что никто не посягнет на петушиную голову.

КАК ВОРОНА НА КРЫШЕ ЗАБЛУДИЛАСЬ

Наконец-то наступил март! С юга потянуло влажным теплом. Хмурые неподвижные тучи раскололись и тронулись. Выглянуло солнце, и пошел по земле веселый бубенчатый перезвон капли, будто весна катила на невидимой тройке.

За окном, в кустах бузины, отогревшись воробьи подняли шумиху. Каждый старался изо всех сил, радуясь, что остался жив: «Жив! Жив! Жив!»



Вдруг с крыши сорвалась подтаявшая сосулька и угодила в самую воробьиную кучу. Стая с шумом, похожим на внезапный дождь, перелетела на крышу соседнего дома. Там воробьи расселись рядком на гребне и только было успокоились, как по скату крыши скользнула тень большой птицы. Воробьи враз свалились за гребень.

Но тревога была напрасной. На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все другие вороны в марте: с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным загривком. Зима заставила ее позабыть о чувстве собственного достоинства, о туалете, и она правдой и неправдой с трудом добывала хлеб свой насущный.

Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой ломоть хлеба.

Усевшись, она подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости ребятишек? И что за привычка у этих сорванцов бросать камнями? Потом она оглядела ближайшие заборы, деревья, крыши: там могли оказаться другие вороны. Они тоже не дадут спокойно перекусить. Сейчас же слетятся и полезут в драку.

Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Воробьи снова набились в бузину и оттуда завистливо поглядывали на ее кусок хлеба. Но эту скандальную мелюзгу она в расчет не принимала.

Итак, можно закусить!

Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими лапами и принялась долбить. Когда отламывался особенно большой кусок, он застревал в горле, ворона вытягивала шею и беспомощно дергала головой. Проглотив, она на некоторое время снова принималась озира́ться по сторонам.

И вот после очередного удара клювом из-под лап выскочил большой ком мякиша и, свалившись с трубы, покатился по скату крыши. Ворона досадливо каркнула: хлеб может упасть на землю и даром достанется каким-нибудь бездельникам вроде воробьев, что пристроились в кустах под окном. Она даже слышала, как один из них сказал:

— Чур, я первый увидал!

— Чик, не ври, я раньше заметил! — крикнул другой и клюнул Чика в глаз.

Оказывается, хлебный мякиш, катившийся по крыше, видели и другие воробьи, а потому в кустах поднялся отчаянный спор.

Но спорили они преждевременно: хлеб не упал на землю. Он даже не докатился до желоба. Еще на полпути он зацепился за ребристый шов, какие соединяют кровельные листы.

Ворона приняла решение, которое можно выразить человеческими словами так: «Пусть тот кусок полежит, а я пока управлюсь с этим».

Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это оказалось нелегкой задачей. Крыша была довольно крута, и когда большая тяжелая птица попробовала сойти вниз, ей это не удалось. Лапы заскользили по железу, она поехала вниз, тормозя растопыренным хвостом.

Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и села на желоб. Отсюда ворона попробовала снова достать хлеб, карабкаясь снизу вверх. Так оказалось удобнее. Помогая себе крыльями, она наконец добралась до середины ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянулась назад, посмотрела вверх — крыша пуста!

Вдруг на трубу опустилась голенастая в сером платочке галка и вызывающе щелкнула языком: так! мол, что тут делается? У вороны от такой наглости даже на загривке ошетинились перья, а глаза сверкнули недобрым блеском. Она подпрыгнула и ринулась на непрошеную гостью.

«Вот старая дура!» — сказал про себя следивший за всей этой историей Чик и первым перемахнул на крышу. Он-то видел, как ворона, перелетев на желоб, начала подниматься вверх не по той полосе, где лежал кусок хлеба, а по соседней. Она была уже совсем близко. У Чика даже сердечко екнуло оттого, что ворона может догадаться перейти на другую полосу и обнаружить добычу. Но уж очень несообразительна эта грязная, лохматая птица. И на ее глупость Чик втайне рассчитывал.

— Чик! — закричали воробьи, пускаясь вслед за ним. — Чик! Это нечестно!

Оказывается, они все видели, как старая ворона заблудилась на крыше.

РАЗБОЙ НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Три дня сеял мелкий дождик — моросей. Дочерна промокли заборы. Дороги раскисли, глубокие колеи заплыли жидкой грязью. Осенний пожар окончательно погас, и только молодой дубок в придорожной посадке тускло пламенел несброшенной листвой.

А вчера под вечер моросей спугнул внезапный морозец. Сквозь свинцово-цинковую крышу туч просочилась лимонная полоска за-

ри. Дороги захрустели под колесами, будто намокший брезент, окаменели собачьи следы на огородах.

Кряжистый дубок залубенел: листья топорщились, словно вырезанные из бронзы, на них проступила морозная соль.

Сегодня же и дорожные колени, и отпечатки собачьих лап на грядках, и заиндеветый, озябший дубок — все это спрятано под первой порошей. И сразу стало уютно и чисто. Пришла зима!

Рано облинявший заяц на радостях сразу же наделал петель возле своего логова. Да что ему теперь логово! Кругом бело, и шуба на нем белая. Где ни залег, там и постель. В рыхлом, взбитом снегу тепло, как в пуховой перине. Прыгает косой, кувыркается, тычет мордочкой в искристый снег. Радуетя!

Не унывают и клесты. Их говорливая стайка беззаботно порхает среди мохнатых, отяжелевших от снега еловых лап. Шишек в этом году много, можно строить гнездо и выводить птенцов. Над головами голых слепых малюток будут перепархивать снежинки, а птенцам хоть бы что! Пищи вдоволь — значит, стужа не страшна.

Но не все такие счастливы! Для многих обитателей полей и лесов зима принесла беспокойные хлопоты. Куда податься, скажем, галкам, воронам, сорокам? От лютой стужи в гнезде не спрячешься. И какое это убежище, если его насквозь ветром пронизывает, снегом забивает? А главное — в зобу пусто, нечем поживиться, все замерло, попряталось, засыпано порошей.

Вот и жмутся птицы поближе к человеческому жилью. Откуда только смелость берется! Иной раз выглянешь утром в окошко, а на заборе — рукой дотянуться — уже сидит носатая нахоленная ворона. Ждет: не выбросят ли чего на помойку. Тут же, на пустой скворечне, сорока вертится и на чем свет стоит поносит свою родственницу-ворону: «Ах ты, такая-сякая, старая воровка! Тре-ке-ке-ке! И как тебя близко к помойке подпускают!»

Выбросит хозяин собаке кость поглотать, а белобокая крикунья уже грозит вороне: «Моя кость, не тронь, моя!» И от нетерпения и зависти даже хвостом вскидывает. Молчит ворона, в ссору не вяжется: знает, что сороку не перекричать.

Что сорока сварлива и воровата — всякому известно. А я вот однажды, возвращаясь с подледной рыбалки, видел, как она разбоем занималась. И кто может подумать, что эта франтиха с черным шелковистым галстуком, выпущенным поверх белоснежного жилета, будет промышлять грабежом на большой дороге!

Дорога эта — большак с телеграфными столбами по обочине и густой лесополосой на другой стороне. Пылят снегом машины, скрипят полозьями возы. Идут люди в заиндеветых воротниках и шапках. Дело под вечер: морозно! Не время зевать по сторонам. Скорей бы до теплой печи добраться. А потому, уткнувшись в воротники, никто и не замечает, что на одном из придорожных столбов притаилась большая хищная птица. Да и заметить ее трудно:

бл-я, о-то пали-ший к- сне-а на пер-
шине столба.

Птица сидит неподвижно, словно спит. Но круглые янтарные глаза ее открыты. Они немигающе и пристально смотрят на дорогу, на дымящиеся спины лошадей, на неуклюжие фигуры обозников.

Но вот последние сани скрылись за поворотом, птица бесшумно снимается и неторопливо летит вдоль лесополосы. Крылья широкие, кончики маховых перьев буроватые, большая круглая голова приросла к толстому туловищу, хвост короткий, распущен всером. Это полярная сова. Откуда? Очень просто! Прилетела в гости. Она каждую осень покидает тундру и перекочевывает к югу. И под Москвой ее можно встретить, и порой под Курском, и даже южнее. У нас холодно и голодно зимой, но все же не так, как в Заполярье, откуда улетают все птицы.



Сова летит бесшумно и плавно. Она будто забывает махать крыльями, будто спит во время полета. Лишь изредка делает два-три сильных взмаха.

Кажется, птица совершенно безразлична к тому, что делается внизу. На самом же деле сова зорко, метр за метром ощупывает заснеженное поле, проникает взглядом кошачьих глаз в самую гущу лесной посадки.

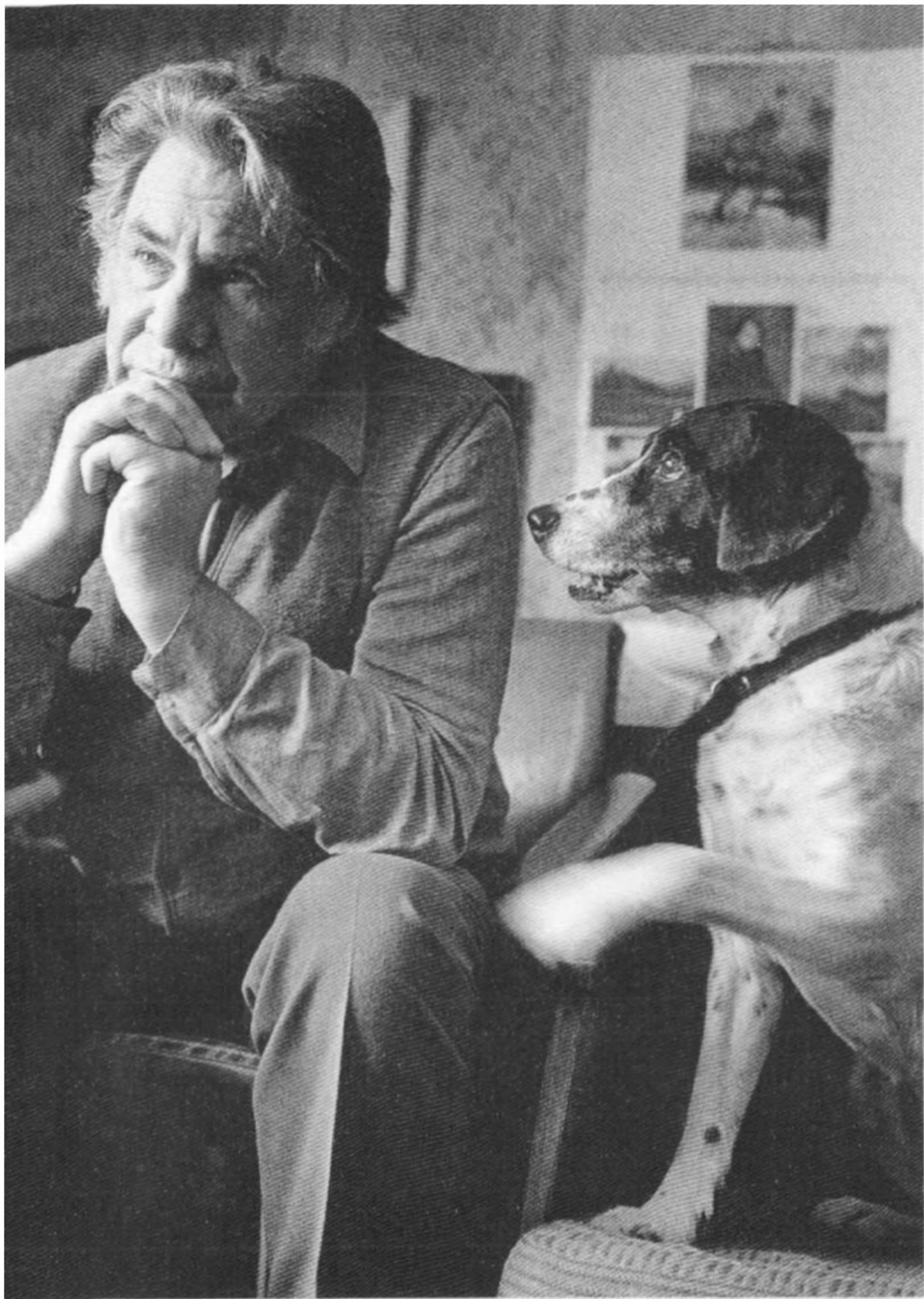
Вот из-за сугроба выскользнул маленький пушистый шарик. С высоты он кажется не больше макового зернышка. Сова будто проснулась от спячки, чуть дернула широким хвостом и, сложив крылья, упала в заросли.

И в тот же миг она взлетела с мышью в цепких когтях. Теперь — добраться до телеграфного столба и аппетитно позавтракать.

И вдруг, едва только сова поднялась над зарослями, навстречу ей откуда-то из лесной гущи метнулась быстрая тень. Я никогда не видел сороку в таком стремительном броске, когда она, прижав к бокам крылья и вытянув хвост, стрелой мчалась наперерез неуклюжему хищнику, а потому не сразу узнал в ней ту самую сороку, которую видел всего несколько минут назад на вершине молодого тополя. Качаясь на тоненькой веточке, она, видимо, все это время внимательно следила за совой.

Я даже оторопел от такого опрометчивого поступка сороки, которая ничем не была вооружена, чтобы схватиться с могучей полярной птицей. Будь у совы в эту минуту свободные когти, она в два счета пустила бы по ветру сорочьи перья. Но, видимо, сорока знала, что, пока у совы когти заняты, бояться ей нечего.

Увертываясь от нападения, сова круто взмыла вверх. То же повторила и сорока. Сова снова сделала крутой взлет. И тотчас с нео-



Раздумья... 1983. Фото П. Кривцова



С внуком Романом. 1983. Фото П. Кривцова



Клюет! 1983

Гори, гори ясно!.. 1983. Фото П. Кривцова



На зорьке. 1983



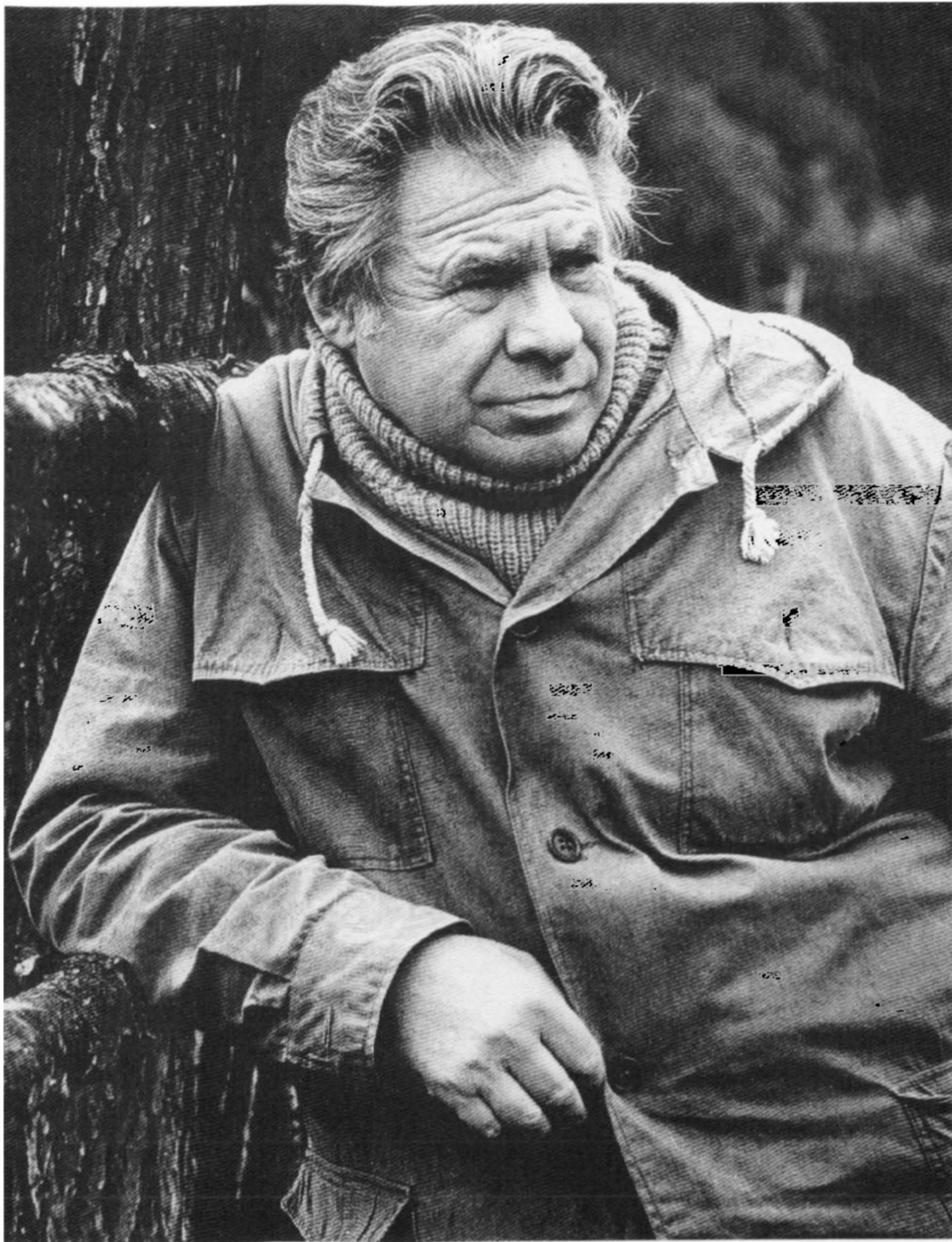
У пруда, у озера... 1993. Фото П. Кривцова



Почти по Перову...
Друзья-писатели (справа налево): Е. Носов, М. Еськов, П. Сальников. 1979



На рыбалке. 1985



1983. Фото П. Кривцова



Тшина...

Лоскутная рыбалка... Май 2002



быкновенной ловкостью метнулась ввысь и сорока. Она оказалась немного проворнее. Стремительно нападая снизу, сорока все выше и выше гнала белого неповоротливого хищника. Обе птицы уже маячили высоко над землей, то кружась, то поднимаясь порывистыми взлетами. Поражали упорство одной и беспомощность другой.

И вот, выбившись из сил, а может быть, затем, чтобы освободить когти и задать трепку сороке, сова выпустила из лап мышшь. Полевка камнем полетела вниз. И тотчас, задрвав хвост и сложив крылья, за уроненной добычей помчалась сорока, быстро нагнала ее, ловко подхватила на лету и скрылась в кустах.

Сова осталась в дураках. Она сделала несколько кругов над тем местом, где укрылась белобокая разбойница, потом медленно полетела к дороге и снова уселась на телеграфном столбе. А через некоторое время из кустов выпорхнула сорока и тоже устроилась неподалеку на вершине тополька.

Сидит неподвижно нахоленная голодная сова, раскачивает хвостом ветку сытно закусившая сорока. Долго они сидели одна против другой. Потом сова поднялась и, пролетев вдоль дороги с полкилометра, снова уселась на столб — подалее от наглой вертихвостки. Сорока тоже полетела вслед за хищником.

Видно, так и летают вместе обе эти птицы. Куда сова, туда сорока. Ловить мышей она не умеет, нет у нее сноровки. А у совы это ловко получается. Вот сорока и решила «загрести жар чужими руками». Только рискованное это дело: озлится сова, улучит момент да и сцапает разбойницу. И полетят по ветру шелковые сорочьи перья. Что и говорить, игра опасная. Только голод — не тетка...

ХИТРЮГА

Давно приставал ко мне сынишка: принеси да принеси из лесу ежа. Они в школе живой уголок устроили: есть кролик, ящерица, воробей, даже морскую свинку где-то достали. А вот ежа нет. Раза два всем классом в лес ходили, да разве его скоро найдешь? Вот сынишка и пообещал товарищам, что я обязательно поймаю. Я, мол, знаю, где какая птица, какой зверь прячется.

Пожурил я сына за поспешное обещание, которое может остаться и невыполненным, да делать нечего. Пришлось искать ежа. Правда, специально за ним я не ходил. Отправлюсь на охоту или рыбную ловлю, ну и про ежа помню: может, по пути встретится. А оно всегда так бывает: когда чего не надо — попадается, а когда ищешь — не найдешь.

Прошлой осенью ходил я к дальнему лесному озеру за окунями. Тихо и светло бывает в лесу осенним днем. Светло оттого, что листья осыпались и больше не затеняют землю, а тихо потому, что и ветер не шумит кроной, и птиц не слышно — они уже улетели на

юг. Стволы деревьев подпирают небо, будто колонны. Между ними постлан мягкий ковер из сухих листьев. Изредка попадаются молодые дубки с еще не опавшей листвой. Освещенные солнцем, они вспыхивают в просветах между стволами, словно зажженные факелы. И эхо, гулкое, раскатистое, блуждает по лесу тоже как в большом пустом здании.

В таком лесу далеко слышен каждый звук. Скачет ли заяц или сторожку крадется лисица — нет-нет да и хрустнет сухая ветка, зашуршат опавшие листья.

Слышу и я: кто-то бежит под кустами лещины. Топ-топ-топ... Присел на корточки, чтобы под ветки заглянуть. Вижу: прямо на меня катится возок, доверху нагруженный листьями. Точь-в-точь, как телега с сеном. Только величиной-то этот возок с шапку и движется он сам собой, без лошади.

— Ежик! — догадался я. — Тащит сухие листья в нору на подстилку.

Ежу очень удобно собирать листья. Найдет местечко, где их побольше, растопырит иголки — и ну кататься, с боку на бок переваливаться. Листья и накалываются на его колючки. Встанет на лапки еж, а его под листьями и не видать. Так и бежит он в золотой одежде в свою нору.

Почуял меня еж — остановился, припал к земле. Только листья шевелятся на его взъерошенной спинке.

Это было до того, как сын попросил ежа, к тому же я шел к озеру и брат зверюшку было не с руки. Ну и уступил ему дорогу.

Попадись он мне теперь — накрыл бы шапкой и в рюкзак! Но вот беда: хожу-хожу, а он все не попадается. Едва я вечером на порог, а сын уже вопросительно смотрит: принес?

— Нет, не принес. — говорю. — Не надо было обещать! Нехорошо получается. Последняя надежда на следующее воскресенье. Если и тогда не встречу, там уже холода начнутся, все ежи по норам спрячутся до весны.

Очередной выходной день я ожидал с не меньшим нетерпением, чем сын. Охотничий азарт взял. Впервые отправился специально за этой колючей дичью. Проходил полдня, заглядывал под каждое корневище, под каждую кучку валежника — нет ежа! Рассердился, даже по зайцу стрелять не стал, когда он из-под напиленных поленьев выскочил.

Повернул я домой. Чтобы быстрее идти, выбрался на железнодорожную насыпь. Шагаю по шпалам, а сам все про сына вспоминаю. Сейчас открою дверь, а он — скок навстречу: «Принес? Эх ты, охотник!»

Прошел переезд. Скоро и лес должен кончиться, завиднеется город. И вдруг впереди между рельсами вижу, какой-то серый клубок катится, не прямо, а зигзагами: то к одному рельсу, то к другому жметя и так ловко через шпалы прыгает. Снял я ружье, прибавил

шагу. Клубок еще быстрее покотился. Я — бежать. Он тоже прибавил ходу. Чего бы ему через рельс не перепрыгнуть? Откос высокий, враз скатился бы. только его и видели.

Но серый клубок и не думал сворачивать. Наконец нагнал я его. Да ведь это же ежик! Вот выручил, вот спасибо тебе, глупенький ты зверюшка! Припал еж в углублении между шпалами, оцетинился. А бока так и вздымаются, колючки так и ходят. Видно, запалил я его. А перепрыгнуть через рельс не догадался, не видел края, что ли? Наверно, на переезде переходил пути, да я помешал, он и угодил между двух рельсов. Накрыл я ежика шапкой и сунул в рюкзак. А потом сбежал с насыпи в лес, набрал побольше листьев и набил ими мешок. Думаю, передам сыну пленника вместе с листьями. Пусть устроит ему настоящее гнездо.

Сына дома не оказалось: он не ожидал меня так рано и пошел к товарищу. Ну ладно, думаю, так еще лучше. Придет, а еж уже будет бегать по комнате.

Налил я в блюдечко молока, крошил в него булку, а рядом кусок сырого мяса положил. Выбирай, ежик, что понравится!

Но ежишка даже не взглянул на лакомства. Посидел тихонько, взъерошенный, потом высунул из-под колючего чуба остренькое рыльце и затопал под шкаф.

В кухне света не стали зажигать, чтобы не беспокоить зверюшку, а сами перешли в столовую, закрыв за собой дверь.

Пришел сынишка, увидел на полу рюкзак с листьями, рядом блюдечко с молоком, запрыгал, забил в ладошки:

— Принес! Принес! Принес! Ну-ка покажись, ежик, какой ты? Пап, где же ежик?

— Под шкафом, — сказал я, включая свет.

— Нету.

— Ну как — нету? Туда побежал. Тебе просто не видно.

— Хорошо видно. Там сзади стена освещена.

— Тогда, значит, в другое место перебежал. Посмотри под столом.

Сынишка, не вставая, на четвереньках дополз до кухонного с дверцами стола и заглянул под него.

— Тоже нет.

— Ну как — нет? — не поверил я и сам посмотрел под стол. Ежа и вправду не было.

— Может, кошка его съела?

— Выдумал! С ним собака и та не сладит...

Мы с сыном сидели на полу и, недоуменно глядя друг на друга, гадали, куда запропастился ежик. Убежать он никуда не мог, разве только в столовую незаметно прощмыгнул. Но ведь дверь туда была закрыта.

Не меньше часа всей семьей лазали на четвереньках по полу, по нескольку раз заглядывая во все углы.

— А не забрался ли он в поддувало? — с робкой надеждой предположил сын.

— А ведь верно!

Пошарили кочергой в поддувале — нет. Вот задача!

Снова собрались все в столовой, совещаемся. В самом деле, куда он мог спрятаться?

— Ведь не иголка же это, — возбужденно всплескивает руками сын. — А тысяча иголок сразу!

Сидим молча, думаем. Вдруг слышу — кто-то на кухне лакает. Всканиваем, бежим в кухню. А это наш кот Тлпка. Съел мясо, которое ежу положено, и молочком запивает...

Опять принялись за поиски, но так и не нашли ежа. Поздно вечером улеглись и долго еще не спали, прислушиваясь, не зашлепают ли по полу лапки беглеца.

— Папа, а не спрятался ли он в твой охотничий сапог? — спросил сын и, не дожидаясь моего ответа, соскочил с кровати, побежал обследовать сапоги.

— Нету...

— Спи, завтра сам найдется.

Но и утром ежа не было. Расстроенный, сын пошел в школу.

Весь день я гадал, куда мог исчезнуть ежик. Вернувшись с работы, я еще с порога спросил, не отыскался ли он. Но ежишка пропал бесследно.

Дня через два я зачем-то пошел в кладовую. Увидев на стене туго набитый листьями мешок, я снял его с гвоздя, чтобы вытряхнуть: листья-то теперь не понадобятся. И что вы думаете? Вместе с листьями выпал на землю... ежик. Он тотчас свернулся клубочком, будто сознавал всю вину за учиненный в доме переполох.

Как он мог оказаться в кладовой, в крепко затянутом рюкзаке, подвешенном на высоте двух метров?

Ответ мог быть только один. Когда мы оставили ежа в кухне, он, побегав среди незнакомых предметов, опять залез в рюкзак, откуда пахло родным лесом и его собственным запахом. А потом бабушка отнесла рюкзак в кладовую и повесила его на гвоздь...

Ну и хитрюга этот еж! Так и называли его юннаты: Хитрюга.

РЕПЕЙНОЕ ЦАРСТВО

Тропинка, протоптанная рыболовами, вела нас по обрывистому крутояру. Начиналась Кулига, некогда знаменитая своими глубокими коряжистыми омутами, изобиловавшими всякой рыбой. Река, капризно петляя, подтачивала берега, над водой то здесь, то там нависали деревья. Они судорожно цеплялись за край обрыва, было видно, как их корни напряжены от усилий, как жадно они нащупывали каждый клочок земли, чтобы вце-

питься в него и продержаться еще хоть бы день. Иногда слышался глухой грохот обвала. Глыбы земли вместе с деревьями и кустиками ежевики, густо усыпанными темно-синими ягодами, сползали в глубь омута, и тогда в этом месте тропа внезапно обрывалась. Ее продолжение уже там, на дне.

Мы останавливались у свежего надлома земли, еще влажного, в прожилках оборванных корней, и с опаской глядели вниз, где в воронках кружили мусор, сухие листья, ветки — следы недавней катастрофы.

Встречались и старые обвалы: из воды торчали мрачные скелеты деревьев, на ветвях которых пауки развесили серебристые сети. Порой среди скрученных побуревших листьев ярко сверкала на солнце блесна. Какой-то рыболов угодил блесной в сухое дерево, торчащее из воды. Снять ее оттуда без лодки невозможно. Рыболов после тщетных попыток в сердцах обрывал лесу и уходил прочь.

Мой приятель — добродушный толстяк, недавно произведенный в спиннингисты. — уже порядком устал, а тропа все вела и вела нас непролазными береговыми зарослями ивы, мелколистного клена, карагача и густой щетины подлеска. Непривычный к таким переходам, грузный и неловкий, он продирался сквозь чащу, как слон: слышно, как позади трещали ветки, беспокойно шумели листвой раздвигаемые кусты.

— Ах ты, черт!

— Что такое?

— Чуть было удочку не сломал!

У него поднят воротник куртки, глубоко надвинута кепка. На лбу багровела свежая царапина.

— И какой чудак ловит в этой чащобе? Ни к реке не подойти, ни удочку забросить...

— Это еще цветочки! Ягодки — впереди!

— Неужели будет еще хуже?

— Будет! — безжалостно подтвердил я.

— Разыгрываешь? — Приятель взглянул на меня, стараясь угадать, шучу я или говорю правду.

Но вот лес поредел. Впереди завиднелось открытое пространство. Мой товарищ, облегченно отдуваясь, достал платок и вытер потное просветлевшее лицо.

— Дешевый розыгрыш! — усмехнулся мой приятель.

Тропа вынырнула из-под сумеречного полога лесной глухомани, и мы зажмурились от брызнувшего в глаза августовского солнца.

Здесь, на открывшейся полянке, густой рыжей стеной стоял репейник. В человеческий рост, жесткий, жилистый, весь в цепких шапках, слепившихся в большие лепешки, он встретил нас, будто огромное войско, молчаливо и враждебно.

— Держись! — на ходу крикнул я другу и поднял высоко над головой удочку, будто собирался переходить вброд бурный поток.

Стена сорняков нехотя подалась, сухо зашуршала, у самого лица устрашающе закивали головки репьев. Из бурой чащи повеяло пыльной, застоявшейся духотой.

Прощупывая ногами тропинку, я с трудом продирался, наваливаясь всем телом на пружинистую сетку переплетенных стеблей. И с каждым шагом чувствовал, как моя одежда обрастала комьями колючек. Они назойливо цеплялись за кепку, за рукава, за штаны, к ним тотчас прилипали другие репьи и свисали виноградными гроздьями. Хотелось высунуть голову из этого хаоса, глотнуть свежего воздуха, поскорее освободиться от неприятных объятий лопухов.

Позади глухо шуршали кусты, слышались проклятия.

— Скоро там конец? — кричал он мне.

Так продирались мы добрых полчаса. Усталые и истерзанные, с ног до головы облепленные репьями, свалились на траву.

— Тьфу! — сплюнул мой спутник. — Никогда не встречал подобной гадости. И откуда они только тут взялись? Главное, растут как раз вдоль тропы. Как нарочно!

Приятель стащил с себя куртку, штаны и с яростью начал обрывать с одежды репьи, отшвыривая их подальше от себя.

— Что ты делаешь? — схватил я его за руку.

— А что? Что ж, мне так в репьях и идти домой? — удивился он.

— Ты вот спрашиваешь: откуда, мол, они взялись на тропе. А сам же и разбрасываешь семена. Выбрался на чистое место и давай скорей обираться. А сорняку только того и надо. На другой год приди на это место — и не узнаешь. Все зарастет лопухами. А сколько за осень пройдет здесь нашего брата? И каждый, выбравшись на поляну, начинает чиститься. Так постепенно и обрастет наша рыбацья тропа дикими джунглями сорняков.

— Гм... А ведь верно.

Я набрал сухих веток, разжег костер и положил в огонь собранные репьи. Потом, взявшись за руки и притопывая босыми ногами, мы закружились в торжественном танце, посвященном сожжению злодея.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

На крылечке нашего дома вечерней зорькой, перед тем как разойтись спать, любит собираться детвора. Начинаются нескончаемые разговоры про самое разное:

— А у меня в кармане звездь. А у вас?

— А у нас сегодня гость... А у вас?..

— А у меня дома кузнечик живет. — сказал Вовка, самый старший в этой компании.

— Вот удивил! — сморщила носик-пуговку Зиночка, кутавшая в полу курточки рыжего котенка. — У нас их на клумбе сколько хочешь.

— И у нас есть в саду кузнечики, — сообщил Митя, вгрызаясь в большое яблоко. Ротик у него был маленький, а щеки пухлые, они мешали ему есть и были влажны от яблочного сока. — Захочу — и поймаю.

— А такого, как у меня, не поймаешь, — сказал Вовка. — Я его из деревни привез.

Дети насторожились. Они уже знали, что Вовка собирает всяких жуков и бабочек и вообще считается бывалым человеком: ходит с братом на рыбалку, ночевал с ним на берегу и видел планету Марс. А еще Вовка ездил на моторной лодке по реке Сейм до старинного города Путивля. В этом городе он видел обрыв над рекой, там, где раньше стояла деревянная крепостная стена. На стене плакала Ярославна, когда князь Игорь не вернулся из похода.

— В деревне всяких кузнечиков — целая пропасть! — поглядывая на Митино яблоко, продолжал Вовка. — Идешь по лугу, а они из-под ног так и скачут, так и скачут; каких там только нет! Зеленые, с коричневыми крыльями, красноватые и даже совсем коричневые, будто в деготь обмакнутые. А есть и серенькие, в рябинках. Думаешь, это кусочек сухого дерева на земле лежит, а он — пырх! Пролетит немного, сядет, и опять его не видно. Это они нарочно так пораскрашены. Каждый под то место, где живет. Серый — по песку, зеленый — в траве, а коричневый все больше среди сухих кустов прыгает.

— Ишь, какие хитрые! — изумилась Зиночка. — А я и не знала.

— А как на них рыба хорошо клюет! Только днем кузнечиков ловить трудно. Днем, когда жарко, они верткие становятся. Очень солнце любят. Будто оно им сил прибавляет. Такую по луку стрекотню поднимут, аж в ушах звенит.

Зиночка сделала ладошки лодочками, прикрыла ими свои уши и, поводя круглыми, как смородинки, глазами, сказала:

— А я тоже слышу, как кузнечики звенят.

Вовка и Митя сделали так же и стали слушать.

— Ага! — сказал Митя. — И я слышу..

— Только на лугу громче стрекочут, — согласился Вовка.

Зиночка, довольная собой, своим открытием, пожелала, чтобы котенок тоже слышал, как стрекочут на лугу кузнечики. Она приложила ладошки к ушкам котенка и, заглядывая ему в глаза, которые он недовольно зажмурил, спросила:

— Слышал? Ну вот.

— Мы их всегда утром ловили, когда трава мокрая от росы бывает, — вернулся к своему рассказу Вовка. — Они не любят росы. У них в ножках есть такие пружинки. Вот эти пружинки и отсыревают, становятся слабенькими. Поэтому кузнечики по утрам прыгают плохо. Какие-то сонные делаются.

— Вот бедненькие! — пожалела Зиночка и еще плотнее закутала полую своего рыжего дружка.

Я сидел у открытого окна и с увлечением слушал рассказ любознательного Вовки. Я и не подозревал, что такой малыш, сам того не зная, уже стал настоящим следопытом и открывателем. В его бесхитростном повествовании было много точных наблюдений, интересных не только таким карапузам, как Зиночка и Митя, но и взрослому. Слушая, я представил себе Вовку, бронзовотелого, с взъерошенными ветром волосами, посреди залитого солнцем луга. По лугу переваливаются зеленые травяные волны, они дышат горячим, душистым ароматом, пестрят звездочками гвоздик, огненными факелами конского щавеля и золотым пенным кружевом медуницы. А вокруг стоит неумолчный стрекот кузнечиков. И не поймешь, то ли это журчат соки тучной земли, переливаясь в буйные луговые травы, то ли звенит дрожащий, влажный, горячий воздух.

И захотелось мне, чтобы Зиночка, Митя и все-все дети увидели, подобно Вовке, как красив луг, как хороша и богата наша родная земля.

— Вов, покажешь нам своего кузнечика? — спросила Зиночка.

— Вов, хочешь, я тебе яблока дам? — предложил Митя и, любезно откусив кусочек, протянул его Вовке.

Вовка не раздумывая сунул яблоко в рот и побежал через дорогу домой.

— Я сейчас. — крикнул он на бегу.

Вернулся он с серебристой коробочкой от чая. Дети обступили его.

Вовка осторожно приоткрыл крышечку, запустил внутрь руку и вытащил привезенного из деревни кузнечика. Он был весь зеленый: и брюшко, и крылышки, и спинка — и походил на молодой гороховый стручок, к которому приделали лапки и усики. Встречаются такие кузнечики довольно редко, в густых влажных травах.

— Вот, — сказал Вовка, держа своего пленника за крылышки. Кузнечик быстро перебирал лапками, а задними длинными ногами упирался в Вовкины пальцы, стараясь освободиться.

— Какие усики! — удивилась Зиночка. — Длиннее самого кузнечика.

— Вов, дать ему яблока? — спросил Митя, готовый откусить кусочек и кузнечику.

— Яблок он не ест, — ответил Вовка.

— А что он ест?

— Капусту даю. Свежую траву. Вот смотрите. — Вовка достал из коробочки кусочек капустного листа. — Видите, край зубчиками? Это он грыз. Я ему и пить даю. Возьму на карандаш капельку воды и поднесу к усикам. А он пощупает капельку, подползет и пьет.

— Какой хорошенький! — засмеялась девочка.

— Это что! — горделиво сказал Вовка, водворяя кузнечика на место. — Хотите, фокус-покус покажу?

— Хотим! Хотим!

— Тогда сидите тихо-претихо.

Вовка поставил коробочку на ступеньку, а сам присел рядом, приложив палец к губам.

Дети умолкли, выкидающе поглядывая то на коробочку, то на Вовку. Зиночка было уже хотела спросить, когда же появится обещанный фокус-покус, и уже приподняла для этого брови, но в это время в коробочке что-то скрипнуло, будто провели пальцем по зубьям расчески. Потом расческу еще два раза коротко щипнули и вдруг провели по ней от одного края до другого. Кузнечик весело и громко запиликал свою луговую солнечную песенку. Дети восторженно склонились над коробочкой, махали друг на друга руками, чтобы никто не перебивал, а коробочка звенела все громче и громче. Она издавала длинные трели, делая лишь секундные паузы, чтобы выпустить очередную трель, еще длиннее и звонче.

— Теперь можно разговаривать, — объявил Вовка. — Он, когда поет, не обращает внимания на разговор. Как соловей.

— Вот здорово, а? — заулыбался Митя. — А громко как!

— Мы дома каждый вечер концерт слушаем, — сказал Вовка, гордый за свою необыкновенную музыкальную шкатулку. — Поставлю коробочку на стол, сядем все вокруг — папа, мама, бабушка, притихнем, а он и начинает свою музыку.

— Ты ему дай водички, — предложила Зиночка. Ей уже наскучило слушать, и она хотела что-нибудь делать. — А то у него в горле пересохнет.

— Вот чудная! — усмеялся Вовка. — Разве кузнечик ртом поет?

— А как же? — искренне удивилась Зиночка.

— Крыльями! Я сам видел. Один раз он вот так распелся, а я в это время взял да и открыл крышку. Сидит он на травинке и крыльшками перебирает. Быстро-пребыстро. А когда перестал дергать крыльшками, песенка тоже кончилась.

Вечерняя зорька уже совсем догорела за Митиным садом. Над крылечком зажглась лампочка. Из калитки вышла Вовкина мать и позвала его домой.

— Что это вы сегодня дотемна засиделись? — сказала она.

— Это мы кузнечика слушали, — ответил за всех Митя.

Вовка положил коробочку в карман и побежал через дорогу.

Вскоре после этого вечера я отправился на рыбалку. Бредя широкой заливной поймой, где травы поднялись почти по пояс, я пытался разыскать таких же, как у Вовки, зеленых кузнечиков и подарить Зиночке и Мите. Пусть, думал я, у каждого из них будет по музыкальной шкатулочке.

Но охота моя оказалась безуспешной. Вместо зеленых кузнечиков попалась крупная луговая кобылка — головастая, с длинным саблевидным хвостом, загнутым вверх. Она с трудом поместилась в спичечной коробке.

По ее утрюмому виду я заключил, что от кобылки песен не дож-
дешься. А потому отдал ее Вовке для пополнения коллекции.

И случилось то, чего не хотел ни я, ни Вовка. Он пожалел нака-
лывать кобылку на булавку и посадил в ту самую коробочку, в кото-
рой жил зеленый музыкант. Наутро Вовка нашел в коробке кузне-
чика с выеденной грудью.

Сколько было огорчений! Гривали не только Вовка, но и все
его друзья. И кто бы мог подумать, что на дне музыкальной шка-
тулки произойдет такое злодейское убийство ее маленького весе-
лого хозяина...

В тот же день состоялись похороны зеленого музыканта. Его похо-
ронили в палисаднике перед Зиночкиным домом, где была разбита
большая клумба астр. Зиночка упростила свою маму разрешить им
похоронить кузнечика на клумбе среди цветов. Митя вырыл совоч-
ком ямку, Вовка опустил в нее умолкнувшую музыкальную шкатулку
и засыпал землей. А Зиночка положила на свежий земляной холмик
самую большую махровую астру.

Я видел из окна, как рыжий котенок, подняв хвост, терся у ног
притихших ребятишек...

РАДУГА

В пятидесяти километрах от Курска, в поэтических верховьях
речки Тускарь, где некогда вдохновенно творил Фет, живет мой
приятель Евсейка.

Евсейке этой зимой минул десятый год, и ходит он в четвертый
класс, который помещается на втором этаже фетовского особняка.
Из классных окон, с высоты птичьего полета, открывается простор-
ная речная долина с островками деревенских раkitовых куц у
дальнего ее края. Самой же речки не видать. Скрываясь в при-
брежных зарослях разной кустарниковой всячины, она петляет
у самого подножия обрывистого правобережья, на скате которого,
в окружении дубов и кленов, и стоит Евсейкина школа.

С Евсейкой я познакомился на станции.

Я спрыгнул с подножки вагона в хлипкую предрассветную те-
мень. Вот уже третьи сутки сыпал изнуряющий октябрьский
дождь. Звякнул колокол. В ответ паровозик жалобно свистнул, ус-
тало выдохнул пар, и мутные, в дождевых потоках, квадраты ва-
гонных окон медленно проплыли мимо.

Через исхлестанную дождем лужу протянулись зыбкие отсве-
ты станционного здания. Не разбирая, я пошел напрямик по од-
ной из этих световых дорожек. У входа тускло поблескивал коло-
кол. Крупные капли, срываясь с карниза, хлестко разбивались
о бронзу, отчего колокол чуть слышно звенел, будто жаловался
на непогоду.

В маленьком зале пережидали ненастье несколько пассажиров и провожающих. Я попросил себе чая и направился к дальнему столу. За ним сидел низкорослый человек в дождевике с откинутым капюшоном, из-за которого виднелась стриженная макушка. Садясь напротив, я заглянул ему в лицо. Это оказался парнишка. Он с деловым усердием дул на блюдечко, покоившееся на растопыренных пальцах. Мелкие бусинки пота высыпали на его чуть вздернутом носу. В другой руке он держал полумесяц бублика.

Мне нужно было в Свободинскую МТС, как раз в те фетовские места, и я спросил паренька, не ходят ли туда машины. Тот неторопливо поставил блюдечко на стол, смахнул с груди крошки от бублика и удивленно посмотрел на меня.

— Какие теперь машины!

— Как же, брат, быть, а?

— Если не срочно, то подвезу. Вот малость дождь уймется, и поедем.

Так я познакомился с Евсейкой. Он рассказал, что возил к поезду брата, который приезжал в отпуск с целины.

Буфетчик погасил свет, в окна заглянуло запоздалое серое утро. Дождь все еще не переставал, хотя уже измельчал и обессилел. Мы выпили еще по стакану чая, потом Евсейка отправился посмотреть погоду.

У коновязи, склонившись над недоеденной охаткой клевера, безропотно мокла Евсеева лошадь — рыжая, в белых заплатах кобылка. Увидев хозяина, она шевельнула сизыми отвислыми губами, будто спрашивая: «Скоро ехать-то? Все равно где мокнуть — что здесь, что в дороге». Евсей, видимо, решил, что и в самом деле ожидать нечего. Путаясь в полах дождевика, он подошел к коновязи, размотал вожжи, зачем-то пнул раз-другой сапогом переднее колесо, потом подобрал с земли клевер и сложил его в телегу. Я расплатился и вышел на улицу. Евсей передал мне плащ, которым укрывался его брат, и мы поехали. Кобылка бодро зашлепала по хлопковой дороге.

За нефтебазой повернули к переезду. Телега запрыгала на рельсах, потом покатила по мощеному спуску вниз, опять в непролазное месиво раскисшего чернозема.

— Вы у нас летом не были? — спросил Евсейка, будто извиняясь за то, что его родные места выглядели сейчас так уныло. — Благодать у нас какая! Лес, речка... А ягод сколько в покос! К нам из Москвы отдыхать приезжают.

Проехали пристанционное село. За околицей дорога раздваивалась, лошадь сама свернула влево и, выбирая путь полегче, пошла не промеж разъезженных и залитых грязью колея, а по обочине, густо поросшей осотом и полынью. Полынь, высохшая за лето, после дождей настоялась влагой, размякла и остро пахла.

— Ишь ты, как раздобрела! — сказал возница, втягивая носом душистую горечь, и стегнул по траве кнутом.



Пегашка пр нял эт свой счет, налегла на упряжь, забряцало колечко на дуте, отсчитывая торопливые лошадиные шаги.

Я уселся поудобнее и глубже натянул плащ. От нечего делать я следил, как дождевые капли, появляясь на верхнем краю капюшона, катились вниз, нагоняя друг друга, сталкивались, а слившись и окончательно отяжелев, шлепались ко мне на колени. За таким занятием немудрено было задремать. Проснулся я оттого, что кто-то дергал меня за рукав.

Я открыл глаза и увидел возбужденное лицо Евсейки.

— Дяденька! Смотри, какая радуга! Вон там, над речкой!

Пока я дремал, откуда-то набежавший ветер расслоил на западе тучи, и к длинной, вполнеба, щели прильнул немигающий глаз солнца, будто желая подсмотреть: стоит ли ему завтра сиять или спрятаться еще на денек? Его золотистые лучи-ресницы простерлись над мокрой, озябшей землей и своим прикосновением вновь вернули природе смытые дождями краски. Вспыхнула бегучим пламенем придорожная лесополоса, рассыпанной ртутью дождевых капель засверкал широкий лут, а за ним, на той стороне, на крутом косогоре, пожаром загорелись окна большого особняка. Вверху же, над ликующей долиной Тускари, висела радуга — огромная, расцвеченная пестрыми лентами арка. Она выходила откуда-то из прибрежных кустов и, сделав широкий, будто проведенный гигантским циркулем, полукрут, упиралась другим концом, километра за три, в сады какой-то деревеньки. Я никогда не видел радуги поздней осенью. А такой пышной и праздничной, как эта, не приходилось видеть даже летом. Главное — она была совсем близко от нас. Ее концы упирались в землю не далее как в километре. И, может быть, оттого, что радуга была так близко, она казалась необыкновенно яркой и широкой. Несколько деревьев, тесной группой стоявших на берегу, укрылись за пестрой лентой, и каждое приобрело оттенок того цвета, какой пришелся против него.

— Смотри, смотри, а радуга-то движется! — приподнялся на колени Евсейка. — Вон уже на село набежала!

И действительно, радуга медленно, не забегая вперед и не отставая от нас, двигалась параллельно дороге, продолжая упираться своим левым концом в затерявшуюся в зарослях речушку. Вот ее перед-

ний правый рукав шагнул на улицу села, белые хаты вдруг залестрели, становясь на мгновение то нежно-голубыми, то изумрудными, то вспыхивали золотом, чтобы тотчас залиться багрянцем.

Нам нужно было проезжать через село, дорога шла туда задами. Но Евсейка неожиданно резко поворотил лошадь и, лихо гикнув, помчал напрямик по клеверищу.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул он, становясь во весь рост.

Лошадь пустилась в тяжелый галоп, порывисто дергая повозку, из-под копыт летели комья земли, клеверные корневища. Евсейка, широко расставив ноги, взмахивал в такт рывкам оттопыренными локтями.

— Не уйдешь!

Мне в ту минуту почему-то казалось, что стоит пегашке еще малость поднажать, и мы вкатим в огромные радужные ворота.

Но вдруг я увидел, что радуги уже нет в селе. Она перешагнула через хаты и висела над черным силуэтом ветряной мельницы. И чем быстрее мы скакали, тем дальше от нас отодвигалась радуга.

— Эх, уходит! — сплюнул Евсейка. — За речку перешагнула.

— Стой, Евсейка. — опомнился я. — Зря гоним лошадь. Все равно радугу не поймаешь.

— Теперь я и сам вижу, что не догнать. Надо крутом на мост объезжать. Вот если бы я раньше догадался, пока она к селу подходила, тогда бы успел.

Я рассмеялся:

— Дело-то не в этом... Ее и на автомашине не догонишь, и посади тебя на самолет — все равно не поймал бы.

— И на реактивном? — недоверчиво покосился на меня мальчик.

— И на реактивном.

— Да ведь он как пуля летает!

— Все равно... — И я стал объяснять Евсею, почему мы не догнали радугу.

Кажется, Евсейка не понял моих объяснений или не хотел верить в них. Потому что, когда мы въехали в село, он пристально осматривал стены хат, по которым прокатилась цветистая полоса радуги. А когда навстречу попался кто-то из здешних ребятишек, он придержал лошадь и настороженно спросил, будто разыскивал пропавшую корову:

— Послушай-ка, у вас тут по улице радуга не проходила?

— Какая радуга? — раскрыл рот парнишка.

— Какая-какая! Обыкновенная радуга, что после дождя бывает.

— Нет, не проходила.

— Слепая ты тетеря! — рассердился Евсейка. — Был тут и не видел. — И маленький возница в сердцах хлестнул вожжами пегашку.

ЧИРКИ

Березовские дворик — ничем не примечательная деревушка. Ни садов в ней, ни палисадников, ни березки, ни даже простой ракиты не встретишь. Стояла она на тощем песчаном косогоре.

И все же я любил эту деревушку. И как не любить: прямо перед избами, цепочкой вытянувшимися по бутру, протекала речка, изобилующая сазаном, лещом и прочей всякой речной дичью. А чего лучшего может желать рыболов?

Под выходной в деревню съезжалось много нашего брата-удильщика. У кого наступал отпуск, тот и квартировал здесь.

Я тоже снимал комнатку у одной старушки. Летом она жила на деньги за квартиру, которую с самого апреля и до морозов занимали городские рыболовы, а зимой вязала носки и теплые пуховые платки. А с нашей рыбацкой точки зрения старушка была прямо клад: она ловко чинила и вязала новые подсачки, сучила лески, держала целый мешочек маховых гусиных перьев. Все это стоит гроши, но иногда позарез необходимо рыболову. Да и старушке некоторый доход.

Называла она всех нас «удочен».

— А, удочей пришел! — улыбнулась она, открывая мне калитку. — Пожалуйста, комнатка свободна: прежний с неделю как уехал. А ты, сынок, как раз ко времени подоспел. На завале лещ стал брать.

Зажил я у бабушки Прасковьи привольно. Лещи на завале действительно брали хорошо. По вечерам в маленькой избенке аппетитно пахло ухой или жареной рыбой. Бабушка Прасковья умела угодить самому утонченному обожателю ухи. У нее и перчик горошком всегда в норму оказывается положенным, и лаврового листа ровно столько, чтобы задрожали ноздри от величавого запаха, и луку, и пшена — всего в меру.

— Я-то в молодости тоже рыбачила, в артелях имела участие. Там и сети вязать научилась, и уху стряпать, — отвечала на похвалу бабушка Прасковья. — Я и теперь промеж вас, удочеев, вроде как в артели нахожусь.

Но самое распривольное житье было, конечно, на реке. На том берегу открывалась широченная пойма, вся в бесчисленных озерках, старицах, рукавах, шуршащая камышом и благоухающая цветущим разнотравьем. Вдосталь наудившись на реке, я шел с местными ребятами в пойму ловить карасей, делать зарисовки и снимки из таинственной жизни этих маленьких непролазных джунглей.

Без рубахи и в закатанных выше колен штанах я, видимо, был смешон в глазах местных жителей. Правда, открыто этого мне никто не выказывал, и когда, увешанный аппаратом и банками, я проходил деревенской улицей, со мной чинно здоровались.

— Что это у тебя, тетя Прасковья, постоялец какой-то чудной? — спросила как-то соседка.

По случаю ненастья я был дома, лежал на койке и через перегородку слышал весь этот разговор.

— У всякого человека свой интерес, — слышался скрипучий голос старушки. — Одни ружьем пробавляются, другие — удочкой, третьи — рюмочкой. А этот вот большое внимание ко всякой живности имеет. У него в комнате, как в аптеке какой: разные банки, пакетики, по ночам карточки отпечатывает... А на тех карточках птичьи гнезда, следы и еще какие-то чудеса. Да ты погляди, как к нему наши ребятишки липнут-то! Зря не станут. Видать, дело интересное.

Как-то мы набрали на выводок чирков: взрослую уточку и четырех подростков. Утята уже хорошо оперились, но летать еще не могли, а потому выводок держался в самой глухой части Бараньего озера, сплошь заросшего двухметровым ситником. Только в одном месте у берега виднелось небольшое оконце воды. Сюда-то и вышла на кормежку семейка уток, когда мы появились на берегу озера. Уточка-мать тревожно свистнула и поплыла в заросли. Вслед за ней кинулись и утята, оставляя на зеленом ковре ряски следы своего бегства.

Сопровождавший меня соседкин сынишка Гриша, мигом сдернув штаны, полез за утятами. Проваливаясь в топком иле, он раздвинул шуршащую стену ситника и исчез за ней, как за занавесом. Я угадывал его путь по колыхающимся верхушкам стеблей.

— Вернись, утопнешь! — крикнул я.

Но Гриша не откликнулся. Только чавкала вода да тревожно перешептывался ситник. Вдруг слышалось хлопанье крыльев по воде, потом опять... Верхушки стеблей заколыхались в обратном направлении. Наконец в протоптанном коридоре появился Гриша, весь забрызганный грязью, черный как бесенок — белели одни только белки глаз да зубы. Из подола рубахи он торжественно извлек пару утят.

— Ух и шустрые, пострелята! Через камыш, как иголки! Так и шьют, так и шьют! Двух накрыл, а двое куда-то забились.

Гриша держал утят за крылья, они испуганно дергали шейками и перебирали черными лапками, будто ехали на невидимом велосипеде. Размером они были не больше голубя, бурые перышки в темных крапинках так плотно прилегали друг к другу, будто на них не одежда из перьев, а тонкое трико спортсмена. В этих миниатюрных поджарых уточках и впрямь было что-то спортивное. Изящество плавных линий, стремительная заостренность тела, длинные узкие крылья и, наконец, гладко пригнанное оперение — по всему видать: первоклассные летуны.

— Нате, возьмите, — просто и охотно протянул мне утят мальчик. — Который побольше — селезень. А вот та — уточка.

— Ну что ты, Гриша! Тебе такого труда стоило их поймать, — стал было я отказываться.

— Ничего, берите. Я себе еще, если захочу, поймаю.

— Ну, спасибо, Гриша, за такой дорогой подарок. Только ты, пожалуйста, снеси их ко мне, а то я, боюсь, упусти.

— Прасковья Петровна! — окликнул я хозяйку, когда мы вошли во двор. — Посмотрите, что мы принесли.

На порог сеней вышла бабушка Прасковья с недовязанным подсачком в руках, заглянула в мокрый подол, спросила:

— Для дела для какого?

— Да нет, так просто...

— А тогда зря. Птица вольная. Ей надо на юг лететь. А вы ее неволить надумали. Замокреет, залакостится, пропадет!

Слова Прасковьи Петровны смутили меня. Но я все же не решил расстаться со своими пленниками. Меня так соблазняла мысль увезти их в город, приручить, сделать их домашними! Я попросил у Прасковьи Петровны лукошко, поставил его в угол моей комнатки, постлал на дно сухого сена и посадил на него утят. А чтобы они не выскочили, накрыл лукошко плащом.

Я переживал какое-то радостное волнение оттого, что вот тут, в человеческом жилье, рядом с книгами и репродуктором, в уголке затаилась дикая природа: два пугливых, сторожких, неуловимых чирка.

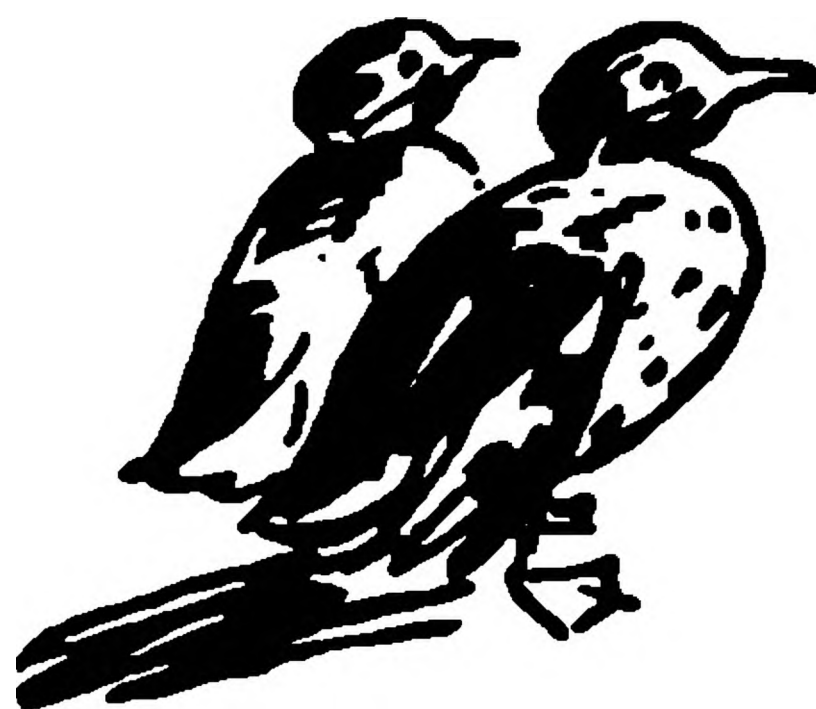
Сколько мы еще не знаем! Какое-нибудь чудосочное озерцо, тут же под городом, полно жизни, но какова она, эта жизнь, — для многих такая же загадка, как тайна планеты Марс. А мы еще мечтаем о путешествиях в дальние страны, думаем открывать, удивлять мир. Вот они, дальние неведомые страны, — вокруг тебя. Поля, луга, рощи, реки, озера...

Я накрошил в миску хлеба, налил воды, поставил в лукошко и лег спать. А ночью проснулся от хлопанья крыльев. Селезень неведомо как вылез из лукошка, бился в окно. Ударится о стекло, упадет на пол и тут же снова с ожесточением бросается навстречу холодному лунному свету.

Я засветил спичку. Утенок отпрянул и испуганно блеснул бусинками черных глаз. Он сидел на полу, опершись на мокрый хвост и растопыренные крылья. Черный, еще не затвердевший клювик широко открыт. Вид у молодого чирка был помятый, но решительный, как у боксера, все еще надеющегося на победу.

— Вон ты какой буйный! — сказал я, зажтая я с в м-пу. — Удрать, значит, хочешь? Потерпи, браток. Приедем в город, устрою тебе вольерку с водой, посажу кустики осокки. Славно заживешь со своей подружкой.

В ответ утенок угрожающе зашипел и шмыгнул под кровать. Я вытащил его и водворил в лукошко. М...с...с... оказа...ась



опрокинутой, сено намочено. Уточка забила в складки упавшего на дно плаща. Я заменил подстилку, налил свежей воды.

Утром наведалься Гриша. Мы вытащили утят и пустили их на пол. Как неузнаваемо изменились они за одну только ночь неволи! Хвосты и грудки намокли, шейки зашершавели, из крыльев торчали вывернутые перья.

Видно, они всю ночь бились в лукошке, опять пролили воду, вымокли и испачкались.

Прасковья Петровна, внося завтрак, укоризненно покачала головой:

— Пустите вы их! Смотри, как измаялись. Даже через стенку слышно, как ночью бились. Вам — забава, а им — самое горькое несчастье. Вот давай тебя возьму да и посажу в погреб. Тебе надо в свой город, а я не пускать стану, буду в сырой яме держать. Ты оттуда карабкаешься, а я за воротник да опять назад. Неволя, сынок, самое тяжкое наказание. Это что человека возьми, что тварь какую. И человек жертвует собой ради свободы, и птица тоже. Только у человека, конечно, свое разуменье о свободной жизни, а птица просто чутьем это понимает. А все ж таки для всех она что твой воздух. Лишился — и зачах.

— Да вы, Прасковья Петровна, просто философ! — попытался отшутиться я, соглашаясь в душе с ее доводами.

— Чай, жизнь-то прожила, все повидала. — серьезно сказала Прасковья Петровна.

— Что, Гриша, отпустим чирят? — спросил я своего приятеля.

— Да хоть и пустим... — согласился Гриша.

— Только давай вот что сделаем: колечки на лапки наденем. Примету такую. У тебя нет алюминия?

— Это найдется. — отозвалась Прасковья Петровна. — У меня кастрюля прогорелая есть. Без надобности валяется.

Прасковья Петровна принесла кастрюлю, Гриша сбегал домой за ножницами и напильником, и мы принялись за работу. Вырезали две узкие полоски, обточили края, чтоб лапки не резали.

— А теперь надпись сделать, где родились утята, в каком году. Если кто поймает их, чтоб видно было, откуда они. Какой адрес напишем?

— Известно какой. — озабоченно ответил Гриша. — Курская область, деревня Березовские дворики... — И, подумав, добавил: — Баранье озеро.

— Нет, это слишком длинно. — улыбнулся я. — На такой маленькой пластинке не уместится. — И я концом ножниц выгравировал латинскими буквами: «Курск, СССР, 1959 год».

Этими пластинками мы обогнули лапки чирков и скрепили концы.

Когда смеркло, мы в торжественном молчании вынесли из дому лукошко и спустились по откосу к реке. На той стороне, за камышами, за клубящимися туманами поймы поднималась красная луна.

Поперек черной реки перекинулся зыбкий мостик лунного отсвета. Было тихо и тепло. От реки веяло запахами тины и сырости.

Я наклонил лукошко и сбросил с него плащ. На ободок, неуклюже карабкаясь перепончатыми лапами, выбрался селезень, уселся на краю, балансируя грудью и вскидывая маленькую головку с блестящими глазками. И вдруг пырнул, полетел, полетел, зачерпывая крыльями воду, разбивая танцующий золотой мостик, полетел навстречу багровому диску луны. Казалось, вот он, обессиленный, упадет. Но нет, полет выровнялся, чирок оторвался от воды и растворился в густеющих сумерках. Только когда он тяжело шлепнулся у противоположного берега, мы поняли, что он набрал-таки сил перелететь реку и спрятаться в береговой тени. Это был его первый в жизни полет. Полет из неволи.

Уточка оказалась слабее селезня. То ли она еще как следует не оперилась, то ли оплошала в плену, только она даже и не попыталась лететь. Она сбегала к воде, вошла в нее и поплыла на ту сторону по лунной дорожке. И тут я впервые услышал ее голос. Она тихонько, едва слышно свистнула, потом еще и еще. Но ее тихий тревожный зов был услышан на том берегу. Тотчас раздался ответный голос селезня, плыви, мол, сюда! Я здесь.

Уточка благополучно перебралась через реку, и мы потеряли ее из виду. Но долго еще не уходили домой, слушали, как на той стороне плескались и радостно посвистывали два диких утенка.

— Проводили? — встретила нас Прасковья Петровна.

— Проводили. — отозвался я. — Жалко, конечно, но будто ношу какую с плеч сбросил.

— Оттого что доброе дело сделал. С годами такое поймется... Ну, пойдете в избу, уха простынет.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАСТОЧКИ

Вчера без толку целый день просидел над поплавами.

Злой встречный ветер с самого утра ерошил потемневшую воду реки, будто силился задержать ее течение. Река вздымалась на стрежне, тяжелыми свинцовыми волнами шумно билась о крутой глинистый берег, и вода под обрывами была мутна от размытой глины.

Прячась от ветра, я сидел под кручей, а надо мной, на грани луга, торчала какая-то сухая былинка и все раскачивалась и жалобно посвистывала. Пробирало сквозь все мои свитера. Я доел консервы, достал из-за голенища большой рыбацкий нож и несколькими ударами пробил в боках и доньшке жестяной банки отверстия. На дно банки положил пустую спичечную коробку, сверху же — сухого коровяка, поджег — и моя маленькая печурка задымила, закурила едким кизячьим дымком. Поддерживая в ней огонек, я грел быстро зябнувшие на ветру руки.



Скажете: и охота же сидеть в такую непогодь? Уж если бы клевало, куда ни шло.

Что поделаешь? Таковы все мы, рыболовы. Не сдаемся до последнего.

А клевать — верно, не клевало. Только под вечер поплавок на одной из удочек как-то нехотя окунулся, я подсек и вынул пескаришку. Он раз-другой трепыхнулся на крючке, обмяк и недвижно повис. Снимая, я взял его брусковатое тельце в руку,

и почудилось, будто в моей ладони зажата маленькая льдинка: так нахолодала эта рыбешка.

Ну, конечно же я тотчас выпустил пескарика. Он заслужил это, не обидел рыболова, заставил, хоть один раз за весь день, вздрогнуть рыбацкое сердце, потопив поплавок.

И, уходя с реки с порожней сумкой, я не клял себя за пустой день, не зарекался, что, мол, хватит, все, больше не пойду. В следующее воскресенье соберусь снова. И буду ходить, даже когда река станет, скованная льдом, и всю зиму, и весной, по первым разводьям, круглый год буду ходить. Потому что, в сущности, у рыболова не бывает пустых дней.

Неяркое осеннее солнце, сокращая свой путь, уже спускалось за синеющие холмы, над которыми летом в это время оно сияло высоко и в полную силу. Я шагал широким, ровным лугом, еще по-летнему свежезеленым, хотя по утрам он уже серебрился от инея. Шагал навстречу косым солнечным лучам, холодным и резким, густо-багряным, от прикосновения которых тотчас пламенели и зеркальце луговых озерков, и белостенные хаты на косогоре, и дальний лес за дереvuшкой, и даже яркая зелень луга, вбирая в себя этот багрянец, приобретала необыкновенный и удивительный оттенок.

Ветер постепенно унялся, как обычно бывает под вечер.

Подходя к одной низинке, еще в весеннее половодье занесенной песком, на котором так ничего и не проросло за все лето, я невольно остановился. Над низинкой кружились деревенские ласточки.

Ласточки в середине октября! Холодный, пронизывающий ветер — и ласточки. Искрящаяся по утрам на лугу изморозь — и эти веселые щебетуны, спутницы тихих, безмятежных летних зорь! В городе они исчезли еще в погожие сентябрьские дни. Стрижи улетели и того раньше, когда осень еще ничем о себе не напоминала и в садах висели умытые росой душистые антоновки. А эти?

Их было много, не семейка, а целая стая. Видно, они не здешние, пролетом. Они кружились над песчаной балочкой в каком-то неудер-

жимом хороводе: то низко скользили над самой землей, то круто взмывали вверх, расправляя свой вильчатый хвостик, то вдруг присаживались на песок и, не складывая длинных узких крыльев, а все время трепеща ими, перебегали по земле, затем снова взлетали, кружились и вспархивали кверху. В низких лучах солнца то и дело поблескивали их вороненные крылья и розовели белые грудки. Свой хоровод они вели в полном безмолвии. Не было слышно того радостного мелодичного щебетанья, без которого трудно представить себе деревенскую ласточку.

Я долго стоял неподвижно, любуясь этим необыкновенным сюрпризом поздней осени.

Но что означал этот танец крылатых? И почему они облюбовали для своего странного хоровода именно этот песчаный пяточок? Надо было выяснить. И я пошел к низинке. Вот что-то неуклюже полетело и ударилось о мою грудь. Я взмахнул рукой, разжал пальцы и увидел на ладони длинноногого рыжего комара, сантиметра три-четыре в размахе крыльев. Старый знакомый! Самая поздняя осенняя насадка из насекомых, на которую я обычно лавливал уклеек. Так вот, оказывается, что привлекло сюда ласточек! Комаров здесь оказалось множество. Это был их обычный осенний вылет.

А ласточки? Они не совсем охотно покинули свою «столовую». Сначала долго кружились вокруг меня, пока я топтался по песку, а потом вдруг собрались в плотную стаю и улетели. Я знал, что больше они сюда не вернуться. Надо торопиться к югу. Ведь и так запаздывали.

До свидания! До будущей весны!

Я шел домой, обрадованный этой встречей. И не беда, что за спиной висела пустая сумка.

ЗИМОРОДОК

У каждого рыболова есть на реке любимый уголок. Здесь он строит себе приваду. Забивает в дно реки у берега полукругом колья, оплетает их лозой, а пустоту внутри засыпает землей. Получается что-то вроде маленького полуострова. Особенно когда рыбак обложит приваду зеленым дерном, а забитые колья пустят молодые побеги.

Тут же, в трех-четыре шагах, на берегу сооружают укрытие от дождя — шалаш или землянку. Иные устраивают себе жилище с нарами, маленьким оконцем, с керосиновым фонариком под потолком. Здесь и проводят рыболовы свой отпуск.

Этим летом я не строил себе привады, а пользовался старой, хорошо обжитой, которую уступил мне товарищ на время отпуска. Ночь мы прорыбачили вместе. А наутро мой друг стал собираться к поезду. Укладывая рюкзак, он давал мне последние наставления:

— Не забывай о прикорме. Не будешь подкармливать рыбу — уйдет она. Потому и привадой называют, что к ней рыбу приваживают. На рассвете подсыпай жмыхку. Он у меня в мешочке над нарами. Керосин для фонаря найдешь в погребе за шалашом. Молоко я брал у мельничихи. Вот тебе ключ от лодки. Ну, кажется, все. Ни хвоста, ни чешуи!

Он вскинул на плечи рюкзак, поправил сбитую лямкой кепку и вдруг взял меня за рукав:

— Да, чуть не забыл. Тут по соседству зимородок живет. Пнездю у него в обрыве, вон под тем кустом. Так ты, тово... Не обижай. Пока я рыбачил, привык ко мне. До того осмелел, что на удочки стал садиться. Дружно жили. Да и сам понимаешь: одному тут скучновато. И тебе он верным напарником в рыбалке будет. Мы с ним уже третий сезон знакомство ведем.

Я тепло пожал руку товарищу и пообещал продолжить дружбу с зимородком.

«А каков он, зимородок-то? — подумал я, когда приятель был уже далеко. — Как я его узнаю?» Я когда-то читал про эту птичку, но описания не запомнил, а живой видеть не приходилось. Расспросить же друга, как она выглядит, не догадался.

Но вскоре она сама объявилась. Я сидел у шалаша. Утренний клев окончился. Поплавки недвижно белели среди темно-зеленых лопухов кувшинок. Иногда разыгравшаяся мальва задевала поплавки, они вздрагивали, заставляли меня насторожиться. Но вскоре я понял, в чем дело, и совсем перестал следить за удочками. Наступал знойный полдень — время отдыха и для рыбы, и для рыболовов.

Вдруг над прибрежными зарослями осоки, часто-часто махая крылышками, промелькнула крупная яркая бабочка. В то же мгновение бабочка опустилась на крайнее мое удище, сложила крылья и оказалась... птичкой. Тонкий кончик удища закачался под ней, подбрасывая птичку вверх и вниз, заставляя ее то вздрагивать крылышками, то растопыривать хвостик. И точно такая же птичка, отраженная в воде, то летела навстречу, то вновь падала в синеву опрокинутого неба.

Я затаился и стал разглядывать незнакомку. Она была удивительно красива. Оливково-оранжевая грудка, темные, в светлых пестринках крылья и яркая, небесного цвета спинка, настолько яркая, что во время полета она блестела совершенно так же, как переливается на изгибах освещенный солнцем изумрудно-голубой атлас. Неудивительно, что я принял птичку за диковинную бабочку.

Но пышный наряд не шел к ее лицу. В ее облике было что-то скорбное, печальное. Вот удочка перестала качаться. Птичка замерла на ней неподвижным комочком. Она зябко втянула в плечи голову и опустила на зоб длинный клюв. Короткий, едва выступавший из-под крыльев хвост тоже придавал ей какой-то сиротливый облик. Сколько я ни следил за ней, она ни разу не пошевелилась, не издала

ни единого звука. И все смотрела и смотрела на струившиеся под ней темные воды реки. Казалось, она уронила что-то на дно и теперь, опечаленная, летает над рекой и разыскивает свою потерю.

И у меня стала складываться сказка про красавицу царевну. О том, как ее заколдовала злая Баба-яга и превратила в птичку-зимородка. Одежда на птичке так и осталась царская: из золотой парчи и голубого атласа. А печальна царевна-птица оттого, что Баба-яга забросила в реку серебряный ключик, которым отмыкается кованый сундук... В сундук на самом дне лежит волшебное слово. Овладев этим словом, царевна-птичка снова станет царевной-девушкой. Вот и летает она над рекой, грустная и одинокая, ищет и никак не может отыскать заветный ключик.

Посидела, посидела моя царевна на удочке, тоненько пискнула, будто всхлипнула, да и полетела вдоль берега, часто махая крылышками.

Очень понравилась мне птичка. Обидеть такую рука не поднимается. Не зря, выходит, предупредил меня охотник.

Зимородок пролетал каждый день. Он, видно, и не заметил, что на приваде появился новый хозяин. И какое ему было до нас дело? Не трогаем, не пугаем — и на этом спасибо. А я к нему прямо-таки привык. Иной раз почему-то не навестит, и уже скучаешь. На пустынной реке, когда живешь так невылазно, каждому живому существу рад.

Как-то прилетела моя пичужка на приваду, как и прежде, уселась на удочку и стала думать свою думу горькую. Да вдруг как бухнется в воду! Только брызги во все стороны полетели. Я даже вздрогнул от неожиданности. А она тут же взлетела, сверкнув чем-то серебряным в клюве. Будто это и был тот самый ключик, который она так долго искала.

Но оказалось, моя сказка на этом не окончилась. Зимородок прилетал и прилетал и все был так же молчалив и невесел. Изредка он нырял в воду, но вместо заветного ключика попадались мел-



кие рыбешки. Он уносил их в свою глубокую нору-темницу, вырытую в обрыве.

Приближался конец моего отпуска. По утрам над рекой больше не летали веселые ласточки-береговушки. Они уже покинули родную реку и тронулись в далекий и трудный путь.

Я сидел у шалаша, греясь на солнце после едкого утреннего тумана. Вдруг по моим ногам скользнула чья-то тень. Я вскинул голову и увидел ястреба. Хищник стремительно мчался к реке, прижав к бокам свои сильные крылья. В тот же миг над камышами быстро-быстро замахал крылышками зимородок.

— Ну зачем же ты летишь, дурачишка! — вырвалось у меня. — От такого разбойника на крыльях не спасешься. Прячься скорей в кусты!

Я вложил в рот пальцы и засвистел что было мочи. Но, увлеченный преследованием, ястреб не обратил на меня внимания. Слишком верна была добыча, чтобы отказаться от погони. Ястреб уже вытянул вперед голенастые ноги, распустил веером хвост, чтобы затормозить стремительный разлет и не промахнуться... Злая колдунья послала на мою царевну смерть в облике пернатого разбойника. Вот какой трагический конец у моей сказки.

Я видел, как в воздухе мелькнули в молниеносном ударе когтистые лапы хищника. Но буквально на секунду раньше зимородок голубой стрелой вонзился в воду. На тихой предвечерней воде заходили круговые волны, удивившие одураченного ястреба.

Я собирался домой. Отвел лодку к мельнице для присмотра, уложил в заплечный мешок вещи, смотал удочки. А вместо той, на которой любил сидеть зимородок, воткнул длинную ветку лозы. Под вечер как ни в чем не бывало прилетела моя печальная царевна и доверчиво уселась на хворостину.

— А я вот ухожу домой. — сказал я вслух, завязывая рюкзак. — Поеду в город, на работу. Что ты будешь одна делать? Смотри, ястребу на глаза больше не попадайся. Полетят твои оранжевые и голубые перышки над рекой. И никто про то не узнает.

Зимородок, нахохленный, недвижно сидел на лозинке. На фоне полыхающего заката отчетливо вырисовывалась сиротливая фигурка птички. Казалось, она внимательно слушала мои слова.

— Ну, прощай!..

Я снял кепку, помахал моей царевне и от всей души пожелал отыскать серебряный ключик.

ВЕСЕННИМИ ТРОПАМИ

Не знаю, как в других краях, а в нашей стороне зима нынче не по совести застоялась. Уж и марту конец, а она и не думает расклиниваться. Разлеглась по полям свежей наметью, пушит инеем про-

дрогшие леса, на окнах занавески из тонко изморози развешивает, а узоры на тех занавесках все словыми лапами да мохожевеловыми ветками.

Оно конечно, ядреная зима русскому человеку не в тягость. Любит он и крутой морозец, и спорую порошу. Иной раз ввалится в сени, на шапке — сугроб, борода смерзлась, аж хрустит; постучит валенком о валенок у порога, хлопнет шапкой о колени и крикнет: «Ну и метет. Носа не видно!» А у самого в глазах так и прыгают лукавинки. А спросить: чему радуется?

Но всему свой черед. В день, когда по народному поверью зима с молодой весной силой меряется, всяк тайно желает, чтобы верх весна взяла. А загостившейся зиме намекает, что-де пора и честь знать: проводы с блинами устраивают, скворечники на шестах вывешивают, а на колхозной усадьбе нетерпеливый тракторист запустит мотор и, окутанный грохотом, вслушивается во что-то, а у самого в глазах те же удаль да лукавство.

И я все с большим нетерпением ожидаю перелома в природе: когда наконец всполошится все вокруг от хмельной радости обновления?

Но слышно: опять синица в окно кормушкой стучит. Значит, ночью снег выпал, все прикрыл, нечем птахе поживиться. Под вечер снова черемуха веткой по стеклу скребет. И как только она царапнет, тотчас чайник на плите заскулит тоскливо, по-щенячьи. Я по этим своим приметам и узнаю: опять вьюжит.

Зима надломилась лишь спустя несколько дней после равноденствия. Вдруг с юга потянуло влажным теплом, отпотели окна в доме, и по стеклу, прокладывая путь сквозь матовую морось, побежала робкая струйка. С нее все и началось.

В тот день меня разбудила синица. Она сидела на ветке черемухи у окна и торопливо и возбужденно звала меня: «Ци-ци-пи, ци-ци-пи, ци-ци-пи! Что ты спишь? Что ты спишь? Что ты спишь?»

Я выглянул в окно и зажмурился от яркости огромного многоярусного облака, повисшего среди начисто выметенного неба. Оно было соткано из солнечного сияния и нетронутой белизны, и казалось, что сама весна прилетела на этом белом чуде. А синица все раскачивалась на ветке и неистово и громко, так что звоном в ушах отдавалось, выкрикивала радостное: «Ци-пи! Ци-пи! Не спи! Не спи!»

Я и без нее знаю, что теперь спать не приходится. Весна вся в движении. Надо поспеть за нею, ничего не упустить в ее чародействе.



Зарядил фотоаппарат, вытащил из ящика болотные сапоги. Трубоч увидел сапоги, вскочил с подстилки, запрыгал, застучал хвостом по стульям. Он давно ожидал, когда я наконец начну собираться.

— Идем, дружище, весну встречать.

Трубоч понимающе твякнул густым, сочным баском, и в буфете зазвенела посуда.

После многодневной осады весна ворвалась в город и вела жаркие уличные бои. Рушились, подточенные солнцем, снежные валы и крепости, воздвигнутые ребятишками, в лужах терпели бедствие бумажные флотилии, дымились очищенные от снега крыши: невесть когда появившиеся грачи, словно минеры, озабоченно прощупывали длинными белыми носами побуревшие дороги.

Зима отступила в сады, укрылась за сараями и заборами и только по ночам осмеливалась на вылазки, перехватывала морозцем ручьи, этих неутомимых связных весны.

Город наполнился ярмарочным гамом. Одержимо, разноголосо дудели автомашины, наверно оттого, что улицы полны народу. Под всеми крышами барабанила капель, во всех дворах звенели детские голоса, а над домами и дворами, над улицами и перекрестками выписывали головокружительные виражи горластые грачи.

Среди всей этой весенней суматохи слышно, как на той стороне улицы, у ворот промысловой кооперации, толстенький, хрустящий хромом Степан Степаныч посылал своего сторожа разорять грачиные гнезда.

— Экий ты, Афанасий, раскоряка: на дерево не можешь залезть.

— Не могу, Степан Степаныч, головокружение.

— А ты пей поменьше.

— У меня это сроду.

— Как же ты тогда в пожарных служил?

— Так и служил. При бочках. Лазить не приходилось.

Степан Степаныч плюнул и скрылся в воротах, а сторож, завидев меня, давнишнего знакомого, перебрался через полные воды и битого льда колени на мою сторону и попросил табачку для, как он выразился, успокоения досады.

— Ну и дела, — покрутил головой Афанасий. — Пристал: лезь на дерево, да и все тут. Оно слазить не хитро. Да за что птицу-то обижать? Говорит, заседасть мешают. В самые окна целый день кричат. А ты заседай поменьше. Нос не в бумагу, а в дело суй. Так-то оно лучше будет...

За городом уже пестро от проталин. Чернели гребни прошлогодней пахоты, бурели пролысины старой травы. Солнце плавилло остатки снега, и воздух звенел от стеклянного шороха бесчисленного множества подтаивавших льдинок, от стекающей капля за каплей где-то в тайниках сугробов талой воды.

Поднял фотоаппарат, но тут же опустил его. Не взять, не донести все это весеннее брожение. Мертвая машина. Нет в ней души. В рамке видоискателя всего лишь однообразное поле, даже глазу остановиться не на чем. Напечатаешь такой снимок, и все пожмут плечами: «Стоило из-за него лазить по такой грязище?»

Чтобы выкроить пейзаж, я зашагал к лесу, к реке.

Долго лазил по зарослям и береговым обрывам. Снимал лесные дороги, полные талой воды, просыхающие песчаные отмели, полетному зеленые сосны на берегу разлившейся реки. Но вскоре снова пришлось опустить аппарат. Потому что вдруг откуда-то накатила сизая туча, накрыла солнце. В лесу пропали тени от деревьев, вода в реке стала черной. Повалил снег — мохнатые обильные хлопья.

Я стоял на береговом обрыве. Мир сузился до нескольких шагов. И весь этот мир — белый мятущийся рой над черной бездной. Снежинки кружились, стремясь не упасть, хоть сколько-нибудь продержаться, отдалить мгновение гибели. Но, обессиленные, покорно падали в недвижную воду, а из глубины омуты им навстречу летели такие же, безошибочно находили в хороводе свою пару и у грани воды и неба сливались воедино, чтобы затем исчезнуть навсегда...

Разве можно одним нажатием пальца запечатлеть такое?

...В кустах послышался отрывистый лай Трубача. Я поспешил на голос. На краю открывшейся поляны, у костерка, на корточках сидел человек. Шапка и плечи запорошены снегом, руки зябко простерты над огнем. В нескольких шагах под деревом стоял подрамник с неоконченным этюдом — рыжий дуб на краю опушки.

— Не помешал?

— Нет. Пожалуйста.

— Холодно работать, — посочувствовал я.

— Холодновато, — передернул плечами художник. — Руки зябнут. Но что поделаешь? Искусство, как говорится, требует жертв. А тут еще откуда-то снег взялся. Приходится вот пережидать.

Я притащил сухую валежину, поломал и положил в костер. Огонь быстро набрал силу. Снежинки уже не осмеливались садиться на самые угли.

— Удивительное это время — март, — сказал художник, потирая над огнем одну о другую длиннопалые, выпачканные красками руки. — Голые деревья, голые поля, лужи и грязь на дорогах. Но встанешь утром, а на стене — зайчик. И улыбаешься, как школьник. А потом собираешь краски, кисти и шлепаешь куда глаза глядят — по грязи, по лужам. Черт знает что такое! Взрослый человек!

Снегопад внезапно прекратился. По запорошенной поляне промчалась синяя тень убегающей тучи, и снова все вокруг засияло молодо и радостно. Дуб, облюбованный художником, ярко вспых-



нул на солнце бронзовыми вихрами перезимовавшей листвы и отбросил от себя длинную тень через всю поляну к ногам двух обнявшихся молодых березок на другом ее конце.

— Вот и солнце! — обрадовался живописец и поспешил к холсту.

Он работал сосредоточенно и быстро, будто боялся, что внезапное ненастье может снова погасить краски. Сидя у огня, я следил, как постепенно, после точных и неуловимых мазков кистью, оживал и от ветки к ветке зажигался солнечным светом лесной великан.

— Здорово у вас получается! — не удержался я.

Художник обернулся на мои слова и, усмехнувшись, поморщился.

— Я вот понесу холст домой, а по дороге тоже будут восхищаться: «Как живописно! Смотрите, какая прелесть! Неужели у нас есть такие места?» Но никому и невдомек, что я несую букет без запаха. Самое главное — аромат — не сумел унести с собой. Он остался здесь, в лесу. А вы говорите, получается... Черта с два! Вот если бы принести горсть лесного тумана или сберечь хоть одну снежинку и показать людям — это было бы действительно здорово!

Вот в чем вся закавыка искусства: донести, не расплескать. Но попробуй донеси! Вот он, шельмец, журчит в кустах. Там и ручеек-то — кружка воды. Но шуму — на весь лес. То он в корнях запутался, жужжит, как шмель, то где-то промытым ледяным коридором, всплескиваясь, мчится, то опять сердится на завалах, а с обрыва в реку стекает по корням подмытого дерева, рассыпается на множество струй и отдает в тишине хрустальным звоном каждая упавшая с высоты капля. Попробуй изобрази. И все же надо добиваться. Ведь можно, я знаю. Могли же Левитан, Васильев, Шишкин...

Все это художник говорил, топчась у этюда. При этом он то делал быстрые короткие удары кистью, то, отступив на шаг-другой, внимательно вглядывался в работу, то, заменив кисть и набрав на палитре нужную краску, снова склонялся над холстом.

«В грязь, в слякоть — за горсть тумана, за песню жаворонка! А ведь нам, литераторам, подчас не хватает этой простой незаметной жертвы для искусства. — думал я, разглядывая его мокрые ботинки. — Мы часто стараемся написать так, чтобы не замочить башмаков. И цветы у нас тоже бывают без запаха — бумажные. И

у нас ведь та же закавыка — донести, не расплескать. А вокруг столько хорошего на нашей просторной земле!»

Наконец подрамник был поставлен к дереву и повернут написанным к стволу. Мы засобирались домой.

Лесная дорога местами совсем превратилась в реку, и мы с трудом пробирались по мокрому зернистому снегу на обочине. В поле тоже заметно умножились проталины. По низинам то здесь, то там осколками зеркала блестели озерки талой воды. А в оврагах уже в открытую клокотали потоки.

Трубач радостно рыскал по проталинам и с одной из них спугнул жаворонка. Тот взмыл вверх и вдруг повис над озадаченной собакой, как на нитке. Потом сыпнул на землю, на меня, на моего спутника веселой трелью и, трепеща крыльями, стал подниматься короткими взлетами, будто по ступеням невидимой лестницы, все выше и выше. Вот он совсем потерялся из виду, растворился в лучезарной голубизне. И только серебряный звон песенки плыл над пробуждающейся землей.

Как донести, не расплескать все это и рассказать о весне, поре великого обновления?

ТРУДНЫЙ ХЛЕБ

Ходит по лесу осень, развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины, убирает в золото осинки и березки. Первые палые листья запестрели на влажных дорогах, на тихих, потемневших водах речных заливов.

Уже давно оставила родную рощу звонкоголосая иволга. Вслед за ней улетели ласточки. Их глубокие норы темнеют в опустевшем береговом обрыве.

А вчера на глухой лесной плес за деревней Гуторово опустилась пара крохалей — пролетные гости с далекого севера. На другой день, когда я снова пришел на этот плес, крохали не улетели. Погода не торопила их на юг.

Мое соседство их нисколько не смущало. Видать, мало имели они встреч с человеком. Не то что наша дикая утка. Редко по какой из них не палили из ружья.

И вдруг совсем рядом из кустов: «Трах-бабах!..» Поперек реки побежали вспененные дробью одна за другой две дорожки.

Крохаль, что плыл первым, сверкнул белой подкладкой крыльев, торопливо снялся и полетел над рекой. Второй даже не вздрогнул. Он только почему-то окунул голову в воду да так и поплыл вниз по течению.

В прибрежном ситнике захлюпала вода. Показалась вислоухая голова спаниеля с белой пролысиной на лбу. Собака на миг остановилась, повела носом и вошла в реку. Она плыла легко и быстро, почти наполовину высунувшись из воды.

Вскоре спаниель был уже на том месте, где только что гуляла пара крохалей. Но он не повернул за сносимой течением птицей, а, не меняя направления, зашлепал дальше.

— Чанг, назад! — слышался спокойный, даже ласковый голос.

Чанг встряхнул длинными лохматыми ушами, остановился, поводя носом, и круто повернул влево. Догнав птицу, спаниель схватил ее за крыло и, все так же высоко над водой неся голову, поплыл обратно. Течение немного снесло его. Он выбрался на берег рядом с моими удочками, положил птицу на песок и стал отряхиваться, обдав меня дождем холодных брызг.

— Вот невежа! Перестань!

Из кустов вышел хозяин собаки, грузный, круглолицый, с ежиком седых усов, он одет в короткий стеганный ватник, на ногах высокие болотные сапоги.

— Обрызгал? — сказал он, подбирая птицу.

— Ничего! — вытирая платком лицо, ответил я. — Хорошая добыча! Редкая.

— А я, знаете, не особенно уважаю крохалю. — возразил охотник. Он приподнял за шею птицу, разглядывая рану на голове.

Я воспользовался случаем, чтобы рассмотреть крохалю. Он — в черном сюртуке, белой рубашке. Зелено-черная голова заканчивалась острым копьеобразным клювом. Величиной он был с хорошую крякву, только длиннее и уже ее.

— Птица с виду ладная. Но мясо невкусное, рыбой отдает. — пояснил охотник, присаживаясь и устало кряктя. Собака легла рядом. — Набегались мы с тобой, Чанг. Давай-ка, дружище, посидим, отдохнем.

Чанг одобрительно замахал обручком хвоста.

— Новичок, наверно? — кивнул я на собаку. — Обучается?

— Уже, можно сказать, старик. Пятый год. Золотая собака. — Хозяин ласково провел ладонью по черному шелковистому жилету спаниеля. — Без нее половину добычи потеряешь. Упадет битая утка в самую топь — как ее достанешь? Облизнешься и пойдешь несолоно хлебавши. Или взять подранка. В такую глушь забьется, что днем с огнем не найдешь. А Чанг быстро свое дело сработает: и подранка схватит, и битую из топи вынесет. У вас, кажется, клюет. Вон на той, где пробковый поплавок.

Я подсек. Леса натянулась. В глубине тускло блеснул бок рыбы. Потом леса вдруг провисла, и я вытащил пустой крючок.

— Сошла, — сочувственно прищелкнул языком охотник. — Жалко. У вас, значит, тоже охота... А я больше с ружьем. Люблю походить. Да вот хотя бы сегодняшний случай взять. Унесло бы крохалю течением, застрял бы где-нибудь в кустах. А Чанг, пожалуйста, слазил и достал.

— А отчего он вначале не хотел брать птицу? — поинтересовался я.

— Хотеть-то он хотел, да со следа сбился. Это бывает.

— Ну что вы! — удивился я. — Какой же может быть след на воде? Да и зачем след, когда птицу и так видать?

— Э, батенька! Да ведь если бы у Чанга глаза были. Он у меня слепой.

— Слепой!.. — Я даже весь повернулся от изумления. — Совершенно слепой? Да не может быть!..

Я пристально и недоверчиво посмотрел на Чанга. Он лежал, положив морду на мохнатые белые лапы в черных пестринках. В его глазах не было ничего странного. Светло-карие, внимательные, умные глаза опытной охотничьей собаки.

— Не верите? — усмехнулся хозяин. — Давайте продемонстрирую. — Он достал из ягдташа ломоть хлеба, отщипнул от него кусочек. Спаниель насторожился, оживленно задвигал влажным, точно резиновым, носом и уставился на хлеб.

— Чанг, лови! — крикнул хозяин и подбросил высоко вверх корочку хлеба.

Но Чанг не встрепенулся, не запрыгал, как это обычно делают собаки при виде летящей подачи, он спокойно стоял, вопрошающе глядя на хозяина. И только когда корочка упала шагах в пяти от него, он тряхнул своими мохнатыми ушами и побежал на звук упавшего хлеба.

— Видели? — спросил охотник, бросая собаке весь ломоть. — Хлеб уже летит, а он об этом не подозревает, ждет, когда я брошу.

Этот простой опыт почти убедил меня. Но оставалось непостижимым все поведение собаки. До этого она вела себя совершенно так же, как обыкновенная, зрячая, ничем не выказывая свою слепоту.

— Вы давеча заметили, что Чанг было промахнулся, пlying за убитой птицей?

— Да, заметил. Только принял это за баловство новичка.

— Нет. Это он со следа сбился. На минутку порвалась ниточка птичьего запаха, которая вела Чанга к добыче. Но Чанг молодчина! Быстро нашелся.

Спаниель благодарно чиркнул по песку хвостом, поднял голову, и когда его похвалили, в добром голосе хозяина почувствовал к себе ласку. Я с уважением посмотрел на Чанга.

— Ну как же он ослеп?

— Сам не знаю, — покачал головой хозяин. — Может, таким и родился. Как узнаешь, что он слепой? Вы вот до сих пор не можете с этим согласиться. Ведь он совсем не похож на слепого. Ни обо что не спотыкается, с собаками, как и все, бегают.



играет. Убежит от меня далеко — свистну, и он прямехонько мчит обратно. И по дичи промаху не делает. Ни одной утки не потерял. А главное — глаза такие умные, понимающие! Разве подумаешь, что эти глаза совершенно ничего не видят? Я-то и сам узнал о его слепоте случайно, вот так же бросив ему хлеб. Сначала не верил, а потом, со временем, убедился.

У меня опять клюнуло. На этот раз я благополучно вытащил крупную плотвицу. Снимая ее с крючка, я неосторожно спросил:

— А не лучше ли вам завести другую собаку?

— А эту куда? — нахмурился охотник. — Пристрелить? Сдать на воротник? Да я, батенька мой, за него двух зрячих не возьму. Как-никак, пять лет вместе. Он свой хлеб честно зарабатывает. Трудный хлеб, но честный. Пойдем, Чанг. Бывайте здоровы!

Охотник вскинул на плечо ягдташ, двустволку и зашагал напрямик в чащу леса. Чанг бодро вскочил и побежал за хозяином. Он уверенно продирался через заросли, тычась мордой в лозу и повизгивая от нетерпения.

Я долго глядел ему вслед и теперь уже не жалел убитую птицу.

КОВАРНЫЙ КРЮЧОК

Уклейку, эту вездесущую крошечную, не больше пальца, рыбешку, считают самым веселым и беззаботным существом в наших среднерусских речках. Плядя, как уклейки смело шныряют у ног купальщиков, устраивают шумную возню вокруг брошенной корки или, выпрыгивая из воды, всплескиваясь и сверкая, наперегонки гонятся за мошкаррой, говоришь себе: «Вот кому весело живется!»

И вид у уклейки тоже легкомысленный: хрупкая, плосконькая, в зеркально-сверкающем наряде, с большими черными зрачками в радужной оправе. И клоует-то она с какой-то веселой беспечностью: с налету, не разобравшись, берет на самую пустяковую удочку из катушечной нитки, кусочка пробки и даже без грузила. Несерьезная рыбка! Селявка!

А между тем судьба у нее самая незавидная. Одни только ребята сотнями нанизывают на кулан, так просто, ради озорства. Принесут домой да и швырнут снизу в угол: мол, кошка съест. А сколько других неприятностей поджидает уклейку на каждом шагу!..

Плывет она мимо затонувшей коряги, плывет — ничего не подозревает. Да вдруг ожившее бревно как метнется наперерез! Щелкнула щучья пасть — и конец.

А то окуни налетят. Эти полосатые разбойники не прячутся в засаду, как щука, а нападают целой шайкой — с шумом, гиком, стараясь побольше паники нагнать. Залучат табунок мелочи в какой-нибудь заливчик да такой погром учинят, только брызги летят в разные стороны...

И серая цапля, и зимородок, и утка, и даже ворона не прочь пообедать уклейкой, и каждый по-своему промышляет ею.

Вся эта прожорливая братия особенно насаждает на уклейку в мае, когда та начинает метать икру и набивается в мелкие травянистые протоки, рукава и заливы. В это время ее даже руками можно наловить: иная так запутается в тине, что только жабрами шевелит. А то невзначай выскочит на пухлую подушку водорослей и танцует на ней, стараясь поскорей до воды добраться. Бывает сразу по нескольку рыбок на тине бьется. Подходи и бери руками. Ну, а цапля и подавно не упустит такого случая: шасть-шасть по воде на своих ногах-ходулях, подойдет к тине и позавтракает готовеньким. Или налетят вороны, наскочат утки.

Но страшнее всех для уклейки белизна. Может, видели: идут против течения рыбешки стайкой, торопливо работают плавничками и вдруг как метнутся испуганно врассыпную! Это неподалеку прошла белизна. Нет, она не погналась, она только проплыла стороной. И то уже какой переполох! А вот ежели подкрадется да ударит серебристо-голубой молнией в самую гущу — тогда беда! Раздается резкий и хлесткий удар, будто по воде со всего маху веслом полоснули. Взметнется в небо фонтан, закипит вода воронкой. Обезумевшие от ужаса уклейки чуть ли не на полметра выбрасываются наружу. Иногда даже на берег выскакивают и, пожалуй, только благодаря этому остаются целыми. Попрыгав на берегу, они кое-как скатываются в реку. А белизна уже подбирается к другой стае.

Сильная, стремительная, осторожная и красивая эта рыба. Внешне она совсем не похожа на хищника. Даже беззубая. Но зато какой хвост! Ширины и силы необыкновенной. Им-то белизна и глушит рыбу. Налетит да как шарахнет — какую сразу наповал, какая, ошеломленная, бестолково вертится. В это время и хватает их хищник — и живых и полумертвых.

В мае белизна тоже подходит к местам нереста уклеек и здесь жирует, нападая на беспомощных, обессиленных рыбок.

Однажды я пошел поискать нерестилища, чтобы вблизи них поохотиться на белизну. В эти дни она бывает не так осторожна и смелее берет приманку.

Река, вырвавшись из глинистых крутояров, поросших лесом, широко разлилась в низких песчаных берегах. Ничем не стесненная, она каждый год меняет здесь русло, намывая в половодье острова и оставляя протоки. Дул легкий южный ветер. По небу торопливо плыли разрозненные округлые облака. Их тени проносились по еще не кошенному лугу, и яркие краски цветущих трав на мгновение гасли, а вода в луговых болотцах темнела, наливалась холодным свинцом. Над песчаной отмелью летали крачки. Плаксиво перекликаясь и тяжело взмахивая узкими обвислыми крыльями, они медленно пробивались навстречу ветру. Потом, словно устав бороться, шаркались назад и снова тянули над рекой, жалобно всхлипывая.

Я понял, почему крачки так упорно держатся именно этого места. Здесь собрались уклеи на икромет. Значит, и белизна ходит где-то поблизости.

И верно: перебираясь вброд на маленький островок, я услышал шумные всплески, будто кто-то невидимый бросал в воду тяжелые комья земли. Мелочь испуганно шарахалась, рябя поверхность реки. Это делала свое лихое дело она — гроза уклеек.

Не упустить момента и подбросить блесну как раз тогда, когда хищник после удара хвостом крутится и хватает оглушенную мелочь, — основное в охоте на белизну. Я торопливо собрал спиннинг, выждал, когда белизна сделает очередной всплеск, и метнул. Но заброс не удался: блесна, задержанная встречным ветром, упала с опозданием. Новые попытки тоже не принесли успеха. Я давал блесне тонуть, пускал ее в полводы, заставлял вращаться у самой поверхности, даже делать короткие скачки по воде, чтобы вызвать хватку хищника, но он не обольщался моей металлической рыбкой. Мол, знаем, что это за штука! Не обманешь! И вызывающе поднимал фонтаны брызг то справа, то слева, то почти совсем рядом с моим островком. Однажды я даже увидел эту неуловимую разбойницу. Она на какое-то мгновение вывернулась из глубины у самого берега. Широкое серебристое тело, темная спина, острый, как парус яхты, спинной плавник и страшный хвостище, упруго и гибко сверлящий воду. Даже холодок внезапной оторопи пробежал по спине, как бывает всегда при неожиданной встрече с серьезным противником. Белизна круто развернулась, сверкнув полированным боком, и растворилась в зеленоватой толще воды.

Когда у охотника из-под носа срывается куропатка, он вздрагивает от неожиданности и беспорядочно палит вслед. То же самое бывает и с рыболовами. Хотя было и бесполезно, но я замахнулся, и... Всегда вот так, когда торопишься. Блесна полетела не в ту сторону и унесла чуть ли не все сто метров лесы. Досадую, я стал тотчас выбирать шнур. Узкоперистая блесенка, борясь с течением, шла у самой поверхности воды. Издали она походила на маленькую рыбку, с трудом пробивающуюся навстречу речной струе.

И вдруг неизвестно откуда появилась крачка. Задержав крылья на замахе, она упала на воду в том месте, где сверкала никелем блесна. Я машинально рванул лесу. Птица неестественно дернулась и, разбрызгивая воду, забила крыльями. Взлетев, она тут же с размаху кувыркнулась в волну. Я понял, что птица засекалась на крючок...

Крачка отчаянно барахталась, взлетала, рвала из рук удилице, снова падала, а я, растерявшись, никак не мог сообразить, что же делать. Да и что можно было придумать? Я — на острове, а птица на крепкой жилке бьется метрах в тридцати от меня на воде. Не обрывать же лесу. Крачка взлетит и, запутавшись жилкой где-нибудь в кустах, погибнет. Тащить птицу к себе тоже



У мольберта. 1998



Последний лед. Акварель, гуашь



Розовый туман. Акварель, гуашь



Автопортрет. Акварель, гуашь



Овраги в снегу. Акварель, гуашь



Осень на реке. Картон, масло



Темная вода. Акварель, гуашь



нельзя: она будет биться и повредит себя. Единственное, что показалось мне разумным, — это выключить на катушке тормоз.

Выждав, когда птица снова поднялась над рекой, я отжал тормозную кнопку на катушке. Не чувствуя больше сопротивления лесы, крачка взмыла в небо. Катушка быстро завертелась, сбрасывая шнур. Плядя, как сквозь кольца удилица со свистом улетала жилка, я испуга : «С и и с и» метр, птица с разлету дернет, разо-

рвет себе клюв или, остановленная резким рывком, кубарем полетит вниз и разобьется о воду».

И до того как леса окончательно сошла с катушки, я начал снова притормаживать барабан, слегка прикасаясь к нему пальцем. Почувствовав сопротивление, птица тяжело замахала крыльями. Я надавил на катушку сильнее, и крачка, не в силах преодолеть сопротивление, стала разворачиваться на кругу, постепенно снижаясь. Вот она уже поравнялась с берегом, вот летит над зарослями лозы, задевая крыльями верхние ветви... На ходу сматывая лесу, я перелез через протоку и побежал навстречу.

Она упала в траву меж кустов лозняка и лежала на спине, раскинув ослабевшие крылья. С никелированной блесны, свисавшей из полураскрытого клюва, капала кровь...

Чувствовал я себя преотвратительно. Так, будто непоправимо сломал чужую вещь. Эту вещь — частицу природы — нельзя трогать грубыми руками, как нельзя прикасаться к жемчужной капле росы в чашечке цветка, к пыльце на крыльях бабочки, к серебристой головке одуванчика, сотканной из пуха и воздуха, пронизанной солнцем... Всем этим можно только любоваться. Тронул — и все испортил...

За спиной слышались печальные вскрики крачек да тяжелые, глухие всплески. Это вскидывалась белизна — гроза беззаботных уклеек. Жизнь шла своим чередом.

ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН

Светлой памяти И.И. Шишкина

В пору листопада я хожу в лес запасать удилица из лещины. Зимой до орешника не доберешься: метровые сугробы по кустам наметены. Летом же в густой зелени трудно высмотреть подходящий строй. Срубишь, глядь — то кометь искривлен, то вершина раздвоена.

Зато осенью выберешь, что тебе надо. Орешник стоит светел, видна каждая ветка. Все верхинки не торопясь оглядеть можно. У орешника такая особенность: начинает ронять лист с самых высоких побегов.

Дед Проша вызвался показать место с хорошей лещиной. Он трусит спорой рысцой впереди меня. Гленища его резиновых сапог гулко шлепают по тощим икрам. Лохматая шапка подстреленным тетеревом мелькает над кустами: одно ухо обвисло, другое, отвернутое, вскидывается при каждом шаге. Дед рад случаю промяться, а потому и суетлив, и болтлив без удержу.

Я тоже рад предстоящей встрече с осенним лесом. Иду, как в картинную галерею, еще раз взглянуть на давно знакомые полотна, что ежегодно выставляет напоказ золотая осень. Глаз насторожен и жаден: не хочется ничего упустить.

У самого края леса в зарослях болотного вереска блеснуло озерко с темной водой цвета крепко заваренного чая. На его поверхности цветная мозаика из листьев, занесенных ветром. У берега горбится старая вершина, брошенная за ненадобностью. Это — Поленов.

А на косогоре узнаю Левитана. Тонконогие осинки застенчиво толпятся у опушки, о чем-то перешептываются сразу всеми своими листьями. Трепещут листья на ветру и мелькают, то поворачиваясь к солнцу золотом, то серебром изнанки. И путается в этом живом, колеблющемся кружеве и тоже трепещет ясная синева осеннего неба.

Позади молодого осинника высится многоколонным фасадом старый лес. Из его глубин, как из музейного здания, тянет тонкими запахами древности. Среди стволов-колонн затаилась гулкая тишина, и слышно, как, падая, шуршит, цепляясь за ветки, оброненный деревом лист.

У края леса дед останавливается, стаскивает треух и торопливо крестится. Обычай, дошедший из глубины веков, от языческого суеверия. Я тоже медленно снимаю шапку, но не как язычник. Я вхожу под своды леса, как в залы неповторимого шишкинского гения.

Мы идем мимо развешенных полотен по пестротканой лесной дорожке. Она то желтеет лимонными листьями берез, то розовеет осыпью бересклета, то окрашивается в оранжевое и багровое, когда пробираемся под осинами. Узорчатые листья рябины стали пунцово-красными, и в тон им, только еще ярче, пламенеют тяжелые кисти ягод. Тропинка ведет все дальше и дальше, глаза начинают уставать от ярких красок, а этому беспечному расточительству по-прежнему нет конца.

В глубине, за кострами молодой кленовой поросли, слышатся торопливые прихрамывающие шаги. Дед Проша направляет задранное ухо шапки на звук, прислушивается.

— Заяц?

— Кой там заяц!

— А т-т ж-?

— Чуешь, на одну ногу припадает? Это он!

— Да кто — он?

— Кто, кто!.. Хозяин, вот кто!

Мне не удастся удержать усмешку, и это сердит старика.

— А смеяться, мил человек, и не из чего. Видать, тебе с ним делов не приходилось иметь.

— А тебе?

— А со мной было...

Дед пересунул топор за пояс поудобнее и опять засеменял по тропе, шлепая голенищами.

— Той самой зимой пошел я лесину на ворота поискать. Срубил дубок, отсек вершину, закричал бревно на санках. Обрато по наезжей дороге вертаться убоялся. Пошел прямо по насту. Наст твердый, мартовский, держал крепко. Иду, значит. Вот тебе сорока впереди на сук опустилась. Завертела хвостом, затараторила. Бранная птица, хуже бабы. Ничего от нее не утаится. Мышь и та не пробежит. Иду, будто не вижу. А она перелетает с дерева на дерево и поносит меня на весь лес. Не к добру это. Замахнулся шапкой. «Кыш, — кричу, — распроклятая!» За ее болтовней не заметил, как и на человека наехал. Навела, шельма. Кивает тот человек, пальцем подзывает. Подхожу. Этаким ветхий старичок. Полушубок в заплатках, из дыр не овчина, а вроде как мох торчит. «Покажь, говорит, как идти на Сухой Дол». Прикинул я: наша деревня напрямик будет, значит, Сухой Дол по левую руку. «Сюда, — говорю, — по этой дороге ступай». Поклонился старичок, а сам на срубленное дерево глаз скопил. «Валялось, — соврал я, — подобрал, чтобы не пропадало». Ничего не сказал. Только посмотрел стылými ледышками, покачал головой и заковылял прочь.

— И ты думаешь, он был? — спросил я.

— Ей-богу, он! Пошел он прочь, а сам так на ногу и припадает. Кому ж быть! Я после того едва из лесу выплутался. Невесть откуда туман взялся. Ничего не видать. А тут еще наст разъело. Бреду по лесу, ноги вязнут, санки по брюхо проваливаются. А позади слышу: «Шасть, шасть...» Благо, догадался лесину бросить. Тут только и выбрался на дорогу. Да не в свою деревню, а в Сухой Дол и пришел с огнями... А ты, мил человек, смеялся. Не любит хозяин озорства в лесу. У него каждое дерево, каждая птица на счету. Зорко бережет. Не сидит на месте, ходит по лесу, пересчитывает. Лесину украсть або живность какую без надобности загубить — пропащее дело...

— А отчего он на ногу припадает?



— Говорят, в войну поранило. Немцы лес из тяжелых орудий обстреливали. Деревья так с корнем и выворачивало. Три дня черной тучей над лесом стоял дым. Ну, значит, осколком его и зацепило. Да только потом немцам дюже за это зло досталось. Кто был в партизанах, рассказывали, будто целый немецкий полк в лесу заблудился. Всех потом партизаны порешили. А я так разумею: тут без хозяина дело не обошлось. С ним шутки плохи.

От деда Проши можно ожидать какого угодно сочинительства. Придумывает он так самозабвенно, что сам, кажется, верит своим словам. Иной раз не поймешь, то ли правда, то ли вымысел. Но рассказ о лесном хозяине — не его выдумка, разве только прибавил дед, что с ним «нос к носу повстречался». Легенда эта стара, как сам лес, породивший ее. Со временем она обкаталась в народе, как камень в морской воде, прежнее стерлось, взамен придумалось новое, вроде того, что лесной хозяин получил ранение в минувшей войне. Мне она понравилась, эта сказка о лешем, что, прихрамывая, бродит по своим владениям, пересчитывает деревья, бережет лес от поругания. Хорошая сказка!

Я нагибаюсь и поднимаю с земли свежие, непритоптанные листья. Выбираю самые крупные, самые яркие. Они пестреют всюду, будто мазки красок на палитре великого живописца.

И у меня начинает складываться своя легенда о лесном хозяине...

Я вижу его лицо, простое загорелое лицо лесоруба в мшистой рамке бороды. Серые глаза с зорким прищуром. Сухие хвоинки, осыпавшиеся с дерева, запутались в седеющих волосах.

Я слышу, как он ходит по осеннему лесу, мягко ступая по пестротканому ковру из листьев, дятлом постукивает тростью по стволам и шепчет шорохом листопада: «Этому нет цены... Берегите это, люди». Его добрые глаза светятся радостью, большие натруженные руки ощупывают молодую поросль, шарят в кружеве листвы. И не бежит от него в страхе потревоженный заяц, не кричит, как над чужим, сорока. Он у себя, в своей чудесной мастерской.

Вот он присаживается на пенек, раскладывает у ног краски и начинает нерукотворное колдовство... И я, очарованный, смотрю на эти с детства знакомые полотна: сумрачные еловые дебри, бронзовостволовые сосновые боры, светлые, все в солнечных пятнах дубравы, ромашковые опушки, лесные проселки с лужицами в колеях... Все это не в золоченых рамах, не в музейных залах. Эти картины разворачиваются передо мной во всю ширь. Они возникают по обе стороны тропинки, которая ведет нас с дедом Прошей в самое сердце леса. Мы идем молча, и каждый несет в себе свою легенду: он — о лешем, я — о человеке.

Домой мы возвращаемся под вечер.

Я сваливаю под навес связку орешника, а на стол высыпаю собранные листья. Бережно расправляю их и вкладываю между

страниц тяжелой книги. Комната наполняется душным запахом грибов и сырой осенней земли. Вет чем-то бесконечно близким и родным. И этому нет цены.

ЖИВОЕ ПЛАМЯ

Тетя Оля заглянула в мою комнату, опять застала за бумагами и, повысив голос, повелительно сказала:

— Будет писать-то! Поди проветришь, клумбу помоги разделить.

Тетя Оля достала из чулана берестяной короб. Пока я с удовольствием разминал спину, взбивая граблями влажную землю, она, присев на завалинку и высыпав себе на колени пакетики и узелки с цветочными семенами, разложила их по сортам.

— Ольга Петровна, а что это, — замечаю я, — не сете вы на клумбах маков?

— Ну, какой из мака цвет! — убежденно ответила она. — Это овощ. Его на грядках вместе с луком и огурцами сеют.

— Что вы! — рассмеялся я. — Еще в какой-то старинной песенке поется:

*А лоб у нее, точно мрамор, бел,
А щеки горят, будто маков цвет.*

— Цветом он всего два дня бывает, — упорствовала Ольга Петровна. — Для клумбы это никак не подходит, пыхнул — и сразу сторел. А потом все лето торчит эта самая колотушка, только вид портит.

Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака на самую середину клумбы. Через несколько дней она зазеленела.

— Ты маков посеял? — подступилась ко мне тетя Оля. — Ах озорник ты этакий! Так уж и быть, тройку оставила, тебя пожалела. Остальные все выполола.

Неожиданно я уехал по делам и вернулся только через две недели. После жаркой, утомительной дороги было приятно войти в тихий старенький домик тети Оли. От свежесмытого пола тянуло прохладой. Разросшийся под окном жасминовый куст ронял на письменный стол кружевную тень.

— Квасу налить? — предложила она, сочувственно оглядев меня, потного и усталого. — Алеша очень любил квас. Бывало, сам по бутылкам разливал и запечатывал.

Когда я снимал эту комнату, Ольга Петровна, подняв глаза на портрет юноши в летной форме, что висит над письменным столом, спросила:

— Не мешает?

— Что вы!

— Это мой сын Алексей. И комната была его. Ну, ты располагайся, живи на здоровье...

Подавая мне тяжелую медную кружку с квасом, тетя Оля сказала:
— А маки твои поднялись, уже бутоны выбросили.

Я вышел посмотреть на цветы. Клумба стала неузнаваемой. По самому краю расстилался коврик, который своим густым покровом с разбросанными по нему цветами очень напоминал настоящий ковер. Потом клумбу опоясывала лента маттиол — скромных ночных цветков, привлекающих к себе не яркостью, а нежно-горьковатым ароматом, похожим на запах ванили. Пестрели куртинки желто-фиолетовых анютиных глазок, раскачивались на тонких ножках пурпурно-бархатные шляпки парижских красавиц. Было много и других знакомых и незнакомых цветов. А в центре клумбы, над всей этой цветочной пестротой, поднялись мои маки, выбросив навстречу солнцу три тугих, тяжелых бутона. Распустились они на другой день.

Тетя Оля вышла поливать клумбу, но тотчас вернулась, громахая пустой лейкой:

— Ну, иди, смотри, зацвели.

Издали маки походили на зажженные факелы с живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. Легкий ветер чуть колыхал, а солнце пронизывало светом полупрозрачные алые лепестки, отчего маки то вспыхивали трепетно-ярким огнем, то наливались густым багрянцем. Казалось, что стоит только прикоснуться — сразу опалят!

Маки слепили своей озорной, обжигающей яркостью, и рядом с ними померкли, потускнели все эти парижские красавицы, львиные зевы и прочая цветочная аристократия.

Два дня буйно пламенели маки. И на исходе вторых суток вдруг осыпались и погасли. И сразу на пышной клумбе без них стало пусто. Я поднял с земли еще совсем свежий, в капельках росы, лепесток и расправил его на ладони.

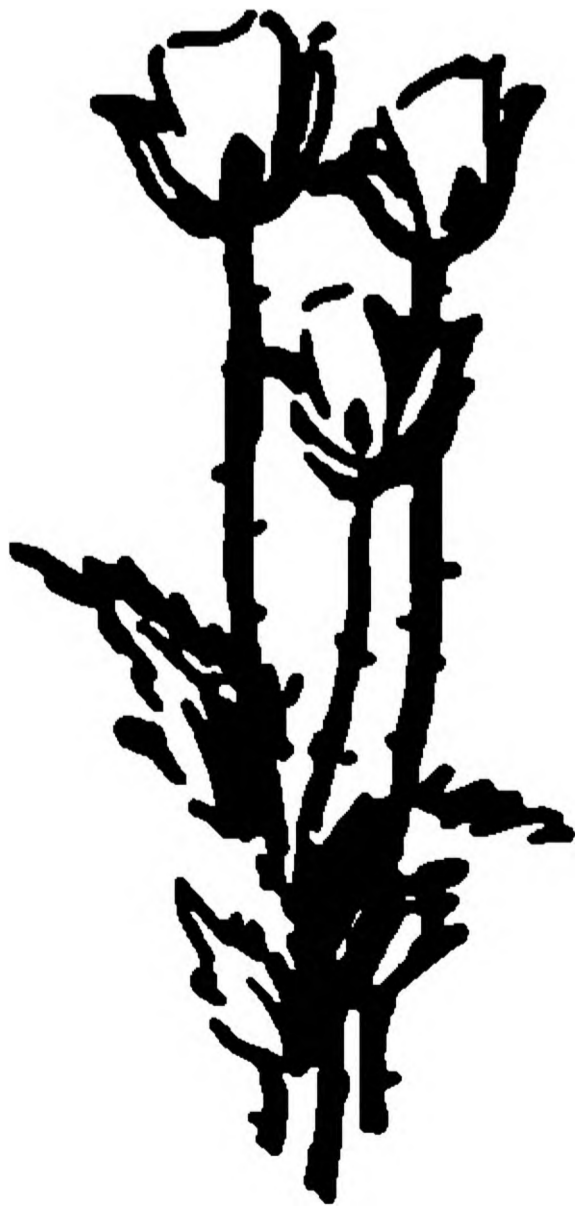
— В . . . , — з л р . . . у т . . .
вом еще неостывшего восхищения.

— Да, сгорел... — вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля. — А я как-то раньше без внимания к маку-то этому. Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает...

Тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в дом.

Мне уже рассказывали о ее сыне. Алексей погиб, спикировав на своем крошечном «ястребке» на спину тяжелого фашистского бомбардировщика.

Я теперь живу в другом конце города и изредка заезжаю к тете Оле. Недавно я снова побывал у нее. Мы сидели за летним столиком,



пили чай, делились новостями. А рядом на клумбе полыхал большой костер маков. Одни осыпались, роняя на землю лепестки, точно искры, другие только раскрывали свои огненные языки. А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, подымались все новые и новые туго свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню.

ЗАБЫТАЯ СТРАНИЧКА

Лето умчалось как-то внезапно, будто спугнутая птица. Ночью тревожно зашумел сад, закрипела под окном старая дуплистая черемуха.

Косой шквальный дождь хлестал в стекла, глухо барабанил по крыше, и булькала и захлебывалась водосточная труба. Рассвет нехотя просочился сквозь серое, без единой кровинки небо. Черемуха почти совсем облетела за ночь и густо насорила листьями на веранде.

Тетя Оля срезала в саду последние георгины. Перебирая мокрые, дышащие влажной свежестью цветы, она сказала:

— Вот и осень.

И странно было видеть эти цветы в полумраке комнаты с заплаканными окнами.

Я надеялся, что внезапно подкравшееся ненастье долго не задержится. Холодам, по сути дела, рановато. Ведь впереди еще бабье лето — одна-две недели тихих солнечных дней с серебром летящей паутины, с ароматом поздних антоновок и предпоследними грибами.

Но погода все не налаживалась. Дожди сменились ветрами. И ползли, и накатывались бесконечные вереницы туч. Сад медленно увядал, осыпался, так и не запыхав яркими осенними красками.

За ненастьем как-то незаметно истаял день. Уже в четвертом часу тетя Оля зажигала лампу. Кутаясь в козий платок, она вносила самовар, и мы от нечего делать принимались за долгое чаепитие. Потом она шинковала для засолки капусту, а я садился за работу или, если попадалось что интересное, читал вслух.

— А грибов-то нынче не запасли, — сказала тетя Оля. — Поди, теперь уж и совсем отошли. Разве только опята...

И верно, шла последняя неделя октября, все такая же сумрачная и нерадостная. Где-то стороной прошло золотое бабье лето. Уж не было никакой надежды на теплые денечки. Того и гляди, завьюжит. Каким уж теперь грибы!

А на другой день я проснулся от ощущения какого-то праздника в самом себе. Я открыл глаза и ахнул от изумления. Маленькая, до того сумрачная комнатка была полна радостного света. На подоконнике, пронизанная солнечными лучами, молодо и свежо зеленела герань.





Я выглянул в окно. Крыша на сарае серебрилась изморозью. Белый искрящийся налет быстро подтаивал, и с карниза падала веселая, бойкая капель. Сквозь тонкую сетку голых ветвей черемухи безмятежно голубело начисто вымытое небо.

Мне не терпелось поскорее выбраться из дому. Я попросил у тети Оли небольшой грибной кузовок, перекинул через плечо двустволку и зашагал в лес.

Последний раз я был в лесу, когда он стоял еще совсем зеленый, полный беспечного птичьего гомона. А сейчас он весь как-то притих и посушел. Ветры обнажили деревья, далеко вокруг развеяли листву, и стоит лес странно пустой и прозрачный.

Только дуб, что одиноко высился на самом краю леса, не сбросил своей листвы. Она лишь побурела, закучерявилась, опаленная дыханием осени. Дуб стоял, как былинный ратник, суровый и могучий. В него когда-то ударила молния, осушила вершину, и теперь над его тяжелой, выкованной из бронзы кроной торчал обломанный сук, словно грозное оружие, поднятое для новой схватки.

Я углубился в лес, вырезал палку с вилочкой на конце и принялся разыскивать грибные места.

Найти грибы в пестрой мозаике из опавших листьев — дело нелегкое. Да и есть ли они в такую позднюю пору? Я долго бродил по гулкому, опустевшему лесу, ворошил под кустами рогатинкой, радостно протягивал руку к показавшейся красноватой грибной шапочке, но она тотчас таинственно исчезала, а вместо нее лишь краснели осинные листья. На дне моего кузовка перекатывались всего три-четыре поздние сыроежки с темно-лиловыми широкополыми шляпками.

Только к полудню я набрел на старую порубку, заросшую травами и древесной порослью, среди которой то здесь, то там чернели пни. На одном из них я обнаружил веселую семейку рыжих тонконогих опят. Они толпились между двух узловатых корневищ, совсем как озорные ребята, выбежавшие погреться на завалинке. Я осторожно срезал их все сразу, не разъединяя, и положил в кузовок. Потом нашел еще такой же счастливый пенек, еще, и вскоре пожалел, что не взял с собой корзины попросторней. Ну что ж, и это неплохой подарок для моей доброй старушки. То-то будет рада!

Я присел на пенек, снял кепку, подставив голову теплу и свету, и набил свою трубочку. Экий выдался славный денек! Теплынь, ти-

шина. И не подумаешь, что по этому голубому небу с высоко плывущими перьями прозрачных облачков только вчера ползли косматые серые тучи. Совсем как летом.

Вон с березового пня слетела бабочка, темно-вишневая, со светлой каемкой на крыльях. Это траурница. Она выползла из своего укрытия на солнце и грелась на теплом срезе дерева. А теперь, отогревшись, неловко, скачущим полетом запорхала над поляной. И совсем не удивительно было слышать, как где-то в траве стал настраивать свою скрипочку кузнечик.

Вот ведь как бывает в природе: уж и октябрь на исходе — глухая пора дождей. — и совсем где-то рядом затаилась зима, — и вдруг на границе нескончаемых осенних дождей и зимней вьюги затерялся такой светлый, праздничный денек! Будто лето, поспешно улетающая, случайно обронила одну из своих светлых страничек. И вся эта поляна, окаймленная молчаливым, обнаженным лесом, выглядит совсем по-летнему. Здесь столько еще зелени! И даже есть цветы. Я нагнулся и выпутал из травы жестковатую кисточку душицы, усыпанную нежно-лиловыми венчиками.

А потом, возвращаясь домой, я собрал еще несколько разных цветков и связал из них маленький букетик. Здесь были и ярко-синие звездочки дикого цикория, и белые крестики ярутки, и даже нежная веточка полевой фиалки — драгоценности, оброненные улетевшим летом.

НЕСПЕШНЫМИ ПРОСЕЛКАМИ

Уже кончалось лето, когда я освободился от городских дел, уложил свои походные пожитки и отправился на базар разыскивать попутную подводку до облюбованной мной деревеньки с красивым названием Отрада.

Те места и в самом деле отрадные для художника и рыболова. Я их знаю по прошлому году, и меня снова потянуло туда.

Отраденский возница, широкоскулый, ясноглазый парень в потрепанном артиллерийском картузе, из-под которого торчали лихие рыжие вихры, приехал продавать подросших кочетков с колхозной птицефермы. Он сразу узнал меня и, кивнув на плетушку, где оставалось еще штук пять белых леггорнов с большими ярко-красными гребнями, сказал:

— Вот распродам остачу — и поедем.

Торжище шумело, пестрело суетой летнего базарного дня. На возах и грузовиках, все в радостных бликах, разомлевшие от солнца и внутреннего жара, пламенели помидоры. С ними соперничали вороха всевозможных яблок и груш. Лукошки и кошелки гнулись под тяжестью слив и истекали багряным соком. Тут и там пестрели египетские пирамиды арбузов в полосатых тельняшках. И над всем

этим плавал пестроголосый людской гомон и дрожал и струился полуденный зной, настоенный запахами сена и спелых яблок.

На соседнем грузовике дочерна загорелый парень в красной майке и широченном брыле артистически вертел над головой два полутудовых арбуза и хрипло выкрикивал:

*Вот арбузы — полоски узкие:
Не ростовские, а курские!*

Мой попутчик с завистью и враждой косился на парня в красной майке, который фокусами и прибаутками стянул к машине чуть ли не полбазара.

— Черт его принес со своими арбузами! — ворчал он и, виновато улыбаясь, добавил: — Я сейчас, мигом распродамся...

Часа через полтора кочетки, за исключением одного, хроменького, были наконец проданы. Возница взвалил плетушку на телегу, поправил поладней сено, и мы поехали ко мне домой за вещами.

Скоро наша пароконка, попетляв по тихим тенистым улочкам пригорода, выбралась на большак, и лошади, почуяв привычный простор, дружно и размашисто зарысили.

— Тебя, кажется, Дмитрием зовут? — обратился я к своему спутнику, ощущая неловкость от долгого молчания.

— Митькой, — не оборачиваясь, подтвердил парень.

— Ты что ж, в колхозе торговой частью заправляешь?

— Да нет! Я птичником работаю. А это по случаю. Весной полторы тысячи цыплят завезли, теперь вот сортируем. Много петухов получилось. Которых в закуп свезли, а которых вот на базар. От петухов-то какая польза? Дармоеды. Перевод зерна. Наклюются и прямо с утра в драку. Насмерть друг друга забивают. Вот и бегаем с метлой, разнимаем.

Ехать было жарко. Из высоких созревающих хлебов тянуло печной духотой. Разогретый пахучий деготь вязко капал со ступиц на ярко-синие невянущие цветы цикория, облепившего обочины. Над конскими спинами надоедливо кружились слепни, и казалось, что зной исходил от их звенящего гула. Лошади, отбиваясь от насекомых, секли по бокам хвостами, вскидывали мордами, фыркали.

До Отрады можно было доехать и на автобусе: село — километрах в трех-четырех от шоссе. Но мне не захотелось трястись в переполненном душном кузове. Есть какая-то ни с чем не сравнимая прелесть путешествовать в обыкновенном возке.

Позади оставлены житейские заботы, душа расстегнута на все пуговицы, и в нее, как встречный освежающий ветер, вливается струя безотчетной детской радости. И сама езда, и мерный топот копыт, поскрипыванье телеги, неторопливое струение под колесами бесконечной дороги, и мысль, что ехать еще далеко, и синее-пресинее небо над головой, и парящий на фоне одинокого облака коршун, и запах сена, на котором так удобно устроился, — все это волнует, будит уже было начинающие тускнеть ощущения ребяческих, свет-

лых, восторженных лет. Хорошо, честное слово! Если бы я ехал один, я загорланил бы песню. Но я немножко стыдился своего праздничного настроения перед этим угловатым деревенским парнем, который сидел впереди меня и изредка сонно покрикивал: «Но-о, пошевеливайся!» Для него езда — пожалуй, обыкновенная, давно привычная работа.

— А, поди, за петуха ругать будут? — спросил я Дмитрия, вспомнив, что парень из-за меня поторопился и не продал птицу.

— Не будут. Трактористы съедят. Им на обед все равно петухов выписывают. — И вдруг, оборачиваясь ко мне и оживляясь, сказал: — Этого петуха лисица инвалидом сделала. Они к нам на ферму частенько заглядывают. Одна была до того хитрая! Не поверите, даже в людях разбиралась: знала, в чье дежурство можно идти на птичник, а в чье — поостеречься.

— Это что ж за лиса такая?

— А вот была, проклятая! Я из-за нее с птичницей Дарьей каждый день ссорился. Бывало, стану от Дарьи дежурство принимать, ну и, как положено при этом, кур пересчитываю. Они выскакивают из курятника в узкий леток, а я в тетрадке палочки ставлю, чтоб не сбиться. Сколько кур в курятнике, столько, значит, палочек в тетрадке. Так вот, стану эти самые палочки ставить, а Дарья смотрит через плечо и говорит:

— Одну откинь...

— То есть как это — откинь? — спрашиваю.

— А так. Вчера лиса еще курицу съела.

— Как так съела? Ты это брось — съела! Почему у меня не ест?

Ну, понятно, Дарья в слезы. Кричит на меня:

— Выходит, я их ем, да? Провались они, эти куры, вместе с тобой, рыжим чертом!

И начинает грозиться в звено уйти. Она чуть что — сразу в звено. Ее оттуда по болезни сердца перевели.

— Успокойся, — говорю, — Даша. Тебе волноваться доктора запретили. А насчет того, что я тебя в краже подозреваю, — это ты брось. Я только о том, чтобы ты по сторонам не зевала... У меня ведь почему-то лиса не ворует.

Плюнет она и убежит.

Долго эта история тянулась. Как Дарья выгонит кур на выгон — так вот она, лиса. Выгону я — тишина и спокойствие. Я и ружье с собой брал, думал: «Ну вот выскочит под мушку». И ничего.

«Что за петрушка? Боится меня, что ли?» — размышлял я над той задачей. Прикинул так, этак и говорю Дарье:

— Дай-ка сегодня я за тебя подежурю.

— Это с чего ж ты такой добрый?

— Хочу лису перехитрить. И одежду мне свою давай.

Дарья потрогала у меня затылок — мол, не горячий ли, хмыкнула и пошла в курятник переодеваться. Натянул я ее юбку, блузку, подвя-

зался платочком, на плечи белый халат набросил, а под полой ружье спрятал. Вышел в таком виде на выгон — глядь, председательский «москвич» подкатил. Кричит председатель:

— Здравствуй, Дарья Ильинична! Как лиса, больше кур не крадет?

«Ну, — думаю, — раз сам председатель во мне Дарью признал, значит, лиса и подавно с панталыку собьется».

— Я ей нынче, Петр Игнатьич, поворую! — кричу председателю, а сам с головы косынку сдернул.

Расхохотался Петр Игнатьич, хлопнул дверцей, укатил. А я присел на пустое ведро, покуриваю, на кур поглядываю, а палец на курках держу.

Вот тебе от овражка куры метнулись. Пляжу: из-за куста лисья морда. Ушки торчком, нос так и вертится. Потянула она воздух и на меня уставилась: то ли сигарку увидела, то ли махорку до нее ветром донесло. Долго на меня смотрела, все, видно, гадала, что, мол, нынче за Дарья такая с папиросой? А потом все ж решилась. Осторожно прокралась по кустам бурьяна, поближе к курам, и залегла. Бурьян рыжий, и она рыжая, едва приметна глазу. Присмотрелся я получше, вскинул ружье да как шарахнул сразу из обоих стволов...

Дмитрий хлестнул лошадей концами вожжей, повозка дернулась, покатила быстрее, поднимая за собой ленивое облако горячей пыли.

Наконец кончилась однообразная полевая дорога, и мы выехали на холмистое левобережье Сейма. По крутым склонам, спускавшимся к реке, лепился орешник, а в лощинах, то и дело разрезавших береговые холмы поперек, густел лес из стройных русских кленов, молодых дубков, диких груш и бересклета. Местами среди густой зелени белели известняки, когда-то размытые бежавшей по оврагам вешней водой. Теперь овраги уже поросли лесом, и только самые крутые их склоны, на которых не держится почва, оставались обнаженными.

С крутояров, порой вздымавшихся метров на сорок над петлистой лентой реки, открылось широкое пойменное приволье, млеющее в знойном мареве. Горизонт сразу отодвинулся километров на двадцать пять, а то и больше, куда-то за самые дальние полоски леса, голубеющие у края земли. Отсюда, с берегового обрыва, небо казалось выше и как-то особенно явственно чувствовалась его прозрачная, жутковатая своей бездонностью глубина. Парящие над долиной облака не скрадывали этой глубины, не казались плоскими, какими их видишь обычно снизу. Они двигались величавыми белокипенными громадами, а в это время их тени мчались наперегонки по заливным лугам, уставленным стогами сена, и закрывали собой целые деревни. Было видно, как под ними тускнела, будто отпотевшее стекло, зеркальная гладь стариц и озерков, как наливались свинцом янтарные волны спеющей пшеницы. И до чего же отсюда, с высоты Засеймья, просторной кажется земля!

Видишь сразу несколько селений со всеми подробностями: безошибочно находишь колхозные подворья, школы, клубы, молодые сады-первогодки.

— А это Кузнно. — тыкал кнутовищем Митя. — Видишь, ветродвигатель за садом? Недавно построили. А вот то, дальше. Сухой колодец...

Только к вечеру добрались до переправы. Красное отяжелевшее солнце окунулось в прохладную темень леса, что теснился над крутояром: тот на минуту вспыхнул, пронизанный багряными лучами, и снова погас, налившись сумеречной синевой. Внизу, над лугами, забродил молодой, еще не загустевший туман.

Пока, придерживая лошадей, спускались с горы длинной извилистой дорогой, уже совсем за вечерело. Усталые лошади, почуяв воду, свернули с дороги и, не слушаясь больше возницы, потянули возок в реку. Припав мордами к воде, они пили жадно, длинными потяжками, поводя ушами и время от времени поднимая головы, чтобы перевести дыхание.

Плот только что ушел на ту сторону. Сквозь сизую дымку тумана тускло краснел паромный фонарь, подвешенный на шесте. Позванивала перетянутая через реку проволока.

Митя, пользуясь вынужденной остановкой, разделся и прямо с телеги плюхнулся в воду, окатив меня брызгами. Золотистая дорожка, протянувшаяся от фонаря поперек реки, рассыпалась на мелкие осколки, и они, подхваченные круговыми волнами, закачались, заиграли веселыми отсветами на темной воде.

— Хороша, черт, водица! — отфыркиваясь, крикнул Митя. — Как парное молоко!

Он легко, свободно поплыл от берега, и его тело при каждом взмахе руки чуть ли не до пояса высывалось из воды.

Снова зазвенела проволока, и красный огонек фонаря стал медленно разрастаться. Из темноты окликнули:

— Митька, ты?

— Я, дед Маркелыч.

— То-то, гляжу... Наши, отрадненские, уже давно повертались. Один ты в городе загулял.

— Да вот гостя привез.

— Гостя? Кто ж такой?

— Художник. В прошлом году у мельника квартиру снимал, помнишь?

— Ядреный якорь! Как же!

Паром глухо ткнулся в бревенчатую пристань. Зазвенела цепь, накинутая на крючья. Митя, не одеваясь, повернул лошадей к берегу.

Осторожно ступая по настилу, лошади взошли на паром.

— Опять, значица, в Отрадную? — подошел под фонарь дед — невысокий, тощий, с клокастой щетиной под носом, из которой,

как опенок во мху, выглядывала короткая трубка. — Понравилось у нас, выходит? Это нам похвально. Да что уж и говорить, местность хоть куда. Супротив нее нигде лучше нету. Что землю взять: родит невпроворот. Давеча бежит комбайнер, какую-то шестеренку на палке тянет. Давай, кричит, дед, перевозки на ту сторону. Комбайн стал, зубья порвало. Вот, выходит, какой хлеб родится, сила какая: железо и то не выдерживает. А дичи сколько поразвелось! А всякой ягоды-малины сколько, грибов да орехов! Лоси появились, сам видел. Набрели, видать, откуда. Мне уже, считай, за осьмой десяток перевалило, можно сказать, пора и совесть поиметь, а и то, ядреный якорь, жалко расставаться с жизнью здешней.

Паром незаметно отчалил. За кормой зачернела, все расширяясь, полоса воды. Казалось, не мы, а берег с белеющими меловыми обрывами, с дремлющим на крутых склонах лесом тронулся и тихо-тихо поплыл на волнах вечернего тумана.

Вокруг фонаря, чуть покачивающегося от движения плота, метелицей кружились ночные бабочки. Откуда-то из темноты с мягким трепетом крыльев в полосу света ворвалась летучая мышь. Лошади пугливо всхрапнули и нетерпеливо застучали копытами по дощатому настилу.

— Тпру-у, окаянные! — крикнул на них дед. — Паром опрокинете... Что ж, опять у мельника поселишься?

— Поеду к нему.

— А то давай у меня, а? Хочешь, в курене, а нет — валяй в избу. Хата у меня, почитай, зазря пустует. Одна бабка живет. А я в ней только зимую. Оставайся, а?

— Так куда везти? — переспросил Митя, когда паром причалил.

— Куда-куда! Закудахтал, куроцуп! А ну, дай сюда вожоки.

Я больше не возражал, боялся обидеть гостеприимного старика.

Повозка, съехав с пристани, бесшумно покатила по сырой упругой луговой дороге.

На потемневшем небе высыпали звезды. От реки тянуло терпким запахом рогоза. Где-то, должно быть в луговом болотце, укутанном туманом, нехотя, будто сквозь сон, квакали лягушки. В лугах поскрипывал коростель, и было похоже, будто не птица кричит, а какой-то полуночный плотник пилит тупой ножовкой сухую упругую дранку.

Село, спрятанное туманом, угадывалось лишь по одиноким огонькам да по звукам. Было слышно, как торопливо тарахтел движок: должно быть, сегодня в отрадненском клубе показывали кино. Где-то одиноко брехала собачонка да взлетела вспугнутой птицей голосистая девичья песня, чтобы внезапно снова оборваться, упасть куда-то за садами...

Мы ехали на одинокий огонек, что маячил чуть в стороне от деревни.

ПОД СТАРЫМ ОСОКОРЕМ

Маркелычева изба уже лет сто подпирала бугор над речкой и за долгий свой век окончательно вросла задней стенкой в землю. Избу укрывал широкой зеленой полой не менее древний осокорь, запустивший корни под завалинку. В иные весны половодье подбирается к самому порогу, а примерно раз в десятилетие вода загоняет деда на крышу. И если бы не старый осокорь, торчавший у правого угла, льдины уже давно своротили бы хату.

Перед снегопадом дерево начинало ронять листья. Они засыпали соломенную кровлю, двор, огород, сбегавший к самой реке. Дед сгребал листья в большие вороха и зимой сжигал их в лежанке. Кроме осокоря, в хозяйстве паромщика ничего не было, не считая маленькой плоскодонки. Правда, по берегу бродило с десяток кур. Но это уже бабкино имущество, до которого Маркелыч не касался.

Когда старуха была покрепче, держали корову. Но потом бабка что-то занемогла, и скотину отдали в колхоз, а вместо нее завели коз. Только с ними хлопот не убавилось. Весной, в бестравье, козы забирались на крышу хаты, которая с одной стороны застрехой как раз приходилась вровень с бугром, и объедали молодые ветки на осокоре. Как-то коза провалилась на чердак, и дед в сердцах порешил всех до одной.

— Экак безалаберно живешь! — покрутил головой председатель сельсовета, когда по случаю назначения Маркелычу пенсии от колхоза к нему пожаловала целая комиссия. — Хоть бы избу поправил, что ли... Лесу выпишем, плотников пришлем.

— А ты, ядреный якорь, лесом не больно расшвыривайся. В колхозе своих дыр хватает. Я и в такой свой век доживу. Вот за пензю покорно благодарим.

В молодости Маркелыч служил во флоте, плавал на угольщике и участвовал в Цусимском сражении. С тех пор прошло более полусотни лет, а душа у деда так и осталась морской. Не терпел он ни якорей, ни берега. Не любил дотошной мужицкой оседлости. Потому и хозяйством не обзаводился. И хотя отраденская речка не Великий океан, а колхозный паром не морской транспорт, Маркелыч продолжал считать себя на флотской службе. И по особенно торжественным случаям облачал свое усохшее тело в парадную форму старой балтийской эскадры.

В обиходе дед придерживался флотской терминологии. Отогревая зимой бока на лежанке, он кричал старухе: «Задрай дверь, ядреный якорь! Не чуешь, холодом потянуло!»

Мне отвели «кают-компанию» — небольшую горенку с кривым скрипучим полом и двумя окнами на реку. Жена Маркелыча, маленькая нешумливая старушка, прибрала комнату и, как бывало по праздникам, развесила над окнами старинные льняные рушники с красной русской вышивкой.

На другой день Маркелыч, отвязав от прикола плоскодонку, чуть свет уплыл к парому, а я, хорошенько отоспавшись с дороги, отправился делать первые наброски.

За время, пока я не был в здешних местах, колхоз заметно развернул свое хозяйство; я находил много нового, радовался увиденному, жадничал и вернулся в избу основательно пропеченный солнцем и с полным альбомом карандашных рисунков.

Ради гостя дед не остался ночевать в курене. Перед вечером он приехал на лодке и привез добрый кулан хороших окуней. Хозяйка заварила ушицу, поставила старенький измятый самовар, грудь которого украшали два ряда вычеканенных медалей. Как всегда в таких случаях, на свежего человека потянулся народ, большей частью пожилые, степенные мужики. Они наотрез отказывались от чая — уже поимши, благодарим, — опускались на корточки у стены, кадили махрой, изредка перекидываясь словами.

— Давеча видел: двое по берегу ходили с треногой. Что-то меряли...

— Должно, местность на карту снимали.

— А можа, плотину ставить надумали.

— Плотину б — да! А то речка совсем обмелела.

— Я в районной газете читал: под Киевом Днепр будут запружать.

— Далековато. Вода небось до нас не дойдет.

— Оно, верно, далековато. А то бы какое подспорье.

— Да уж польза была б... Первое дело — рыба поразвелась.

— Луга получшели б. А то уж больно сухи стали.

— А по мне, в колхозе флот занять, — встрял в разговор Маркелыч — флотская душа. — Вот бы сразу и польза завиднелась.

— Ну, флот-то твой колхозу ни к чему, — вдавливая цигарку в подошву сапога, сказал рыжеватый мужичонка. — На кой он колхозу? Не морская держава.

— Не морская! — передразнил Маркелыч. — Ты, ядреный якорь, много-то во флоте разбираешься? Колхоз в Гремучий Яр все лето машины за камнем гоняет. Теперича скажи, много на той машине увезешь? А подгони баржу — сразу на полкоровника материалу. К тому же износу барже никакого. Кой ей леший сделается? Понимать надо. Я, милок, семь годов в балтийской эскадре прослужил, полсвета обошел, в Цусимском сражении участие принимал. А ты берешься мне о флоте рот разевать.

— Да уж слышали, — буркнул рыжий. — На угольном складе плавал. Вроде как в обозе.

Дед подскочил с лавки, будто укушенный. Тряся перед самым лицом рыжего клокастой бороденкой, в которой застряла рыбья косточка из уха, он зашипел гусаком:

— Ах ты, ядреный якорь, загни тебя в котелку! Да меня, можа, командующий к Георгию хотел представить.

— За чтой-то он тебя так полюбил?

— За геройство, вот за что!

— Угольной глудкой трубу сбил на японском броненосце. — пояснил кто-то из темных сеней.

Хата вздрогнула от дружного хохота. Дед растерянно развел руками, ошалело повертел головой, потом хлопнул себя по коленкам и тоже захохотал:

— Ведь придумают, черти окаянные! Глудкой по броненосцу.

— Ну чего к старику прилипли? — вступился кто-то. — Дело было не шуточное. Расскажи лучше, как тебя японцы по заднему месту секли.

— Что о... — с л...
ся Маркелыч, подсаживаясь снова к самовару. — Ну, значит, шарахнули по нашему «Илье Муромцу» торпедой. Которые уцелели, посигали в воду. Гляжу, наше корыто выпустило из нутра пар и развалилось пополам. Ну мы, значит, и остались барахтаться посеред моря-океана. А крутом пальба, вода так столбами и вскидывается. Слева японец горит, справа наш на бок повалился. Мать честная! Тут уж дрыгать ногами ни к чему. Конец неминуемый. Хоть бы, думаю, смерть геройскую принять, а то так — ни за понюшку табаку.

Откуда ни возьмись — японский миноносец. Заприметил нас, шлюпку спустил. Забагрили нас, как рыбу, выволокли — да и в темный отсек. В трюме жара, мокро, гарью отдает. Какой-то матросик тяжело стонет.

— Братки. — окликаю. — есть кто с «Муромца»?

— Все с него.

— Что-то с нами теперича будет?

Наверху забахали орудия. Видно, японцы опять в бой ввязались. Настырные, черти! Лежим, прислушиваемся. Да вдруг что-то как шарахнуло у самого борта. Закачался японец, загудела обшивка.

— Это, братцы, с нашенского долбануло. — простонал раненый матросик.

А на него как зацыкали:

— Чего, дурак, радуешься! Потонешь, как крыса.

— А что ж теперь из-за тебя, ирода, и японца трогать нельзя? Бейте их, братцы, не давайтесь самураям!

Чуем, в углу забулькала вода, пол стал кособочиться. Переползли на сухое. Опять сильно шарахнуло, аж лязг пошел. Орудия наверху замолчали. «Видать, наши доконают япошку». — думаю я про себя, а сам в темноте рукой шарю, воду нащупываю: мол, прибавляет аль нет. А вода уж к самым ногам подобралась. Пришлось вставать. Ухватились друг за дружку, чтобы не попадать. — ослабе-



ли, пока в море купались. — да так и стояли в воде, к бою прислухивались.

Не знаю, сколько так стояли. Может, день, может, и более. Ноги от сырости стали как деревянные, пальцы намертво вцепились в одежду, не разомкнуть. Не уследили, как тот раненый матросик и помер. Так и держали мертвого.

Слышим, миноносец остановился. Заработали помпы — вода стала уходить. А через некоторое время и дверь отперли.

Выволокли нас на палубу. Метнул глазом по кораблю — ядерный якорь! Боевую рубку под корень срубило. Кормовое орудие — начисто. Вместо трубы — лохмотья. Здорово, значит, наши его перекрестили. А по правому борту город незнакомый. Дома дикие, размазанные, как лавки на ярмарке. А за домами — горы. Кольнуло меня под ребро, шепчу ребятам:

— Ей-богу, Япония!

Свели нас на берег, посадили в колымаги об двух колесах, с черными быками в упряжи. Повезли куда-то по кривым улицам за город. Следом — голопузые ребятишки, такие же озорные и неумные, как наши, только косоглазые и с косицами. Пищат что-то по-своему, пальцами на нас показывают, сливами швыряются. Встречались ихние бабы — маленькие, чернявые, босые, иные с ребятишками за спиной — боязно косились, стороной обходили повозки.

Еду, примечаю, неважно живут. И постройка хилая, и поля путного нет. Какие-то болота. Лазают по ним бабы, подол подоткнувши, а за горбом ребяенок привязан. Солнце печет, бедняга головушку свесил, видно, уж и кричать нечем. И думаю: на кой черт той бабе война сдалась? Поди, и мужика уже ухлопали. Или вроде нас в плен погнали.

Привезли нас в японскую церкву. А они у них без колокольни, так, вроде амбара: одна крыша да четыре стены. Церкву ту огородили забором и согнали туда нашего брата. Плядем, матросиков уже полно набито с разных кораблей. Лежат на полу, на рисовых циновках. Обросли бородами, одежда порванная, на иных повязки белеют — раненые...

— Откуда, братки? — подступил к нам детина в разорванной тельняшке.

— С «Муромца» — угольного транспорта.

— С кораблем взяли?

— Корабль, слава богу, потонул...

— Корабль — черт с ним! Люду сколько пропало! Эх, добраться б только до дому, спросил бы я царя-батюшку, за что народ на погибель гонит.

Нашел я в заборе щелку, выглянул. Внизу, под горою, море блестит, дальше, на краю моря, остров горбом высится. А меж тем островом и берегом броненосцы небо копят. Крышка! Никуда отсюда не денешься. Далекое Россия-матушка.

Разболелось, братцы, мое сердце. Такая тоска взяла. Вспомнилась наша Отрада. Как ни распроклятое было раньше у нас житье, а все-таки лучше, чем на чужбине. И зачем в такую даль нашего брата гнали? Аль своей земли мало? У японца и отнять-то нечего — одни острова.

Дня через два сняли с нас сапоги, выдали матерчатые тапочки с отдельным большим пальцем, послали на работу в каменоломню. Работа тяжелая, а харчи — никуда. Похлебки — никакой. Вместо хлеба рис пресный. Сыпнут две щепотки в деревянный ящичек, а сверху каких-то соленых ягод бросят. А то принесут несколько ведер ракушек, вроде тех, что у нас в речке водятся — на две створки. Есть охота, а поглядишь — нутро наружу воротит. Бегают переводчик, уговаривает:

— Кусай, руса матроса. Оцень карасо. Все японски кусать. Оцень карасо.

— А за что же тебя, Маркелыч, все-таки высекли? — спросил кто-то.

— Слухай, не перебивай.

Одно слово, подбились мы на японских харчах. Едва ноги волочили. Эх, говорю, братцы, щей наваристых похлепать бы. Или же хлебца, нашенского, деревенского, да с крутой солью.

Лежим, значит, на соломе, мечтаем. И порешили отрядить меня в город: может, что из подходящих харчей на базаре присмотрю. Пошарили по карманам, наскребли кое-какие деньжата. Пошел я к караульному отпрашиваться. Конвойный отпустил. Небось рассудил: куда я денусь? Кругом вода.

Ну, хожу это я по улицам, а там что ни дом — то лавка. Почитай, каждый хозяин торговлей промышляет. Торговля-то левая: пара бумажных всеров, шляпа из рисовой соломы, сушеные сливы, разные шкатулочки, какие-то рачки наподобие наших тараканов, только розовые цветом, креветками называются, и прочая безделица. Сидит японец перед своим товаром, пьет чай, от мух отмахивается, за весь день, может, на какую копейку и продаст. Ляжу я на все это — ничего подходящего. Откуда ни возьмись — самовар! Наш, российский. Ядреный якорь! Вот, думаю, купить бы. Хоть чайку всласть попить, душу отвести...

— Продай, — говорю — япошка, вот эту штуку. На кой черт она тебе?

Японец было перепугался, вытаращил на меня глаза, небось первый раз русского матроса увидел. Но когда я выгреб из кармана серебро, оскалился, закивал башкою.

Принес я этот самовар в лагерь, да еще чаю-сахару прикупил. Очень обрадовались матросики. Окружили самовар, смеются, будто малые дети, гладят медные бока, разговаривают, как с другом:

— Откуда ты, браток, взялся? Ай тоже японцы заплонили?

— Небось какой-нибудь наш генерал на позиции в подштанниках чай распивал, а его и прихватили.

— Чаевать не воевать. — говорит тут матросик в драной тельняшке, тот самый, что все до царя собирался добратся. Григорием его звали. — Ну, а мы уже свое отвоевали, впору чай распивать. Не знаем, кому ты там служил — генералу ли, адмиралу, а только пришел черед нам послужить.

Порешили тут же и раздуть этот самый самовар, отпраздновать покупку.

Стал я раздумывать, чем бы самовар растопить. В углу нашей казармы на полочках за ширмой какие-то деревянные зверюшки стояли. Точеные, размалсванные, разные-преразные — впору ребятишкам забавляться. А еще дюжины две реек было сложено. Каждая рейка тоже отполирована и сверху донизу исписана японскими закорючками. Что это за игрушки и планки, об ту пору никто не знал. Ну, а по мне, эти планки самый раз для самовара подходящи. Схватил я две штуки, вытащил во двор, раз-два об колено — и в трубу.

А тут из караульной будки японец вышел, дескать, посмотреть, чего это мы собрались в кучу, гогочем. Подошел, глянул на щепки, да как закричит, как замашет руками — и со всех ног в караулку. Переглянулись мы: что за черт? Неужто чайку нельзя попить?

Только слышим, в караулке переполох. Кричат, визжат. Ядреный якорь! Вот тебе выскакивает офицер, за ним — переводчик, а следом целый взвод солдат. Офицер коршуном налетел на самовар, опрокинул, стал бить в бока каблуком. А потом как заорет на нас!

— Господин Цубатака просит руса матроса строить два шеренга, — сказал нам переводчик, а сам скалит зубы, улыбается, такой, дьявол, вежливый был.

Построились. Ждем, что дальше будет. Ничего не понимаем, за что самовар искалечили. Из казармы вынесли рейку, офицер ткнул в нее пальцем, опять завизжал:

— Какая руса матроса ломала это?

Мы молчали.

Переводчик сказал, что, дескать, господину Цубатаке дюже жалко, что мы молчим, и он должен стрелять каждого второго матроса. «Вон куда обернулось дело! — подумал я. — За эту проклятую щепку всех перебьют». Плянул я вдоль шеренги, а матросы стоят пасмурные, страшные, на скулах желваки ходят. Ведь знают, что я поломал дранки, а не выдают. И, не поверите, забродила в моей груди какая-то хмель, ударила в голову. Радостно так стало, аж слезы навернулись. Эх, братушки! Да разве русского моряка штыком запутаешь? На-ка, выкуси!

Поправил я бескозырку, шагнул по всей форме из строя и говорю:

— Нате, стреляйте!

Подхватили меня солдаты, поволокли. Слышу, за спиной наши зашумели. «За что издеваетесь?» — кричат. Кинулись отнимать ме-

ня. Поднялась пальба. «Братухи! — кричу. — Не связывайтесь с ними, окаянными! А мне все едино. Я ведь еще под Цусимой должен был помереть!»

Кое-как загнали матросов в казарму, заперли. А меня поволокли за ворота. Лупили зверски. Прикрутили к пальме и секли бамбуковыми палками. Польют водой и опять лупят.

Целый месяц потом на циновках провалялся. Всю шкуру спустили. Ко мне потом переводчик все наведывался, подсядет рядом на корточки, скалит конские зубы и говорит:

— Твоя крепкая матроса. Скоро опять шибко бегать.

А сам тычет в угол, где эти самые рейки стояли, и приговаривает:

— Уй, как некарасо.

Оказывается, те самые зверюшки, что за ширмой на полках расставлены были, — их боги. А на планках записывали души погибших самураев — по пятьсот штук на каждую. Выходит, я сразу тыщу самураев в самоварную трубу закинул. Знал бы, не трогал Проку-то с них не шибко, разве что чайку б вскипятили.

Вот какая была, значит, история, — заключил Маркелыч и потрогал пальцами помятый бок самовара, не простыл ли. — Когда потом из плена уходили, я и его с собой прихватил. Жалко было бросать на чужбине. Да и то сказать, нам ведь обоим из-за этих самураев бока намяли. Только марку мы свою расейскую не потеряли. Луженые!

РАССВЕТ

Петушиной ранью плывем в дощанике к парому. Я сижу на перекинутой с борта на борт жердине и наблюдаю, с какой ловкостью Маркелыч направляет лодку. Весло то бесшумно опускается у борта, то, рассекая острым краем воду, выныривает из темной глубины за кормой. И так раз за разом — несуетно, расчетливо, без всплесков. Похоже, будто лодка бежит сама собой, а Маркелыч только так, для видимости, нехотя перекидывает весло.

Мы плывем тихой заводной, прокладывая темную дорожку в сплошных зарослях ярко-зеленой ряски. Но вот выбираемся на стрежень, где невидимые пряхи залетают струи в крутую косицу, лодка вдруг поднимает заляпанный смолой нос и, подхваченная течением, ходко катится вниз. Маркелыч дает себе передышку. Он кладет весло на колени. С узкого гребного пера торопливо, с тихим звоном скатываются калли, будто стеклянные бусины с оборванного мониста.

По сторонам медленно разворачиваются берега, еще дымные от утреннего тумана, и ртутью отливает в кустах и травах ядреная августовская роса. Желтеют промытые пески на перекатах, стеною высятся глинистые берега в излучинах. В сонной куте негромко, про себя чвинькают камышевки. Где-то в лугах сердится на



разъезженную дорогу грузовик, урчит, громыкает пустыми молочными флягами.

Над долиной Сейма, над его заливными покосами и крутоярми, над зелеными островками деревень, над хлебным золотом за деревнями, над всем этим благодатным краем, прошитым голубой нитью реки, занимался новый день.

Сколько уже встречено рассветов на берегах родной реки!

Не на каждой карте обозначено ее название. Но я не в обиде на картографов. Трудная, непосильная задача вписать в самый пространственный лист все богатства страны-великана, для которой тысяча километров не расстояние.

Составители карт в первую очередь обозначают самое главное. На бумажный лист ложатся большие темно-зеленые пятна таежных лесов, по которым даже поезда мчатся сутками. Словно исполинские деревья с сучьями и ветками — средними и малыми реками. — вырисовываются великие речные системы. Надо еще вместить бескрайние степи, по которым можно скакать от Бессарабии до Китая, заоблачные горные хребты, обширные плоскогорья. Карандаш бежит, обводя границу страны. По ту сторону линии одно государство сменяется другим, уж рука устала, а граница все петляет и петляет — от Тихого океана до Балтики.

Наш Сейм выглядит тоненькой веточкой, затерявшейся в могучей кроне дерева Днепра. И, уж конечно, на карте не остается места ни для курских перелесков, ни для скромных холмов, ни для тихих долов с голубыми блестками луговых озер. Ну что ж, это лишь показывает, насколько щедро и обширна наша страна, для которой и Сейм не река.

Но и на сеймских берегах кипит жизнь, а из самого Сейма немало утекло воды за многие века истории этой жизни.

Я силюсь представить себе облик этих берегов, когда первый Маркелыч — древний человек — вот так же направлял свой долбленный челн на главную струю, мимо первобытных становищ и городищ. Мирные селения затерялись среди бесконечной равнины, вдали от великих дорог, на которых сталкивались судьбы народов. И в то время как римские легионы рушили чужие царства, древний русский человек мирно воздвигал свою историю на своей собственной земле.

Здесь, на крутых обрывах Засеймья, по которым недавно вез меня колхозный птичник в Отраду, были срублены древние русские города. Бойницами сторожевых башен они неусыпно глядели за реку, в ковыльную степь, уходящую до самого Лукоморья, откуда все чаще и чаще стали наведываться непрощенные гости.

Случалось, показывался на вершине кургана неведомый всадник с конским хвостом на конце пики, и пахарь спешил к секире, что лежала на меже рядом с узелком снеди. Проводив его тревожным взглядом, он снова плевал на мозоли и брался за соху. А когда в вечерних сумерках в степи загорались зловецкие костры, город гудел набатом и вот такой же с виду незадачливый Маркелыч надевал на седую голову кованый шлем, брал бердыш и шел к воротам.

— Кто там еще, ядреный якорь, пожаловал?

И вместе с другими русскими людьми рубился с ворогом за дальними курганами, а может, погнал их дальше с князем Игорем к седому Дону, а может, не вернулся вовсе или вернулся и сложил былинку о том походе, и гусли его утешали Ярославну словом о храбрости полка Игорева.

В наших музеях развешано для обозрения потомков много примет доблести курянина — русского человека. На древних берегах Сейма немало пришельцев роняло оружие. Кривые сабли Золотой Орды, мечи литовских ландскнехтов, шведские рапиры, польские мушкетеры, немецкие автоматы... Много разных орд и полчищ в разные времена зарились на нашу землю. Но, как и тысячи лет назад, плывет по родной реке с виду нескладный Маркелыч — русский человек, смотрит, как мирно перепархивают в куге камышевки. А тракторы, поднимающие зябь на дальних курганах, и до сих пор выпархивают то татарскую кривую саблю, изъеденную веками, то еще совсем свежий тевтонский парабеллум.

Большое, великое, что обозначено на картах, несколько не заслоняет, не мешает любить то малое, чему на этой карте не нашлось места. Но я не обижаюсь на картографов, не сетую и на историков, тоже не нашедших места в своих книгах и летописях для этого уголка родной земли. Я знаю, есть края богаче событиями и памятниками. Но это не мешает любить малое, тоже прошедшее историю в ногу с большим — от каменного топора до первого искусственного спутника Земли.

Я встречаю новый рассвет на берегах родной реки, этим рассветам и счет давно потерян. Утро заставало меня и в самых верховьях, где она еле заметно сочится в густых осоках, и за много верст от истоков, где река вольготно раскинулась в просторных берегах, а вместо плоскодонок на струю выходят буксиры и баржи. Через нее перекинулись ажурные мосты железных дорог и автомагистралей, по берегам встают новые заводские корпуса, сотни тракторов на всем протяжении распластывают под урожай тучные прибрежные черноземы. Тысячелетний наш край обновился и по-

молодел. Все это великое наносится на карту края. На ней все меньше остается пустого места. И, уж конечно, вовсе смешно обозначать Маркелычеву избушку под старым осокорем, колхозный паром, куда мы плывем с Маркелычем, и его курень на берегу, возле которого по вечерам он варит уху.

Великое не заслоняет малого. Но все это малое — дымные от утреннего тумана берега, желтеющие россыпи песков на перекатах, бодрый утренний говорок доярок на лугу у стойла, сердитое урчание грузовика, громыхающего молочными флягами, и даже Маркелычев курень у перевоза — все это делает особенно радостным новый рассвет и как-то очень дополняет карту и придает ей объемность и звучание.

Да и сам Маркелыч — лицо не главное даже в своем селе. Гоняет паром, плетет лукошки под колхозные помидоры, ловит окуней себе на уху. Что особенного? Но чем-то люб мне этот человек. Своими ли бесхитростными историями, сердечностью ли и радушием, ребячьей ли привязанностью к здешним местам — не знаю.

Вот он достает из-за голенища свою трубочку, раскуривает и пускает в утренний воздух аппетитный синий дымок. Потом берет с колен весло и раз за разом мерно и неслышно гребет вдоль борта.

А может, тем, думается мне, что бережно донес из глубины веков и передал потомкам характер русского человека? Где кончается большое и начинается малое?

ПАЛТАРАСЫЧ

Солнечный луч отыскал в камышовой крыше куреня лазейку, угодил мне в глаза и разбудил. В треугольный просвет двери глядело погожее августовское утро. В деревне горланили петухи. Их возбужденные крики долетали непрерывно: то близкие, то далекие, а то почти совсем неуловимые, похожие на звон в ушах.

Снаружи тянуло дымком и запахом поспевающего кулеша. Дед Палтарасыч готовил завтрак. Сквозь камышовую стенку было слышно, как он, звякая ложкой по котелку, приговаривал:

— Побурли, милоч, наберись наварцу.

С Павлом Тарасовичем, или, как зовут его в деревне, Палтарасычем, я познакомился вот при каких обстоятельствах.

Прошлой осенью повстречал я на областной сельскохозяйственной выставке своего старого знакомого — инженера Дмитрия Петровича Вешкина. Незадолго до этого он оставил завод и уехал работать в деревню. Его избрали председателем колхоза «Поднятая целина» в каком-то отдаленном сельце, название которого никак не запомню. То ли Заболотное, то ли Залесное, но не в названии дело. А в том, что человек попросился в самую глухомань.

— Ну и как? — полюбопытствовал я.

— А вот видишь, на выставку приехали. Показываемся. Пшеничку добрую привезли, бахчу, телят — ну, и рыбку.

Экспонаты колхоза «Поднятая целина» были разбросаны по всей выставке. «Пшеничку» и «бахчу» мы осматривали в районном павильоне. Потом отправились в отдел животноводства и полюбовались на тройку большеглазых телят — чистеньких, в чуть наметившихся, цвета топленого молока, пятнышках.

— А вот и наша рыбка. — сказал Вешкин, подойдя к огромному, как фургон, аквариуму. — Сто тысяч доходу получили.

Массивную посудину из дерева и стекла плотным кольцом окружили ребяташки, наверняка рыболовы. Они с завистью разглядывали полупудового карпа, развалившегося на песчаном дне аквариума. Карп был действительно завиден! Крутолоб, могуч, дороден. В нем было что-то бычье. И в тупой короткой морде, и в широченной спине, изогнутой крутым горбом, и в том, что он лениво шлепал губами, будто пережевывал жвачку. А какой хвостик! Он все время чуть шевелился, но и этого было достаточно, чтобы вода кругом ходила ходуном. Иногда карп словно вздыхал, как вздыхает сытая скотина, и тогда из его рта вырывалась сильная струя воды, взвихривая песок и крутя воронки.

У аквариума, не замечая нас, ходил длинный костлявый старик в соломенной шляпе. Большим алюминиевым ковшом он вылавливал яблочные огрызки, куски печенья и булок, которые, забавляясь, то и дело забрасывали в аквариум ребяташки.

— Цыц, бесенята! — взмахивал редкой бородой старик и устрашающе потрясал над головой ковшом. — Понимать надо!.. Думаешь, ты ему приятность оказываешь своим печеньем? От этого одно помутнение воды получается. Никакого продыху рыбе от вас нету, мошкара голопятая!

Старик плюхнулся на стул, сорвал с себя шляпу, обнажив всю в испарине шоколадную лысину, и по-рыбьи плотнул воздух.

— Загоняли, шельмецы, замаяли!..

Он устало оглядел своих противников и нахлобучил шляпу.

— В нашем колхозе рыба не простая. Не дичь какая-нибудь. Наша рыба с пониманием, с дисциплиной. Обитание свое проводит по распорядку дня. Пришел час — отдыхает, пришел другой — гуляет. И кушает тоже по часам.

— Вот заливает!.. — слышалось сзади.

— И физзарядку выполняет — все честь по чести. Вот какая, значит, у нас рыба. А раз такая у нас рыба заведена, то и обращение должно быть с нею деликатное. Вы вот разную сладость бросаете, а то вам невдомек, что перед вами не какой-нибудь глупый карп представлен для обозрения, а настоящий артист. Он тебе утречком, на восходе солнца, такую кадрили выкинет, не гляди, что полпуда весом, а что твоя балерина какая. Особенно если на рожке сыграть.

Председатель колхоза смотрел на всю эту компанию и улыбался.

— Прибаутки рассказывает? — спросил я у него.

— Палтарасыч-то? А вот приезжай — увидишь...

И вот я живу под гостеприимной кровлей Палтарасычева шалаша. Он стоит километрах в трех от села в лесистой балке. Когда-то по дну балки бежал робкий ручеек. Его перегородили плотиной. Весной разлился пруд гектаров на пятьдесят. Завели в нем рыбу, а Палтарасыча назначили ее управителем.

В заливчике, на берегу которого ютился шалаш, Палтарасыч расчистил дно, посыпал его песком, а над этим местом построил помост. Каждый вечер, набрав в сумку корма, старик шел по мосткам и рассыпал пригоршнями подкормку.

...В шалаш на четвереньках влез Палтарасыч, порылся в сундучке, что стоял в углу возле входа, достал оттуда краюху хлеба, глиняное блюдо и деревянные ложки. Заметив, что я не сплю, он позвал меня завтракать.

Я взял полотенце и выполз вслед за стариком. Тропинка, сбегавшая к пруду, еще по-утреннему холодила босые ноги, но доски на помосте уже прогрелись, и ступать по ним было приятно. Я прошел в самый конец настила. Передо мной на полкилометра в ширину сияло безукоризненно чистое зеркало пруда. По нему, не оставляя следа, скользило отражение одинокого облака. Только в заливчике поверхность воды то и дело покрывалась кругами. Они расходились, постепенно затухая, а рядом возникали новые... Иногда круги появлялись у самых моих ног. Раза два я даже видел, как под мостком, не обращая на меня ни малейшего внимания, неторопливо проходили табунки сытых крутобоких карпят. Они проплывали плотной стайкой вслед за своим вожаком, как правило, более солидной рыбиной. Табунок замыкали фунтовички. Они вели себя игриво, поминутно отплывали в сторону, иногда гонялись друг за другом, поблескивая серебром чешуи.

Старик поставил дымящуюся миску на стол, сооруженный в тени густого куста лещины.

— За ложку извини. — сказал он. — Деревянная. Никогда не ел такой?

— Не приходилось. Удобная штука!

Старик ловко зачерпнул ложкой кулеш, старательно обтер ее доньшко о хлеб, и, макая в суп усы, смачно отхлебнул.

— Дело не только в удобствии. Опять же из деревянной еда вкуснее. Попробуй кулешу поесть железной — уже не то! Нету в нем никакого аромату. Железом отдает. Или взять уху...

Но тут Палтарасыч осекся и сделал «стойку»:

— Кажись, опять ребята балуют..

Он отбросил ложку, сдернул с крыши шалаша шест и скрылся в кустах. Где-то затрещали ветки, и вслед раздался голос Палтарасыча:

— Ах вы, разбойники! Вот погодите, я вам задам!..

Палтарасыч вернулся запыхавшийся, возбужденный. Он сердито отшвырнул шест, присел на лавку. Его сивая реденькая борода нервно вздрагивала.

— Опять с бреднем подкрадались. Ну, прямо сладу с ними никакого нету! — пожаловался он. — Одно безобразие получается. За яблоками в колхозный сад и то перестали лазить. Стало быть, понимают, что нельзя. А рыбу воровать, выходит, можно. Да что она, хуже самых последних яблок, что ли? Еще и корят: «Ты, мол, дед, жадный. Что тебе, жалко дать рыбу поудить? Ведь не сеешь, не пасешь, сама растет». А сколько я на нее сил своих уложил? А? Оно, конечно, удить рыбку дело безобидное, утешительное. Но посуди, сынок, сам: один низку унесет, другой... Сколько за лето рыбы загубят? Я так и сказал на правлении: если разбой не прекратится, буду из ружья стрелять. Пусть потом зад чешут.

Ну, ребята куда ни шло. А то ведь и взрослые туда же. Какой командировочный из города объявится — сразу же на пруд метит. Всякие прочие гости опять-таки лезут. Один — не помню, кто такой. — так вот прямо со снастью прикатил. Удочка, значит, с колечками, а возле комля целое колесо с лесом. Автомат, что ли, какой? Хотел было этим самым автоматом на чужую собственность нацелиться. Да не дал я. Не дал — и все тут. «Нельзя, — говорю, — мил человек. Не положено. Вот выпиши в конторе, сколько тебе надо, — три там или пять кило, — такой вес и вылавливай». Обиделся, правда. Потом председатель даже выговаривал мне за горячность.

•••

После завтрака Палтарасыч повез меня на лодке осматривать пруд. Потом он ушел на усадьбу выписывать подкормку: отруби, жмых, зерновые отходы.

— Ты тут, сынок, присмотри, чтобы не озоровали, — попросил он.

Пришлось заделаться караульщиком. Раза два я садился в лодку и объезжал пруд. Но ничего подозрительного не заметил.

А под вечер возле куреня собралась целая ватага ребятишек.

— Что за люди? — спросил я.

— Мы к Палтарасычу.

Ребята разлеглись неподалеку на травке, негромко переговаривались, грызли молодые подсолнухи.

За кустами заскрипела подвода. Палтарасыч подъехал к куреню. Ребята обступили телегу.

— Давай, дедушка, поможем сгрузить.

— Сгружать-то нечего, — слезая с телеги, хмуро буркнул Палтарасыч. — Не дал кладовщик жмыху. «Мало, — говорит, — осталось. Надо скотине поберечь». А рыба, значит, ему — тьфу! Вот насыпал какой-то трухи... А вы что? Пришли рожок послушать? Не в духах я нынче. Не до песен. Да к тому ж вы баловники большие. Это ж ты, Митька, утром с сачком подкрался? — спросил Палтарасыч у вихрастого.

— Не я.

— Ну, еще врешь деду!

— Я теленка искал.

— Смотрите у меня! — погрозил пальцем Палтарасыч. — Уши оборву. Ну, живо, тащите мешок.

Ребятишки одним духом вскочили на телегу, скатили мешок и, облепив его со всех сторон, поволокли, как муравьи, к куреню.

Тем временем Палтарасыч достал из сундучка рожок. С виду это был обыкновенный серый коровий рог, отшлифованный от долгой службы до блеска. На внутренней стороне его изгиба были просверлены отверстия — лады. Дед подсел к столу, достал из кармана баночку от зубного порошка и высыпал на стол набор пищиков — коротких камышовых трубочек. Взяв одну из них, он поднес ее к губам и слегка подул. Трубочка издала густой, несколько сухой звук. Палтарасыч положил ее в коробку и попробовал другую. Эта пропела более высоким и чистым голосом. Он вставил ее в конец рожка, сложил остальные трубочки в коробку. Потом отсыпал в конскую торбу корму, перекинул лямку сумки через плечо.

— Ну, теперь пошли скликать наше стадо.

Пройдя в самый конец мостков, Палтарасыч опустился на доски, свесил к воде босые ноги. Мы разместились тоже на мостках, но на некотором расстоянии от него. Я с любопытством следил за приготовлениями к этому небывалому представлению.

Палтарасыч сыпнул несколько пригоршней подкормки в воду, неторопливо расправил усы, чтобы волосы не лезли в рот, откашлялся, поднес рожок к губам. В вечерней тишине над спокойной гладью воды, розовой от багряного отсвета зари, полетели бодрые звуки. Они не отличались силой, но были мелодичны и чисты.

Протрубив зорю, рожок вдруг вывел сочное, игривое коленце из «Камаринского». Повторив эту запевку еще раз, Палтарасыч пошел наигрывать «Камаринского» без передышки, постепенно убыстряя темп. Неуклюжие, корявые, в синих вздутых узлах пальцы бегали по рожку с необыкновенной легкостью. Будто заразясь весельем, они сами пустились отплясывать.

И ведь бывают же чудеса! Поверхность залива, в которой еще минуту назад отражались прибрежные осоки и неподвижно темнели листья кувшинок, вдруг ожила. Сначала появился один круг,

качнувший листья кувшинок, следом — другой. Потом — сразу несколько. Вода закипела от всплесков. Было похоже, что над заливом пошел ождь и крупные невидимые капли шлепались в воду, дробя и будоража ее гладкое зеркало.

А рожок все наигрывал нехитрую, бесконечно веселую песенку.

Вдруг возле самого помоста с гулким всплеском выпрыгнула рыбина. Она продержалась в поле зрения какую-то долю секунды, но я успел разглядеть нечто тело громадного карпа, излучавшее в стремительном броске. Сверкнув розо-



вато-бронзовым боком, он тяжело шлепнулся в воду. Брызги, поднятые им, ударили в лицо.

— Ого, какой дядя! — отозвался Митька.

Не успел я пережить увиденное, как новая вскидка полупудового карпа отозвалась в ушах. А следом выпрыгнул еще один и сделал головокружительное тройное сальто. Он подскочил, упал, но тут же ударом могучего хвоста подбросил себя снова кверху, опять шлепнулся и снова подпрыгнул.

Все это походило на колдовство. Палтарасыч в эту минуту и впрямь смахивал на сказочного волшебника: сутулый, худой, с длинной козлиной бородкой. Его склонившаяся над водой фигура, слегка покачивающаяся в такт мелодии, отчетливо вырисовывалась на фоне пламенеющего неба. А у его ног отплясывали, позабыв о своей солидности, карпы...

•••

Небо налилось вишневым соком погожей зари. В кустах за клубились туманом ранние в эту пору сумерки.

Старик достал из кармана белую чистую тряпочку, бережно завернул в нее рожок. Присмирившие ребяташки неслышно снялись с лав и, шлепая босыми ногами по доскам помоста, молча умчались к берегу. Вслед за ними поднялись и мы.

— А вы, Павел Тарасович, прямо-таки чародей, — сказал я, все еще находясь под впечатлением.

— Это насчет рожка-то? — отозвался Палтарасыч. — А я так тебе скажу: всякая тварь к душевности понятие имеет — что рыба, что птица, что зверь какой. Приласкай — и пойдет за тобою. А рожок этот, брат, целая история. Ему уже, почитай, лет сто, а то и поболее. Достался он мне от пастуха, деда Парфена. А как к деду Парфену попал, неведомо. Может, сам сладил, а может, и по наследству перешел.

Палтарасыч засветил «летучую мышь», отер рукавом стекло, поставил на стол.

— Рожку меня тот самый дед Парфен и обучил, — снова заговорил Палтарасыч, задумчиво щурясь на огонек фонаря. — Я в ту пору у него в подпасках ходил. Бывало, обступят деда Парфена овцы, стоят, головы к земле, слушают. А он играет. Уже не помню, что играл, не понимал я тогда, только и меня, мальчишку, за сердце от той игры хватало. Овцы переминаются с ноги на ногу, а в глазах у них человеческое внимание. Не было у деда ни родных, ни знакомых. Так и помер среди овец на кургане. Подогнулись ноги, опрокинулся на землю и больше не поднялся. Когда умирал, сказал мне: «Тут, Павлуша, в моей сумке рожок. Возьми себе. Больше ничего не нажил...»

На огне, тревожно звеня крышкой, закипел чайник. Палтарасыч поддел его под ручку проволочным крючком, снял на землю.

Из-за лесистого края Балки показалась луна. Она заглянула в пруд, и тот, чуть тронутый дыханием ночи, засветился мелкой

чешуйчатой рябью. В заливе все еще раздавались гулкие всплески рыбы, собравшейся на кормежку.

На столике тускло горела «летучая мышь». Мы молча допивали свой вечерний чай. Бывают такие минуты, когда собеседники, перебирая еще не улегшиеся мысли, уходят в себя и при этом не чувствуют никакой неловкости.

ЧЕРНЫЙ СИЛУЭТ

У самой береговой кромки отпечатались мои следы. В них уже успела набраться вода, и я вижу, как маленький кулик-песочник бегаёт от следа к следу и тычет в них длинным шильцем. В десяти шагах он останавливается. Потом начинает пересчитывать следы в обратном порядке.

Вот ведь как получается: рядом бегаёт крошечная пичуга, и оттого, что она не считает тебя своим врагом, чувствуешь большое удовлетворение. Недоверие природы унижает человека. По чистым пескам отмели проносится расплывчатая тень. Кулик замирает, так и не опустив поднятую было для очередного стежка лапку.

Я оглядываю небо и замечаю в ясной полуденной синеве черную букву «Т». Она кружит над плесом, недвижно распластав крылья, и, когда наплывает на солнце, по прибрежным пескам мелькает быстрая тень. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружат над мирными берегами.

У человека и птицы разные враги в небе. Очевидно, кулик распознал своего врага — коршуна. Для меня же этот черный силуэт вдруг отпечатался вражеским разведчиком. Память воскресила зловещую букву «Т» над растерянными и беззащитными улицами. Мы, тогда еще мальчишки, вот как этот кулик, с неосознанной тревогой вглядывались в небо, такое же ясное и привычное. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружили над нашими детскими играми, над нашей шахматной доской, над подсолнухом у забора...

Я перевожу взгляд на кулика. Он больше не суетится над шахматной задачей моих следов, он замер и, вскинув голову, вглядывается в небо.

Плес затих, затаился под этим неслышным скольжением недоброй птицы. Смолкла, не тенькает в куге камышевка, куда-то незаметно увела свой шумный выводок утка. И хотя нарушен не мой покой и мне решительно ничего не угрожает, но почему-то тоже становится неуютно от повисшего над землей черного силуэта...

А он все кружит и кружит, настойчиво и нахально сверля глазами пески и травы, камыши и тихую гладь воды.

Но вот коршун оставляет плес, широким полукругом перемещается в заречье и повисает над старицами и луговыми болотцами. Теперь, со стороны, он еще больше похож на вражеский бомбардировщик...



И вдруг из затихших трав в небо почти вертикально взмывают две серо-серебристые птицы. Их согласный, решительный бросок в вышину похож на взлет двойки истребителей.

Коршун, увертываясь от удара, тяжело, неуклюже взмахивает крыльями, сбивается с круга. Преследователи делают крутой вираж и снова устремляются на хищника. И только теперь по угловатым крыльям и тому особенному, устрашающему шелесту я узнаю в этих отважных летунах чибисов. Отчаянными лобовыми атаками чибисы все дальше и дальше оттесняют коршуна, и, когда тот отлетает достаточно далеко, обе птицы оставляют преследование и идут на посадку.

Но тотчас на смену им с болотных «аэродромов» поднялась новая серо-серебристая двойка. Хищник лавирует, круто взмывает вверх, бросается вниз, но чибисы быстро перехватывают коршуна и гонят, гонят прочь от своих гнезд. А там уже мчится еще одна пара... Я уже не могу разглядеть очертаний. В синем небе видны лишь две белые точки, стремительно поднимающиеся наперерез черному пятну.

— Ну что, отбой? — с облегчением говорю я.

Кулик издает тонкий свист и смотрит на меня черным, все еще перепуганным глазом.

Рядом, в куте, осторожно тенькает камышевка. Где-то снова начинают полоскаться утята. Слышно, как дробно чавкают в тине их плоские клювики.

Кулик подпрыгивает на своих тонких ходульках и бежит досчитывать следы.

Скверная это штука — непрошенный гость в небе!

ДЫМИТ ЧЕРЕМУХА

На опушке пестро рассыпалось стадо, коровы шумно обрывают сочную траву, морды у них по самые глаза забрызганы росой.

У меня вышли все спички, и я ищу глазами пастуха. По ту сторону поляны, сквозь листву старой ветлы пробивается дым. Тянет горьковато-пряным коричневым ароматом: видно, пастухи набросали в костер веток черемухи — от комаров.

Бреду через росную траву прямо на белый дым. Трава все выше. Поднимаю отвороты рыбацких сапог. Под ногами хлюпает вода, хрустит ломкий аир. Впереди теперь видна лишь верхушка старого дерева.

Но вот выбираюсь из болотистых зарослей. Ищу то место, где пастухи разложили костер. Нет! И вдруг останавливаюсь, изумленный: под раскидистой ветлой, запутавшись в ее плакучих листьях, белым облаком дымится черемуха!

Еще вчера проходил этой опушкой. Лес стоял вокруг темный, и на его ровном зеленом фоне было далеко видно каждую промелькнувшую бабочку. Значит, зацвела черемуха сегодня на рассвете!

Сбрасываю рюкзак и жадно ломаю белопенные ветки. Черемуха отдергивает их, брызжет в лицо росой, но отдает себя охотно: ветки ломаются легко, с сочным хрустом. Видно, ей и самой не хочется просто так отцвести и осыпаться никем не замеченной.

Вот ведь как странно устроен человек! Сначала наломает черемухи, а потом уж думает, что с нею делать. Мне она не нужна. Дома под окном растет большой куст, и теперь он тоже распустился на рассвете.

Но ведь не бросать же цветы под деревом!

И вдруг приходит решение: подарю черемуху первому человеку, которого встречу! Эта мысль занимает: кто попадет на дороге? Что за человек?

Тропинка пестрит густой чащобой, вытягивается вдоль просеки, перебегает поляну. Справа и слева, согретый солнцем, все больше дымится лес, окутываясь горьковато-пряным коричневым ароматом.

Меж поредевших деревьев проступает соломенная кровля. Спускаюсь к мелководному ручью, что бежит по краю огородов. Подоткнув подол длинной юбки, старуха полощет белье на мельничном жернове. Через плоский камень тонко и светло бежит вода, рассекаясь о босые ноги на две крученые струи.

Старуха выпрямляется и подслеповато смотрит в мою сторону.

Мне почему-то становится жаль отдавать букет: мечтал-то встретить девушку!

Я поправляю растрепавшиеся ветки и несмело протягиваю старухе.

— Вот вам, мать, весенний подарок!

Старуха испуганно глядит на меня. В сине-желтых худых руках мокрая детская рубашонка.

— Берите! Берите! — ободряю я. — Только что зацвела.

Наконец старуха поняла. В ее тусклых блекло-зеленых глазах, похожих на выжатые виноградины, я улавливаю едва приметную искорку радости — той женской радости, которая когда-то заставила бы смущенно порозоветь ее щеки и опустить глаза.

— Спасибо, родимый, — говорит она. — Только мне, старой, зачем это? Подари кому помоложе!

Старуха наклоняется к ручью и начинает плашмя шлепать о воду рубашонкой.

Я нерешительно топчусь около. Потом перехожу вброд на ту сторону и выбираюсь на дорогу.

Только теперь на соседнем косогоре я замечаю две фигурки, склонившиеся над какими-то раскрытыми ящичками. Клетчатая рубаш-

ка — и этого платье — алегро видны на серебристом ковре молодой полыни. Я взбираюсь на крыльцо, ок и тепе, в отчет. в вижу этюдники с приколотыми кусками картона. Парень и девушка увлеченно пишут этюды. Я неслышно подхожу к ним сзади.



— Гаси, пожалуйста, краски! — парень поворачивается к своей спутнице. — Нельзя писать так ярко.

— Ну что я могу поделаться! — растерянно опускает кисть девушка. — Ветер сушит бумагу. Не успеваю размывать.

Она пишет акварелью. На ней легкий сарафан с широким выкатом, слегка порозовевшая на солнце шея, смешная детская косичка. Одной рукой девушка держит стеклянную банку с водой. Она только что размывала небо, и вода в банке окрасилась в густую бирюзу.

— Тебе хорошо! — обижается она. — Возишь кистью сколько захочешь. Масло не вода.

Парень, сидя на корточках и поглядывая через край крышки на дальний лес, неторопливо отработывает подмалевок. Рядом в полынне поблескивает бутылка лимонада и надорванная пачка печенья.

На шорох брезентовой куртки девушка резко оборачивается. Она вглядывается в меня, как перепуганный молодой чирок, потом переводит взгляд на черемуху, и темные ее глаза теплеют от восхищения.

— Можно одну веточку? — не удерживается она.

— Возьмите весь букет.

— Что вы! — вспыхивает она, не спуская глаз с черемухи. — Мне только одну веточку.

Я молча кладу букет рядом с ее этюдником.

— Спасибо! — шепчет она. — Только зачем же все?.. Несите домой...

Я сбивчиво объясняю.

— Спасибо, — повторяет она радостно, берет с земли букет и зарывается лицом в душистые метелки цветов.

— Сергей, посмотри, какая прелесть! Вот бы написать!

Сергей неохотно отрывается от этюдника и хмуро глядит на меня, потом на черемуху. А я радуюсь возможности постоять рядом с юностью. Мне хочется заговорить, помочь сладить с непослушными красками, даже сбегать к болотцу и зачерпнуть банкой свежей воды для акварелей.

И я говорю:

— А почему бы вам не пойти в лес? Там такие удивительные места для этюдов!

Девушка быстро вглядывается на своего спутника, и на ее незагорелой шее проступает краска смущения.

И вдруг я понимаю эту вспышку и смущаюсь сам. Понимаю, почему они остановились на этом открытом, поросшем полынью косогоре, почему пишут какой-то невзрачный пейзажик — небо, дорога и лес на дальнем плане, тот самый лес, где сегодня на рассвете расцвела черемуха.

Это их первые этюды, а может, и первая прогулка!

И еще я понимаю, что мне пора уходить.

Но я стою за их спинами, мучительно ищу слова, ищу хоть какой-нибудь повод задержаться и оттого только острее чувствую, что я здесь лишний.

Сергей, уткнувшись, молча и сосредоточенно растирает краски на палитре. При мне он не положил ни одного мазка. Она же пробует писать, но краски ложатся на бумагу непослушно, фальшиво: и небо тускнеет, и силуэт из дальнего леса становится похожим на декорацию.

Я поправляю на плече удочки и неслышно ухожу. По пути срываю молодые побеги полыни, засовываю за пазуху. Я люблю эти не приметные серебристые стебли — верные спутники дальних и нелегких дорог. Люблю, пожалуй, больше, чем черемуху. Если бы у жизни был четко определенный запах, то, скорее всего, от нее веяло бы тревожным и земным запахом полыни.

Оборачиваюсь и вижу, что Сергей и его юная подруга глядят мне вслед.

ГДЕ ПРОСЫПАЕТСЯ СОЛНЦЕ?

Тяжело махая крыльями, летели гуси. Санька сидел на перевернутой лодке и, запрокинув голову, тянулся глазами к этим большим усталым птицам. А они то резко темнели, когда пролетали под влажно-белым весенним облаком, то вдруг сами ослепительно белели чистым, обдутым ветрами пером, когда окунались в солнечные лучи, в голубое бездонное разводе между облаками. И сыпались на землю их сдержанные, озабоченные вскрики.

Гуси всегда летели в одну сторону: из-за домов наискосок через реку и поле к далекому лесу.

Санька глядел вслед птицам долго и завистливо, как гусенок с перешибленным крылом. Издали вся стая походила на обрывок черной нитки, которая, плавно изгибаясь над зубчатой стеной леса, то провисала качелями, то вытягивалась в ровную линию.

— Уже, поди, и до дяди Сергея долетели, — прикидывал он.

Дядя Сергей поселился у них среди зимы. Однажды, возвращаясь из школы, Санька увидел под окнами своего дома нечто совершенно непонятное: не самолет, не автомобиль. Диковинная машина была вся запорошена снегом: и овальные окна, и ребристые бока, и огромная фара на кончике длинного, как у моторной лодки, носа. Стена Санькиного дома была густо залеплена снегом, будто

на улице только что прошлась вьюга. Позади кузова невиданной машины Санька разглядел красную лопасть пропеллера.

— Ух ты! — прищелкнул языком Санька и побежал через сугроб домой.

Во дворе Санька увидел незнакомого человека в сером свитере, в рыжей лохматой шапке и таких же рыжих меховых сапогах. Лицо его густо обросло щетиной. Человек колот дрова.

В горнице за столом сидел еще один приезжий, Степан Петрович. Смешно надув щеки и глядя в маленькое зеркальце, он бритвой соскабливал с лица густую мыльную пену.

Все это неожиданное нашествие наполнило их пустой, гулкий дом ощущением праздника. Саньку совершенно покорили и чудо-машина под окном, и загадочные вещи, сваленные в снях, и эти бородатые, ни на кого не похожие люди, и даже швырчащая колбаса на сковородке.

Улучив момент, Санька дернул мать за рукав:

— Мам, кто такие?

— Квартиранты.

— У нас будут жить? — переспросил Санька.

— Говорят, поживут до лета.

— Мам, и машина будет у нас?

— Не знаю. Санюшка. Садись поешь.

После обеда Санька побежал на улицу к машине. Там уже толпились ребяташки. Протирали рукавичками окна, почтительно призрагивались к алой лопасти пропеллера, пролезали под днищем.

— А ну, не трогать руками! — налетел Санька. Ребяташки послушно отступили. Ничего не поделаешь: машина стояла перед Санькиным домом. Приходится подчиняться. — У нас теперь квартиранты на постое, — сказал Санька. — А это их машина.

Ребяташки с завистью глядели на Саньку.

Вечером дядя Сергей и Степан Петрович расстелили на столе большую карту, всю исчерченную кривыми, причудливыми линиями, и стали вымерять что-то блестящим циркулем и помечать цветными карандашами. Санька с любопытством следил за их непонятным занятием.

— А ну-ка, Санька! — сказал дядя Сергей. — Покажи-ка нам на карте свою реку.

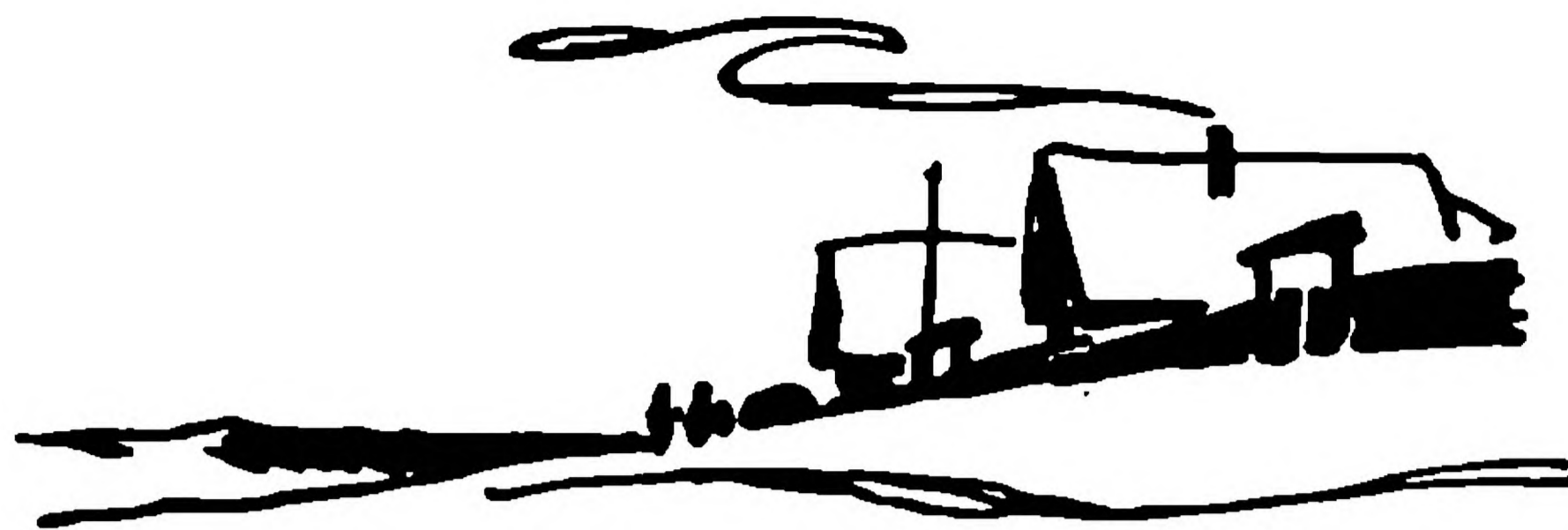
Санька забрался на стул, растерянно оглядел пестрый лист. Никакой реки он не увидел и смущенно сказал:

— Ее снегом замело. Зимой всегда заметает.

Дядя Сергей и Степан Петрович расхохотались.

Работали они допоздна. А на рассвете Санька проснулся от рева мотора. Яркий свет полоснул по окнам, и на миг стали видны до последней прожилки морозные веточки на стеклах. Мотор завыл, в окна швырнуло снегом, и вскоре был слышен лишь отдаленный рокот, который постепенно совсем истаял.

Утром Санька выбежал на улицу и внимательно оглядел снег. Он отыскал три широкие лыжни. Они вели прямо к реке. С обрыва бы-



ло видно, как лыжни сбежали по крутому спуску на реку, пересекли ее поперек, выбрались на тот берег и ровными голубыми линиями умчались по чистому снегу к далекому лесу.

«Вот бы прокатиться!» — думал Санька, шурясь от солнечной белизны и сляясь проследить как можно дальше стремительный росчерк лыжни.

Так они уезжали каждое утро и возвращались, когда становилось совсем темно. Санька еще издали замечал в поле рыскающий луч света, который отбрасывала фара, и, радостный, бежал домой:

— Мам, едут!

Они снимали в передней пахнувшие морозным ветром шубы и шапки, и Санька поливал им на руки из кувшина. Потом дядя Сергей шел раздувать самовар, который он чудно называл «ихтиозавром». После ужина дядя Сергей и Степан Петрович садились за карты и чертежи.

Дядя Сергей был большой выдумщик и всегда что-нибудь привозил из леса. Как-то раз он выгрузил из аэросаней разлапый сосновый корень, весь вечер опиливал и строгал корягу, и получилась голова оленя с красивыми рогами. Когда же дядя Сергей уезжал надолго, Санька скучал и льнул к матери, и та укачивала его на коленях, закрыв теплой вязаной шалью. В такие дни в доме было тихо и пусто. Спать ложились рано.

В последний раз дядя Сергей уехал перед самой весной. Санька ожидал его каждый день. Он бегал к обрыву и глядел на реку. Но поле было пустынно и белело, как чистый лист бумаги — без единого пятнышка, без черточки. Свежая пороша замела все следы.

Когда же с пригорков хлынули ручьи и река вздулась и подняла лед, Санька понял, что дядя Сергей больше не придет. По реке мчались льдины с оборванными строчками лисьих следов и кусками санной дороги. Льдины тупо, упрямо бодали пустые стволы старых раки, и те содрогались до самой макушки. А вверху, тяжело махая крыльями, летели гуси. Они летели туда, где просыпалось солнце.

Санька никогда не бывал по ту сторону соснового бора. Он только знал, что каждое утро из-за леса поднималось солнце, оно было большое и красное, и Санька думал, что оно спросонья такое. «Вот если бы пройти весь лес, — размышлял он, стоя на крутояре, — ти-

хонечко подкрасться и спрятаться за кусты, то можно подсмотреть, как просыпается солнце. Дядя Сергей, поди, уж видел много раз.

Весенние дни побежали быстро. Санька с утра до вечера пропадал на улице и постепенно стал забывать дядю Сергея.

Однажды под окном на раките радостно засвиристел скворец. И Санька вспомнил, что уже давно собирался сделать скворечник. Старый совсем развалился. Санька побежал домой, вынес на крыльцо дощечки, топор, ножовку и принялся за дело. Тяпал топором и виновато поглядывал на скворца.

— Как же я забыл? — приговаривал Санька. — Ну посиди, я сейчас.

Скворец сидел тут же на ветке, охорашивался с дороги и понимающе косил черным глазом на кучерявую щепку.

Сладив скворечник, Санька полез приколачивать его на раките. Он уже сидел на самой макушке, когда к их дому подкатил вездеходик с брезентовым верхом. Из машины вылез человек в сером дождевике и резиновых сапогах.

— Дядя Сергей! Дядя Сергей! — закричал Санька. — Я — вот он! — Он заскользил на животе вниз по корявому стволу. — Я сейчас!

Санька глядел на дядю Сергея, и его губы сами собой растягивались в улыбке. На Санькиной щеке багровела свежая царапина. К куртке пристали кусочки сухой коры.

— Ну, как вы тут? — дядя Сергей присел перед Санькой на корточки.

— Мы ничего... Живем. Только с мамкой ждали... Думали, совсем не приедете.

— Дела, Санька. Вот скоро с тобой поедем, сам увидишь. Тут я тебе одну штуку привез. — Дядя Сергей порылся в машине. — Нака, держи!

Это был трехмачтовый кораблик с килем, форштевнем, каютами, бортовыми шлюпками. По всему было видно, что кораблик находился в долгом и трудном плаваньи. Его корпус, выкрашенный белым, покрылся рыжей илистой пленкой. Мачты были сломаны. Обломки запутались в снастях. Уцелела только бизань-мачта с мокрыми парусами. К парусу прилип бурый ракитовый лист.

Санька держал в руках кораблик так осторожно, будто это было живое существо, живая, трепещущая птица. Где-то он плавал, гонимый ветрами, встречал закаты и восходы, боролся с непогодой, какие-то видел берега... Саньке даже не верилось, что в его руках такой необыкновенный корабль, он даже покраснел от счастья.

— Спустился к реке, чтобы подлить воды в радиатор. — сказал дядя Сергей. — Пляжу, плывет!

Пока мать готовила обед, Санька и дядя Сергей взялись за ремонт судна. Отмыли под рукомойником корпус и палубу, выстругали новые мачты и прикрутили к ним реи. Санькина мать достала из сундука белый лоскут для парусов. Корабль выглядел нарядно, празднично. Он стоял на столе на подставке от утюга, будто на стапелях, снова готовый к дальним странствиям.

— А что ж мы про флаг забыли! — всплеснул руками сияющий Санька. Он разыскал в ящике швейной машины кусочек красной материи и выкроил флаг.

— Без флага кораблю нельзя, — одобрил дядя Сергей. — Только поднимать его еще рано, потому что у корабля нет названия. Надо дать ему имя. Самое красивое. Ну-ка, Санька, подумай!

Санька озабоченно наморщил лоб.

— Чайка!.. — сказал он.

— Чайка... — в раздумье повторил дядя Сергей. — Чайка! Что ж, неплохое название! Подходит! Но не будем торопиться: есть слова лучше.

— Морской орел! — выпалил Санька. — Орел сильнее чайки!

— Нет, это слишком воинственное. Не нравятся мне эти морские орлы, — сказал дядя Сергей. — Давай, знаешь... — задумался он. — Давай назовем вот как... «Мечта». Понимаешь?!

Санька задумался. Он никак не мог себе представить, какая она бывает, эта мечта.

— Ты о чем-нибудь мечтаешь? — спросил дядя Сергей. — Есть у тебя какое-нибудь самое большое желание?

— Есть... — тихонечко, почти шепотом, проговорил Санька.

— Какое? Какое?

— Хочу поглядеть, как солнце просыпается, — смущенно пробормотал Санька.

— Ну вот, видишь... У каждого человека есть свое самое большое желание. У тебя, у меня, у твоей матери. Без него нельзя, вот так же, как чайке нельзя без крыльев. Мечта — тоже птица. Только летает она и выше и дальше. Понимаешь?

Вместо ответа Санька порылся в кармане, достал огрызок чернильного карандаша и, взглянув на дядю Сергея, спросил:

— Где писать название?

И, поклонив карандаш, Санька старательно вывел на носу корабля большими печатными буквами: МЕЧТА.

— А теперь слушай мою команду! На флаг смирно! — по-военному громко сказал дядя Сергей и вытянул руки по швам.

Санька поглядел на него и тоже прижал к бокам руки. Лицо его стало серьезным, и только царапина на щеке и синее пятнышко от чернильного карандаша на нижней губе несколько не соответствовали параду.

В дверном проеме стояла Санькина мать. Вытирая рушником тарелку, она глядела то на дядю Сергея, то на своего сына, улыбалась, но губы почему-то дрожали, а глаза ее блестели так, будто она только что крошила сырую луковицу.

— Можешь спускать корабль на воду! — объявил дядя Сергей.

Санька схватил суденышко и выбежал на улицу.

Вскоре он прибежал обратно. Вид у него был растерянный. В глазах стояли слезы.

— Дядя Сергей! Кораблик-то уплыл...

Мать всплеснула руками:

— Как же это ты? Так-то тебе давать хорошие вещи! За это уши надо драть.

— Да-а... — захныкал Санька. — Я не хотел... Я только оттолкнул его от берега, а паруса надулись... И — уплыл...

Дядя Сергей и Санька вышли на улицу. С высокого берега было видно, как на тихой ряби реки, на самом стрежне, белел стройный красивый парусник. Это была Санькина «Мечта». Попутный ветер надувал ее паруса, и она, чуть покачиваясь и трепеща алым флагом, быстро бежала все дальше и дальше.

Дядя Сергей искал глазами лодку, на которой можно было бы догнать кораблик, но единственная лодка лежала на берегу вверх днищем.

— Только не хныкать. — сказал дядя Сергей. — Ничего не поделаешь! Видно, такой уж это беспокойный корабль. Не лобит мелкой воды. Ты, Санька, не огорчайся. Мы построим новый. Винтовой пароход. С трубами. Тот никуда не уплывет. А этот пусть плывет...

Дядя Сергей присел на перевернутую лодку и притянул к себе Саньку.

Вечер быстро наливался густой, плотной синевой. Река стала еще шире, просторней. Затуманился и куда-то уплыл противоположный берег. Далеко-далеко, где-то за лесом, на темном вечернем небе неясно и таинственно вспыхивали и дрожали то голубоватые, то бледно-желтые всполохи, и доносился глухой, едва уловимый рокот.

— Слышал я, Санька, одну загадочную историю. — начал дядя Сергей. — Рассказывали мне, будто плавает по нашей стране неведомо кем построенный кораблик с мачтами, с парусами — все как положено. Никто не может удержать его. Швыряют тот кораблик волны, ветер ломает мачты и рвет паруса, а он не сдается — плывет и плывет. Поймает его какой-нибудь парнишка, починит и думает, вот хорошая игрушка. Только спустит на воду, а кораблик надует паруса — и был таков. Так и плывет он мимо сел и городов, из реки в реку, через всю страну, до самого синего моря.

— А когда до моря доплывет?

— А когда доплывет до моря, его непременно изловит какой-нибудь человек. Обрадуется: хороший подарок сыну! И увезет куда-нибудь к себе. Ну, а сын, известное дело, сразу бежит на речку. Кораблику только этого и надо. И снова — из реки в реку, от мальчишки к мальчишке, через всю страну. И вот что удивительно. Всякий парнишка, который подержит его в руках, навсегда становится беспокойным человеком. Все он потом что-то ищет, чего-то дознается...

В эту ночь Саньке снились чайки и огромное красное солнце. Солнце наполовину вышло из моря, и навстречу ему, рассекая волны, гордо бежал белокрылый корабль.

ТРИДЦАТЬ ЗЕРЕН

Ночью на мокрые деревья упал снег, согнул ветви своей рыхлой сырой тяжестью, а потом его схватило морозцем, и снег теперь держался на ветках крепко, будто засахаренная вата.

Прилетела синичка, попробовала расковырять намерзь. Но снег был тверд, и она озабоченно поглядела по сторонам, словно спрашивая: «Как же теперь быть?»

Я отворил форточку, положил на обе перекладины двойных рам линейку, закрепил ее кнопками и через каждый сантиметр расставил конопляные зерна. Первое зернышко оказалось в саду, зернышко под номером тридцать — в моей комнате.

Синичка все видела, но долго не решалась слететь на окно. Наконец она схватила первую коноплянку и унесла ее на ветку. Расклевав твердую скорлупку, она выщипала ядро.

Все обошлось благополучно. Тогда синичка, улучив момент, подобрала зернышко номер два...

Я сидел за столом, работал и время от времени поглядывал на синичку. А она, все еще робея и тревожно заглядывая в глубину форточки, сантиметр за сантиметром приближалась по линейке, на которой была отмерена ее судьба.

— Можно, я скою еще одно зернышко? Одно-единственное?

И синичка, пугаясь шума своих собственных крыльев, улетела с коноплянкой на дерево.

— Ну, пожалуйста, еще одно. Ладно?

Наконец осталось последнее зерно. Оно лежало на самом кончике линейки. Зернышко казалось таким далеким, и идти за ним так боязно!

Синичка, приседая и настораживая крылья, прокралась в самый конец линейки и оказалась в моей комнате. С боязливым любопытством вглядывалась она в неведомый мир. Ее особенно поразили живые зеленые цветы и совсем летнее тепло, которое оведало озябшие лапки.

— Ты здесь живешь?

— Да.

— А почему здесь нет снега?

Вместо ответа я повернул выключатель. Под потолком ярко вспыхнула электрическая лампочка.

— Где ты взял кусочек солнца? А это что?

— Это? Книги.

— Что такое книги?

— Они научили зажигать это солнце, сажать эти цветы и те деревья, по которым ты прыгаешь, и многому другому. И еще научили насыпать тебе конопляных зернышек.

— Это очень хорошо. А ты совсем не страшный. Кто ты?

— Я — Человек.

— Что такое Человек?

Объяснить это маленькой глупой синичке было очень трудно.

— Видишь нитку? Она привязана к форточке...

Синичка испуганно оглянулась.

— Не бойся. Я этого не сделаю. Это и называется у нас — Человек.

— А можно мне съесть это последнее зернышко?

— Да, конечно! Я хочу, чтобы ты прилетала ко мне каждый день. Ты будешь навещать меня, а я буду работать. Это помогает Человеку хорошо работать. Согласна?

— Согласна. А что такое работать?

— Видишь ли, это такая обязанность каждого человека. Без нее нельзя. Все люди должны что-нибудь делать. Этим они помогают друг другу.

— А чем ты помогаешь людям?

— Я хочу написать книгу. Такую книгу, чтобы каждый, кто прочитает ее, положил бы на своем окне по тридцать конопляных зерен...

Но, кажется, синичка совсем не слушает меня. Обхватив лапками семечко, она неторопливо расклевывает его на кончике линейки.

БЕЛЫЙ ГУСЬ

Если бы птицам присваивали воинские чины, то этому гусю следовало бы дать адмирала. Все у него было адмиральское: и выправка, и походка, и тон, каким он разговаривал с прочими деревенскими гусями.

Ходил он важно, обдумывая каждый шаг. Прежде чем переставить лапу, гусь поднимал ее к белоснежному кителю, собирал перепонки, подобно тому как складывают веер, и, подержав этак некоторое время, неторопливо опускал лапу в грязь. Так он ужитрялся проходить по самой хлюпкой, растележенной дороге, не замарав ни единого перышка.

Этот гусь никогда не бежал, даже если за ним припустит собака. Он всегда высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нес на голове стакан воды.

Собственно, головы у него, казалось, и не было. Вместо нее прямо к шее был прикреплен огромный, цвета апельсиновой корки клюв с какой-то не то шишкой, не то рогом на переносье. Больше всего эта шишка походила на кокарду.

Когда гусь на отмели поднимался в полный рост и размахивал упругими полтораметровыми крыльями, на воде пробегала серая рябь и шуршали прибрежные камыши. Если же он при этом издавал свой крик, в лугах у дюрок звонко звенели подойники.

Одним словом, Белый гусь был самой важной птицей на всей кулите. В силу своего высокого положения в лугах он жил беспечно и вольготно. На него засматривались лучшие гусыни деревни. Ему

безраздельно принадлежали отмели, которым не было равных по обилию тины, ряски, ракушек и головастика. Самые чистые, прокаленные солнцем песчаные пляжи — его, самые сочные участки луга — тоже его.

Но самое главное — то, что плес, на котором я устроил приваду, Белый гусь считал тоже своим. Из-за этого плеса у нас с ним давняя тяжба. Он меня просто не признавал. То он кильватерным строем ведет всю свою гусиную армаду прямо на удочки да еще задержится и долбанет подвернувшийся поплавок. То затеет всей компанией купание как раз у противоположного берега. А купание-то это с гоготом, с хлопаньем крыльев, с догонялками и прятками под водой. А нет — устраивает драку с соседней стаей, после которой долго по реке плывут вырванные перья и стоит такой гам, такое бахвальство, что о поклевках и думать нечего.

Много раз он поедал из банки червей, утаскивал кукуны с рыбой. Делал это не воровски, а все с той же степенной неторопливостью и сознанием своей власти на реке. Очевидно, Белый гусь считал, что все в этом мире существует только для него одного, и, наверное, очень бы удивился, если бы узнал, что сам-то он принадлежит деревенскому мальчишке Степке, который, если захочет, оттяпает на плахе Белому гусю голову, и Степкина мать сварит из него щи со свежей капустой.

Этой весной, как только пообдуло проселки, я собрал свой велосипед, приторочил к раме пару удочек и покати́л открывать сезон. По дороге заехал в деревню, наказал Степке, чтобы добыл червей и принес ко мне на приваду.

Белый гусь уже был там. Позабыв о вражде, залобовался я птицей. Стоял он, залитый солнцем, на краю луга, над самой рекой. Тутие перья одно к одному так ладно пригнаны, что казалось, будто гусь высечен из глыбы рафинада. Солнечные лучи просвечивают перья, зарываясь в их глубине, точно так же, как они отсвечивают в куске сахара.

Заметив меня, гусь пригнул шею к траве и с угрожающим шипением двинулся навстречу. Я едва успел оттородиться велосипедом.

А он ударил крыльями по спицам, отскочил и снова ударил.

— Кыш, проклятый!

Это кричал Степка. Он бежал с банкой червей по тропинке.

— Кыш, кыш!

Степка схватил гуся за шею и поволок. Гусь упирался, хлестко стегал мальчишку крыльями, сшиб с него кепку.

— Вот собака! — сказал Степка, оттащив гуся подальше. — Никому прохода не дает. Ближе ста шагов не подпускает. У него сейчас гусята, вот он и лютует.

Теперь только я разглядел, что одуванчики, среди которых стоял Белый гусь, ожили, сбились в кучу и испуганно вытягивают желтые головки из травы.

— А мать-то их где? — спросил я Степку.

— Сироты они...

— Это как же?

— Гусьню машина переехала.

Степка разыскал в траве картуз и помчался по тропинке к мосту. Ему надо было собираться в школу.

Пока я устраивался на приваде, Белый гусь уже успел несколько раз подражаться с соседями. Потом откуда-то прибежал пестро-рыжий бычок с обрывком веревки на шее. Гусь набросился на него.

Теленок взбрыкивал задом, пускался наутек. Гусь бежал следом, наступал лапами на обрывок веревки и кувыркался через голову. Некоторое время гусь лежал на спине, беспомощно перебирая лапами. Но потом, опомнившись и еще пуще разозлившись, долго гнался за теленком, выщипывая из ляжек клочья рыжей шерсти. Иногда бычок пробовал занять оборону. Он, широко расставляя передние копытца и пуча на гуся фиолетовые глаза, неумело и не очень уверенно мотал перед гусем лопаухой мордой. Но как только гусь поднимал вверх свои полутораметровые крылья, бычок не выдерживал и пускался наутек. Под конец теленок забился в непролазный лозняк и тоскливо замычал.

«То-то!..» — загоготал на весь выпас Белый гусь, победно подергивая кудрым хвостом.

Короче говоря, на лугу не прекращался гомон, устрашающее шипение и хлопанье крыльев, и Степкины гусята пугливо жались друг к другу и жалобно пищали, то и дело теряя из виду своего буйного папашу.

— Совсем замотал гусят, дурная твоя башка! — пробовал стыдить я Белого гуся.

«Эге! Эге! — неслось в ответ, и в реке подпрыгивали мальки. — Эге!..» Мол, как бы не так!

— У нас тебя за такие штучки враз бы в милицию.

«Га-га-га-га...» — издевался надо мной гусь.

— Легкомысленная ты птица! А еще папаша! Нечего сказать, воспитываешь поколение...

Переругиваясь с гусем и поправляя размытую половодьем приваду, я и не заметил, как из-за леса напозла туча. Она росла, поднималась серо-синей тяжелой стеной, без просветов, без трещинки, и медленно и неотвратно пожирала синеву неба. Вот туча краем накатилась на солнце. Ее кромка на мгновение сверкнула расплавленным свинцом. Но солнце не могло растопить всю тучу и бесследно исчезло в ее свинцовой утробе. Луг потемнел, будто в сумерки. Налетел вихрь, подхватил гусиные перья и, закружив, унес вверх.

Гуси перестали щипать траву, подняли головы.

Первые капли дождя полоснули по лопухам кувшинок. Сразу все вокруг зашумело, трава заходила сизыми волнами, лозняк вывернуло наизнанку.

Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась и обрушилась холодным косым ливнем. Гуси, растопырив крылья, легли в траву. Под ними спрятались выводки. По всему лугу были видны тревожно поднятые головы.

Вдруг по козырьку кепки что-то жестко стукнуло, тонким звонком отозвались велосипедные спицы, и к моим ногам скатилась белая горошина.

Я выглянул из-под плаща. По лугу волочились седые космы града. Исчезла деревня, пропал из виду недалекий лесок. Серое небо глухо шуршало, серая вода в реке шипела и пенилась. С треском лопались просеченные лопухи кувшинок.

Гуси замерли в траве, тревожно перекликались.

Белый гусь сидел, высоко вытянув шею. Град бил его по голове, гусь вздрагивал и прикрывал глаза. Когда особенно крупная градина попадала в темя, он сгибал шею и тряс головой. Потом снова выпрямлялся и все поглядывал на тучу, осторожно склоняя голову набок. Под его широко раскинутыми крыльями тихо копошилась дюжина гусят.

Туча свирепствовала с нарастающей силой. Казалось, она, как мешок, распоролась вся, от края и до края. На тропинке в неудержимой пляске подпрыгивали, отскакивали, сталкивались белые ледяные горошины.

Гуси не выдержали и побежали. Они бежали, полузачеркнутые серыми полосами, хлеставшими их наотмашь, гулко барабанил град по пригнутым спинам. То здесь, то там в траве, перемешанной с градом, мелькали взъерошенные головки гусят, слышался их жалобный призывный писк. Порой писк внезапно обрывался, и желтый «одуванчик», иссеченный градом, поникал в траву.

А гуси все бежали, пригибаясь к земле, тяжелыми глыбами падали с обрыва в воду и забивались под кусты лозняка и береговые обрезы. Вслед за ними мелкой галькой в реку сыпались малыши — те немногие, которые еще успели добежать. Я с головой закутался в плащ. К моим ногам скатывались уже не круглые горошины, а куски наспех обкатанного льда величиной с четвертинку пиленого сахара. Плащ плохо спасал, и куски льда больно секли меня по спине.

По тропинке с дробным топотом промчался теленок, стегнув по сапогам обрывком мокрой травы. В десяти шагах он уже скрылся из виду за серой завесой града.

Где-то кричал и бился запутавшийся в лозняке гусь, и все нутжнее звякали спицы моего велосипеда.

Туча промчалась так же внезапно, как и набежала. Град в последний раз прострочил мою спину, поплясал по прибрежной отмели, и вот уже открылась на той стороне деревня, и в мокрое зарежье, в ивняки и покосы запустило лучи проглянувшее солнце.

Я сдернул плащ.

Под солнечными лучами белый, запорошенный лут на глазах темнел, оттаивал. Тропинка покрылась лужицами. В поваленной мокрой траве, будто в сетях, запутались иссеченные гусята. Они погибли почти все, так и не добежав до воды.

Лут, согретый солнцем, снова зазеленел. И только на его середине никак не растаивала белая кочка. Я подошел ближе. То был Белый гусь.

Он лежал, раскинув могучие крылья и вытянув по траве шею. Серый немигающий глаз глядел вслед улетающей туче. По клюву из маленькой ноздри сбегала струйка крови.

Все двенадцать пушистых «одуванчиков», целые и невредимые, толкаясь и давя друг друга, высыпали наружу. Весело попискивая, они рассыпались по траве, подбирая уцелевшие градины. Один гусенок, с темной ленточкой на спине, неуклюже переставляя широкие кривые лапки, пытался взобраться на крыло гусака. Но всякий раз, не удержавшись, кубарем летел в траву.

Мальш сердился, нетерпеливо перебирал лапками и, выпутавшись из травинки, упрямо лез на крыло. Наконец гусенок вскарабкался на спину своего отца и замер. Он никогда не забирался так высоко.

Перед ним открылся удивительный мир, полный сверкающих трав и солнца.

1962

БОГ НАШ — СОЛНЦЕ

Когда хотят узнать возраст, спрашивают, сколько лет прожил человек. Не зим, не весен, не осеней, а именно лет. Не знаю, кто и как объяснял себе это, но для нас с Серегой не надо объяснений: бог наш — Солнце!

Я обратил Серегу в это древнейшее идолопоклонство года три назад.

— Слушай, Серега, — сказал я ему однажды, когда он только что дотянул до центнера. — Слушай, я боюсь за тебя. Ты скоро станешь непригодным для труда и обороны. Надо пресечь это безобразие. Давай переходи в язычники.

— Ну что ж, — сказал Серега, пытаясь из-за живота разглядеть свои ботинки, — в язычники так в язычники. С чего надо начинать?

— Будем ловить рыбу.

Посмотрите теперь на Серегу. Он не дышит, как продырявленная фистармония, он построинел, и даже появились у него признаки шен. Он стал человеком. Да что там говорить: рыбалка есть рыбалка! Без нее невозможно решать проблему долголетия. Если, конечно, решать ее серьезно. Товарищ Минздрав! Посмотрите, какие средства ухлопываются на одни только пилюли! Лучше бы эти денежки по-

шли на добрые снасти. Давайте будем больше выпускать резиновых лодок, чем резиновых грелок.

С той поры, как я втравил Серегу в это святое дело, много утекло воды в Сейме, много выловлено большой и малой рыбы. Но и до сих пор вспоминается первый ритуальный праздник обращения в язычники.

...Я причаливаю лодку. Достаяю из-за борта садок. Он дрожит и рвется из рук. Он полон сверкающего серебра. Серебро вскидывается полуфунтовыми слитками и бьет в лицо брызгами воды и света. Я вытряхиваю садок в траву, и рыба выделяет сальто среди одуванчиков и колокольцев. Серега тащит свою долю: десятка полтора ершей на белой катушечной нитке.

— Вразуми!

Я даю ему подножку, мы кубарем катаемся по траве, рычим и набиваем друг другу в тусы Серегиных ершей.

Костер на ветру весело пожирает сухой плавник. В носовом платке отварена мелочь, отжата и выброшена. Положен лавровый лист, перец горошком, лук и картошка с пшеном. Почищена и нарезана белая рыба.

Ведерко содрогается и выбрызгивает пшено. Запах сводит с ума, и у нас по-собачьи дрожат возбужденные закрылки ноздрей.

— Наливать по лампадику?

Уха крепка и горяча. Она выжимает слезы. Мы плачем и молотим ложками. Мы лежим друг против друга на животах, и между нами алюминиевое ведро. Мы работаем ложками и от удовольствия потираем задранными ногами одна о другую. Серега сосет рыбью голову с таким вкусом, будто это кусок ананаса. Я вытащил хвост на лопушок и мурлычу над ним, как кот.

— Уф. — вздыхает Серега и отваливается от ведерка.

— Ты чего опрокинулся? Давай дохлебывай.

— Погоди, полежу немного.

Мы лежим в траве, поверженные ухой. Она разливается по всему телу сладкой истомой, и руки и ноги теряют способность двигаться. Я даже не могу дотянуться до сигарет. Трава высоко обступает со всех сторон. Только клочок неба и облака, похожие на дирижабли. И еще крачки. Их сдувает парусный ветер, и они с жалобным писком, заламывая крылья, бьются с его упругостью. Где-то теперь шумит и клокочет страстями город. Идут заседания. Стучат пишущие машинки. Трезвонят телефоны. Кто-то кого-то распекает... Наш начальник закрылся в кабинете, строчит доклад, и лопухий каучуковый вентилятор по прозвищу «подхалим» угодливо шевелит редкие волосы на его разгоряченной голове. Завтра и мы окунемся в эту бучу. Я буду блистать остроумием на лекциях перед своими мальчишками. Я буду цитировать наизусть целые страницы из Павлова. Развивать свои взгляды на функции мыслительного аппарата. Серега тоже будет умницей, как всегда. Но се-

годня мы с ним дураки. Без галстуков и проборов на голове, без папок и связных мыслей. Отключены все счетно-решающие устройства. Мысли самые простейшие, как инфузории. Мы отброшены на тысячи лет назад, к своим предкам. Мы первобытны и блаженны. Я знаю, как радуются этой первобытности клетки нашего мозга: солдаты, получившие увольнительную. Завтра они будут снова в строю, завтра... за...

Вечереющее солнце прямо в реку истекает клюквенным соком, и вода сделалась розовой. Ласточки вспарывают розовую гладь крыльями, и грудки у них тоже в клюквенном соке. На перекате играют голавли. Я разлепляю веки и слушаю, как возле кучи хлестко, раскатисто, будто баба вальком, бьет щука.

— Серега!

— Хр-фьить...

— Серега!

— Мн, мн, мн...

— Серега, не набирай весу..

— А? Что?

Серега поднимается из травы, заспанный и дикий. На его щеке, как на мезозойском известняке, отпечатались какие-то папоротники.

— Пора на автобус.

Мы собираемся домой. Рюкзаки угрожающе толстеют. Мы в последний раз оглядываемся на реку и берем курс на цивилизованный мир. А пока мы еще дикари. Мы бегаем по лугу и собираем гусиные перья. Они нам нужны для поплавков. Какой рыбак равнодушно пройдет мимо крепкого пера из крыла гусака!

— Чур, мое! — кричит Серега, топая кирзовыми сапожищами.

— Чур, чур! — кричу я и норовлю оттереть Серегу рюкзаком.

Мы втыкаем перья за околыши кепок. Они воинственным белозубьем торчат над нашими обгорелыми рожами. Я взбегаю на пригорок и горланю во всю ивановскую:

— Эй, Монтигомо-Черепаровые-Очки! Прибавь шагу!

НОС

*Из опыта художественной рецензии
на стихи поэта и друга Ивана Зиборова*

Когда меня не было дома, звонил из района Ваня. Он забыл в нашей машине плащ. Прочие вещи — рюкзак, полиэтиленовое ведерко, резиновые сапоги — взял, а плащ забыл. Одежка старенькая, расхожая, бог бы с ней, но просил посмотреть, нет ли в карманах ключа от сарая.

А дело в том, что наконец-то Ваня получил долгожданную, выстраданную по чужим углам и неоднократно заочно обмытую квартиру. Это был первый в районном городке двухэтажный жилой, со всеми за-

проектированными удобствами дом, гордо вознесшийся над соседними обывательскими домовладениями, выглядевшими сверху запыленными, распластанными и ничтожными. Не удивительно, что при сдаче такого красавца возник митинг, играл оркестр, а предрик поданными на подушечке ножницами перерезывал розовые ленточки у обоих подъездов. Вскоре, однако, выяснилось, что встроенные коммунальные удобства по причине отсутствия в патриархальном городке канализации носили чисто декоративный характер, так что душевую Ваня приспособил под хранение старой обуви, прочитанных газет, детского велосипеда, лыж и грибной корзины, а по туалетным делам бегал во двор на общих основаниях. Но зато к дому прилагался целый блок симпатичных сарайчиков, в которых жильцы могли бы не только хранить старую, пришедшую в негодность утварь, но и по своему вкусу и наклонностям разводить то ли свинок, то ли кур с утками, а можно и кроликов и даже престижных нутрий, что в данный момент весьма и весьма одобряется местными властями. А кроме того, в каждом сарайке имелся погреб, чему в условиях коммунального общежития и довольно долгой зимы отдавалось гораздо большее предпочтение, нежели встроенному санузелу, к которому местные жители, за исключением разве что незначительного числа высшего разряда, вовсе не приучены.

Своим надворным владением Ваня распорядился так: нижнюю часть, то есть погреб, отдал в полное распоряжение жены Клавы; туда ссыпали картошку, а на полочках расставили баночные маринады и соленья, датированные самой Клавой, женщиной обстоятельной и почитающей во всем порядок. Бельэтажную же часть Ваня оставил за собой, мечтая со временем разместить здесь новенький мопед. Но приобретение колесного друга было проблематично, поскольку все сбережения ушли на Клавину квартирные прихоти, и он при нужде одалживал велосипед у знакомых. Пока же за неимением транспортного средства Ваня, будучи в душе и образе поэтом, поставил в сарайке общежитскую тумбочку для написания стихов и дощатый топчанчик для обдумывания оных. И надо же: стихи писались в сарайке ничуть не хуже, чем у тех, кто в это время находился в Коктебеле или даже легендарной Пицунде, о существовании которых он и не подозревал. Ну, например:

*Дерева рвутся
В высоту,
У медуниц
Медовый месяц,
И мне молчать
Невмоготу,
Знать, время
Подошло
Для песен*

И Ваня счастливо сочинял в своем сарайке. Я же для убедительности позволю себе процитировать еще несколько строчек — о бабушкином сундуке:

*И сторожит он бабкины секреты,
Ее простой крестьянский гардероб.
И пенсию в платочке, и монеты,
И покрывало в клеточку — на гроб...*

И все это писано даже не ручкой, а одним только восьмикопеечным стержнем, похожим на ржаную соломинку.

Ах, милый, непритязательный Ваня, крестьянский Федотов сын, истинно русский человек! Вот и за сорок, а глаза округлые, удивленные, как у малого дитяти. Он, в общем-то, не против прогресса и даже мечтает проехаться на мопеде, но легко обошелся бы и без оногo, как всю жизнь обходился без молотка и плоскогубцев в доме, заколачивая гвоздь поленом и выдергивая его пятерней, предварительно пошатая из стороны в сторону. Вернись завтра каменный век, Ваня не испытал бы в нем неудобств, даже не заметил бы его возвращения, поскольку довольствовался самым малым. Ну, скажем, рыбачил он на неошкуренные орешины, червей копал не лопатой, а палкой и собирал их не в специальную коробку, снабженную отверстиями в крышке для доступа воздуха, каковой располагает всякий уважающий себя современный удильщик, а заворачивал их в лопушный лист или же в газету, а то и в носовой платок, только что отутюженный Клавой.

Глядя, как Ваня размахивал неказистым ореховым хлыстом, дабы забросить наглухо привязанную к нему снасть, я подарил ему респектабельное трехколенное удилище, снабженное пропускными колечками и миниатюрной алюминиевой шпулей. Ваня счастливо просиял, но тут же, зайдя за кустики, переиначил подарок на свой лад: снял и отложил в сторону за ненадобностью катушку, а лесу привязал за самое последнее вершинное колечко. Узнав же, что удочку нельзя класть на воду, а следует каждый раз опускать на специально воткнутый развильник, он и вовсе к ней охладел: «Подумаешь, барыня!» — и вернулся к своей орешине, которая, по его словам, ничего не стоит, задаром растет в любом лесном овраге, с которой можно не цацкаться, класть на воду (отчего, по-видимому, и пошло народное: прятать концы в воду) и вообще оставить после рыбалки на берегу — пусть пользуются другие, а самому идти домой налегке, необремененно. Он никак не мог взять в резон, почему, за какие такие особенные достоинства японская удочка оценивается почти в сто рублей (по Ваниным меркам — дороже велосипеда), и был непоколебимо убежден, что, сколь японцы ни изощряйся, все равно лучше, легче, проще и надежней орешины им не придумать. И он готов поспорить, что поймает на лещинковый прутик больше, нежели кто-либо на японскую диковину. И

это воистину так! Пока мы собирали свои сверкающие арматурой и лаком удочки, крепили к ним пулеметно трещащие катушки, продевали в колечки импортные радужные «сатурны», пока копались в пеналах, теряясь в выборе, какой из всех пенопластовых, полиэтиленовых, дутых, полых, точеных, сложнокомбинированных и празднично раскрашенных поплавков выбрать наиболее подходящий к данному водоему, да пока под каждое удилище отыщем и воткнем рогульку, да вынем из рюкзака, развернем и поставим складной стульчик, да сделаем несколько холостых забросов для отмера глубины, — Ваня, орудуя только орешниной, посвистывая кончиком с неизменным гусиным перышком на лесе, подкидывая эту несерьезную ребячливую снасть то под затопленный лозовой кустик, то в прогалы ряски и водокраса, к тому времени уже успевал набросать на траву кучку матерых карасей, похожих на важных, осанистых столоначальников.

Не пришелся ему и спиннинг со всеми его премудростями, и Ваня предпочитал ловить щук простым забросом, перебирая и вываживая затем шнур руками, как делали здешние северские щукари еще во времена Червонной Руси. И почему-то щукам больше нравился именно этот стародавний способ.

Вскоре все это Ване наскучивало, и он принимался собирать на костер сушняк, выскивать зверобой для заварки или же шел в ближайшее селение, просто так, поглядеть, чем живут люди, какие у них дома и скотина, что продают в сельпо: в особом же настроении забредал на ферму почитать бабенкам стихи, и те, сперва молчаливые и настороженные, под конец, отогревшись душой, наделяли залетного и такого пригожего картузом свежайших яиц или трехлитровой крынкой еще теплого парного молока.

Сухой, как стручок, поджарый, дочерна загорелый, с распахнутой, сахарно сверкающей улыбкой, легкий на ногу, готовый куда-либо сбежать, принести, пособить, Ваня всегда весел, приветлив, ровен со всеми и счастлив самым обыденным, простым и бескорыстным: сиянием солнышка, ветряным шумом ракут и ощущением под собой родной тверди, исхоженной им вдоль и поперек.

*А гром гремел с такою силой
По всей небесной мостовой,
Что даже молния крестилась
Дрожащей огненной рукой.*

— Нет, лучше — вот! Ребята, послушайте! Может, что не так, тогда скажете.

*Не опасаясь
Сил несметных,
Нацеленных куда-то*

Вдаль,
 Пичужка села
 На ракету
 И клюв почистила
 О сталь.

- А? Ну как? Только честно!
- Ваня! Ты — философ!
- Нет, правда, получилось? Я хотел в задиту мира...
- Еще спрашиваешь...
- Может, мне сбегать, раз так?

...И вот сегодня утром он звонил, говорил, что потерял ключ: и от насыщенной картошки, и от поэтического стола. Все бы ничего, да днями возвратится с заочной сессии Клава, наверняка задаст чертей. Сказал, что через часок-другой позвонит еще.

Я сходил в гараж и действительно обнаружил в багажнике Ванин походный плащик. Принес его домой и в ожидании телефонного звонка принялся выкладывать на стол содержимое его карманов. В правом попалась злополучная чеховская гайка для закидушки, которую Ваня, надо полагать, не отвинтил от проходящей через городок железной дороги, а подобрал на тряском, ухабистом грейдере. В сплюснутом газетном комке, когда я его развернул и расправил, оказались, извините, засохшие червяки. Еще там оказался малоинтересный ключ для подтягивания велосипедных спиц, два больших гвоздя непонятного назначения, клубок запутанной лески с поржавевшими крюками, а на самом дне — хлебное крошево пополам с табаком.

В левом же кармане обнаружился весьма замызганный блокнотик, из которого посыпались все те же хлебные и табачные крошки, как только я вздумал его перелистнуть. Нашелся и тот самый восьмикопеечный стерженек, надломленный и изогнутый наподобие задней ноги кузнечика, которым тем не менее Ваня исхитрился писать свои стихи. Ну и еще — пачка неизменного «Беломора» с остатками пустых, высыпавшихся папирос. А если быть следственно-педантичным, то еще — дырка в самом углу кармана... Все! Черт возьми, неужто верно говорят: «Покажи, что в твоих карманах, и я скажу, кто ты»?..

Я в другой раз осмотрел плащ и обнаружил, что еще какое-то содержимое оттопыривает внутренний нагрудный карман. Я запустил туда руку и вытащил на свет божий пластмассовые солнцезащитные очки с пришитым к ним картонным носом. Ба! Так это же знаменитый Ванин нос, о котором у нас ходят легенды! Нет, нет, об этом надо непременно рассказать!

А дело было вот как...

Только в этом году Ване все-таки удалось занять собственный транспорт. Не мопед с моторчиком, как мечталось, испускающий

позади голубые кольца дыма, а всего лишь скромный велосипед. Велик был приобретен с рук по сходной цене у вполне приличной старушки. Правда, уже потом, в поездке, выяснилось, что самокат немного восьмерил задним колесом, отчего оставлял на влажном и сыпучем грунте извилистые, как бы танцующие отпечатки, из чего можно было сделать не совсем объективный вывод относительно состояния его владельца, но в остальном выглядел еще бодро и молодцевато. А тут как раз подоспел июнь, мягкая летняя теплынь с молодыми громами, все цвело, благоухало, отнерестившиеся караси буровились по мелководьям, выставив округлые спины. Так что усидеть дома было просто невозможно, и Ваня, вдохновляемый сознанием, что у него теперь велосипед, все свободное от службы время пропадал на окрестных прудах и речушках. Обломав о колено несколько удилиц, Клава наконец поняла, что это у него непоколебимо, и выговорила себе лишь одно неперемное условие, чтобы — никаких ночевок, на то и куплен велосипед.

— О чем ты, Клава! — широко улыбнулся Ваня, на ходу вскидывая ногу через седло. — Погляди вокруг, дорогая:

*Даль неоглядна впереди,
И в голове толются строчки,
И сердце рвется из груди,
Как лист березовый из почки.*

Тем временем сорняки тоже не дремали под благодатным небом, расторопнее других потянулись к солнцу шустрыми побегам, вездесущими усиками и упористыми шипами и зацепками. Плянуть со стороны, так казалось, что на поле посеяны не картошка со свеклой, а сплошной осот да сурепка. Неотложно был объявлен месячник по борьбе с сорняками, который возглавил сам Первый, человек решительный и не терпящий прекословия. Было также объявлено, что без соответствующей врачебной справки или иного письменного разрешения никто не может появляться после восьми ноль-ноль утра на базарной площади, у пивного павильона и в иных общественных местах, а также на территории собственного огорода, что будет рассматриваться как злостный саботаж и дезертирство. Всем учреждениям и организациям был определен фронт работ, который в свою очередь разбили на индивидуальные участки под личную ответственность. Городок всколыхнулся, как перед осадой. Многие люди побросали свои повседневные дела и обязанности — стрижку волос в парикмахерской, выдачу сбережений по вкладам, оформление гражданских браков, прием заказов по раскрою и шитью, ремонту обуви и телевизоров, рассмотрение судебных исков, продажу москательных, музыкальных и книжно-канцелярских товаров и т. п. — и кинулись доставать всегда припасенные в кладовках, сараях и на чердаках мотыги и тяпки, как некогда предки-северяне доставали бердыши и топоры по случаю половецкого нашествия. Как утверждают философы, в истории все по-

вторяется по восходящей спирали. Ване даже приснился ужасный сон, будто городок и взаправду обложили полчища сорняков и что на участке восточной городской околицы их головные отряды ворвались в пределы районного центра. Самоотверженно отбивавшиеся тятками, бойцы народного ополчения во главе с Первым вынуждены были отступить перед превосходящими силами и запереться в подвалах «Сельхозтехники». Кинувшийся на выручку главный агроном района на поливальной машине с гербицидами был схвачен и выпорот чертополохом. Потом привиделось, будто самого Первого, босого, в одном исподнем, со связанными повилкой руками провел по главной улице эскорт полевых бодяков в белых папахах и будто Первый успел выкрикнуть: «Товарищи! Месячник еще не окончен!..» А вслед за этим Ваня услышал топот на лестнице собственного дома и ужасающий стук в запертую дверь. Ваня кинулся схватить что-нибудь железное, но железного в доме ничего не попадалось, и он, чувствуя всему конец, проснулся в холодном поту и с шевелящимися волосами.

Далее Ваня так рассказывал о последующих событиях.

Конечно, тяткой помахать городскому человеку тоже надо, коль больше махать некому. Я и махал вместе со всеми, свою положенную деляну протяпал. Но месячник месячником, а живой душе порыбачить тоже охота. Иначе она завянет и скукожится. А скукоженная душа — ни мне, ни государству, ведь верно? И вот в воскресное утро, еще до солнца, вывел я свой велосипед с притороченным рюкзаком и удочками да и шмыгнул в Сергиевку. Подъезжаю, а там, на пруду, уже вся честная компания: на мыску главный районный пчеловод Воробьев удочки разматывает; чуть поодаль директор типографии Болхов хлеб с макухой в кулаке мнет, «соску» на карпов готовит; а по ту сторону ракитового куста облюбовал себе местечко предкомитета народного контроля Ларичев, всером рассыпает перед собой комбикорм. Дальше по берегу устроились еще какие-то рыбакишки, плохо различимые за туманцем. А утро выдалось — на сто сот! Тишина! Теплынь! Вода что парное молоко. Все вокруг будто так и говорит: «Добро пожаловать!» Что еще для счастья надо?

*До синевы промыто небо,
И звезд померкли фонари,
И солнце —
Караваем хлеба
На полотенце
Утренней зари.*

Все устроились как нельзя лучше, народный контроль для полного комфорта даже костерок рядом запалил — от назойливых комаров, как вдруг кто-то завопил от плотины: «Полундра! Разбегайсы! Сам Первый едет!» И верно, на плотину выскочила «Волга», тут же распахнулась дверца, и в лучах выкатившегося солнца предстал сам Первый — облитый багрянцем, монументальный,

с широко расставленными ногами, означавшими, что их хозяин настроен воинственно и беспощадно.

— А-а! — произнес он громоподобно и торжествующе, и эхо подхватило и понесло по всему водоему. «А-а! А-а!» — Вы здесь, соколики?! А ну, — обратился он к кому-то в машине. — Записывай! Сперва стихоплета запиши. Все про травки-муравки сочиняет, ан нет — по этим муравкам да с тяпочкой пройтись... Запиши: полгода никаких его стихов в районной газете не печатать. Записал? Теперь Болхова пиши, типографщика. Ишь ты какой: про месячник объявления печатает, а сам — с удочкой. Хорош гусы! Так! Плянь-касы! И пчеловод тут! Ты что же, друг любезный, решил на сурепке мед собирать? А ну, подчеркни его фамилию жирной чертой: я с ним особо поговорю. Записал пчеловода? А это кто? Кто там за ракитой стыдливо прячется? Вижу, вижу! Выходи-ка, погляжу на стыдливого! А-а, да это наш народный контроль, наша совесть в кусты улизнуть хочет. Подчеркни-ка его двумя жирными чертами.

Остальные, побросав рюкзаки и снасти, успели разбежаться, попрятались в ракитнике, залегли в траве и складках пересеченной местности.

— Ну, голубки-соколики, не взыщите, если что... — подытожил Первый, энергично хлопнул дверцей и укатил.

А вскоре на одном из активов все записанные имена были преданы суровой огласке, и рыболовное племя как-то вдруг поредело. Тем более что пошли упорные слухи, будто по воскресеньям Первый, просыпаясь с восходом, самолично патрулирует город, делает засады на Сергиевской дороге, а председателю тамошнего сельсовета будто бы дадено указание тайно всех фотографировать для городского желтого окна «Не проходите мимо». При таких жестких мерах поневоле убоишься соваться в Сергиевку, и вот тогда-то и мелькнула у Вани идея о спасительном носе. Не откладывая в долгий ящик, он приступил к делу. Из намоченных в клейстере ключков бумаги вылепил на продолговатой картофелине крупный шишковатый нос, раскрасил его под старческую озяблость, снизу приклеил пеньковые усы и все это прикрепил к солнцезащитным очкам. Напялив на себя бумажный нос с очками и старую шляпу, Ваня взглянул в зеркало, совершенно не признал себя ни в какой малости и произнес:

— Мы еще посмотрим, черт побери!

*Еще высок и чист
Мой полдень,
И слух и зрение
Остры
И при лобой
Плохой погоде
Не гаснет свет
Моей звезды.*

И верно, свет Ваниной звезды еще долго не погасал. Нос работал безукоризненно. Никто не признавал Ваню в этом сутулом, в помятой шляпе старике на стареньком восьмерящем велосипеде с ореховыми удочками. Заведомо водрузив нос с усами еще в своем переулке, Ваня не спеша и непринужденно крутил педали по главной улице мимо пронизательных, хотя и зашторенных, окон высокого районного учреждения, мимо постового ГАИ, от скуки лузгающего семечки на перекрестке, безбоязненно выруливал на Сергиевское шоссе, и ему почтительно, как всякому ушедшему на заслуженный отдых, уступал дорогу встречный транспорт и даже легковые машины с короткими числами и нулями на номерных знаках. На Сергиевском пруду он тоже на всякий случай не снимал спасительного носа и, когда местные ребятишки подступали совсем близко: «Ну чево, дедуля, кловает ли чево?» — делал им пальцами козу и приструнивал: «Эт я вас ужо, пострелята!»

А однажды, тоже на Сергиевском шоссе, ему долго, зычно по-сигналила нагонявшая сзади машина. Ваня обернулся и увидел за ветровым стеклом Первого. Черная «Волга» тем временем поравнялась с велосипедом, и в открытую дверцу Первый окликнул:

— Эй, молодой человек!

Ваня хотел было сделать вид, что это его, старика, не касается, продолжал давить на педали, еще больше сутулясь и пригибая голову, но Первый, повысив голос, повторил:

— Эй, Арлекин, я тебя знаю!

И Ваня понял, что свет его звезды погас: кто-то выдал его со всеми потрохами. И он покорно остановился и сошел с велосипеда.

— Ну что с тобой делать? То, что хотелось бы, — не могу: я при исполнении своих обязанностей... Видно, придется сделать то, что могу, но не хотелось бы: за надувательство и непочтение получай еще полгода. А каких, сам знаешь. Теперь доволен?

Ваня снял нос и широко, обезоруживающе улыбнулся, отчего Первый фыркнул, резко нажал на газ и умчался по дороге на Сергиевку.

Тяпочный месячник, слава богу, минул, отшумела и сенозаготовительная кампания, и наступила короткая, но долгожданная передышка. Снова нормально заработали учреждения и организации, люди пообмякли и подобрали друг к другу. И вот в один из таких дней за Ваней прибежал нарочный, сказал, что срочно вызывает к себе Первый.

Когда Ваня вошел в большой прохладный кабинет, тот сидел за столом, устало обхватив голову. Но, услышав Ванины шаги, отнял руки и показал на глубокое кресло у стола.

— Садись.

Ваня аккуратно присел, с открытым любопытством глядя на Первого своими округлыми, редко мигающими глазами.

— Я чего тебя позвал... Не догадываешься?

— Н-нет...

— Так вот что... Я ведь тогда погорячился. Ну и ты хорош — с этим своим носом. Это надо же додуматься!.. — И Первый искренне расхохотался. — Ну, ладно. Ты вот что... Стихи давай. Без них тоже нельзя. Все директивы да директивы... Много, поди, написал?

— Когда же! — широко, миролюбиво улыбнулся Ваня. — Все месячники да месячники...

— Ну ладно, ладно... — слегка нахмурился Первый. — Ладно тебе скромничать. Почитай-ка что-нибудь, а я послушаю.

— Правда, нечего. Ну, разве про маршала...

— А что же — про маршала? Ну-ка, ну-ка...

*Заныло сердце необычно,
И мгла глаза заволокла,
Когда на площади столичной
Лихая конница
Пошла.*

*Она плыла,
Танцую в марше,
Неудержима и лиха,
И было видно — старый маршал
Рукой кому-то
Помахал.*

*И жилка на виске
Забилась,
И дрогнул мускул
На руке.
И покатилась,
Покатилась
Слеза по маршальской
Щеке...*

Первый долго сидел, снова охватив голову обеими руками.

— М-да... И меня чуть слезой не прошибло. Вот ведь как можно сказать по-человечески даже о маршале. Да, брат, бежит время... Хорошо написал. И грустно. Молодец! Завтра же отнеси в газету. Правда, у тебя там два раза помянуто: «лихая» и «лиха», ты поправь, пожалуйста. А в целом — все здорово! Впрочем, для газеты немножко грустноват конец. Надо бы что-нибудь такое... Сам понимаешь... Чаю хочешь?

— Так и вы не хотите. — улыбнулся Ваня.

— А ты догадлив... Гмм... Нет, здорово ты надул меня с этим дурацким носом! А все-таки я тебя разоблачил! Шалишь, брат! Не на того напал!

— Наверно, анонимку написали.

— Ну, это секрет. — засмеялся Первый. — Напугался небось, когда я вдруг сзади подъехал? Поди, и до сих пор удочек в руки не берешь? Вот так-то ослушничать.

Ваня снова широко улыбнулся своими крепкими, один в один, сахарными зубами.

— Ну, ладно... Если чаю не хочешь, давай покурим, что ли... Как говорится, трубку мира выкурим.

Первый взял со стола массивный портсигар, щелкнул крышкой, из-под которой прямо пахнуло хорошими сигаретами.

— Только извини, — сказал он, похлопав себя по карманам. — Вот спичек, кажется, у меня и нет. Где-то, наверно, оставил. У тебя найдутся?

— Это можно. — Ваня готовно подал коробок. Первый, зажав сигарету губами, надавил на коробок пальцем, и тотчас оттуда что-то стремительно, так что было не разглядеть, скакнуло и угодило Первому в самый нос. Первый, ничего не понимая, машинально провел ладонью по носу, но тут же из коробка выскочило еще что-то и скакнуло на его плечо. А то, что соскочило с носа, на мгновение уселось на картонную папку и тут же скакнуло на пол. Ваня приподнялся, сделал ладошку лодочкой и прихлопнул это самое что-то на плече Первого.

— Кузнечики, — смущенно улыбался Ваня. — На них голавль хорошо клюет. А спички — вот они, в другом кармане были. Извините, перепутал.

— Ну, знаешь... — нахмурился Первый, видимо, досадуя, что начатый разговор так глупо и нелепо испорчен. Но, подвигав бровями, Первый вдруг отвалился на спинку кресла и зашелся в тряском и беззвучном хохоте.

...Наконец позвонил Ваня из своего районного далека.

— Ну что? Плащ нашелся?

— Нашелся! Но, знаешь, ключа нигде нет... Хочешь, я перечислю, что было в карманах?

— А-а, ерунда!

— А твой нос?

— Дело прошлое, — засмеялся Ваня. — Оставьте у себя. Может, вам когда пригодится...

УХА НА ТРОИХ

Частный опыт коллекционного уженья

1

У непроезжей дренажной канавы, пересохшей до вязкого дна, машину остановили, выгрузили из нее все, что предназначалось для ночевки, пожали руку шоферу и отпустили его в деревню оку-

чивать картошку, радуясь, что остаются совсем одни: водитель, конечно, надежный, преданный человек, но без него все же лучше — полная свобода!

Большой грузный Иванов бодро взвалил на себя брезентовый кряж четырехместной палатки. Петров также готовно впрягся в объемистый рюкзак, округлый от набитого скарба. Несмелому Сидорову достался общий пучок удочек да собственная цветастая авоська, в которой он носил кусок полиэтиленовой пленки от непогоды, пару закидушек, запас курева, манерку с поварской приправой и четвертинку на случай, если опять разболится зуб мудрости, который давал о себе знать почти каждую такую поездку..

Из-за этого зуба Сидорова пожаливали, старались не перегружать поклажей и общественными работами. Брели же его с собой скорее ради поддержания всеобщей бодрости, поскольку без Сидорова не над кем было подтрунить и добродушно посмеяться. Не будет же Иванов подшучивать над Петровым или Петров — над Ивановым, когда оба равновелики и по столоначалию, и по своим внеслужебным привычкам, и по степени обидчивости на неудачное слово, из-за чего Иванов (или Петров) может мрачно надуться, замолчать у костра, а потом подолгу не звонить. Другое дело — Сидоров, никак не реагировавший на словесную резвость приятелей и всегда строго, как бы внахлест, прикрывавший верхней губой нижнюю, подобно тому, как запираются у хорошего хозяина дубовые ворота. Такой створ придавал его профилю вид углубленной озабоченности, который сам собой сложился, пока он долгие годы служил привратником на одном солидном предприятии.

За канавой, которую так и не смогли одолеть вездесущие автомобилисты, начинались глуховатые непроезжие места. Некогда сведенный под морское лоно пойменный лес возродился заново, берега реки опять зачащобились ивняком и черемушником, сама же река похорошела, стала казаться таинственней и глубже из-за того только, что над ней нависли тенистые ракитовые шатры.

Едва заметная тропа промелькивала в густом прямостоем дудника, который превышал человека на вытянутую руку и походил на парковые фонари с округлыми зеленоватыми плафонами соцветий.

Тучные растения таили в себе прохладу сокрытой земли и терпкие приправные запахи разомлевших шершавых листьев.

— Сидоров! Идешь? — на всякий случай спрашивал Петров, ломившийся вслед за Ивановым.

— Само собой, — откликнулся Сидоров, держа в поле зрения пухлый рюкзак, похожий на слоновий зад.

— Как зуб?

— В норме!

Все это бодрило, возбуждало ходок и обостряло предвкушение той минуты, когда, сбросив наконец ношу, переведя дух, попив с ладоней хрустальной на песочке речной водицы, не спеша натя-

нут палатку, настелют под нее пружинистого аирного листа, от которого полотняное пространство вкрадчиво наполнится тугим таинственным запахом, навевающим крепкий безмятежный сон до первого птичьего вскрика.

А на вечерней заре, когда река как бы замедлит свое струение и вберет в себя все растворенные в небе позолоты, откуда-то из-за лесного коренского уберезья вдруг грянут и, сплавясь в благовест, медово разольются колокольные звоны. В ответ речная гладь тотчас подернется блинцами, тихо вскользнутыми рыбой, что от мала до велика поднимается из глубин к последнему предвечернему озарению.

— А укроп взяли? — озаботился Иванов и даже повернулся к Петрову.

— Взяли, взяли... — утерся панамой Петров. — С укропом — уха, а без укропа — рыбий суп...

— Ценная травка! — согласился Иванов. — Я тоже это заметил.

— Уха бывает только с рыбой, — не согласился Сидоров.

— Это тебе зуб мудрости подсказал?

— Я и сам знаю: нет рыбы — нет ухи.

В общем, все у них шло, как хотелось. Еще засветло на хорошем месте с песчаным спуском к воде устроили лагерь, насобирали дров, нарезали аира, после чего выбрали себе укромные сижки недалеко друг от друга, так что Петрову было слышно, как тучный Иванов, пыхтя, замешивал приманку из каши и береговой глины и даже потянуло оттуда анисовыми каплями... Петров тоже подедал себе колобков и покидал их всером вокруг своего места, чтобы рыба брала широким фронтом, сразу на все три удочки. Два удилища попрочнее он наживил пареным горохом на крупную рыбу, третьей, полегче, поизящней, японского производства, мыслил действовать, не выпуская из рук, и подлавливать мелочевку, без которой тоже не получится наваристой ухи.

Сидоров тем временем тоже определился, расположившись на открытой песчаной отмели — самом подходящем месте для закидушечника. Он распустил свою двухкрючковую закидуху с чеховской гайкой на конце, нанизал на крючки сизых, каких-то равнодушных червей, которых он насобирал тут же на лужку за палаткой под коровьими полуиссохшими лепешками.

Вообще, ничего мужик, этот Сидоров, с ним не заскучаешь, но одно в нем не нравилось: не было у него любовного отношения к снастям. Даже и поговорить с ним на эту тему как-то не получалось. Иной раз Иванов позвонит Петрову (или, наоборот, Петров — Иванову) и спросит: «Слушай, читал в последнем выпуске «На реке, на озере»? Опять дает этот Зиборов...» И пошло-поехало... И час, и другой... начали с очередной газетной байки, а ушли невесть куда, в этакие тактические и технологические рыбацкие дебри...

Да вот же наглядное свидетельство этому необратимому пристрастию: недавно Иванов купил под рыболовную оснастку пятищичный

комод. «Никаких, никаких, — сказал он жене, — это все только мое!» В верхнем ящике он сложил рыбацкие «деликатесы» — всевозможные баночки, коробочки и прочие емкости с крючками — начиная со шведских двоек (кто представляет себе нумерацию крючков, тот сразу проникнется, о чем речь), которые, эти самые шведские номер два, столь малы и миниатюрны, что сами подпрыгивают от возбуждения и липнут к поднесенному пальцу, и кончая филиппинскими тунцовыми крючками, таинственно мерцающими своей вороненостью, и которые вполне выдержат «жигуля», если его поддеть под бампер...

Во втором ящике... Но не буду, не буду.. В самом деле... Это же сколь понадобилось бы времени и бумаги, чтобы только бегло перечислить все предметы второго ящика, а вовсе даже не обрисовывать и не обсказывать все особенности и свойства этих шедевров, как того хотелось бы.

А думаете, у Петрова этого добра меньше? Нисколько! А может, даже и побольше. По крайней мере, по чистому весу. Он ведь отдал под рыбацкие бабехи весь дачный чердак!

После всего этого о чем же можно поговорить с Сидоровым, если все свои крючки он содержит в подкладке полотняного кепарика, а все мормышки — в издерганном днище заячьего малахая?..

Обустроившись, Иванов пошел посмотреть, как застолбился Петров, какое у него местечко, какие глубины, на сколько удочек собирается ловить...

Потом оба пошли навестить Сидорова: как у него...

А как у него? Да никак... Подкормку не бросал, глубины не отмерял, поплавок не настораживал... Всего и дела: воткнул вербинку в песок, через нее пропустил закидную лесу, а в полуметре от вербинки на жилку нацепил круглый, еще цветущий красным казачьим сукном репей. Это у него сторожок вместо колокольчика. Сам же сидит возле на корточках, как китаец-мелкаторговец, глядит на заречный обрыв, на шныряющих в гнезде береговых ласточек, а может, вовсе не на них, а внутрь себя. Он неспешно попьхивает «Примой» в самодельном жасминовом мундштуке. «Прима» у него особенная: она в два-три раза дольше обычной, пачечной. Это курице ему приносит на дом одна работница с табачки. Она несколько раз обматывает себя неразрезанной сигаретной кишочкой, которую потом Сидоров режет на четвертные палочки и складывает в круглый ученический пенал для ручек и карандашей. Простые, короткие сигареты он не курит, в них, как он говорит, не хватает «цимусу».

Аккуратно смотав с работницы все ее приношения, Сидоров разжигает старый всамделишный самовар, выставляет чашки, и они садятся пить чай... Но это уже не по рыболовной теме.

— Ну, какие дела? — подсаживаются на песок его сотоварищи.

— А какие надо? — не меняя взгляда, попьхивает «Примой» Сидоров.

— Не клеет?

— Рано... Еще Коренная не звонила.

— Тогда так... — сказал Иванов. — Пока суд да дело, пока подкормка заработает, пока рыба на нее подойдет, пошли малость перекусим... По бутерброднику.. А то я за целый день сегодня ни разу не присел...

Дискуссия на этот счет не состоялась. Все трое молча встали с песка, молча отряхнули штанины и гуськом, протаптывая в песке стезю, побрели к палатке — Иванов, Петров, Сидоров...

Из рюкзака были извлечены: хлеб, кусок толстой вареной колбасы, мягкие белые стаканчики, которые тоже были встречены молча, с пониманием, как само собой разумеющееся. Они и на самом деле собирались перекусить просто так вот, стоя, чтобы сразу же вернуться к своим снастям. Сидоров даже отказался от бутерброда, а двумя жесткими непослушными пальцами, будто крабьей клешней, деликатно обжал легкую, воздушную посудинку, пробормотав в объяснение, что примет тридцать граммов из одной лишь профилактики, чтобы предупредить свой глоточный зуб.

— Да. — усмехнулся Петров, обнося всех коньяком, — в твоём деле, брат, лучше переупредить, чем недоупредить...

— Совершенно с этим согласен, — подтвердил Сидоров.

Бутылочка каким-то образом в один момент разошлась, как будто ее и не было. В каждом осталось ощущение какой-то недосказанности, что ли, так что пришлось достать еще одну.. Тут же вспомнили, что где-то должны быть свежие огурцы и даже белая редька... Потом отыскался большой оранжевый пласт копченого сала, еще лоснящийся свежими, налитыми оплывами, которое Иванов сам же и коптил на днях в дачной приспособке, но как-то про то в суматохе запомнил. Тут и не могло быть двух мнений: не есть же это все стоя, а потому Петров выволок из палатки брезент и распластал его на чабрецовой прогалинке, куда сразу же плюхнулся Иванов и даже преклонил колени Сидоров, чтобы сподручнее было принимать предупреждение...

Разговор сам собой перешел на оценку выпитого. Было определено, что нынешние коньяки — это и не коньяки даже, а, скорее, столярная морилка, которой пропитаны бледные ноги липовых стульев, чтобы придать им ореховый шик. Прежде коньяк выдерживали в дубовых емкостях, которые и придавали виноградному спирту специфический запах и вкус. А теперь в спирт просто валят дубовую стружку, три месяца — и готово! Такое, конечно, никуда не годится. Теперь — смотри да смотри, а то этакое всучат... На что был армянский коньяк, а и тот потерял всякую совесть...

— А у меня в отделе, — сказал Иванов, — один армянин работает. Степа Геворкян. Так он, как таможенный спаниель, коньяки по запаху распознает. Без всякой дегустации.

— Сквозь стекло, что ли? — усомнился Петров.

— Через пробку. Завязывает платком глаза, чтобы этикетку не видеть, и начинает обнюхивать, туда-сюда водить горлыш-

ком перед носом. И точно, все сходится: и чей розлив, и сколько звездочек.

— Было б чево нюхать... — хмыкнул Сидоров.

— У него дед был виноделом. Имел свою небольшую компашку. Занималась она только коньяками. Холтила их по своим семейным рецептам. Под строгим секретом. Там, оказывается, большие тонкости... Подай-ка, Сидоров, речки. А то у меня тут уже кончилась.

Сидоров пошарился вокруг себя и, нащупав в складках брезента уцелевшую редьку, подбросил ее в лапищи Иванова. Тот, шоркнув о штанину, отправил редьку в рот, с утробным хрустом раздавил ее за толстой щекой и продолжил разглашать секреты коньячной фирмы.

— Ну конечно, сперва выбирается сам виноград. Старый Аршак признавал только «Золотую Ларису». Почти утраченный сорт еще времен шумных никейских застолий. Эта древняя лоза еще сохранилась в некоторых селеньях по Араксу, говорят, видели ее также на молдавском белогорье. Пришедшие потом турки заменили ее никейское название, нарушили чистоту, и она, рожденная на азиатских склонах, окончательно потерялась в своих исконных местах. Но араратская «Лариса» — это вовсе не то же самое, что «Лариса» молдавская. Смотря что за земля, каковы ее минералогические и биогенные компоненты. Бывает, в соседних селеньях и то заметна разница: название сорта одно, а вкус, аромат не совпадают. В самой малости, но разнятся. Но даже если и совпадают, то есть, есть что-то помимо вкуса и запаха, нечто сокровенное, неизъяснимое и единственное. Старый Аршак называл это душой лозы. Она так же неповторима, как и душа человека.

— Ну, ты поешь, будто сам пробки нюхал. — Петров почесал затылок совсем так, как чешут потылицу на охотничьей картине Перова.

— А ведь Иванов верно говорит! — расчувствовался Сидоров. — У меня в деревне два брата. У Веньки картошка одна, а у Егора совсем другая. А семена — общие. Что за причина? А та, что у Егорки — усадьба на горке, поливай не поливай, все едино: вода там не держится. А у Веньки участок на ровноте, земля, как барыня, и картошка во какая, кажная по кулаку. Дак аж вон куда доходит эта разница: у Егора самогон с дурниной, отрыгаешь — аж мужи падают, а у Веньки — чист да светел и в питье, как сокол. А ты говоришь — Армения... Армения — это черт-те где, а тут — вот оно, Выхулевы выселки, вовсе рядом, а тоже чудеса!

— Такие чудеса у нас за каждым бугром, — отрезонил Петров, — скажи своему Егору, пусть марганцовку добавляет: всю заразу начисто вытравляет.

— Да уже пробовал...

— И что?

— Все равно разит...

— А противогазный уголь?

— Про это не знаю...

— Пусть попробует.

— А почему противогазный?

— Можно и просто уголь. Только не сосновый, скипидаром отдаст, и не березовый — тот пахнет дегтем. Лучше черемуховый, вкуснее. Или от боярки.

— Ну, ладно вам про Выкулевы дворы. — обиделся Иванов. — Я вам стратегические секреты выдаю. Нигде же больше не услышите такого... Человек на этих тонкостях состояние нажил...

— Ладно, валяй дальше. — согласился Сидоров. — Только как-то нескладно получается. Все про чужой коньяк да про коньяк, а у нас свое добро пропадает.

— Умные слова! — одобрил Петров. — Чем журавль в небе, лучше своя синица в руках. Давайте и мы по калочке...

Все трое живо сдвинули свои полиэтиленовые бесшумные стаканчики. И хотя должного звона не получилось, зато единство душ было воочию подтверждено. Давно минули сдерживающие угрызения, когда поначалу намеревались выпить только по единой, ну пусть по две, от силы — по три рюмахи. Незаметно, за дружеской беседой, в счастливом ощущении воли и простора, водного освобождения от городских дел и хлопот, в предвкушении таинства вечерней рыбалки счет стаканчикам был утрачен, пилось хорошо, легко, непринужденно, без перехвата дыхания, без обрыва мыслей, без подспудного возражения, совсем так, как если бы вкушали ключевую водицу, что неиссякаемо струилась на той стороне, под святой крутизной Коренной обители.

— Оказывается, главное в коньячном деле, — тучно лоснящийся Иванов пророчески воздел палец в вечернее небо, — вовсе не лоза и даже не земля, а — что бы вы думали?

— Солнце?

— Солнце — это само собой...

— Тайное слово?

— И не оно...

— А тогда что же?

— А вот покумекайте... Оно совсем близко...

— Ладно, не мурьжь. — Сидорову не понравился менторски вознесенный палец Иванова — Говори давай...

— Бочка! — победно провозгласил Иванов. — Ее Величество Бочка!

— Тоже мне секрет. — разочаровался Петров.

— А вот не скажи! Оказывается, главное таится в бочке. Как мне толковал Степа из нашего отдела, а ему — старый Аршак, а тому — многолетие прежнего опыта, бочка для будущего напитка все равно, что материнская утроба. Это под ее сводами в парах долгого дубильного процесса и таинственной дремы зарождается, взрослеет, набирается зрелости и благородства гордый напиток, чтобы потом, во всем своем совершенстве выйти в свет, к дружескому столу и вдохновить на братство и нерасторжимое соединение собравшихся вместе

людей. Берет дед Аршак маленький топорик, идет в горы выбирать материал. Оглядывает, какой дуб как обогрет солнцем. Иной с утра на свету, а иной — на заходе. Тоже — разница... На какой высоте первые сучья, то есть как идут древесные волокна, ровно или взавив... Так вот и ходит, метит топориком: это дерево срубить, это не надо. Меченые деревья потом повалят, свезут вниз, распилят, выдержат под навесом, наделают клепки, соберут бочки... А дед Аршак все шастает по мастерской, все принюхивается: по клепке туда-сюда носом поводит, в готовые бочки с головой залезает.

— Так оно, конечно, — соглашается Петров.

— погоди, это еще не все... Бочку заливают коньячным спиртом и свозят в порт. Там дед Аршак договаривается с каким-нибудь шкипером-каботажником, тот забирает груз на шхуну и отчаливает по своим делам. Шхуна плавает туда-сюда: то в Поти, то в Бердянск, а бочки тоже катаются туда-сюда, качают свое содержимое, доводят его до ума. Перед зимними штормами спиртовые бочки спускают в подвал на полный покой. А весной опять на палубу, на солнечный обогрев, на мерную волну. Так и нагуливаются коньячные звезды: один сезон — одна звездочка, пять сезонов — пять звездочек...

— Ну, это совсем другое дело, — одобрил Петров. — Тут уже без дураков.

Все было бы славно, если бы не этот Сидоров, который возьми да сплюнь:

— А, ерунда!

— Что ерунда?

— Да ерунда все это...

— Да что — ерунда-то?

— Всякие там коньяки...

— Как это — ерунда?

— Ерунда — и все, — стоял на своем Сидоров.

— Не понимаю... Тогда зачем пил?

— Ну дак я... это... Я ведь не для себя... У меня — зуб...

— А что же, по-твоему, не ерунда? — допытывался Иванов.

— А не ерунда — вот!

Сидоров достал из авоськи и выставил свою перцовую. Два огненных стручка на этикетке выглядели как скрещенные мечи. Это производило магическое впечатление. Иванов тут же облапил посудину, зубами сдернул с нее головной убор и разлил по стаканчикам.

— А ну, посмотрим...

Пока дегустировали, опять польхнул спор. Иванов обозвал перцовку тоже ерундой и даже хуже — жидкостью для удаления ржавчины, на что Сидоров одностонно твердил:

— Нет, я с ним не согласен. Перцовка — это вещь.

Петров постепенно стал принимать сторону Сидорова, соглашаясь, что некоторые настойки действительно хороши. Он не может ничего сказать о перцовой, но вот калгановая!..

— Будь лопата, — сказал Петров, — пошел бы сейчас и накопал этих чудодейственных корней.

— А на чем настаивать? — усомнился Сидоров.

— Да есть у меня! — сказал Петров, доставая со дна рюкзака бутылочку белой.

Тут же засомневались, растет ли где-либо в окрестностях этот самый калган, которого, как оказалось, никто никогда не видел — ни Иванов, ни Петров и ни Сидоров, в конце концов решили водку выпить без калгана, тем паче что это была особая — коренская, на святой основе — кто же бежит от добра искать другое добро, которого, может, и нет в здешних местах!

В небе зависла огромная луна, слегка притуманенная земной теплынью. Оказалось, что была уже глубокая ночь, что никто так и не услышал вечерних звонов, на фоне которых мечталось поудить.

Перед палаткой над ворошком незажженных дров холодно мерцал котелок с водой, приготовленный для ухи...

Петров еще успел добраться до палатки и там отключился сразу же, облепленный комарами. Иванов же сник прямо на чабрецовом бугорке и басово, с примесью тонких подголосков захрапел, будто растягивал и опять сводил прохуdivшуюся гармонь...

А, в общем-то, ничего особенного и не случилось. Наоборот, событие это весьма типичное и распространенное среди нашего брата-удильщика. Отъезжая на природу на два-три дня, Иванов с Петровым да Сидоровым взяли на два-три дня и этого самого дела... Чтобы по граммашке за обедом и ужином хватило на все время поездки, а выпили за один прием... Вот и вышло: хотели как лучше, а получилось как всегда...

Оно и неудивительно: ведь какая свобода, какая воля, какой воздух! А — поговорить?..

И только Сидоров, уйдя к своей закидушке, к закрывшемуся на ночь репью на светлой озаренной леске, остался сидеть на пустынном голубом песке, под сощуренным взором плосколицей половецкой луны.

Закурив свою долгую «Приму», он изготовился ожидать роковой час зуба...

2

Утром, уже при солнце, Иванова растолкали.

Он с трудом разлепил не желающие ничего видеть глаза.

Над ним стоял Сидоров.

Его раздувшаяся правая щека была перевязана не очень свежим носовым платком с желтыми табачными полосами на стибках. Но событием оказалось не это, а то, что в высоко поднятой руке он удерживал сетчатый садок, в котором, тяжело обвисая, хапал утренний воздух огромный, ну ей-бо, килограмма на два с половиной, не язь даже, а яз-зище! Он был так туго сбит, так тучен, так стеснен своей бронзо-

вой кольчугой, каждая чешуя которой гораздо превышала три копейки, что и не подпрыгивал даже, не старался как-либо высвободиться из садка, а только пускал розовые пузыри и вяло шлепал огромным темно-бордовым хвостом.

— Ух ты! — наконец дошло до Иванова, и он враз подскочил на ноги.

Таким же способом был извлечен из палатки заспанный и погрызанный комарами Петров.

— Вот это да-а! — воскликнул он обалдело. — Вот это начальни-и-ик! На что попался-то? На закидку?

— На что же еще?..

— Ты скажи... На эту узявую леску с железной забабахой? Никогда не угадаешь. А я все японские телескопы покупаю... Давно поймался?

— Да вот только что...

— Сильно дернул?

— Да нет, — сказал Сидоров. — Слегка репьем пошевелил... Подумал — ерш, а это вон какая чуха... Потом как попер! Как давай сальты выделывать! Думал, сойдет...

— Ну, брат Сидоров, — потер ладони Петров. — С тебя бутыленция...

— Фигушки, — сказал Сидоров. — Это с вас бутылка. Вы всю ночь дрыгли, а я вот видишь... Все бутылки оглядел — нигде ничего. Хоть бы граммушку оставили. Все подчистую... А зуб, как на-зло. Щеку разнесло... Только солнце встало, а он как давай... Так что с вас причитается, если по полной справедливости. Вы в сельпо мотайте, а я ушицей займусь... Лады?

Идти на поселок, по правде говоря, никому не хотелось. Неизвестно, как у Сидорова, а у Петрова и особенно у грузного Иванова со вчерашнего было чертовски нагажено в голове.

Тем временем, по всему было видно, разгорался ярый удушливый день без единого облачка, а до поселка, считалось, около трех километров пересеченной местности. Но и Сидорова тоже не пошлешь: с раздутой щекой, перевязанной чумазым платком, местные осадмилы вполне примут за типа без определенного места жительства. Но идти все равно кому-то надо: в лагере не осталось ни куска хлеба, ни даже соли, баночку с которой кто-то вчера опрокинул и раздавил. А шофер заедет за ними только вечером, так что весь день предстояло просидеть «на бобах».

С другой же стороны в предстоящем походе были и плюсовые моменты: возле поселкового моста можно выкупаться и освежиться, а на самом поселке поискать пива...

Попив из котелка холодной водицы, Иванов с Петровым отчалили.

Часа через полтора они благополучно доплелись до поселка, одолели крутой взъем и, расспросив, где тут и что, наконец набрали на прохладную изнутри сельповскую лавчонку, не имевшую окон и ос-

вещающуюся лишь открытой дверью. Они купили бутылку какой-то невзрачной водки (другой не было), ковригу хлеба местной выпечки, три минералки, две из которых тут же выпили, и вернули пустые бутылки, а третью оставили Сидорову. Пришлось также купить кирпич слежалой соли. Для ухи требовалась какая-то щепоть, но соль щепотями не продавалась, из-за чего, выйдя из магазина, Иванов постучал пачкой об угол, отсыпал сколько-то в целлофановый кулек, а остальное оставил на сельповских ступенях.

Выпитая минералка несколько не помогла. Побродив по поселку, они возле автобусного пустыря все же выглядели пивную будку, еще издали разившую кроличьей подстилкой. Они взяли две стеклянные банки бочкового пива и отошли в тенек под лохматую ракигу, по низу объединенную козами. Козы и сейчас ошивались тут. Петров, хватая их за раскосые рога, вытолкал всех на солнцепек. Под деревом оказалось несколько тарных ящиков, видимо, местные пивники устроили тут свой вертепчик. Не присаживаясь, выпили по первой банке жадно, с булькающим заглотом, чувствуя, как в голове, будто в разгромленной забегаловке, кто-то начал передвигать и ставить на место опрокинутую мебель, распахивать в Божий мир сохшиеся створки окон. После второй банки в попрохладневшей голове-забегаловке приятно замурлыкала Лайза Миннелли...

Покидая поселок, они поплескались в реке, возле моста и, окончательно обновленные, азартно гнали перед собой пустой пластиковый бачок из-под машинного масла, перепасовывая его друг другу.

За дренажной канавой легко минули заросли дудника и как-то незаметно выбрели на луговину с куртинками молодой лозы, за которыми обозначалась река и проступил острый скос палатки.

— Что-то дыма не видно. — насторожился Иванов. — Обещался же сварить уху к нашему приходу.

— Поди, сварил уже...

— Ну да! — поморщился Иванов. — Завалился и спит.

— Сейчас увидим.

— Слушай, Петров. — оживился Иванов. — У меня идея!

— Что за идея?

— Давай Сидорова разыграем.

— То есть?

— Скажем, что магазин закрыт на учет. Во взовьется!..

— Давай... — одобрил Петров.

Они поставили бутылку под ивовый куст, так, чтобы не очень застилась травой, со стороны, противоположной реке, заломили веточку, потом еще оглянулись, чтобы самим не потерять ориентиры. Похожих лозняковых куртин на лужку было множество, но если смотреть по азимуту от палатки, то на этой прямой тайный кустик оказался четвертым. Через несколько шагов они решили спрятать и ковригу хлеба.

Сидоров увидел их еще на подходе и вышел из-за палатки навстречу.

Иванов вдохновенно помахал ему минералкой, и тот приподнял сжатый кулак над перевязанной щекой в духе «Но пасаран!».

— Слушай, Сидоров, — все так же бодро при встрече воскликнул Иванов, дружески кладя ему руку на плечо. — Куда ты нас посылал?

— А что?

— Там же сплошной сандень.

Сидоров покосился на бутылку в руке Иванова.

— Вот, — перехватив взгляд Сидорова, сказал Иванов. — В аптеке едва выпросили. И то одну штуку.

Сидоров еще некоторое время шел рядом с Ивановым, но потом снял с плеча его руку и зашагал один. Верхняя его губа как-то непроизвольно увеличилась и, будто большая садовая улитка, наползла на нижнюю и как бы поглотила ее. Это означало, что Сидоров отрешился и замкнул вход в собственное «я»...

— Ты что — обиделся? — недоумевал Иванов. — Обиделся, да?

Сидоров не ответил и только прибавил ходу.

— Ну, это ты напрасно! А что, зуб по-прежнему донимает? Слушай, может, минералочка поможет? А? Попробуй с солью... Вот, у одной бабки разжились. Ты, поди, уху без соли варил? Или еще не брался?

Сидоров резко повернул влево и зашагал прочь, сделав первые два-три шажка резвой пробежкой.

— Ну, Сидоров! — укоризненно покачал панамой Иванов. — Это ты зря!

Сделав по прибрежной отмели зигзаг, обозначившийся его следами на белом раскаленном песке, Сидоров сбежал вниз, к реке, и решительно сел возле своей закидушки, будто воткнулся острым задом в песок.

— Что будем делать? — осведомился Иванов у Петрова.

— Не надо было ему про минералку. — Петров задумчиво поскреб отросшую щетину (замечено, что после выпивки борода отрастает вдвое быстрее).

— А что тут такого? — усомнился Иванов, созерцая недвижную фигуру закидушника.

— Он из-за минералки обиделся. Человек три часа ждал облегчительный глоток, а ты ему боржом суешь... Он и оскорбился.

Иванов озабоченно обошел Петрова по песчаному кругу, и от его следов сами собой получились древнеегипетские часы, стоя в центре которых Петров отбрасывал тень на полдень или около того.

В лагере наступила тягостная бессловесная тишина, усугубляемая зноем.

Выдержать это было невозможно, и через полчаса Иванов сошел к реке и тихо подсел к Сидорову. По другую сторону присоединился Петров.

Некоторое время пришельцы сосредоточенно следили за висевшим на леске репьем, который, воспринимая сообщенное леской движение водной массы, слегка вздрагивал, а иногда плавно опускался и поднимался на едва заметные доли.

Колебания репья интриговали и завораживали, и в этом, надо полагать, и заключалась прелесть закидного ужения, которое Иванов и Петров, пожелавшие идти в ногу с современными склонностями, весьма и весьма недооценили.

— Слушай, Сидоров, — смиренно проговорил Иванов. — Ты способен на милосердие?

В ответ — знойно звенящее молчание.

— Ну прости нас, а? Меня и Петрова.

Сидоров продолжал молчать.

— Простишь, да? Пошутили мы... Ну, нетонко, неудачно пошутили... И над кем? Над нездоровым человеком... Его вон как разнесло без профилактики, а мы к нему — с минералкой... Нехорошо, конечно, получилось...

Сидоров резко шевельнул задом, еще глубже якорясь в песок. Иванов вкрадчиво положил руку на Сидорово плечо.

— А бутылку-то мы все-таки принесли, — сказал он ему на ухо. — Честное пионерское. Петров, подтверди!

Петров ковырнул ногтем большого пальца по передним зубам.

Сидоров не прореагировал и на это, но руки с плеча не сбросил.

— Правда, бутылка была не очень высокой родословной. Но зато наша, земляческая. Из родимых грунтовых вод.

— Покажи! — резко пальнул из своей крепости Сидоров.

— Да видишь ли... Мы показать ее не можем... — сказал Иванов.

— Не понял... — опять непримиримо пальнул из башни Сидоров.

— Видишь, какое дело... Мы ее под кустом спрятали. Хотели маленько пошутить... Ты знаешь... Мы всегда шутим...

— Ничего себе шуточки! — глухо проворчал Сидоров, как бы отпирая свои внутренние засовы. — Нашли чем шутить. Их по-людски ждут, а они шутят. А у человека — зуб...

— Ну все, все, Сидоров, — смягчился Иванов. — Давай, кончай свои закидоны. Пойдем, покажем, где она стоит. Или лучше один сходи, сам убедишься, своими руками потрогаешь. Может там же отхлебнуть маленько...

Сидоров, недобро сощурясь, измерил сверху донизу сперва Иванова, потом Петрова и, сделав какой-то вывод, поднялся с песка.

— Пошли, — сказал он решенно.

За палаткой Сидорову рассказали и показали, под каким кустом следует искать бутылку.

— Вон, гляди, на том кусте только что сорока сидела. Устк?

— Ладно, схожу.

Сидоров побрел сутулой походкой минера, как бы готовый к непредвиденному.

Он прошел первые кустики, не обращая на них внимания, минул вторые и только на третьей опояске оглянулся на Иванова и Петрова.

— Давай, Сидоров. — подбадривали те. — Старайся! Вспомни, где сорока сидела...

Сидоров принялся ходить от куста к кусту. Возле некоторых куртинок он останавливался, поднимал нависавшие ветви, шуровал под ними лобыстинкой.

Наконец он зашвырнул прут и повернул обратно.

На полпути к палатке он вдруг опустил на траву и сел в своей типичной позе, когда ненужные руки свисают с воздетых колен.

— Слушай, Сидоров. — крикнул ему Петров. — Ты чего вернулся?

— Да нету там ни хрена!

— Я ж тебе кричал: где сорока сидела...

— Какая там сорока? Врете вы всё...

— Ну, не врем, не врем... Просто ты не там смотрел.

— Где сказали, там и смотрел...

— Вот слушай внимательно. — возвысил голос Иванов.

— Никуда я больше не пойду. — уперся Сидоров.

— Ну, как хочешь... А она, сердешная, все-таки существует. Ты тут сидишь, а она там стоит. В тридцати шагах от тебя. Вот ведь какая диалектика, Сидоров. Такая природа вещей!

— Пошел ты...

3

Все, однако, разрешилось как нельзя лучше.

Поостыв, сидя в траве, Сидоров согласился еще на одну попытку и отыскал-таки искомое! Бутылка оказалась вовсе не там, куда прежде посылали его, но, несмотря на это явное коварство, Сидоров впервые просиял улыбкой младенца, в руки которого попала потерянная было пустышка.

— Вот она! — потряс он окрестности торжествующим кличем аборигенов с Атабаски и приподнял над белым кепарем посудину, испустившую на солнце спящие зайчиковые блики.

Однако искать запрятанную ковригу он решительно отказался, предпочтя заняться костром.

К слову сказать, хлеб был замаскирован так искусно, что даже сам Иванов, прятавший ковригу, не смог вспомнить, куда он ее девал, он вынужден был позвать на помощь Петрова.

А пока те двое шарились в кустах, вдохновленный Сидоров успел раздуть теплинку, повесить на рогатинках котелок со свежей водой, почистить картошечки, ошкурить луковицу, ополоснуть пучок укропа. Все это было положено в котелок еще до кипения, как и дожина душистого перца, столбик гвоздики и самую чуть сухой кинзы, и только пару лавровых листиков Сидоров подоткнул над ухом под кепарнк, дожидаясь нужного момента.

— Ух ты! — потянули носами вернувшиеся поисковики. — Все сороки на дух слетелись. Вон, смотри: одна, две... вон еще одна подлетает... Сороку дух пленил...

— Какой дух... — возразил Сидоров, прикуривая «Приму» от горящей веточки. — Я еще рыбу не клал.

— А что, разве еще не пора? — голодно осведомился Петров.

— Да оно пора: вон как булькает! — директивно высказался Иванов.

— Пора-то пора... Да мне нельзя в воду. Я теперь с «плюсом». А за рыбой надо в воду лезть. Я садок аж вон куда — на глубокое поставил, чтобы солнце рыбу не томило... Из снулого язя и уха сонная, без живинки...

— А в чем дело? Петров, давай...

— Что — давай?

— Лезь за рыбой. А то картошка переварится...

— Что значит — лезь... Я с поселка всю дорогу кошель нес, а ты луговые цветочки нюхал... и потом: мне вода по грудь, а тебе — по коленки, тебе и лезть. Надо все по-разумному.

— Так вода теплая! Лето же! — настаивал Иванов. — Заодно и ополоснешься.

— Вот ты и ополоснись, от тебя жаром несет, как от калорифера. А у меня еще на кеде шнурок затянулся. Это тоже надо учитывать.

— Я таких жлобов еще не видел. — возмутился Иванов и решительно сбросил джинсы. — В таком случае — рыба голова моя!

— Фигушки!

— А что — твоя? Ну, ты — наха-а-ал!

— Будем тянуть спички. — не согласился Петров. — Чтобы все по пути.

Песок уже полдневно обжигал. Спускаясь к воде, Иванов непроизвольно поддергивал ступни, будто шагал по раскаленной сковороде. Следом бежал Петров — просто так: поболеть, поглядеть, чтобы все по-разумному...

Отмель полого и светло уходила под зеленоватую воду. Было видно, как за ночь беззубки нарыли замысловатых лабиринтов, напоминавших древние орнаменты. В нескольких шагах от береговой кромки торчала ивовая рогатина, на которую горловиной был надет плетеный садок с пойманным язем. Речная стрекозка, эта крошечная балеринка в синей прозрачной юбочке, как ни в чем не бывало взлетала и вновь садилась на ивовый торчак, нисколько не боясь огромной рыбины, таившейся в объятиях садка. Будь язь на свободе и в такой близости, он не преминул бы поцеловать беспечную балеринку в разлетную юбочку..

— А вода!.. — возликовал Иванов, войдя по колени. — Дурак ты, Петров, со своим таким же кедом! На, гляди и завидуй!

Не дойдя малость до садка, Иванов вдруг по-тюленьи, всем своим розовым пузцом вломился в изумрудное зеркало реки. Над ним вскинулся сверкающий взрыв обрушенной воды, рассыпавшейся на пирамиды брызг и солнцесверканий. Плядя на этот блаженный

хаос. Петров наверняка подумал, что именно так где-нибудь на берегах Танганьики плюхаются в озерную прохладу перегревшиеся гиппопо и другие подобные кубатуры.

— Ого-го-го! — взревел Иванов, высывая из воды одну только круто обсосанную голову, и от его утробного клича тут и там выпрыгнуло из воды сразу несколько перепуганных плотниц и даже нечто покрупнее...

Воспрянув в полный рост, Иванов отер лицо сразу обеими ладонями и показал Петрову самодовольно загнутый большой палец и лишь после этого приступил к главному делу.

А дело состояло в том, чтобы снять с рогульки садок и доставить его на берег. Иванов так и сделал: ухватил садок за дужку и осторожно приподнял.

Садок оказался...

Ну что там говорить при виде такого... Даже у меня, стороннего и непричастного человека, перо вздрогнуло и пошло писать не в ту сторону..

Что же говорить о непосредственных свидетелях этого события?!

Больше всего оно схоже с тем, когда оказывается вскрытым сейф, а его обладатель враз становится нищим...

Садок тоже был как бы вскрыт, потому что в самом его днище зияла огромная рваная дыра, в которую можно было просунуть голову..

— Ты что натворил?.. — заорал потрясенный Петров и, набрав сырого песка, запустил ком в обескураженного Иванова. — Ты что наделал, ханыга?!..

— А что я?

— Как это — что? Тебя за это линчевать мало!

— Я же ничего не делал... — оправдывался Иванов. — Ты же все видел...

— Да, я все видел и поклянусь на любой Библии, что это ты, несчастный, натворил.

— Да что? Что?

— Как — что? Смотрите на него! Он еще не понял!.. До него не дошло! Да ты же у рыбы под самым носом шарахнулся со всего маху! А у тебя сырого мяса — сто восемнадцать килограммчиков!.. Этакого стихийного бедствия ни один садок не выдержит, тем более твой — давно прогнивший, который ты, накопитель японских телескопов, почему-то упорно не хотел заменить. Может, оттого, что никогда ничего не ловил, несчастный?

— Как это — не ловил?! — взмахнул пустым садком Иванов, все еще стоящий по трусики в воде.

— А-а! — вспомнил Петров. — Извиняюсь: ловил, ловил. Камбалу! Лучше бы Петров такого не говорил, потому что это было равносильно удару ниже ватерлинии...

Да, действительно, случай такой был. Вот так же, втроем, ловили на песчаном карьере. У Иванова стояли тогда три превосходных чер-

ных японских спиннинга. Один — с колокольцем. Было безветренно, душно, особенно под обрывистым берегом. Иванова разморило, и он, насунув панаму, задремал на своем стульчике. Пользуясь этим, Петров пробрался в лагерь Иванова, снял со спиннинга бдительный колокольчик, смотал снасть, вместо живца-малявки нацепил сырокопченую камбалу, которые тогда входили в праздничный спецпак. Камбалу удалось бесшумно спровадить на дно, колокольчик был водворен на прежнее место, а чтобы он пробил «полундру», то есть — «все наверх!», — Петров из укрытия принялся пулять в него мелкими камешками. В какой-то раз он все-таки попал, колокольчик обиженно пожаловался спящему Иванову, тот вскочил, сделал энергичную подсечку и принялся нетерпеливо накручивать катушку, и вот тебе — камбала!.. Остальное представить нетрудно. Иванов долго гонялся за Петровым, разумеется, так и не заловив его по причине разности веса.

На этот раз дело дошло до того, что Иванов, взъярившись напоминанием о камбале, кинулся преследовать Петрова, но тот так резво стреканул в дикое половецкое подстепье, что Иванову осталось только издали погрозить ему кулаком.

— А в чем дело? — озаботился Сидоров, подходя к возмущенному Иванову с деревянной ложкой, которую успел выстругать из ракитовой коряжки. От ложки остро, возбуждающе пахло варевом. — В чем, спрашиваю, дело?

— Рыба ушла! — возопил Иванов.

— Как — ушла? Куда ушла?

— Куда, куда... В одно место.

— погоди, Иванов. А кто говорил, что уха бывает только с укропом? Если с укропом — то пожалуйста к столу.

— Ты что, не понял? — побагровел Иванов. — Рыба ушла! Язь! Накрылась уха! Дошло?

— А-а... — как-то равнодушно кивнул Сидоров. — Дак это я ее накрыл... Вот пойдём...

Он отвел Иванова в сторону, под навес старой береговой раки-ты, и там приподнял с травы огромный лист лопуха с торчащим кверху стеблем.

Под лопухом, на таком же зеленом листе, важно возлежал начальственно взирающий язь, не подозревая, что его уже выпотрошили и слегка посолили.

Иванов для убедительности потрогал рыбий глаз пальцем, почувствовал его прохладную очевидность и, выпрямившись и поднеся ко рту ладони, прокричал убежавшему в пойму Петрову:

— Ладно, выходи... Не трону! Всё — по нулям!

4

Я не стану далее описывать само пиршество: как в тенечке и прохладе молодых ивиц разостлали выдавшую виды самобранку, против каждого положили по лопушку — для сплевывания рыбных

косточек, а также выставили белые легкие стаканчики: как был торжественно доставлен черный, с пепловой сединой старый рыбацкий котелок, уже давно ставший всеобщим дружкой и сегодня источавший потрясающий запах, от которого нетерпеливо вздрагивали ноздри и который приводил к мысли, что истинная свобода должна пахнуть рыбацкой ухой: как кто-то сходил к вырытому в песке колодчику, где до поры охлаждались две подружки — водочка и минералочка, которые и были водружены середь честной компании и обозначили собой кульминацию момента...

Я только под конец замечу, что, когда водка была при полном молчании налита в приподнятые бокальчики и было произнесено неувядаемое гагаринское «Поехали!», Петров, прежде чем поднести к губам свою чарку, едва заметной скошенностью глаз задержался на Иванове. А тот в самый раз вскинул руку и с каким-то неудержимым замахом и вдохновением опрокинул в розовый рот содержимое своего стаканчика. Но Петрова интересовал не этот момент, а как после выпитого Иванов вдруг выпучил глаза и на какое-то время замер в страдальческой гримасе.

— Это же вода-а! — вымолвил он наконец потрясенно.

После такого известия Петров благоразумно опустил свой стаканчик. Сидоров, понюхав посудину, тоже повременил.

— Какой же это мерзавец...

Петров и Сидоров переглянулись: мерзавцев не было.

Просто все произошло само собой. С охлаждавшихся бутылок слетели этикетки. Кто-то попытался вернуть их на прежнее место, но, видимо, не совсем удачно: на боржомовую бутылку попала этикетка водочная, а на водочную — боржомовая. Бывает!

Зато потом, когда разобрались, вновь искренне и дружески зазвучало:

— Ну, будь, Иванов!

— Будь, Петров!

— Будь здоров, Сидоров!

Тогда же всем участникам торжества было вручено по самой крупной язевой чешуе, каждая из которых, право, превышала пять копеек...

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!..

*Дмитрию Борисовичу Спасокому,
заслуженному биологу*

Как-то прибирался я на книжных полках, приводил в порядок разновеликие и разноименные творения, скопившиеся за многие десятилетия. Иные давненько не брал в руки, хотя и по-прежнему любил ровно и преданно за одно только их существование. Попалась оранжевая книжка стихов Александра Яшина с памятной веткой рябины на обложке. Эта ветка служила как бы символом,

смысловым знаком всей его горьковатой и обнаженной поэзии. Разломил книгу наугад, в случайном месте, и вот открылись строчки, словно завещанные ушедшим поэтом:

*Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.*

А ниже звучит и вовсе моляще:

*Сколько гибнет их — не счесть...
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.*

Право, достал, достал меня Яшин этой своей тревогой, будто больно пнул мою совесть, умиротворившуюся было тихим сентябрьским деньком.

Не закрывая книги, я подошел к окну. А там исподволь уже делалось вот что: за минувшее лето уличные березки своими верхними побегами дотянулись до моего балкона на пятом этаже. Концевые листочки еще по-летнему весело и беспечно полоскались друг перед дружкой: «Я так могу, а я так умею!» Но первые утренники уже поместили их обманной лимонной нежностью, определив срок, когда порыв близкой невзгоды бросит их под ноги прохожих или вовсе унесет невесть куда.

А давно ли над этими березовыми вершинками с ликующим визгом проносились вставшие на крыло молодые стрижи, иногда в азарте и юной неловкости задевавшие бельевые прищепки на балконе, которые и сами походили на вилохвостых ласточек, присевших передохнуть на протянутые веревки.

Стрижи исчезли в самый день яблочного Спаса, когда в соседнем школьном саду еще дозревали, багряно полосатели отяжелевшие штрифели, аромат которых в открытое окно опахал и мой письменный стол, отчего казалось, будто лето остановилось в своем необратимом благоденствии. Но как раз в этом голубом августовском безвременье внезапно обломившаяся тишина повисла гнетущей пустотой и неудобом. Нас всегда смущает всякое прикосновение времени, его рокового перста. Неожиданный отлет стрижей и был знаковым предвестником надвигавшихся перемен, а мы, пребывая в ложном ожидании грядущей вечности, не всегда горазды уловить эти вкрадчивые перемены.

А между тем в легком перистом небе уже заходили предзимними хругами хороводы повзрослевших грачей. Они кружили высоко, на пределе своих возможностей, почти без взмахов, распластавшись крылами. Их гортанный переключек едва долетал из поднебесья. Грачи предавались доступной им радости своего бы-

тия, взмыв над неприютной и всегда враждебной землей, на которой приходилось пребывать озираясь, а крылья держать наготове, будто взведенные курки. Эта радость кружения была выше радости сытости и покоя, потому что приходила вместе с чувством свободы. С бывалыми, умудренными птицами кружил молодняк, обучавшийся лету — крутым виражам и захватывающему скольжению с посвистом ветра в упругом, молодом пере. Должно быть, каждый взлетевший впервые испытывал ликующую гордость от ощущения себя птицей, не ведающей, что ждет ее там, внизу, когда вскоре земля окутается снегом и грянут цепящие морозы.

Синицы объявились прилюдно только с первой прохладой. Они не попадались на глаза все минувшее лето, и даже не было слышно их тонко зинькающего голоса. В летнюю пору, поглощенные семейными хлопотами, они напрочь исчезали из виду и вели скрытную, неслышную жизнь в кронах окрестных деревьев, порой прямо у нас над головой. Да и до песен ли, до праздного ли мелькания, пока не оперятся, не поумнеют, не усвоят, что такое кошка, все десять, а то и пятнадцать голопузых пiskuнов? И каждый, едва только забрезжит свет, уже пуще другого разевает оранжевую глотку: дай, дай, дай! Вот и крутись, мать-синица, с утра до вечера: в гнездо с букашкой, из гнезда с какашкой... Сказано это не ради смешка. Если за оглоедами не убирать, то вскоре этим непотребством гнездо наполнится до крайнего предела.

Да и сами-то букашки — они ведь не на каждом кусте, не на всяком листе. Их еще и разыскать надобно да исхитриться поймать. Те ведь тоже умеют прятаться или притворяться не тем, что они есть. Да еще желательно, чтобы добыча была не кусача, не растопырена во все стороны. А то иная гусеница так устрашающе волосата, будто ерш для чистки бутылок, а малиновый клоп этак вонюч, что с души воротит. А пуще всего подавай им пауков, что развешивают свои тенета меж кустов и построек. Их брюшко наполнено уже готовой белковой кашцей, которую они сами высасывают из мягкотелых насекомых. Такой паучок для птенца сущее лакомство, за которое он готов выклевать глаз своему братцу и даже вытолкнуть из гнезда.

Все эти премудрости мамаше надо знать, чтобы не летать попусту, не носить в гнездо напраслину. В иной день до трехсот вылетов приходится совершать родителям в поисках завтраков, обедов и ужинов для своих ненасытных чад. А в иное благоприятное лето, не дав себе опомниться, собраться с новыми силами, синичья пара заводит новую кладку. И все начинается сызнова: туда-сюда, туда-сюда с рассвета до заката, без отгулов, без выходных. Поглядишь на эту птаху-кроху — в чем только душа держится: комочек перьев на тонюсеньких ножках да пара бусинок черных глаз, а какая материнская отвага, какое самопожертвование! А то бывает: папаша

еще докармливает первый выводок, а синица-мать тут же, поблизости, в запасном гнезде, насиживает яички второго захода...

Наш великий классик Пушкин как-то не подумавши написал:

*Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда...*

Ой ли, однако!

И все же напрашивается вопрос: зачем синице так напрягаться, выбиваться из последних сил? Для чего заводить такую уйму выкормышей? В чем смысл такого самопожертвования?

А резон тот, что уж больно много этих милых, веселых, никогда не унывающих птичек погибает в лхие зимы. Из дюжины выращенных птенцов одолевают холода едва ли две-три синички. Оттого генетический механизм устроен таким образом, что синицы, дабы вовсе не сгинуть со свету, вынуждены выращивать потомство: большим запасом, как бы упреждая беспощадные зимние потери: хоть кто-нибудь да уцелеет... Такую жестокую дань они платят за то, чтобы не покидать свою родину, не искать чужого тепла и сытости, как делают иные, а еще для того, чтобы с первым дыханием эсны оповестить округу своим веселым, вдохновенным треньканьем. Одолеть невзгоды и встретить желанную весну — надежду всего сущего в мире — воистину дорогого стоит!

И Александр Яшин напоминает нам об этой удивительной верности:

*Разве можно забывать:
Улететь могли б,
Но остались зимовать
Заодно с людьми.*

В предзимье каждый выводок начинает совершать кочевые блеты того участка, который достался ему как бы в родовое наследство. В соседнем школьном саду перепархивают синички одной семейки, тогда как насаждения нашего переулка — уже ютчина другого выводка. Всякое посягательство на чужую собственность пресекается строгим синичьим законом. Свои хорошо знают друг друга и ревностно следят, чтобы в их владения не слетали чужаки — особи без определенного места жительства или, по-нашему, — бомжи.

Садовый участок, конечно, побогаче, поукормистее уличного. Там растет десятка полтора фруктовых деревьев, в шершавой, расресканной коре которых много укромных затаек для всяких куко-к и зимующих яичек. Кроме того, яблони имеют широко распростертую крону и не все листья опадают с похолоданием. От укусов асекомых под воздействием специальных ферментов эти листья обрачиваются в трубочки, фунтики и прочие пригодные упаковки, в которых и зимуют зародыши будущих вредителей. Но кроме

яблонь и груш в саду много и чего другого: вишенника, смородины, непроходимой черноплодки и даже ломкой пустотелой бузины, из которой получают отменные трубочки для стрельбы на уроках жеваной бумагой.

Владельцам же уличного участка скоротать зиму намного хлопотней. В их распоряжении всего-то несколько березок, парочка рябин, куст всегда пощипанной черемухи, костлявая неприютная акация, с которой даже собачата избегают общаться...

А еще разогнавшийся было в рост молодой каштан, этот лопухий и простодушный верзила, которого вскоре и обрубил с одной стороны, чтобы не мешал телевизионной антенне. Впрочем, каштан у синиц не считался гостеприимным деревом: он рано сбрасывал свою квелую листву, в неприступных колочих плодах не заводятся червоточины, а ветви его просты и незамысловаты для укрытия поживы.

Что и говорить: не велик и не густ лес в нашем переулке, всех его щедрот едва ли хватит, чтобы можно было десятку синиц безбедно скоротать предстоящую зиму.

Ну, допустим, в октябре, когда еще не вся листва опала, удастся отыскать какое-никакое пропитание: глядишь, синяя муха села погреться на теплую, озаренную солнышком древесную кору и даже довольно потирает лапкой об лапку; а вот еще не нашел себе места для зимовки паучишка, торопко сучит-сучит свою паутинку, спешит спуститься на ней куда-то поугромней; а то и шальная бабочка, будто с похмелья, вдруг неловко затрепыхает своими цыганскими оборками над сладко, обманно повеявшей на нее черемухой. Но сколько понадобится усердия и сноровки, чтобы хотя бы раз в сутки склевать что-либо съедобное в промозглом, то сыплющем моросью, то секущем колючей крупкой ноябре? И сколь раз синичка с надеждой постучится в окно, заведя зелень на подоконнике? А в пугающем омертвелостью голых ветвей декабре? А в крутом, заиндевелом январе? А там еще и февраль — не подарок, и, считай, половина марта — не мед.

Каждый день стайка синичек из конца в конец облетает свой небогатый, задымленный автомобильными выхлопами уличный участок. Уже давно развернуты и обысканы подозрительно скрюченные листья, обследованы все трещины и щербатинки на каждом стволе, все развилки и надломы в кроне. Но все реже и ничтожней добыча, все чаще и неотвратимей пустые бескормные дни.

И вот, сколько ни старайся, сколь ни оглядывай уже много раз осмотренные места, наконец приходит то роковое время, когда ничего не нашедшая, окончательно выбившаяся из сил, голодная, мелко вздрагивающая птаха забивается в свое гнездовье, а то и просто в какую-нибудь застреху или поленницу дров, где столь же люто, как и снаружи, где по-нашему не включишь свет, не затопишь печку, не нальешь горячей воды в бутылку и не подсунешь ее

под озябший бок и где, подобрав под себя одеревенелые, непослушные лапки и укрыв голову морозно шуршащими крыльями, забывается она в опасном беспамятстве. Так, едва вживе — каждую долгую ночь, которая в глухую пору начинается в пять часов вечера и тянется, терзая птаху лютостью, до девяти утра следующих суток. И каждый раз — без надежды, что эта ее ночлежка озарится для нее новым грядущим днем...

В безнадежную пору зимнего прозябания начинает рушиться порядок в синичьих семьях. Одни, отчаявшись, покидают родное урочище и принимаются скитаться по чужим местам — всегда гонимые и не принятые, другие пускаются обшаривать помойки, мусорные баки, всякие свалки и скопления мусора. Иные превращаются в профессиональных воришек-«домушников», устраивая шмон везде, куда возможно заглянуть и проникнуть, вплоть до плохо закрытой кастрюли с застывшим говяжьим борщом, выставленным хозяйкой на балкон вместо холодильника. А то и залазят в сетчатые авоськи, если там окажется курица, и даже внутрь выпотрошенной курицы.

Голодное, нищенское существование птиц (как и людей) нарушает свойственное им поведение. Шастанье по мусоркам и задворкам, случайные ночевки в закопченных расщелинах печных труб, в вентиляционных вытяжках и всяческих закутках, источающих самую малость тепла или хотя бы заслоняющих от ветра, со временем оборачиваются тем, что синицы утрачивают свою природную статность и привлекательность, от неопрятности бытия тускнеет, обтрепывается некогда нарядная одежда, приводить в порядок которую постепенно пропадает желание. Из прежних, ладно пригнанных рядков оперения часто выбиваются встрепанные, вывернутые наружу перышки, так и не заправленные снова вовнутрь, как бы сделала нормальная сытая синица. В эту зимнюю невзгоду появляются и просто бесхвостые синицы, не иначе как побывавшие в лапах таких же голодных и обездоленных наших прежних диванных мурлык, некогда мытых шампунем и пухово расчесанных гребнем.

Не доводите, пожалуйста, до этой унижительной стадии наших крылатых единопланетян и начинайте мастерить кормушки.

Лучше это делать в разгар листопада.

Поэт тоже поощряет нас на это доброе дело:

*Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.*

Кормушка — вещь нехитрая. Под нее иногда приспособляют даже обыкновенный пакетик из-под молока. Такая тоже

сгодится. А вообще-то: кормушки всякие важны, кормушки всякие нужны... Только не надо их путать с птичьими домиками для жилья. Конструкций таких домиков великое множество, по крайней мере на страницах всяческих изданий: от «Веселых картинок» до «Сада и огорода на вашем балконе». В иные годы пускаются конструировать птичьи коттеджи даже такие солидные органы, как «Труд» и «Сельская жизнь», а также многочисленные общества и организации, вплоть до любителей стрельбы по боровой и водоплавающей дичи. Устраиваются межрегиональные выставки и конкурсы на предмет «Чей дизайн лучше?» с вручением призов и почетных грамот. Правда, случается это всегда весной, когда приходит маревая теплынь и сочатся соком расковыренные березы, когда всем хорошо — и уцелевшим после зимы птицам, и особенно самим конструкторам: весна же! Пора сбросить надоевшее пальто и вволю позабавиться лазаньем по деревьям. В иных коллективах День птиц проводится даже под пиво и музыку.

После такой вдохновенной жилищной кампании в наших садах и рощах пернатых становится гораздо больше. Осчастливленные птицы, обзаводясь потомством, особенно не просчитывают, что с ним будет зимой. Устроители же веселого Дня птиц тоже не больно задумываются на сей печальный счет...

Кормушку не принято вывешивать под музыку. Деяние это во многом личное, схожее с исповедью. Оно столь же необходимо птицам, сколь и нам самим, ибо приносит очищение совести и благотворение души поступком. Выждав, когда в доме никого не остается, я принимаюсь мастерить, заведомо испытывая чувство внутреннего очищения и уважения к самому себе. В память об Александре Яковлевиче Яшине я вывешиваю кормушки вот уже несколько осеней. Придумки бывали всякие. Этой же осенью, в связи с появлением разных пластиков, я решил сделать по-новому. Первым делом я отпилил дощечку величиной с почтовый конверт. Она послужила донцем кормушки. А крышу я решил сделать из пластиковой бутылки, которые теперь есть в каждом доме, но, к сожалению, и не только там...

Ножницами я отрезал от бутылки донышко и воронковидную горловину. Остался пустотелый цилиндр, или, проще сказать, труба. Эту трубу я разрезал вдоль по одному боку, после чего края разреза прибил посылочными гвоздиками к большеньким сторонам дощечки-донца. Получился домик, похожий на фургон с округлой прозрачной крышей, сквозь которую будет хорошо видать, что делается внутри — своего рода кафе-«стекляшка», где всякий на виду. Остается теперь с одной торцовой стороны прикрепить петельку для гвоздя, а с другой — веточку, можно с разветвлениями, так называемую присадку, на которую будут опускаться гости.

Свое изделие я повесил на вертикальном створе оконной рамы так, чтобы тюлевая штора скрывала меня своими узорами, зато я мог бы хорошо видеть все, что делается снаружи.

Однако, пока стоят еще погожие октябрьские деньки, заправлять кормушку едой не следует. Поспешное гостеприимство не пойдет на пользу птицам. Особенно молодым, еще не имеющим достаточного опыта добывать себе пропитание в естественных природных условиях. Многие зимующие птицы легко и быстро привыкают к кормушке и через день-другой запросто залетают в нее уже с наработанным проворством и бесцеремонностью, как к себе домой.



Но как неуютно и потерянно чувствуют они себя, если кормушка по каким-то причинам оказывается пуста: иссяк ли запас зерна или устроитель птичьей столовой отлучился на несколько дней в командировку, а то, часом, и занемог, слег в больницу и т. п. Раздругой посетив опустевший закромок, бывалая синица вскоре переключается на прежний способ пропитания, принимается, хотя и без видимой охоты, рыскать в кронах деревьев.

Молодняк же продолжает настойчиво заглядывать в кормушку, особенно перед вечером, и на синичьих недоуменных мордашках проступает недавнее детское «дай, дай, дай!».

Ночевать впустую, не поевши, особенно в холодные ночи, — дело, конечно, неприятное, а для синиц — и рисковое. Они, в отличие от медлительных и созерцательных воробьишек, не запасают жирка впрок. Да и у воробьев его — только-только про черный день. А у синицы и вовсе... Все съеденное, весь запас энергии она расходует на движение, на свою непоседливость. Эта исключительная подвижность и предприимчивость обеспечивает синицу пищей, а добытая пища гарантирует ей подвижность. Нет еды — нет и активного движения, нет движения — не будет и еды. А без одной из этих составляющих итог печален... Почти как и у многих людей, не накопивших валютного жира...

Первейшим птичьим кормом не так давно считалась конопля — эта малюсенькая кубышечка, наполовину состоящая из высокооктанового топлива, то есть растительного жира. Она являлась кормом всей клеточной пернатой живности: щеглов, чижигов, коноплянок, реполовов, зеленушек, овсянок... Некогда коноплю сеяли почти в каждом крестьянском хозяйстве. Из нее добывали прекрасное душистое масло, без которого блины не блины, заготавливали посконь для домашнего тканья, которое шло на рушники, скатерти и крестьянскую одежду. Если бы спросить, чем пахла тог-

дашняя Россия, то можно смело сказать: не антоновскими яблоками, не медами, не подмаренниками, а в первую очередь коноплей — полевой потаенной горечью отчей земли.

Но с некоторых пор это замечательное растение провинилось перед человечеством: злой умысел приноровился извлекать из него еще и вредоносные наркотики.

По этой причине я уже много лет не видел живой конопли, кажется, не стало ее зерен и в птичьих лавках.

Ныне коноплю заменил подсолнечник. Тоже прекрасный, калорийный корм, правда, доступный не всякой птице. Особенно так называемые «семечки», которыми торгуют тетки на перекрестках. После каления на сковороде их скорлупа обретает чрезмерную крепость. Надо видеть, сколько усилий приходится прилагать синице, чтобы вскрыть жесткое теткинo семечко своим тоненьким и хрупким клювом. Иногда эта попытка не приводит к успеху и синица вынуждена ронять так и не расщепленное зернышко.

Лучший из подсолнечников — полевой, тот самый солнечный круг, когда он еще весь в обрамлении оранжевых лепестков, а сам его лик подернут рядками бронзовых соцветий. Но при одном условии, что он уже пребывает в стадии созревания: ядрышко налилось и сформировалось, а кожура еще не затвердела до древесной прочности. Такой подсолнышек для птиц — первое лакомство. Стоит только выставить его за окно, как все синицы округи — тут как тут! Видно, они еще издали чуют его острый, влекущий запах.

К сожалению, подсолнух «кругом» недолговечен, и если его не приготовить вовремя, то приходится довольствоваться весовым зерном. Но отнюдь не поджаренным, не из бабушкиных полустаканчиков и бумажных фунтиков, которые у нас обычно покупают, идя в кинотеатр...

Можно предложить синичке ломтик свежего свиного сала, величиной со школьный ластик. Только непременно несоленый! Ломтик прикрепляют мягкой проволочкой тут же, рядом с кормушкой, или даже на присадочной ветке. Синичка жадно набрасывается на него и долбит с таким азартом, особенно когда сало затвердеет на морозе, что стук ее клюва слышен даже в комнате.

Все это — любимая синичья еда. Но в кормушку можно засыпать также и обыкновенное пшено, льняное семя, вышелушенный репейник, сечку гречи и просто хлебные крошки, словом, все, что окажется под рукой. И хотя по причине своих пищеварительных особенностей синица не расположена к «постной» пище, зато на такое разнообразное угощение могут пожаловать и другие окрестные обитатели, в первую очередь дворовые воробьишки. Они ведь тоже птахи и тоже жестоко страдают зимней порой! Недаром сказано: синица — воробью сестрица.

Серым, не очень уютным утром, мотавшим концы голых берез, я открыл свое кафе для птичьего посещения. Как водится, по слу-

чаю открытия предлагалось самое разнообразное меню, была даже тертая морковка, но главенствовал все же полевой подсолнечник, вытербленный из выспевших крутящей.

Так знаменательно совпало, что это предзимнее утро явилось началом для почитаемого в святцах Зиновия-Синичника, покровителя всех зимующих птиц. В старинных книгах его изображали с горстью зерен на протянутой ладони — совсем как у Александра Яшина: «Горсть одна — и не страшна будет им зима». Пока я управлял кормушку, с балкона был слышен благовест Сергиевского собора, призывавший верующих к молитве и добрым делам.

Синичка будто ждала в гуще берез, пока я затворю за собой дверь, и тут же объявилась на железном урезе балкона. Это оказался сам птах, возможно даже, что глава уличного синичьего клана! Ну хорош, хорош, пострел! Бодр, свеж, подтянут. Белый стоячий воротничок подпирает округлые щечки; атласный шейный платок небрежно выпущен поверх горчичного чичиковского жилета; отменного кроя зеленый фрак с черными фалдами чудо как впору: нигде ни лишней складочки, ни пустяшного зажимчика. На рукавах — все шевроны, шевроны, как бы служебные знаки отличия. А черные глазки, что буравцы — так и шьют, так и сверлят. Перед таким красавцем не то что горсть семечек веером рассыплешь, а и все карманы повывернешь.

Птах пошустрил глазами направо-налево, бочком-бочком проскакал по балконному перильцу поближе к заведению и вдруг легким спорхом перебросил себя на веточку-присадку. В один погляд он оценил строение, убедился, что все устроено без подвоха, и, не трусая, не озираясь, с неспешным достоинством снял с ворошка самое верхнее подсолнечное семечко.

Расклевывать его тут же, принародно он себе не позволил, а слетел на соседнюю березу и только там, уединившись, принялся за утреннюю трапезу.

Но, разумеется, стук клюва по скорлупе не утаишь: тотчас поблизости, на соседних ветках, лимонно замелькала еще парочка синичек: «Ты что там делаешь?». После того как птах слетал за вторым семечком, те две сразу и сообразили: что и где дают.

И пошло, и замелькало: туда — сюда, туда — сюда. С дерева — на кормушку, с кормушки — на дерево.

Синицы никогда не едят скопом, как воробьи или голуби, не устраивают «кучу малу», а непременно чередуются. Так кормятся они и в природе, перепархивая с ветки на ветку на приличествующем расстоянии. Такая предупредительность объясняется тем, что их корм в естестве не бывает насыпом, а всегда нуждается в поиске. А для поиска нужно дать время. Оказывается, подобная деликатность рождается целесообразностью, полезной для всего клана.

Но зато сильный всегда ест первым, если пищи оказывается сразу много, как в нашем случае с кормушкой. И это тоже, в об-

щем-то, синицам на пользу: для сохранения вида нужны крепкие особи, выстоявшие в борьбе за выживаемость.

Примерно то же самое ныне происходит и с нами, в пору нагой силы и бесправия, не правда ли? Что ж, дикая сила — она ведь на определенной стадии тоже участвует в становлении разума. А пока блага — не по закону, а по весьма условной совести. Самому же совестливому Бог подаст и упокоит.

Именно такая совестливая душа и объявилась на другой день у кормушки. Это оказалась синичка-лазоревка. Ну такая махотуля, такая кроха, меньше и выдумать нельзя. Что твой пуховой бубенчик на малышевой шапочке. А ведь тоже ежегодно высиживает по двенадцать — пятнадцать деток. А лазоревкой ее зовут за то, что много на ней голубых и лазоревых перышек и в крыльях, и в хвостике, и даже шапочка на ней не черная, как у обычных синиц, а нежно-голубая.

Сквозь штору вижу, что и ей хочется отведать подсолнушка, переминается на перильце, тянет головку, вострит крылышки, однако все ей боязно сунуться в синичью круговерть: враз затолкают, уронят наземь, а прав у нее никаких — чужая она, нездешняя, может, и не курская, и никто ее здесь не знает, даже не принимают за синицу. Теперь вот кочует, пробавляется чем придется, пробирается на юг до тех пор, пока будут встречаться деревья. Да вот запахло семечками, поди, останется тут на недельку, пока кормят...

Наконец выпал такой благовидный момент, когда на пороге кормушки никого не оказалось. Лазоревка, обмирая, шмыгнула вовнутрь фургончика-стекляшки, второпях схватила случайное семечко, оказавшееся пустым, еще больше сомлела от неудачи, выронила его долу, взамен ухватила другое, на ощупь полненькое, и, едва не столкнувшись в проходе с подлетевшей синицей, успевшей, однако, больно ущипнуть ее за голубую шапочку, с колотящимся сердцем, но счастливая, упорхнула на самую дальнюю березу, где и затерялась среди россыпи сережек.

А спустя еще день на суету синиц неожиданно прилетел поползень — прочно сложенный крепыш в простом, однотонном сюртуке без излишеств, с коротким и упористым хвостом. Он и в самом деле опирался на него при лазанье по стволам. Сразу видно — деловой, себе на уме господинчик. Ему б еще ряд пуговиц по белому брюшку. За синицами он всегда посслеживает, будто пристав, ошиваясь поблизости, присматривая за ними то от комля, то с верхушки дерева, висая вниз головой. Все видит, хотя глаза и перевязаны черной тесьмой — так, для блезиру. Знает: коль синицы замельтешили, стало быть, обнаружили поживку. С долгим, крепким клопом, уверенный в своем праве, поползень не стал занимать очередь к закрому, а прямо так и плюхнулся откуда-то на присадку, упреждающе огласив: «Цит. цит!» — дескать, цыц у меня!

Синицы послушно разлетелись по березам. Подсолнечное семечко поползень расщелкнул без всякой долбежки, в один нажим, а кожуру ловко пустил по ветру. Еще раз подцепил черное семечко, так же миглом извлек из него белое ядрышко, мелькнувшее в клюве, но, узрев что-то неладное за оконной шторой, выкрикнув свое «цит, цит!», упорхнул восвояси.

Но ничего, впереди долгая зима, он, гордец, еще не раз прилетит.

Забавные минутки доставили мне местные воробьи. Все эти дни они, увлекшись вытеребливанием семян, мельтешили в путаных зарослях спорыша на соседнем стадионе и потому прошляпили открытие халявного «кафе», где всё дают за здорово живешь. Набежавший фокстер выпутнул их из травы, и они с дождевым шумом расселись по нашим березам.

А дальше все просто: сначала один Чив слетел на балконную железку, потом рядом сел второй, и пошли нанизываться пушистым, неоципаным шашлычком — один к другому, один к другому — все восемь воробышей, оказавшихся в наличии на сей момент. Сидят рядком, словно и взаправду нанизанные на шампур: бок о бок, душа в душу, хитроватые, плутоватые пухлячки, в любой миг готовые смыться, глядят в восемь пар черных бисеринок, всё видят, всё примечают.

В отличие от синиц, промышляющих порознь, так сказать, рыночным способом, воробышки предпочитают жить ватажкой: куда один, туда и все. У них вроде как социалистический метод хозяйствования: один ищет еду для всех, все — для одного. Этот артельный способ их вполне устраивает. Совсем как в песне: «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».

В ихней артели старшего нет, всем правит инициатива. Вот и теперь: кто-то из восьми, какой-то осмелевший Чив, первым нырнул под крышу «стекляшки». Тотчас и все остальные взметнулись тоже и принялись осаждать «кафе». Внутри удалось протиснуться только половине, остальные пытались удержаться на крыше. Однако коготки не ухватывали скользкий пластик, и воробышки кубарем сыпались с округлой кровли. Поднялись шум, гам, чивиканье, мельтешение крыльев. Неудачники забирались на спины сотоварищей, те отпихивались и щипались клювами.

И вдруг на фургончик грузно плюхнулся голубь — обыкновенный чердачный сизарь. Под его тяжестью кормушка скособочилась, так что посыпались и семечки, и пшено. Воробышки — и те, что стиснуто клевали внутри, и те, кто суетился около, — все разом исчезли из виду.

Сизарь, подергивая маленькой оранжевоглазой головкой, несколько раз заглянул с крыши вовнутрь заведения, но по природной несмышлености так и не сообразил, как ему добраться до еды. Решив, что это все не про него, он перелетел на балконное перило,

а с него, повернувшись вокруг себя, сронился вниз, на тротуар — к плевкам и окуркам.

И опять запорхали, замелькали синички.

Тем временем зима, эта подколотная змея, день ото дня все больше заглатывала лето, умерщвленное ненастьем и холодами, от которого остались лишь одиночные листья на деревьях да жухлые бархатцы на уличных газонах. И вот сегодня крутой ночной морозец льдистой повителью расписал мое окно, из которого больше не стало видно кормушки. Пришлось делать продох, этакий круглый зрачок в морозных художествах минувшей ночи. Но и без того было видать, как за матовым узорочьем, поторапливаемые морозом, учащенно порхали озябшие синицы.

В обтаявшую продушину я и разглядел еще одну страждущую горемыку. Это была обычная желтозобая синька. Она нахохленно сидела на промерзшем железном периле балкона, как-то странно вздергивая плечиками, стараясь удержать крылья наподобие заглавной буквы «А». Из-под ее встрепанного брюшка омертвело высывалась правая лапка с беспорядочно скрюченными серповидными коготками.

Я сразу уяснил себе причину этого ее странного подергивания крыльями, которые она всякий раз пыталась расставить пошире, чтобы опираться на них, будто на больничные костыли. Было ясно, что у нее осталась живой только одна левая ножка.

Что это: последствие удара коварной западни или мертвая хватка лавсановой петли, подстроенной каверзными ребятишками? Сотворившие это — теперь вот зрите свое злодеяние!

Синька перепорхнула на присадку и, помогая себе частыми взмахами крыльев, все же ухватила крайнее семечко. С ним она снова вернулась на балконное перило, где попыталась расклевать добычу. Но этого не получилось. Для успеха ей необходимо было удерживать подсолнечную зерновинку между обеих лапок, как делают это все нормальные синицы. Так что зернышко осталось нетронутым. Синька слетала на кормушку еще раз. Но и второе семечко тоже пришлось выронить. Она и в третий раз ухватила зернышко и улетела с ним на березовую ветку, надеясь, что там ей повезет. Но я-то уже понимал, что куда бы ни улетела она со своей добычей, теперь уже нигде и никогда хромоножке не расклевать неподатливую кожурку.

На другой день синька объявилась снова. Но все ее попытки добыть желанное ядрышко оказались напрасными. Она пробовала даже ложиться на бок, чтобы освободившейся лапкой удерживать семечко. Но чтобы его расщепить, требовалась жесткая опора. На весу это никак не получалось.

В этот вечер, когда все остальные синицы заведомо разлетелись по своим ночлежкам, хромоножка еще долго согбенно сидела на холодном балконном закрайке, пока мороз снова не затянул окно веселой замысловатой ботвой.

С той поры синька больше не появлялась на моем балконе. Где она теперь? Что с ней? Уж не полетела ли за сине море искать лучшую долю?..

На предстоящую неделю наметил себе два неотложных дела. Наперво — сходить за реку, пособирать всякого корму, какой еще был доступен: ольховых шишек, из которых после просушки можно натрясти съедобных крылаток; семян репейника, что под каждым забором; мелких черных зернинок огородной ширицы. Все еще гроздьями свисают винтокрылые семена клена — лакомство для снегирей. Однако эти осторожные северные гости редко слетают на кормушку, тем более если она вывешена не на открытом месте, скажем в саду или в парке, а приспособлена к жилому окну.

А вдруг снегирек и ко мне слетит? То-то будет праздник!

А второе дело — размножить на принтере стихотворение Александра Яшина «Покормите птиц» и расклеить на видных местах.

Размножил и расклеил: у подъезда своего дома, на двери почтового отделения, на ближайшей автобусной остановке, возле кинотеатра «Юность», у входа в булочную, на аллеях «Парка пионеров», под навесом соседней школы и просто на фонарных столбах. И еще осталось сколько-то — для раздачи знакомым.

Недели через две, когда крыши домов, газоны и стволы деревьев припорошил неспешный снежок, отправился посмотреть окрест, как воздействовал яшинский призыв. — ведь минувших двух недель с того дня, как я расклеил стихотворение, вполне достаточно тому, кого оно растревожило, всколыхнуло душу, чтобы смастерить и вывесить кормушку.

Перво-наперво обошел по периметру наш двухсотвосемнадцатиквартирный дом-громадину — нигде ничего, ни одной кормушки. Только возле моей, как и прежде, перепархивали воробьи и синицы.

На соседнем строении тоже ничего. Оглядел дом напротив — пусто. Не обнаружил я свежесколоченных кормушек ни в школьном саду, перед окнами гимназии, в которых иногда видно, как повзрослевшие старшеклассники в замечательных нарядах учатся прекрасному — пластичности бальных вальсов и мазурок...

Уныло и голо оказалось и на аллеях «Парка пионеров», где кто-то по дикости ума совсем недавно перебил ноги скульптурной лани, а гипсовому кенгуру отшиб оба уха...

Горько и одиноко после всего этого, тем горше, что заключительные строчки яшинского стихотворения звучат так:

*Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.*

Но надежда умирает последней. Вдруг вижу на автобусной остановке давнего своего знакомого — тонкого, прогрессирующего живописца, приверженца Сальвадора Дали.

Обрадованно пожав его руку, я извлек из бокового кармана куртки листок с яшинским стихотворением.

— Слушай, на, почитай!

— А что такое? — Он был чем-то радостно озабочен и взял листок отстраненно, двумя пальцами, как обузу.

— От души написано... — вдохновенно пояснил я.

— Покор... Покормите птиц, — машинально произнес он заголовков и тут же протянул листок обратно.

— Да ты почитай, почитай! — настаивал я, возвращая бумажку.

— А-а! Некогда мне их кормить! — отвел он листок, а заодно и меня тоже. — Еду я, уезжаю... Уже билет на руках.

— И куда?

— За океан... — махнул он куда-то в сторону. — Теперь там птиц кормить буду... — И, усмехнувшись, добавил: — И сам кормиться...

• • •

И еще одно благое дельце надо было довести до ума... Уже давно собирался занять стапелию, дающую удивительные цветы, похожие на золотые ордена Славы. Отводок мне обещали. Надо было только приготовить горшочек с подходящей землей.

Вспомнилось, что еще летом набрал хорошей зернистой земли из кротового выброса. Хранилась она на балконе в резиновом четырехгранном ведерке, предназначенном для шоферского обихода.

Заглянул в крошечную глубину, а там, на черной, уже, должно, промерзлой земле, зеленоватым отливом мерцала какая-то птаха. Она лежала ничком, уткнувшись клювом в почву, широко, из угла в угол, распахнув крылья. По скрюченной лапке, торчавшей из-под правого крыла, я узнал в ней хромоножку синьку, так и не склевавшую ни единого подсолнечного семечка. Этой распахнутостью крыльев, обнимавших квадрат луговой земли, синька как бы олицетворяла яшинское:

*Улететь могли б,
Но остались зимовать
Заодно с людьми...*

Снега над Россией

Из ранней прозы



ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА

В раскрытое окно беззвучно влетел и опустился на мои бумаги кленовый лист. Он был похож на ладонь с широко расставленными пальцами. Словно чья-то рука потянулась к столу и закрыла написанные строчки...

Да, пора домой, пора! За работой и не заметил, как промелькнул последний летний месяц!

Я закрыл свою тетрадь, заложив на недописанной странице первый осенний лист, и вышел в сад.

В саду было по-осеннему тихо и пусто, как в заколоченном доме.

Я прошел лугом к реке, разделся и бросился в воду — в последний раз! Тело обожгло ледяным холодом, перехватило дыхание. Выбравшись на берег, я втиснулся спиной в чуть теплый песок и остался лежать неподвижно в удобном, согревающем песчаном слепке с моего тела.

Надо мной студеной синью раскинулось небо. Ни птицы в нем, ни облачка. Лишь иногда высоко-высоко сверкнет серебристой вспышкой одинокая прядка паутины, сверкнет и пропадет. И долго потом надо напрягать глаза, чтобы снова увидеть ее.

В чуткой тишине осеннего дня слышалось негромкое бормотанье гитары. Показалось? Но нет... Чьи-то пальцы с задумчивой неторопливостью трогали то гулккие бархатистые басы, то мелодично звенящие нижние струны. Звуки переплетались в убаюкивающий, с легким оттенком грусти напев. Он был чем-то созвучен этим тихим осенним дням с их ясной синевой и высоким задумчивым скольжением паутины.

Я быстро оделся.

Гитара, повторив еще раза два мелодию, вдруг закончила ее энергичным аккордом.

И снова тишина.

Позади зашуршал песок. Я обернулся. В трех шагах выросла высокая статная фигура цыганки. Заметив меня, она остановилась, и мы некоторое время молча разглядывали друг друга.

Ярко-желтый платок, небрежно накинутый на голову и едва прикрывавший только затылок, четко оттенял смуглый овал лица. У нее был небольшой с горбинкой нос с высоким вырезом ноздрей. Из-под густых бровей, почти сросшихся над переносьем, глядели изучающе, безбоязненно большие, с влажной карью глаза. Чуть впалые щеки и широкие обветренные губы нисколько не портили лица, а, напротив, лишь подчеркивали ту непривычную для нашего глаза красоту восточных народов, которая не оспаривает античной классики, но и нисколько не собирается уступать ей первенства.

На цыганке была длинная, почти скрывавшая босые ноги пестрая юбка не менее чем в сотню складок. Поверх нее подвязан красный, далеко не свежий передник с оттопыренным карманом. Из-под платка виднелось днище гитары.

— Здравствуй, красавец, — певуче приветствовала меня цыганка.

— Здравствуй!

— О чем мечтаешь, красавец? — спросила она, присаживаясь передо мной на корточки и заглядывая в глаза. — Не ломай зря голову, не раздумывай. Протяни руку, и я скажу, что будет. Ты родился под праздник. Ты счастливый человек, пятьдесят фунтов счастья... Не пожалей рубль, и я все скажу.

— Соврешь ведь?

— Если дашь рубль, правду скажу, а набавишь — две правды.

— Как же ты обо мне судить будешь, если о своей-то судьбе ничего не знаешь?

— Моя судьба цыганская: солнце жжет, дождь мочит, вольна степь кругом — сердце песни хочет.

— Какие уж там песни: зима на носу. Замерзнешь в своей кибитке.

— В Молдову уедем.

— А если конь по дороге околеет?

— Зачем так говоришь? — Цыганка сердито встряхнула головой. Под ухом качнулось тяжелое кольцо серьги. Из-под платка выбилась толстая иссиня-черная коса, увешанная монетками.

— Не понимаю, как можно целую жизнь кочевать. Неужели тебе не хочется по-человечески пожить, как наши женщины живут?

— Пожалел человек птичку да посадил в клетку! — усмехнулась она.

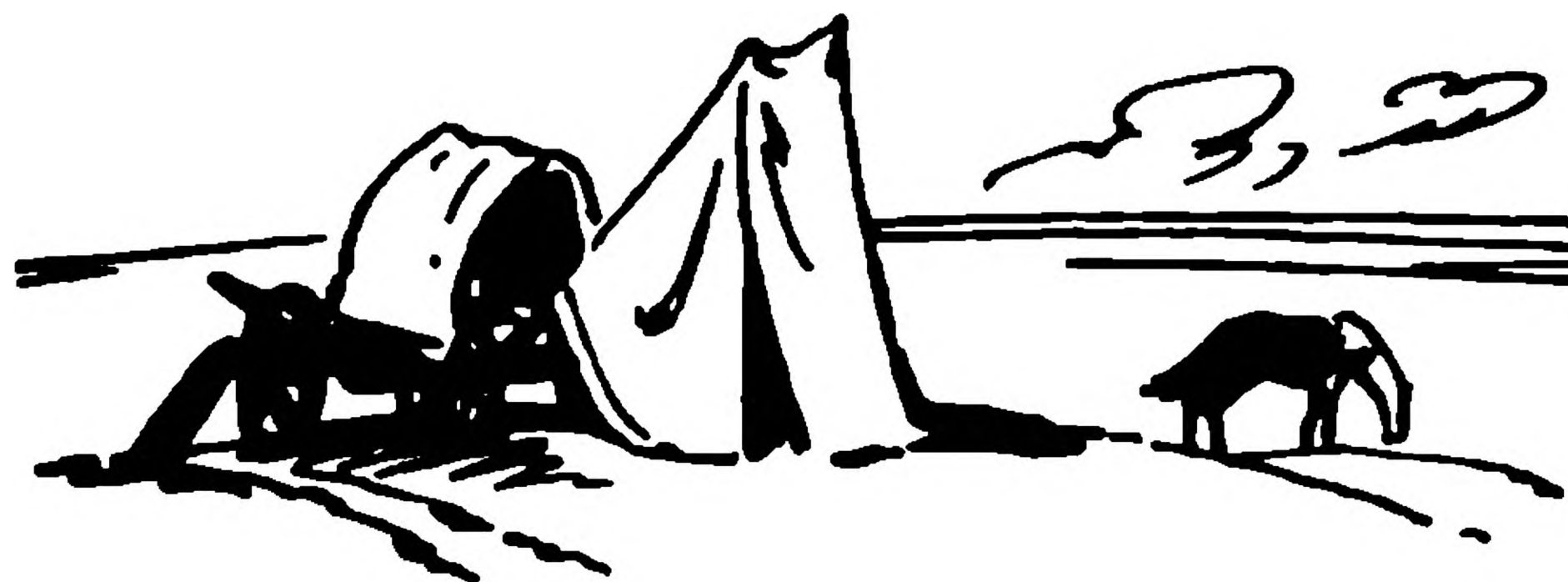
Мне нравилось, с какой непринужденностью держалась цыганка. Впрочем, для нее это было привычно. С ней примерно все так разговаривали. И она разговаривала так со всеми.

— Ну, а дети у тебя есть? — не сдавался я.

— Двое остались. Пацан да девка. Шостый годок пошел.

— Так неужели не хочешь, чтоб они настоящим делом занялись, образование получили? Без образования шагу не шагнешь сейчас. Скоро и людей таких не останется, которых картами обманешь!

— Карты не обманывают. — упрямо сказала цыганка. — Человек обманывает. Ты не веришь — не гадай. Я в душу не лезу. А бабы



твои гадают. Баба она баба и есть. Ей чего-то хочется — сама не знает. Вот и гадают.

Я усмехнулся. Она, оказывается, не такая уж фанатичная. Тонко разбирается в своем ремесле.

— А ты не смейся, — сказала цыганка.

— Я и не смеюсь. — ответил я и заговорил о том, что каждый человек в наше время должен делать полезное дело. Все равно какое. Что сейчас каждый хочет жить честнее. И что людей сейчас уважают только за дело. И что стыдно и дико жить так, как она живет.

Цыганка глядела на меня хмуро, враждебно. Лицо ее сделалось некрасивым, угловатым. Губы плотно сомкнуты. Сухие длинные пальцы в синих прожилках не переставали теревить монетки, вплетенные в косу.

— Злой ты человек! — глухо произнесла она наконец.

— Почему?

— В сердце кусаешь, как змея.

Цыганка вскинула голову, зло улыбнулась, обнажив ряд белых зубов.

— Что ты знаешь о нашей жизни? У какой твоей молодки была такая свадьба? Ну, скажи! Разве у вас свадьба? Умереть со скуки.

Черные глаза цыганки вызывающе заблестели.

— Мы тогда стояли табором под Мариуполем. Я была еще девчонкой. Пятнадцать лет. Красива, как тебе не снилось. А какие песни я знала! Кони переставали траву щипать...

Она говорила, помогая себе жестами. Платок сполз на плечи, открыв черную смоль волос с пробором посередине.

— А скажи, у какой твоей молодки было столько женихов? Чтобы сразу сидели они у одного костра! Подарки какие! Серьги да монисты! Но я не спешила. И была я весела, и смеялась я, и пела, потому что могла выбирать.

А потом выкрали меня и увезли в чужой табор. Целый день скакали по степи отец с дружкой. А я пряталась в чужом шатре под перинами. Если бы отец нашел, запорол бы плетью.

Вот как у нас! Вся степь на ноги поднимается, когда у цыганки любовь. Не то что ваши жених с невестой. Сидят в хате и вилками в тарелках ковыряют!

А под вечер жених достал из котомки кожаный пояс весь в серебре, опоясался им и ускакал. Вернулся утром, хмельной, без пояса. «Де был?» — «У отца твоего. Вино с ним пил, пояс подарил».

Три дня гуляли свадьбу. Снесли котлы со всего табора. Все шатры сдвинули. Один большой шатер сделали. Ковры расстелили. Пили, веселились цыгане, бросали на ковер деньги, серьги, гребни дорогие. Ай, какая это была свадьба, красавец! Глаза лопнут от зависти.

Цыганка неожиданно поднялась.

— Постой, куда же ты?

Цыганка остановилась вполоборота.

— Что зря языком болтать? Пойду гадать, людей обманывать. Мужу на табак даже не собрала. Придет — сердчать будет. Значит, жалко дать рубль? Эх, ты!

Денег со мной не было. Я достал яблоко, найденное в саду, и бросил цыганке. Она ловко подхватила его на лету, сунула в карман и пошла прочь привычной статной походкой, и при каждом шаге сборки на ее широкой и длинной, до пят, юбке ходили вокруг ног то вправо, то влево, — походка, которой позавидовала бы не одна наша женщина.

Остаток дня я бродил по берегу, посидел рядом с каким-то рыбаком и, возвратясь снова к мели, свернул на тропинку к дому.

С той стороны, откуда утром доносились звуки гитары, слышался крик. Слов я не понимал, но по голосам догадывался, что кричали мужчина и женщина.

Я пошел на голоса...

За прибрежными кустами показалась серая, в заплатках палатка с провисшим хребтом. Возле телеги, позвякивая сбруей, паслась пара лошадей.

Кричали в палатке. Оттуда неожиданно выскочила знакомая мне цыганка, и следом — рябой растрепанный цыган. В два прыжка он настиг, рванул за косу и опрокинул цыганку на спину. Монетка из ее косы искрой упала далеко в траву. Не выпуская косы, цыган выхватил из-за голенища плетень и с каким-то злорадным торжеством принялся стегать. Ременный хлыст то со свистом рассекал воздух, то вязко впивался в тело, испарывая одежду. Цыганка, пряча лицо, уткнула голову в пыльные сапоги, обхватив их руками. Лошади, слышав свист кнута, подняли головы, настороженно шевеля ушами, но тут же снова нагнулись к траве.

— Не тронь! — крикнул я, вскипая.

Цыган остановил руку на замахе, повернул ко мне злое лицо: в черной рамке волос — безумно выпученные глаза.

— Не тронь, говорю!

— А ты иди... Иди своей дорогой! — прохрипел он, тяжело дыша. Под расстегнутой рубахой ходила волосатая грудь. — Это наше, цыганское дело!

Он пнул ногой цыганку и пошел, пьяно раскачиваясь, к лошадям. Я нагнулся над женщиной. Она вздрагивала всем телом, судорожно зажав в руке пучок травы, вырванной с корнем. Рядом лежало раздавленное сапогом яблоко.

— Уходи! — злобно простонала она. — Не лезь!

Она приподнялась и на руках уползла в черную дыру шатра. Оттуда на меня глядели большие, не по-детски серьезные глаза.

На другой день я собрал, что у меня еще осталось из запасов съестного, и пошел к шатру. Но палатки там уже не было. В примятой траве что-то заблестело. Это была монетка с изображением румынского короля. Я положил ее в карман и побрел обратно.

На мокром лугу ярко зеленела свежая колея.

Погода скоро испортилась. Тревожно зашумел сад, и ветер, подхватывая сорванные листья, понес их над верхушками деревьев, над крышами домов, покатыл по деревенским улицам и проселкам.

Я уложил свои вещи и уехал в город

Той же зимой я собрался по делам в один сельский район. Ехал я рейсовым автобусом. Пассажиров было немного, большинство — местные колхозники, ездившие в город по своим хозяйственным нуждам. Велись обычные дорожные разговоры про самое разное.

А за окном бушевала вьюга.

Встречный снег стучал и царапался в окна, намерзал на стеклах толстым рыхлым слоем. На остановках, когда кто выходил или садился, в открытую дверь врывался вихрь, и по автобусу носились, тускло поблескивая, одинокие снежинки.

На одной из остановок в дверь вошла цыганка с ребенком. Она куталась в большую шаль, залепленную снегом. Мальчишка лет пяти в женских резиновых ботах, в картузе и дырявом свитере, под которым виднелось еще какое-то тряпье, зябко ежился и все время пританцовывал.

Все обернулись, разглядывая вошедших. Мне тотчас вспомнилась недавняя встреча на осеннем лугу. Нет, это была не та цыганка. Незнакомое лицо сдавлено резкими провалами щек, глаза глубоко запали и испуганно глядели из-под спущенного платка. Она чем-то напоминала птицу, отбившуюся от стаи.

— Куда же ты в таку заметишь? — спросил кто-то позади меня.

— Да куда-нибудь... — ответила вошедшая низким голосом.

— Мальчонка-то смерз. Вон как дрожит, — покачала головой сердобольная старушка, сидевшая впереди с узлом. — Иди-ка сюда, внучек. Тут печка есть под ногами. Иди погрейся.

Мальчик несмело пробрался между рядов и сел рядом со старушкой.

— Муж-то где? — снова спросила моя соседка.

— А не знаю. Уехал...

— Бросил, что ли?

— Уехал...

— Ну, а сейчас-то ты куда?

— Где примут, там и останусь.

— Делать-то что будешь? На что жить? Так тебя никто кормить не станет. Гадать небось думаешь?

— Попрошусь на конюшню. Я лошадей люблю.

— До весны, значит?

— Зачем до весны? Совсем хочу. Надоело. Кочевать надоело, с голода помрешь. Побираться надоело. Все тебя гонят, насмеваются. А чем я виновата? Только что черная? У меня вот мальчонка.

— Это правда, — согласилась старушка. — Какая уж там жисть! — Она развязала узелок, вытащила обсыпанную маком баранку и протянула ее мальчику.

— К нам бы можно, — будто про себя сказала она нараспев. — Это вот сейчас Курносовка будет, потом Покровское, а там и сходить. У нас небось колхоз не из бедных.

— Чужую беду руками разведу! Старая, а не соображаешь, — сердито перебила ее моя соседка, еще довольно молодая женщина, туго перетянутая толстой шерстяной шалью. — К вам-то еще четыре версты переть. Да еще ваш председатель что скажет?.. Эх ты, горе луковое! — смахнула она набежавшую слезу. — Что тут будешь делать!.. Со мной сойдешь! Поживешь! А там посмотрим.

И сердито, будто решила наконец мучивший ее вопрос, она сказала:

— Втроем кормимся, как-нибудь и впятером проживем!

На следующей остановке они сошли. Женщина сунула цыганке свой узел и подхватила мальчонку на руки. Ветер рванул им навстречу, сыпнул в лицо колючим снегом. Автобус рявкнул выхлопной трубой, покатыл по дороге, и они тотчас скрылись в снежной кутерьме.

ВО ПОЛЕ БЕРЕЗОНЬКА СТОЯЛА...

Мы разбили лагерь на берегу глухого плеса, проплыв за день тридевять излучин вниз по течению. На той стороне черной ратью утрюмо и молчаливо высился лес, темня воду своим отражением.

Заря только что отполыхала. Лишь за гребнем леса среди вороха пепельных облаков еще чуть багровело небо, будто слабый отсвет углей в потухающем костре.

Мы молча смотрели на это гаснущее пятнышко прожитого дня, и только когда оно окончательно померкло, все будто проснулись, все вдруг стряхнули с себя невольное оцепенение.

Саша Акимушкин, мой верный Санчо по рыбацким передрагам, яростно отмахиваясь от пляшущего комариного облака, спустился к реке. Пока он, звеня цепью, привязывал лодку к жидким кустам лозняка, чтобы ее не унесло ночью течение, мы с Антоном Степановичем натянули палатку и раздули костер.



Пламя, отражаясь в закопченных смолистых боках котелка, запылало ярко и ровно. Вечер тотчас спустился на огонек и стал за нашими спинами. В сгустившейся темноте растворились и лес на том берегу, и сама река, и куты лозняка на нашей стороне, и долговязая фигура Саши. От зримого мира остался лишь освещенный костром островок.

За неписаной чертой этого зыбкого, беспрестанно колеблющегося круга топталась ночь, протягивая к огню, будто озябшие руки, косматые лапы дремлющих елей.

В полосу света влетел огромный жук, неуклюже покружился, ударился о туго натянутую палатку и потом долго жужжал, запутавшись в траве.

Но мы не чувствовали себя заброшенными и одинокими на этом крошечном освещенном островке среди безбрежного океана ночи. Напротив, вечерний костер вносил в нашу бродячую жизнь ощущение уюта и оседлости.

С гулким всплеском, отозвавшимся эхом по всей реке, что-то бултыхнулось у нашего берега. «Сом, что ли?» — подумал я, но вскоре по шумному отфыркиванию и звонким шлепкам догадался, что это Саша.

Он долго барахтался в реке, наконец вылез, и сквозь шелест раздвигаемых кустов послышался его вызывающе громкий, ликующий голос:

*Разливы рек,
Раскаты грома,
Дождя веселые шаги.
Чего же мне еще? Я дома,
А дом мой — плащ и сапоги*

И, подбирая мелодию, Саша пропел дальше:

*И не беда, что сверху мочит,
Литою дробью в спину бьет.
Вот только так душа и хочет,
Уюта лучшего не ждет!*

Всем нам троим, заядлым удильщикам, ни разу не истратившим свой отпуск на черноморский пляж, действительно не нужно было иного уюта, кроме этого дымного костра и охалки свежей травы под боком.

После чая я попросил Сашу почитать еще что-нибудь. Потом говорили о секрете проникновенности и задушевности стихов, о поэтическом даре.

— Мне думается, — сказал Антон Степанович, — что самое главное для поэта, да и вообще для человека искусства — это держать в фокусе своей творческой линзы окружающую жизнь, чтобы она имела ясное, четкое, доступное каждому глазу изображение.

— Ну что ж, с вашей творческой линзой, дорогой Антон Степанович, вполне можно согласиться, — сказал Саша. — Но мне хочется на этот счет выразиться словами поэта:

*Отыми соловья от зарослей,
От родного ручья с родником,
И искусство покажется замыслом,
Неоконченным черновиком.
Будет песня тогда соловьиная
Будто долька луны половинная,
Будто колос, налитый невсклень.
А всего и немного потеряно:
Родничок да ольховое дерево,
Дикий хмель да прохлада и тени!*

Мы лежали в траве и смотрели, как по дрожащим от жара углям перебегали голубые огоньки.

Антон Степанович изловил сухой лозинкой одну такую голубую змейку и перенес ее в свою трубку. Трубка затрещала, до краев налилась жаром, озарила серую застреху усов, впалые щеки, перепаланный глубокими бороздами лоб.

— Ты написал?

— Куда мне? Я так не сумею.

— Хорошее стихотворение, — сказал Антон Степанович, помолчав. — Как это? «Отыми соловья от зарослей!» Хорошо вы, бестии-поэты, можете сказать одной строчкой. Только, мне кажется, не к каждому соловью это подходит. Разные бывают соловьи. Если спать не хотите, расскажу одну историю. Вам, молодым, она полезна будет.

Мы всегда были рады слушать Антона Степановича, человека пожившего, прошедшего трудные университеты.

— В начале двадцатых годов я приехал учительствовать в дальний курский уезд, — начал он. — Был я тогда совсем молод, зачитывался Есениным и смутно себе представлял, что хотелось от жизни.

Поселился я на краю деревеньки, вытянувшейся серой вереницей соломенных крыш над мокрым торфянистым логом. На той его стороне, за земляной гатью, высился обгорелый остов барского особняка с пустыми глазницами окон. По ночам там ухала и причитала сова.

Выделенная мне комнатка в бывшей приходской школе одиноко гляделась в поле. Единственное, на чем останавливался глаз, была высокая молодая березка, невесть кем посаженная на самом гребешке косогора.

Ранним утром, заслышав сквозь шелест дождя ребячьи голоса, я шел на занятия. Низкий потолок, кривые полы, подслеповатые окошки. Густой кислый запах намокшей овчины и старых отцовских армяков. Косматые, нечесанные головы. Настороженные, с какой-то врожденной робостью взгляды. Дети нестройно поднимались со своих мест, и тогда особенно был заметен их разный возраст. Мы писали палочки и крючочки на обрывках обоев, учились счету на желудях и лучинах, потом я рассказывал про страны и народы, про Солнце и Землю, про моря и горы. Рассказывая обо всем этом, я невольно поглядывал на заднюю, у самой двери, скамью, где сидел остроплечий, с несообразно крупными кистями рук подросток Кузьма Половнев. Он всегда смущал меня своим немигающим, застывшим в удивлении взглядом серых глаз под рыжими веками. Я никак не мог понять их выражения: то ли Кузьма был захвачен рассказом и жадно глотал каждое слово, то ли он вовсе ничего не воспринимал и глядел будто в рот фокуснику, который выдергивал из глотки бесконечные цветастые ленты. Иногда он полусшепотом говорил, ни к кому не обращаясь:

— Как же так? Земля нигде не кончается... Чудно!.. А если идти по дороге, все лето идти — куда придешь?

Как-то я отыскал на чердаке старый глобус с надписью «Российская империя», растянувшейся от Варшавы до Аляски. На месте буквы «м» в слове «империя» зияла пулевая дыра.

Кузьма бесцеремонно оттеснил сгрудившихся ребяташек, припал к отверстию глазом с озабоченным видом, будто через нее и взаправду можно увидеть нутро самой Земли.

— Пусто. Одна паутина, — сказал он разочарованно.

Окончив занятия, я шел к себе, ел холодную картошку с солеными огурцами (варил сразу дня на три, чтобы не тратить времени), потом садился за стихи.

Знаться со мной почему-то никто не хотел. Когда я, случалось, появлялся на вечеринках, неизвестно почему сразу смолкали песни и разговоры, все с нетерпеливым выжиданием поворачивались в мою сторону. И я спешил уйти.

Писал я под Есенина, от первого лица. От написанных строчек сладко щемило сердце, и в этом душечипании я находил удовлетворение.

Я теперь уже почти ничего не помню из написанного. Разве только вот это:

*Я люблю в осенний день погожий
С переломкой старою своею
Побродить один по бездорожью
Средь просторов золотых полей.*

*Вот болотце. Камышовый кустик...
Тонко плачет чибис с высоты,
И к ногам с какой-то нежной грустью
Робко льнут последние цветы.*

*Может быть, во мне увидев друга,
Шлют они прощальный свой привет,
Словно знают, что седая выюга
Навсегда загорошит их след.*

*Мне в такие дни близка, понятна
Блекнущих цветов немая грусть.
Я лечу куда-то безвозвратно
И в былое больше не вернусь.*

Таких стихов я насочинял множество. Писались они легко, быстро. Я глядел в окно на березку, одиноко торчавшую на гребне косяга, и писал, писал, находя в ней вдохновение.

Я где-то читал, будто один большой философ только тогда и мог делать великие обобщения, когда смотрел в окно, за которым маячил шпиль далекой колокольни. У меня тоже только тогда и получалось, когда я смотрел на березку.

В погожие дни она беспрестанно струилась на ветру. Когда же с утра до вечера сеял дождь, березка сникала и безропотно мокла. Случалось, перед самым закатом у горизонта открывалось чистое небо, и на березовую вершину садилось отдохнуть солнце, будто сказочная жар-птица. Запутавшись в ветвях, солнце рассыпалось пучками лучей. Скошенное поле вдруг озарилось низким, тревожным отсветом, вспыхивала и становилась отчетливо заметной каждая серебряная нитка паутины, развешанной по стерне.

Вскоре пришел первый морозец, и березка начала осыпаться. Червонные листья далеко летели по ветру, набивались в жнивье, катились по проселку, и конские копыта втаптывали их в хрустящую от первого заморозка грязь.

Зима в тот год выдалась лютая. На двери в классе выступила изморозь, и мы почти месяц не занимались. Потом я простудился и заболел. Школу опять пришлось закрыть.

Я валялся на скрипучем, разохшемся топчане, не зная, то ли утро, то ли вечер. Ходики над моей головой умолкли, будто само время остановилось и делать им больше нечего.

Приезжал фельдшер, кем-то вызванный из уезда, — ветхий старикашка в куцем драповом пальто с остатками бархатного ворса на воротнике. Слушал, больно стучал по моей впалой груди деревянным пальцем с синим ногтем, а уезжая, прощамкал:

— Следовало бы положить вас, сударь, в уездную больницу. Но не советую. Замерзнете в дороге.

Прослышав о моей болезни, стал наведываться деревенский сторож Серафим. Долгую темную ночь он ходил от избы к избе, от одного края деревни до другого, и по тому, как слышен был в тихой морозной ночи сухой перестук его колотушки, я угадывал, где теперь шагает Серафим. Мне было спокойнее при мысли, что где-то за окном не спит, ходит живая душа, и когда колотушка стучала совсем рядом и вслед за ней слышался размеренный скрип снега по утоптанной дорожке, я с надеждой смотрел на свою дверь. Иногда она действительно открывалась. С клубами морозного пара в каморку вкатывался дед в длинном широкополом зипуне поверх полушубка. Он снимал овчинные рукавицы, отдирал от усов намерзшие сосульки и с порога спрашивал:

— Живой?

— Жив пока, дед Серафим.

— Где болит-то? В грудях небось? Ай-ай, как остыл! А я, сынок, дровец принес. Холодно тут у тебя. Замерзнешь...

Он высыпал из сумки на пол стружки, обрезки дерева, кряхтя, становился перед печуркой на колени, и я видел подошвы его огромных подшитых и перевязанных бечевкой валенок. Дед Серафим выгребал из поддувала золу, подкладывал под стружки угли, которые приносил в глиняном черепке, и долго, молча, будто был один в комнате, глядел в огонь, протянув к нему узловатые, ревматические пальцы.

— А намедни Кирилла убили. Не слышал? — сказал дед, глядя в огонь.

— Нет, не слышал. Кто ж его?

— Неведомо. Комиссаром в Красной гвардии был. Год как домой по ранению вернулся. Бойкий был человек. Ну, видно, кому и не по нраву пришелся. Перечил. Вот и срезали. Топором в висок. Эх-хо-хо. — тяжело вздохнул дед. — И землю поделили, и смертоубийству вроде конец пришел, а выходит, война-то не закончена.

Я силлся припомнить, кто такой Кирилл, но поймал себя на мысли, что не знаю ни самого Кирилла, ни вообще никаких дел в деревне. Вот она рядом, а чем живет, какие страсти разгораются за ее внешне неприметным обликом, этого я не ведал.

— Ну, я пойду постучу, — сказал старик, тяжело вставая с пола. — Вот кабы ружье...

Он ушел, старательно притворив дверь, и я долго вслушивался в удаляющийся перестук его колотушки, показавшийся мне теперь тревожным и беспокойным среди немой, настороженной деревенской ночи.

Иногда днем приходили ребята. Они боязливо тянули шеи к топчану и поспешно выкладывали кто краюшку ситного хлеба, кто крынку молока, кто пару яиц и, подталкивая друг друга, торопливо уходили.

Однажды в лютую февральскую заметь, когда я никого не ожидал, в комнату ввалился Кузьма. Он стащил с головы огромную шапку из грубой свалявшейся овчины, стряхнул с нее хлопья мокрого снега, потом ею же обмел сапоги и, крупно шагая на носках, будто по вымытому полу, прошел к столу у моего изголовья. Лицо, в струйках талой воды, было озабоченно. Он запустил руку за полу армяка, вытащил пестрый ситцевый узелок, принялся развязывать его непослушными, озябшими пальцами.

— Это донник, от хвори помогает. — сказал Кузьма, выкладывая на стол пучок сухой травы. — Когда батю белые побили, маманя узваром отпаивала.

Кузьма постоял у стола, сунул ситцевый платок обратно за пазуху и повернулся к выходу.

— Постой. Куда ж ты? Побудь...

— Так ведь что ж быть-то? — Кузьма остановился посередине комнаты, теребя шапку. — Домой надо...

— Посиди. Вон на столе книжки разные. Посмотри картинки.

Кузьма потоптался, размышляя, пошел к столу и, весь покрасневшись, стал разглядывать книги, не решаясь притронуться ни к одной из них.

Взгляд его остановился на раскрытой коробке акварелей.

— А это что ж будет? — спросил он.

— В коробке? Это краски. Ими раскрашивают. Послони палец и потри по чашечке.

Кузьма недоверчиво повел глазами в мою сторону, но послушался, помочил языком палец, притронулся к одной из баночек. Палец окрасился в веселый изумрудный цвет. Кузьма поднес мизинец к глазам и долго рассматривал. Затем намочил другой палец и выпачкал его в желтый, вслед за ним в оранжевый, в пурпурный... Он смотрел на свою растопыренную пятерню, и я видел, как его лицо озарилось изумленной радостью.

— Хочешь, возьми себе, — сказал я, видя, какое впечатление произвело на него это открытие. — Бери, бери, они мне не нужны.

Кузьма еще больше зарделся, неуверенно и бережно взял коробку, поднес зачем-то к носу — медом пахнут! — достал ситцевый платок, завернул в него краски и, не попрощавшись, вышел.

Приближалась весна. За окном зашумел, застучал ставней сырой мартовский ветер. На деревне неистово загорланили пестухи.

Я почувствовал себя лучше. Появилась потребность что-то делать, и рука потянулась и нащупала в сундучке под топчаном заветную тетрадку со стихами. Раскрыл, стал перечитывать. На ду-

ше стало смутно. Будто от выкуренной папиросы после долгой болезни. Вдруг захотелось воздуха, простора, солнца.

Я встал, надел пальто, сапоги и вышел на крыльцо. В грудь ворвалась резкая, щемящая свежесть. Глаза сами собой зажмурились от яркого света. Я прислонился к столбу, поддерживавшему навес над порогом, постоял, привыкая к шальному весеннему воздуху.

На школьной двери висел замок. Я обошел здание, выбрался на солнечную сторону, присел погреться на завалинке. Было удивительно радостно смотреть на весь этот торопливый ход весны, на земной и небесный простор, и на душе оттого становилось тоже просторно и хорошо.

Мне казалось, что, пока я болел, поле как-то изменилось, раздалось вширь и вдаль. Постой, а где же березка? Плянул в ту сторону — и взгляд, ни на чем не задерживаясь, скользнул по гребню косогора: березки не было! Только заснеженное, сверкающее на солнце, открытое и потому особенно ставшее просторным поле! Было даже трудно представить, что там совсем недавно стояло дерево.

Мимо по разъезженной дороге, залитой коричневым навозным отстоем, тяжело плелся дед Серафим. Нагибаясь всем телом вперед, он тащил салазки со старой соломой. Завидев меня, дед остановился, снял шапку, картинно поклонился, и ветер легко раздул, поднял дыбом его легкие, жидкие волосы.

— Вылез жук на солнышко! Слава богу! — крикнул он.

— Дед Серафим! — крикнул я в свою очередь. — Дед Серафим!.. Не знаешь, куда березка девалась? Вон там на косогоре стояла.

— Березка? — дед повернулся навстречу солнцу, прикрыл лоб ладонью. — Шут ее знает. Случается, человека под корень валят, а не то что дерево. Небось кто на дрова срубил, а то и в хозяйство приладил. А тебе на что она?

— Да так. Пляжу, была и нет.

— Ну, ну... Пляди, гляди. — мирно сказал дед, наваливаясь на ляжки. — А мне вот коровенку нечем кормить. У чужих выпросил. Хоть и живодер, а ничего не поделаешь, приходится шапку снимать...

По хлюпкой дороге я побрел к месту порубки. Вокруг мшистого пенька натаяла вода, и в ней плавали уже побуревшие щепки. Тут же в осевшем снегу синела глубокая колея салазок.

Я постоял, посмотрел на обломанные темнокорые ветки, валявшиеся вокруг, и пошел по санному следу напрямик, через поле.

След привел на дальний край деревни. Навстречу выбежала рыжая, в клокастой шерсти собака, забрехала сиглым кашлем. Из сарая вышел с вилами в руке хромой мужик, выжидающе остановился в проломе плетня.

— А я думаю: кто такой? — сказал он, стаскивая шапку. — Теперь вот признал: Антон Степанов. Слава богу, поправился, значит. Проходи в хату, Антон Степанов. Рады хорошему человеку.

Я пригнулся и ступил в черный прогал двери. После света и снега с трудом огляделся в полутемной, с одним окном передней. Пахнуло терпким коровьим духом. Возле огромной печи на соломенной подстилке топтался пегий мокроносый теленок, привязанный обрывком веревки к ручке лохани. Из горницы высунулись две растрепанные головки с удивленно раскрытыми ртами и тут же исчезли. За перегородкой просыпалась частая дробь босых ног.

— Куська, музык присол, прячься.

— Проходи в горницу, Антон Степанов.

Взгляд скользнул по низкой, с закопченным потолком комнате. Тускло сверкнула большая икона в темном углу, вдоль стен — деревянная прялка, сундук с горбатой крышкой, непокрытый тесовый стол в простенке, длинная скамья перед ним.

Кузьма поднялся из-за стола, стряхнул с рубахи древесную стружку и так остался стоять за скамьей, глядя на меня своими округлыми серыми глазами под рыжими веками. Видно, я оторвал его от какой-то работы, и теперь, смущенный моим появлением, он не знал, что делать. В этой низкой комнате он казался выше, взрослее.

Мы стояли и глядели друг на друга, и я никак не мог найти, о чем заговорить. На земляном полу валялись стружки — все, что осталось от моей березки, и сам вор стоял передо мной, глядя мне в глаза с нелепой наивностью. Вор, приносивший мне пучок сухого донника.

— Я пришел... поблагодарить тебя за лекарство.

— Так ведь за что ж благодарить-то? Донник у нас без надобности висел. Еще с той поры, как батю белые побили.

Кузьма потупился. Он держал в руке короткий сапожный нож, обернутый бечевкой, и все время, пока стоял, проводил по его жалю мякотью большого пальца.

— Ты что ж, сапожничаешь?

— Не.

— А что ж?

— Да так...

— Покажь, покажь свои художества, — сказал отец, стоявший в дверном проеме.

— Да что ж показывать-то?

Кузьма обернулся к столу, который был закрыт от меня спиной, и протянул какую-то фигурку. Это был вырезанный из дерева крестьянин в широкой, навывпуск рубахе. У ног его лежал сноп. Сам же он, запрокинув голову, пил из кувшина. Работа еще не завершена, некоторые детали только намечены, но уже теперь видны правильные пропорции тела и чувствовалось, что вся фигура делалась по хорошо продуманному и осмысленному замыслу. Черт возьми! Так ведь это же что-то настоящее, большое! Это не свисток из ивового прута, какие делают в таком возрасте деревенские ребяташки. Я вертел в руках вещицу и не верил тому, что видел.

— Неужели сам сделал?

— Угу...

— И придумал сам?

— А что ж тут придумывать? Сам рожь небось косил, знаю...

— Нет, ты понимаешь, что это... большая ценность?

— Ну, какая же это ценность? — сказал отец Кузьмы. — Дерево — оно и есть дерево. На базаре за пару яиц и то не всегда продашь. Вот теперь твоими красками размалевывать будет, небось охочей брать станут. Детишкам. Ребятам — им дай что попестрее. Да ты не робей, покажь человеку. — засуетился отец. — Видишь, что он говорит? Плядишь, и верно, подороже запросить можно.

Кузьма подошел к горбатому сундуку, открыл крышку и, рдея от смущения, стал подавать мне одну вещь за другой. Худая, натужно вытянувшаяся лошаденка, впряженная в соху; старик, сидящий на бревне, с дырявым лаптем в руках; корова, закрывающая боком теленка от напавшего волка... Кузьма доставал из сундука все новые и новые сокровища, и мои руки, принимавшие их, дрожали от охватившего меня безудержного, лихорадочного изумления. Неужели это все сделал он, этот парнишка, который не прочитал еще ни одной книги, не бывал нигде дальше околицы своей деревни и который никак не мог поверить мне, что Земля круглая? Откуда у него такое? Такая емкая, простая сила изображения?

— Тебе, брат, учиться надо! — воскликнул я. — Обязательно! Непременно!

— А я и учусь. — просто ответил Кузьма, и от его слов я смешался, вспомнив, что на школьной двери всю зиму висел замок...

Домой я возвращался, унося в себе какую-то душевную смуту.

Проходя мимо места, где когда-то стояла березка, я присел отдохнуть на пенек. В колее санного следа незаметно, чуть слышно струилась вешняя вода, сбегая вниз по склону косогора к дальнему краю деревни...

Возвратясь домой, я первым делом достал из сундучка тетрадь и растопил ею печь: в комнате было холодно...

Антон Степанович вспомнил о своей потухшей трубке, выколотил ее о ноготь большого пальца и полез в карман за кисетом.

— Как-то я побывал в Ленинграде по своим делам, — сказал он после долгого молчания. — Зашел на досуге в Русский музей. Много там всего, чему можно удивляться. Но одна вещица поразила меня больше всего. На срезанном пне сидит молодой крестьянин, почти юноша. У ног его упавшая книга. Локтем правой руки он опирается о колено. На вытянутой ладони — соловей с раскрытым клювом. Юноша слушает с выражением глубокого раздумья. Вся эта вещь матово отсвечивает янтарной желтизной и кажется полупрозрачной.

Читаю внизу: «Поэт. Карельская береза».

И мне вспомнился Кузьма Половнев, деревенский мальчишка из нашего соловьиного края, когда-то отнявший у меня березку. Не его ли это работа? Все может быть...

АКИМЫЧ

Теперь уже редко бываю в тех местах: занесло, затянуло, заилило, забило песком последние сеймские омота.

Вот, говорят, раньше реки были глубже...

Зачем же далеко в историю забираться? В не так далекое время любил я наведываться под Липино, верстах в двадцати пяти от дома. В самый раз против древнего обезглавленного кургана, над которым в знойные дни завсегда парили коршуны, была одна заветная яма. В этом месте река, упершись в несокрушимую девонскую глину, делает поворот с таким норовом, что начинает крутить целиком весь омут, создавая обратокруговое течение. Часами здесь кружат, никак не могут вырваться на вольную воду щепы, водоросли, торчащие горлышком вверх бутылки, обломки вездесущего пенопласта, и денно и нощно урчат, булькают и всхлипывают страшноватые воронки, которых избегают даже гуси. Ну, а ночью у омота и вовсе не по себе, когда вдруг гулко, тяжело обрушится подмытый берег или полоснет по воде плоским хвостом, будто доской, поднявшийся из ямы матерый хозяин-сом.

Как-то застал я перевозчика Акимыча возле своего шалаша за тайным рыбацким делом. Приладив на носу очки, он сосредоточенно выдирает золотистый корд из обрезка приводного ремня — замышлял перемет. И все сокрушался: нет у него подходящих крючков.

Я порылся в своих припасах, отобрал самые лихие, гнутые из вороненой двухмиллиметровой проволоки, которые когда-то приобрел просто так, для экзотики, и высыпал их в Акимычеву фуражку. Тот взял один непослушными, задубелыми пальцами, повертел передочками и насмешливо посмотрел на меня, сощутив один глаз:

— А я думал, и вправду крюк. Придется в кузне заказывать. А эти уберу со смеху.

Не знаю, заловил ли Акимыч хозяина Липиной ямы, потому что потом по разным причинам образовался у меня перерыв, не стал я ездить в те места. Лишь спустя несколько лет довелось наконец проведать старые свои сижки.

Поехал и не узнал реки.

Русло сузилось, затравенело, чистые пески на излучинах затянуло дурнишником и жестким белокопытником, объявилось много незнакомых мелей и кос. Не стало приглубых тягунов-быстрин, где прежде на вечерней зорьке буровили речную гладь литые, бронзовелые язи. Бывало, готовишь снасть для проводки, а пальцы ни-

как не могут попасть лесой в колечко — такой охватывает азартный озноб при виде крутых, беззвучно расходящихся кругов... Ныне все это язевое приволье оцетинилось кутой и пиками стрелолиста, а всюду, где пока свободно от трав, прет черная донная тина, раздобрившая от избытка удобрений, сносимых дождями с полей.

«Ну уж, — думаю, — с Липиной ямой ничего не случилось. Что может статься с такой пучиной!» Подхожу и не верю глазам: там, где когда-то страшно крутило и водоворотило, горбом выпер грязный серый меляк, похожий на большую околевшую рыбину, и на том меляке — старый гусак. Стоял он этак небрежно, на одной лапе, охорашиваясь, клювом изгоняя блох из-под оттопыренного крыла. И невдомек глупому, что еще недавно под ним было шесть-семь метров черной кипучей глубины, которую он же сам, возглавляя выводок, боязливо оплывал сторонкой.

Плядя на зарастающую реку, едва сочившуюся присмирившей водицей, Акимыч горестно отмахнулся:

— И даже удочек не разматывай! Не травми душу. Не стало делов, Иваныч, не стало!

Вскоре не стало на Сейме и самого Акимыча, избыл его стародавний речной перевоз...

На берегу, в тростниковом шалаше, мне не раз доводилось коротать летние ночи. Тогда же выяснилось, что мы с Акимычем, оказывается, воевали в одной и той же горбатовской третьей армии, участвовали в «Багратионе», вместе ликвидировали бобруйский, а затем и минский котлы, брали одни и те же белорусские и польские города. И даже выбыли из войны в одном и том же месяце. Правда, госпиталя нам выпали разные: я попал в Серпухов, а он — в Углич.

Ранило Акимыча бескровно, но тяжело: дальнобойным фугасом завалило в окопе и контузило так, что и теперь, спустя десятилетия, разволновавшись, он внезапно утрачивал дар речи, язык его будто намертво заклинивало, и Акимыч, побледнев, умолкал, мучительно, вытаращенно глядя на собеседника и беспомощно вытянув губы трубочкой. Так длилось несколько минут, после чего он глубоко, шумно вздыхал, поднимая при этом острые, худые плечи, и холодный пот осыпал его измученное немотой и окаменелостью лицо.

«Уж не помер ли?» — нехорошо сжалось во мне, когда я набрел на обгорелые останки Акимычева шалаша.

Ан нет! Прошлой осенью иду по селу мимо новенькой белокирпичной школы, так ладно занявшей зеленый взгорок над Сеймом, гляжу, а навстречу — Акимыч! Торопко гукает кирзачами, картузик, телогреечка внапашку, на плече — лопата.

— Здорово, друг сердечный! — раскинул я руки, преграждая ему путь.

Акимыч, бледный, с мучительно одеревеневшими губами, казалось, не признал меня вовсе. Видно, его что-то вывело из себя и, как всегда в таких случаях, намертво заклинило.

— Ты куда пропал-то?! Не видно на реке.

Акимыч вытянул губы трубочкой, силясь что-то сказать.

— Пляжу, шалаш твой сожгли.

Вместо ответа он повертел указательным пальцем у виска, мол, на это большого ума не надо.

— Так ты где сейчас, не пойму?

Все еще не приходя в себя, Акимыч кивнул головой в сторону школы.

— Ясно теперь. Сторожишь, садовничаешь. А с лопатой куда?

— А-а! — вырвалось у него, и он досадливо сунул плечом, порываясь идти.

Мы пошли мимо школьной ограды по дороге, обсаженной старыми ивами, уже охваченными осенней позолотой. В природе было еще солнечно, тепло и даже празднично, как иногда бывает в начале погожего октября, когда доцветают последние звездочки цикория и еще шарят по запоздалым шапкам татарника чернобархатные шмели. А воздух уже остер и крепок, и дали ясны и открыты до беспредельности.

Прямо от школьной ограды, вернее от проходящей мимо нее дороги, начиналась речная луговина, еще по-летнему зеленая, с белыми вкраплениями тысячелистника, гусиных перьев и каких-то луговых грибов. И только вблизи придорожных ив лут был усыпан палым листом, узким и длинным, похожим на нашу сеймскую незатейливую рыбку-верховку. А из-за ограды тянуло влажной перекопанной землей и хмельной яблочной прелью. Где-то там, за молодыми яблонями, должно быть на спортивной площадке, раздавались хлесткие шлепки по волейбольному мячу, иногда сопровождаемые всплесками торжествующих, одобрительных ребячьих вскриков, и эти молодые голоса под безоблачным сельским полднем тоже создавали ощущение праздничности и радости бытия.

Все это время Акимыч шел впереди меня молча и споро, лишь когда минули угол ограды, он остановился и сдавленно обронил:

— Вот, гляди...

В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги. Большая и все еще миловидная лицом, с легкой, едва обозначенной улыбкой на припухлых по-детски губах. Но светлые шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа зияла дыра, прожженная, должно быть, сигаретой. Кто-то сорвал с нее платье, а голубенькие трусики сдернул до самых башмаков, и то место, которое прежде закрывалось ими, тоже было истыкано сигаретой.

— Это чья же работа?

— Кто ж их знает... — не сразу ответил Акимыч, все еще сокрушенно глядя на куклу, над которой кто-то так цинично и жестоко глумился. — Нынче трудно на кого думать. Многие притерпелись к худу и не видят, как сами худое творят. А от них дети того набира-

ются. С куклой это не первый случай. Езжу я и в район, и в область и вижу: то тут, то там — под забором ли, в мусорной куче — выброшенные куклы валяются. Которые целиком прямо, в платье, с бантом в волосах, а бывает — без головы или без обеих ног... Так мне нехорошо видеть это!.. Аж сердце комом сожмется... Может, со мной с войны такое. На всю жизнь нагляделся я человечины... Вроде и понимаешь: кукла. Да ведь облик-то человеческий. Иную так сделают, что и от живого дитё не отличишь. И плачет по-людски. И когда это подобие валяется растерзанное у дороги — не могу видеть. Колотит меня всего. А люди идут мимо — каждый по своим делам — и ничего. Проходят парочки, за руки держатся, про любовь говорят, о детках мечтают. Везут малышей в колясках — бровью не поведут. Детишки бегают — привыкают к такому святотатству. Вот и тут: сколько мимо прошло учеников! Утром — в школу, вечером — из школы. А главное — учителя: они ведь тоже мимо проходят. Вот чего не понимаю! Как же так?! Чему же ты научишь, какой красоте, какому добру, если ты слеп, душа твоя глуха!.. Эх!

Акимыч вдруг побледнел, лицо напряглось той страшной его окаменелостью, а губы сами собой вытянулись трубочкой, будто в них застряло и застыло что-то невысказанное.

Я уже знал, что Акимыча опять «заклинило» и заговорит он теперь нескоро.

Он сутуло, согбенно перешагнул кювет и там, на пустыре, за поворотом школьной ограды, возле большого лопуха с листьями, похожими на слоновьи уши, принялся копать яму, предварительно наметив лопатой ее продолговатые контуры. Ростом кукла была не более метра, но Акимыч рыл старательно и глубоко, как настоящую могилку, зарывшись по самый пояс. Обровняв стенку, он все так же молча и отрешенно сходил к стожку на выгоне. Принес охапку сена и выстлал им днище ямы. Потом поправил на кукле трусишки, сложил ее руки вдоль туловища и так опустил в сырую глубину ямы. Сверху прикрыл ее остатками сена и лишь после этого снова взялся за лопату.

И вдруг он шумно вздохнул, будто вынырнул из какой-то глубины, и проговорил с болью:

— Всего не закопать...

1985

СУЧОК

Улица течет как широкая, полноводная река. Ступил на тротуар — и поплыл, подчиняясь общему потоку. Торопиться некуда, но идти не спеша не удастся: всем ты мешаешь, все задевают тебя. Остается либо мчаться со всеми вместе, либо свернуть куда-нибудь. Благо у каждой большой улицы, как и у реки, есть тихие заводи.

Однажды я смотрел, как плотники чинили мост. Крупная белая щепка падала вниз и, подхваченная течением, неслась, приплясывая, на крученой струе.

Под топор попал сучок — похожий на обломанный рог. Плотник прицелился и ловко отсек его вместе с куском дерева. Сучок тяжело плюхнулся, вынырнул и поплыл рогом вниз. Плотник тесал, щепка падала и уплывала, и в тот миг когда упала последняя и он врубил топор в бревно, чтобы перекурить, — первая была уже далеко. Скоро эта легкая с кучеряшками на кормах флотилия умчалась, покачиваясь на главной струе. И только одна, утяжеленная сучком, не подчинялась согласному движению. Ныряла, ныряла и завернула в заливчик, заросший лопухами кувшинок.

У меня в голове сегодня тоже «сучок» — думы о будущем рассказе, а потому никак не плывется на главной струе, я толкаюсь, толкаюсь и сворачиваю в прилегающий к улице сквер.

Сквер крошечный — на все стороны сквозь чугунную ограду просматриваются улицы. Несколько аллей, несколько скамеек, а посередине незамысловатый фонтан. Старые клены роняют на дорожки узорчатую тень. И хотя этот зеленый островок насквозь пронизывается назойливыми гудками автомобилей, захлестывается волнами бензиновой гари, знойным дыханием раскаленных домов и асфальта — он дарит прохладу, покой и даже тишину. Эту тишину воспринимаешь не ухом, потому что сквер полон городских шумов. Ее видишь. Видишь играющие на зеленой траве солнечные зайчики, брошенный на скамейке пестрый зонтик, задремавшего старика с газетой на коленях, видишь фонтан, а над ним — живой цветок из прозрачных струй.

А старик все еще дремлет на скамейке. Но изо рта больше не торчит потухшая трубка. Она на песке у его ног.

До того как уснуть, старик завтракал. Возле скамейки прыгали воробьи и подбирали крошки. Они вовсе не боялись старика. Один взлетел на скамейку и собрал все, что нашлось. Другой, с опаской поглядывая на трубку, улучил момент, изловчился и выклевал что-то из-под носка ботинка. Старик спросонья шевельнул газетой, воробьи вспорхнули на ближайший клен.

Потом вся стайка перелетела к фонтану. Загомонили, запрыгали по бетонному кольцу. И совсем не боятся дождя, что непрестанно сыплет фонтан. Обнаружив на поверхности кольца лужицу, воробьи забралась в нее, заплескались, смешно макаясь грудью и мелко трепеща крылышками.

И среди них есть свои озорники. Из края кольца в нескольких местах бьют боковые тонкие струйки. И вот, вижу, воробей подскокил к самому отверстию и стал пить, перехватывая клювом упругую серебряную струйку. Она то перерывалась, дробясь на мелкие сверкающие на солнце брызги, то, когда воробей отнимал клюв, снова вскидывалась, спеша слиться с главной струей.

В глубине аллеи показываются трое мальчишек.

На них — ничего, кроме трусов. Все трое — с палочками мороженого. Завидев фонтан, наперегонки мчатся к нему. Воробьев — уже нет. Мальчишки взбираются на кольцо, бегают друг за другом и тоже, совсем как недавно воробьи, принимаются ловить ртом струйки. Вода сердится, не хочет попадать в рот, хлещет в лицо, ребята жмурятся, фыркают и наконец, поймав воду, жадно пьют.

Я слежу, какое магическое действие производят эти струи на взрослых. Вот по аллейке идет тучный в парусиновой паре человек с портфелем под мышкой. Парусина на плечах сереет потными подталинами. Лицо бурачно-красно. Возле фонтана он непроизвольно останавливается, минуту ошалело смотрит на падающую воду, потом, облизывая сухие губы, нетерпеливо озирается. И вдруг, воспрянув, бежит по дорожке. Я уж знаю, куда. В нескольких шагах от фонтана, в тени клена, приотилась продавщица газировки. Толстяк занимает очередь. Ему наливают стакан с сиропом. Он в два глотка опорожняет стакан, прислушивается к самому себе: напился или нет? Просит еще с сиропом. Пьет. Жует губами. Потом вдруг сердито:

— Налейте чистой!

Напился «чистой» и украдкой сплюнул в чугунную урну.

К фонтану подходит девица под пестрым зонтиком. С завистью стреляет глазами на ребяташек, полоскающихся в струях, крутит зонтиком и тоже направляется к будочке на колесах.

Я жду, когда кто-нибудь подойдет, запросто, как ребяташки, подставит рот под струю фонтана и всласть напьется настоящей воды. Пейте! Это же ведь чистейшие соки земли! Те самые, что пробиваются где-нибудь в лесу из-под замшелой колодины. Только их взяли, да и подвели к самому центру города. Но, конечно, пить никто не будет. Без кружки? На виду у всех? Неприлично.

Я и сам понимаю: как-то неловко отхлебывать из фонтана. И дело не только в том, что может обрызгать, а просто... Ну, стыдно, что ли? Я и не протестую: не пьете, и не надо.

Только непонятна мне натура человеческая. Вот набредет тот же самый толстяк в парусиновой куртке во время загородного пикника на колодину в лесу, из-под которой бьет родничок, и засияет от счастья. И не потому, что уж слишком жажда одолевает. Нет. В умилении станет на колени, разгребет травинки и сухие листья, что крутит студеная струя, и припадет к воде.

— Ух и хороша, каналья! — скажет, с трудом переводя дух и вытирая мокрый подбородок. — Куда твой боржом!

Поставить бы здесь, возле родничка, домик, да большего и желать не надо. И снова припадет и тянет, тянет через силу.

А его уж нетерпеливо тормошат за плечо: дескать, хватит, хватит, оставь другим.

Все пьют — не напьются, хвалят — не нахвалятся. Пьют — и хвалят искренне. Толстяк даже начнет в связи с этим поносить город-



скую жизнь. Мол, что в ней хорошего — воды и то не напьешься. Такой микстуры намешают! То ли дело в деревне! И вспомнит, как когда-то, когда еще рос, деревенским парнишкой бегал по этим вот лесным опушкам, ел землянику, запивал водой студеной. Красота!

Но положи в городском парке ту же самую лесную колодину и пусти из-под нее струйку родниковой воды, и толстяк, взглянув, устыдится своей вчерашней слабости и, не узнавая и не посылая торжественных од земле, по которой бегал босоногим мальчишкой, чинно и важно пойдет разыскивать газировку.

Вот и пьют эту воду фонтанов — обыкновенную чистую воду земли, пришедшую в душный город из благословенных полей и лесов, — самые непосредственные натуры, без портфелей и зонтиков, без послужных списков и дешевых надуманных правил приличия, — воробы и мальчишки! Они просто радуются жизни, а не придумывают эти радости.

Я гляжу на часы, пора, но уходить медлю. Еще чувствую в себе засевший «сучок».

По дорожке идет парень с какой-то запчастью через плечо. Лицо дубленое, волосы свалялись. Кепка на самой макушке. Под пыльными сапогами тяжело хрустит мокрый песок. Останавливается передо мной, спрашивает:

— Не знаете, где тут у вас ГУТАИ? Порвало шестеренку, комбайн стоит в самую погоду, а у нас в эртээсе таких больше нету.

Я объясняю дорогу.

Парень торопливо благодарит, собирается бежать, но, увидев брызжащие струи фонтана, останавливается — одна нога здесь, другая — там.

— Напиться, что ли?

Решительно кладет запчасть на бетонный обод фонтана и жадно припадает к воде. Большой острый кадык размеренно ходит на загорелом горле. Напившись, парень подставляет под упругую, будто стальной прут, струю лицо, и вода с яростью хлещет. Парень крутит головой, как перед пульверизатором одеколон-автомата, довольно фыркает, вытирается подкладкой кепки и, освеженный и виновато-радостный, кивнув мне, бежит по своему неотложному делу.

— Наверно, с похмелья. — качает головой какая-то важная дама в черных перчатках на оголенных по локоть руках.

Я поднимаюсь и выхожу на улицу, она подхватывает и несет. Но теперь несет легко и свободно, потому что меня больше не обременяет «сучок».

1959

СКВОРЕШНЯ

*Шумела весна ручьями,
Чернела землей и грачами,
А в ветках набухшей черешни
Дрались воробы за скворешню.*

По правде сказать, та скворешня уже доброго слова не стоила: за зиму покорило дощечки, кровелька треснула и засквозила разверстой щелью. А скворцы-хозяева уже где-то на подлете. Поди, минули Обоянь и с часу на час будут дома. По-хорошему, надо бы заменить скворешню, порадовать птах новой светелкой. Но где ее взять? Как хорошо, если бы птичьи домики весной в магазинах продавали! Пусть ребята из какого-нибудь столярного ПТУ наделают. Или школьники занялись бы этим на уроках труда, а заодно научились бы столярному делу. В День птиц народ повалил бы в магазин, и каждый купил бы по скворечнику. Но нет, пока не продается такой товар. А самому сделать не из чего: в современной квартире со всеми удобствами — ни лишней доски, ни фанерки. Валяется на балконе посылочный ящик, да и тот из деревоплиты. Ну, а деревоплита, ясное дело, под дождем враз размокнет.

И пошел я на стройку посмотреть чего-нибудь брошенного, ненужного.

А на строительной площадке своя весна: поплыла раскисшая глина, колесные колеи и рытвины налились кисельной жижей, и только островами среди хляби высятся кучки песка да кирпичные штабели. Хорошо, что я пошел в резиновых сапогах.

День был воскресный, никакого народу на стройке не было, лазил я лазил по пустому двору — ничего не нашел подходящего. Правда, возле бригадного вагончика желтел ворох свежих досок, но ведь они предназначены для дела, а не для моей безделицы.

Наконец в дорожной колее нашел надломанную посредине двухметровую плаху. Должно быть, кто-то подкладывал ее под автомобильные колеса. Вытащил я доску из грязи и только было принялся отмывать ее в натаявшей снежнице под забором, как, слышу, окликает меня кто-то:

— Эй, чего надо?

Я обернулся. Из вагончика высунулась рыжая, клокастая шапка, под которой трудно было разобрать лицо.

— Не положено посторонним.

Сидя на корточках, я продолжал мыть доску, и тогда сторож, опираясь на рубчатый арматурный прут, зачавкал сапогами в мою сторону.

— Шляются тут... — распалил он сам себя. — Вот как огрею ко-
стылем...

— Да вот... — привставая, показал я на доску. — В колее подоб-
рал. Сломанная...

— Подобрал... — грозно воззрился сторож из-под лохматой
шапки, делавшей его похожим на бездомного эрдельтерьера. —
Сказано, не положено.

— Скворечник хотел сделать, — оправдывался я смущенно и,
желая тронуть душу, умягчить «терьера», добавил для убедитель-
ности: — Внук просил. Пристал: сделай да сделай скворешню...

— Ничего не знаю! — непреклонно оборвал «терьер». — Одному
на скворешню надо, другому на гараж потребуется.

— Так ведь доска брошена. И сломана, видишь, пополам. На од-
ной жилке держится. В грязи валялась.

— Мало ли чего... в грязи, — сторож наступил сапогом на конец
доски. — А хоть и в грязи — все одно не трогай.

Ситуация была унижительная. Все дело в том, что он прав, а
я нет. Я сконфуженно обтер мокрые руки о штаны и от безвыходно-
сти поискал в кармане сигареты. Курева, как назло, не оказалось,
в пальцы попался какой-то комок, и я машинально извлек его на
свет. Это был смятый бумажный рубль.

— Может, пригодится? — неуверенно протянул я находку.

«Терьер» помедлил, как бы издали принюхиваясь к рублю,
и вдруг, как-то мигом сглотнув предложенное, «замахал хвостом»:

— Дак постой. Зачем тебе эта... погоди, мы щас получше най-
дем. На скворешню надо сухую. — Он проворно сбегал к вагончику
и вытащил из вороха кусок свежей доски. — На вот, строгай. Ее
и трогать не надо, она и так чистая.

— Да нет, спасибо. — отказался я, поднимая с земли прежнюю
доску. — Я уж как-то эту облюбовал.

— Чудак! — «Терьер» тряхнул нависшей над глазами шерстью. —
Я ж тебе новую даю. А мокрую рубанок не возьмет, заластитися.

— Ничего, сначала высушу. — Мне и в самом деле почему-то
больше была по душе вот эта вызволенная из грязи доска-калека,
и я отшвырнул доску к вагончику, но та, не долетев до штабеля,
хлестко шмякнулась в самое месиво.

— Слушай, — снова оживился, «завилял хвостом» сторож и,
приблизясь, приглушил голос: — Может, тебе цемент нужен? Тогда
приходи, как стемнеет. Трояк за ведро.

— Да нет, не надо.

Я пошел к выходу, а он, семеняще чавкал сзади, предлагал
вдогонку:

— Если деньги вперед, дак по рублю ведро отдам, а? Ты где живешь? Я вечером сам принесу.

Я вышел за ворота и помыл сапоги в шумном весеннем ручье.

1985

КУВШИНКА

Бывают такие вечера в начале лета. Река беззвучно струится у сонных осок. В ней отражена вся ясность и глубина вечернего неба. Не надо поднимать голову, чтобы разглядеть парочку пролетающих чирков.

Из-за берега мне не видно села. Но я слышу, как с наступлением вечера оно оживает, наполняется разноголосыми звуками. Слышно, как с полей съезжаются на колхозный двор грузовики, как скрипит колодец, как долго, глухо и деревянно стучит мост, когда по нему проходит стадо.

Вдруг где-то далеко в заречье несмело, как сверчок, подает голос гармошка. И тотчас ее неразборчивые звуки перебивает песня.

Поют задорно, с той бесшабашной удалью, как только умеют петь в лугах сельские девчата. Идут себе, обнявшись, во всю ширь полевой дороги, на глаза надвинуты косынки, босые ноги шлепают по теплой пыли. И некого им смущаться, и не к чему сдерживать песню, если уж она попросилась из души.

А песня все ближе, ближе, вот уж где-то среди покосов, и я поднимаюсь от реки на крутояр, чтобы осмотреться.

Но в лугах никого не видать. Дорога пуста. Тучные перевалы трав, чуть тронутые золотом заката, гряды за грядой уходят к самому горизонту, к синей лесной полоске. И странно и смутно слышать среди бесконечных трав живой трепетный голос и не видеть человека:

*Его я видеть не должна,
Боюсь ему понравиться.
С любовью справлюсь я одна,
А вместе нам не справиться...*

Я выделяю этот голос среди других — высокий и чистый, с каким-то неподдельным откровением, и слышатся в этом голосе и грусть и вызов.

Только теперь я замечаю лодку. Она показывается на плесе из-за глинистого мыса. Плес закатно светел, и плывет по нему не одна, а две лодки, приставленные друг к другу днищами.

В лодке с десятков парней и девчат, она чуть не зачерпывает бортами, но идет против течения ходко, оставляя за кормом длинные лучистые усы.

Все сидят на лавочках. И только парень стоя управляет веслом. Он в белой майке, по-цыгански смугл, лицо чуть скуластое.



с выраженным снисходительного безразличия и к песне, и к ее смыслу, и к этой необыкновенной ласковости вечера. Он гребет, перебрасывая весло в такт песне, отчего лодка тоже покачивается в такт. Всем своим видом парень показывает, что гнать лодку он

может вот так же легко и плавно сколько угодно и что ему это ничего не стоит. Я не знаю, кто он и что, но гребет он красиво, он и сам, видно, знает о том, и делает это неспроста, не ради собственного удовольствия...

Запевала сидит на ближайшей к парню лавочке. Против своего голоса она выглядит старше. На плечах накинута легкая вязаная кофточка, волосы в тутом пучке, лицо какое-то нездешнее. В нем что-то от сельской учительницы.

*Я от него бежать хочу,
Лишь только он покажется —
А вдруг все то, о чем молчу,
Само собою скажется?*

Она поет, опустив руку за борт. В светлых, чистых струях на пальце поблескивает золотое колечко. Иногда в ее пальцы попадает желтая головка кувшинки. Она обрывает ее, небрежно бросает парню под ноги.

Заметив меня, девчата смолкают. Гармонист смущенно накрывает локтями свой баян. Гребец осторожно объезжает поплавки. Учительница внимательно глядит в мою сторону, и глаза у нее усталые и вовсе не веселые... Но она тотчас спохватывается, улыбается и кричит:

— Как улов?

И, размахнувшись, бросает золотую чашечку кувшинки:

— Держите! На счастье!

Видно, было загадано: долетит или не долетит, потому что, когда кувшинка падает у поплавков, на лице учительницы отражается сожаление.

Река медленно несет цветок прочь. А лодка, не останавливаясь, уходит дальше.

Мне тоже жаль, что цветок не долетел, что, возможно, не исполнится чья-то задумка, и я вхожу в воду и перехватываю кувшинку.

Учительница благодарно машет и вдруг, встряхнув головой, неожиданно запеваает — сильно, молодо:

*Парней так много холостых,
А я люблю женатого...*

Видно, она знает, что поет хорошо, как знает и тот парень, что он хорошо может вести лодку.

МАЙСКИЙ ПОДАРОК

Всю ночь гроыхала первая майская гроза. Но к рассвету небо было уже чисто и от грозы остались лишь необыкновенная свежесть, умытая зелень и пенистые лужи в колеях проселка.

Пригородный поезд волочит свой шлейф из нежно-розового пара по этим лужам, по черным пашням и залитым водой болотцам. Поднятые с лугов чибисы, вскрикивая и переваливаясь с крыла на крыло, долго летят рядом с вагонами, ныряя в клубы поредевшего пара.

В открытые окна захлестывает упругий луговой ветер.

Ветер полощет занавески, растрепывает волосы пассажиров, нетерпеливо перевертывает страницы книги в руках моего соседа, но никто и не думает встать и поднять рамы.

И кажется, в вагоне нет такого человека, который не чувствовал бы и этот майский ветер, и необыкновенную свежесть красок за окном, и крепкий запах напоенной влагой земли. Ко всему этому трудно оставаться равнодушным.

Вагон длинный, без перегородок, и мне видны почти все пассажиры.

Мой сосед, пожилой, городского вида человек с маленьким потертым чемоданчиком на коленях, едет, вероятно, в командировку. В самом начале пути он достал из чемодана книгу, разломил ее по середине, надел очки и приготовился читать. Но, едва перевернув две-три странички, засматривается в окно.

— Благодать-то какая! — трогает соседа за рукав старик, который сидит у нас за спиной, по другую сторону лавки. Старик держит меж острых колен пучок коричневых прутиков. Прутики у основания обернуты мешком и корнями опущены в ведро.

— Пора уже помирать, а я все сажаю! — Старик добродушно смеется, обнажая пустые розовые десны.

...Едут две подружки в пестрых шелковых косынках-обновках, в одинаковых монистах. К ним подсаживается морячок. Девчата смущаются, краснеют, отвечают резко, но парня не обрывают.

— Так-таки никуда и не ходите? — морячок придвигается поближе, заглядывает в глаза.

— Никуда.

— Так и замуж не выйдете.

— А мы уже замужем.

— Травите?

— Чего?

— Травите, говорю. Врете то есть, что замужем.

Поезд останавливается на полустанке. Моряк высовывается из окна, глядит направо-налево, потом срывает с себя бескозырку, швыряет ее на скамью рядом с девчатами: «Скажите — занято», — и опрометью вылетает из вагона.



Поезд трогается. Мимо медленно проплывает кирпичная будочка разъезда, колодец с двухскатной крышей под срубом, штабеля старых шпал, кусты придорожной посадки. И вдруг в окно летят ветки черемухи. Одна, другая, третья... Девчата подхватывают черемуху, а в это время в окне показывается довольная, улыбающаяся физиономия морячка. Он схватился рукой за раму и бежит рядом с вагоном. Подружки ахают. Морячок одним рывком переваливается в вагон и нахлобучивает бескозырку прямо на запутавшиеся в кудрях лепестки черемухи.

И снова поезд мчится, и снова по вагону гуляет ветер. Люди пригляделись друг к другу, разговорились.

И только теперь я обратил внимание на женщину, что сидит как раз напротив. У нее круглое детское лицо, широкий вздернутый нос, полные сухие губы. Серые глаза на фоне темной заветренной кожи кажутся выцветшими. Под платком видна граница загара, за которой белеют нежные маленькие уши с простенькими сережками. Ей, пожалуй, уже около тридцати, но во всем ее облике так и осталось что-то от подростка. Она сидит тихо всю дорогу. Поверх синего платья подвязан чистый белый передник в еще не распрямившихся складках. По этому переднику я догадываюсь, что она из дальнего глубинного села, где еще сохранился обычай по торжественным случаям подвязывать белый фартук. В этой одежде она походит на школьницу в форменном платье. Руки она держит под фартуком, положив ладони на колени. У ее ног стоит ивовая корзина, накрытая клетчатым платком.

Почему-то с ней никто не заговаривает. Она тоже молчит, порой прислушиваясь к словам, иногда задремывая.

Я смотрю на нее с сочувствием. Она такая неловкая, одинокая и какая-то безразличная ко всему.

На следующей станции вваливается шумная ватага сельских парней. Шелковые сорочки, пиджаки внапашку, сапоги начищены до зеркальной ясности. На звуки гармошки, как на магнит, пассажиры поворачивают головы. В вагоне становится шумно.

Я взглядываю на женщину в белом переднике. Она сидит все так же тихо и думает о чем-то своем. Потом медленно высвобождает из-под фартука руки, тянется к корзине и открывает платок. Рука ша-

рит в глубине корзины, достает маленький сверток в серой обертке. Женщина разворачивает бумагу и расправляет на фартуке новую детскую рубашечку. Рубашка годика на три, синяя в белую полоску.

Женщина долго разглядывает попку, застегивает и опять расстилат рубашку на коленях и осторожно водит по ней широкой ладонью. Рука сильная, мужская. Шершавые, натруженные пальцы цепляют за материю.

И я вижу, как начинает светиться радостью ее лицо. На щеках сквозь загар проступает румянец, глаза полнятся глубокой синью, а на губах тихая светлая улыбка, и губы шевелятся и что-то шепчут, что-то говорят рубашечке...

Старик с яблоней кивает мне многозначительно и прикладывает к губам палец. Потом трогает своего соседа.

Ее руки все так же лежат на детской рубашечке, но сама она теперь глядит в окно, и глаза ее полны тихой радостной задумчивости.

1961

СТЕПНОЕ ЛЕТО

Горяч и звонок стоял степной полдень в Засеймье. Над полями струилось добела расплавленное небо. Спелые хлеба по обе стороны проселка дышали в лицо печной духотой, и хотелось приподняться на цыпочки, чтобы плотнуть свежего ветерка.

У края лесистого оврага, на расчищенной и укатанной стерне, табором раскинулся временный бригадный ток: старенький приводной «Харьковец», зернопулт, сортировки. Над теплым ворохом зерна плавал парной ситный запах, и лошадь, запряженная в водовозную бочку, раздувала ноздри и, дергая недоуздок, тянулась к пшенице.

В холодке под орешником обедали девчата — команда тока. На ветках висели косынки, блузки и даже платья — все, что можно было снять, не церемонясь, в присутствии Федьки-водовоза. Загорелые златоплечие девчата налегали на арбузы: жарко!

Сегодня на току заминка: почему-то не пришла за очищенным зерном машина. Зерна насортировали уйму, и заведующая током тетя Варя, единственная пожилая женщина во всей команде, ушла на центральную усадьбу выяснить, в чем дело.

— Федька-а! — крикнула весовщица Ксения и запустила в лошадь арбузной коркой. — Привяжи покороче мерина! Опять зерно слонявит!

В овраге зашуршали листья, захрустел сушняк. Показалась рыжая, добродушная, исцарапанная ветками Федькина физиономия. Федька большоголов, узкоплеч и по причине своего неказистого вида все еще ходит в подростках. Ему предписано возить воду к комбайнам. Отсюда видно, как самоход, мелькая планками жатки, стрижет наголо соседний косогор. И до той поры, пока на соло-

мокопнителе не появится красная майка, подвешенная к шесту, — что означало: «Федька, воды!» — Федька околачивался на току.

— Девки, орехи поспели! — Федька похлопал по оттопыренным карманам коротких обтрепанных штанов. — Ядреные!

— Угощай!

Федька достал горсть орехов, уже зарумянившихся и звонких, и стал сыпать в подол рубашки Ксении.

— Еще! — говорила Ксения, глядя на Федьку снизу сощуренными карими глазами.

Ксения была первая на селе красавица: чернявая, белозубая, статная. Она знала, что хороша собой, была бойка и остра на язык. Ксения сидела на траве, чуть откинувшись, поджав под себя ноги и опираясь на руки за спиной. Из-под красешка натянутой рубашки выступали округлые, в ямочках колени. Федька косился на них и бросал орехи в подол не торопясь, по одному, ухмыляясь.

— Еще!

Федька с готовностью достал новую горсть.

— Ну, хватит ей! Давай и нам! — К Федьке потянулась перепачканная мазутом рука Ольги.

Ольга обучилась запускать приводной трактор, обслуживала зернопульт и была на току за механика.

— Не цап! — шаркнул ногой Федька. — Не пачкай брюки!

— У, черт конопатый!

— Сыпь еще! — приказала Ксения. — Все сыпы!

— А себе што? — насторожился Федька.

— Сыпь добром!

Федька на всякий случай отступил подальше.

— Хватай его, девчата!

Федька отскочил, завяз в зерне, повалился. Рассыпая с подола орехи, Ксения одним прыжком настигла Федьку, схватила за босую ногу. Федька глубоко запустил руки в пшеницу, силясь удержаться, но опора была зыбкая, и он пополз вниз, загребая зерно задранной на спине рубахой.

— Пусти! — орал он, стараясь свободной ногой плеснуть в лицо Ксении пшеницей. — Пусти, говорю! А то расскажу, как с комбайнером обнималась!

— Когда? — ошарашенно остановилась Ксения. — Побреши мне!..

— Девчата, машина едет! — вдруг крикнула сортировщица Настя.

В пшенице замелькала кабина грузовика. Вслед за ней над хлебами, лениво клубясь, поднималась пыльная завеса.

— Ой, да это не наша! В колхозе таких нет! — всплеснула руками Настя и первая побежала к орешнику.

Пока девушки сдергивали с кустов одежду, надевали блузки и кофты, второпях не попадая в рукава, четырехтонный ЗИЛ подкатил к самым весам и, зашипев, остановился. Из кабины вышли озабоченная тетя Варя и шофер — долговязый, узколицый и чернобровый па-

рень в ковбойке с закатанными рукавами и в синих льжньх брюках, делавших его еще более долговязым.

— Вот пригнала другую машину. — сказала тетя Варя, утирая потное лицо концом косынки. — Ну, девчата, живо!

Какое-то мгновение сгрудившиеся девчата стояли неподвижно. Каждая, таясь от другой, бегло, как бы невзначай, оглядывала незнакомого парня, и вышло так, что, когда шофер бросил взгляд в их сторону, он застал врасплох все глаза: черные прищуренные Ксенины, боязливо моргающие под белым козырьком косынки Настины, добродушно-веселые трактористки Ольги и еще другие, — смутил девушек, смутился сам, нахмурил брови и спросил:

— Машину развернуть?

Ватага девчат тотчас рассыпалась по току. На мешки навалились дружно, будто в чем провинились. Грузили быстро, привычно, не глядя больше на долговязого водителя. Парень попытался помочь, но одному ему мешок было не поднять, а в пару с ним никто не становился, девчата обходили его, не замечая, молчаливо и азартно хватали с весов мешки — одна за хохолок, другая за углы — и, раскачав, забрасывали в открытый кузов.

Машина покатила.

— Это чей же такой? — нараспев спросила тетю Варю Ксения.

— С автобазы. Прислали на подмогу.

— Сразу видно, городской.

— Это почему же видно?

— Интеллигентный... губки бантиком...

— Чистюля...

— И мешков боится.

— Тетя Варя, а как зовут его?

— Говорит, Вадим.

— Вадим-не.подим.

Парня тут же разобрали по косточкам. По какому-то молчаливому уговору находили в нем только смешное, и когда рослая, большерукая Настя, молчавшая до той поры, вдруг сказала: «А мне, когда борт помогала закрывать, спасибо сказал», — все обернулись к ней.

— Спасибо сказал — она уже и растаяла!

— Ай понравился?

— Вот выдумали!.. — отмахивалась Настя. Глаза ее влажно заблестели. — Нельзя и сказать!.. Ну что тут такого?

— Парень как парень, — примирительно сказала тетя Варя.

— Стиляга! — хихикнул Федька. — Штаны дудочкой.

— Посмотри лучше на свои! — бросила Ксения.

Девчата грохнули. Федька конфузливо оглядел свои куцые недомерки.

— Ну, хватит, девчата! — объявила тетя Варя. — Ольга, запускай трактор!

Ольга покопалась в брюхе трактора, крутнула ручку. «Харьковец» по-стариковски закашлял, затрясся, чадя едкой керосиновой гарью. Из зернопульты выметнулась струя пшеницы и, набрав силу, повисла над током живой, пляшущей дугой. У этого пульсирующего фонтана, что с веселым плеском разбивался о ворох зерна, был свой стремительный ритм, подчиняясь которому застучали ситами сортировки и отполированные зерном до воскового глянца деревянные лопаты. Было что-то красивое в этих размеренных, сильных и гибких движениях загорелых девичьих рук, от прикосновения которых оживало и начинало ходить это хлебное море, заплескивая босые ноги теплыми пахучими волнами.

Так работали час-другой, потом кто-нибудь втыкал в зерно лопату или бросал совок, выпрямлялся, прогибая рукой затекшую поясницу, и пьяным шагом шел к бочке с водой.

До вечера успели еще дважды отправить машину. Каждый раз грузили сами, вынуждая водителя брать отвертку и поднимать для видимости капот над мотором. Потом пришел сторож дед Севастьян, и тетя Варя объявила отбой. Девушки плескались у бочки, когда в посеревшем поле в четвертый раз показался грузовик.

— Понравилось, — усмехнулась Ксения. — А может, тонна-километры выжимает? Мы не железные.

Грузовик подкатил к площадке. Хлопнула дверца. Шофер остановился перед опустевшим током, достал папироску, закурил.

— Скажи, что домой уходим, — толкнула Ксению Ольга.

Ксения подошла к шоферу. Она только что умылась, и лицо ее просвечивало ровным румянцем. В тяжелых волосах, распущенных по голубой косынке, блестели брызги.

— А мы уходим. Зря машину гнали...

Она достала из кармашка сарафана гребень и плавными, неторопливыми движениями принялась расчесывать волосы, сбивая водяные капли на косынку.

— Я не за зерном, — сказал шофер, принуждая себя взглянуть в лицо Ксении.

— Что-нибудь забыли?

— Приехал за вами. До деревни ведь далеко...

— Вот как! Спасибо! — растягивая слова, сказала Ксения.

В сумерках таяли остатки зари. Над оврагом поднялся туман, скрыл под собой кусты лещины, и овраг стал похож на огромное бездонное озеро. Оттуда тянуло сырой лесной прохладой, пахло папоротниками, изрытой кротоми землей.

— Нравится у нас?

— Да, у вас хорошо.

К машине несмело подтянулись остальные девчата. Парень оказался неразговорчивым, но его молчание не отпугивало, и они стояли и мучались тем, что и сами не могли придумать, о чем говорить.

— Ксенька! Что же ты молчишь? Выручай!

Но с Ксенией тоже что-то случилось. Испортилась какая-то пружинка в ее веселом, бойком языке.

— На орешка, — просто, по-свойски предложил Федька. — Ядреные! У нас тут орехов тьма-тьмущая. Ложись на брюхо под кустом и загребай. Завтра пойдем, если хочешь.

— Ты и девушек угости, — улыбнулся Вадим.

— Они уже наелись. Я им давал, — соврал Федька и тут же, кем-то ущипнутый, скривил такую рожу, что все расхохотались.

Неловкость была сглажена, девушки оживились, всем вдруг захотелось говорить. Рассказывали почему-то о Федьке, какой он у них непутевый парень. Федька блаженствовал.

Когда сажались в машину, опять вышла заминка.

— В кабине место свободное, кто хочет, садитесь, — сказал Вадим и украдкой взглянул на Ксению.

Девушки, уже давно признавшие за Ксенией право выбирать, услужливо подбадривали:

— Садись, Ксень. Ну чего ты?

Ксения рассердилась и полезла в кузов. Подошла тетя Варя, и вопрос решился сам собой.

— Что вы меня все время сватаете? — уже на ходу вычитывала подругам Ксения.

Но говорила она без злости, с тайным удовольствием.

Утро следующего дня было такое же погожее. Над освеженными росой холмами поднялось дымное малиновое солнце. В хлебах перекликались молодые перепела. Было приятно ступать босиком по прохладной полевой дороге.

На хуторском развилке Ольгу и Ксению нагнала Настя. На ней была новая синяя блузка в белый горошек. Поймав на себе любопытные взгляды подруг, Настя, как всегда, не выдержала, покраснела. Ее полнокровное, с пухлыми детскими щеками, простоватое лицо стало обиженным и несчастным: «Все-то они видят! А сами вон тоже понапудрились... Думают, я не замечаю». И, оправляя блузку, которая была ей чуть тесновата, пояснила:

— Старая совсем порвалась, а чинить было некогда.

— Да где уж было чинить! — усмехнулась Ксения. Она никогда не упускала случая подшутить над незадачливой Настей. — Небось с кавалером простояла. Тихоня!

— Такое скажешь! — обиделась Настя. — Как до хутора довез, сразу и пошла домой. Я уж ему говорю: «Узнает председатель — ругать будет». — «За что?» — спрашивает. «Да как же? Если всех по домам развозить, пережоги горючего получится». А он: «За это ругать не будет: людям, — говорит, — отдохнуть надо; бензин я завтра в рейсах сберегу». Так до самой хаты и довез.

Все три пришли на ток первыми. Машина была уже там. Неподалеку от весов Вадим и Федька копали какую-то яму.

Возле кучи свежей земли стоял дед Севастьян. Девушки поздоровались.

— Вместо утренней разминки. — сказал Вадим, откидывая со лба волосы.

— Это что же такое будет? — поинтересовались девчата.

— Что, что! — передразнил дед. — Загонит сюда машину — и нагрузай. Сколько дней животы мешками рвете, а не докумекали.

— Для вас, черти, стараемся! — сказал Федька.

Тем временем на ток подошли все остальные. Ольга стала заправлять трактор, со вчерашнего зерна стянули набрякший влагой, негнувшийся брезент. Застучали сортировки, работа пошла своим чередом, захватывая торопливым бегом, прогоняя остатки ломоты в пояснице. И вот уже выпачканы мазутом щеки доморощенного механика Ольги, которые она с таким старанием припудривала в утреннем полусвете избы, промокла между лопатками наглаженная Настина блузка, и набилась полова в Ксенин смоляной вихор на лбу, который она почему-то сегодня не захотела спрятать под голубую косынку.

Подчищая лопатой закраины тока, Настя заметила, как в зерне мелькнуло что-то синее. Это была записная книжка, старенькая, потертая, в черных масляных пятнах.

— Девчонки! Кто потерял блокнот? — спросила Настя и потрясла над головой книжкой.

Блокнот пошел по рукам.

— Чей же это? Какие-то цифры...

— Смотрите, стихи!

— Ну-ка? Правда, стихи...

— Давайте, почитаем? Ну-ка, Ксень!

*Высоко над долиной
Слышен плач журавлиный:
Птицы лето уносят на крыльях своих.
Затуманились нивы
И лесок говорливый
За околицей вдруг погрузнел и притих.*

Девчата помолчали.

— Это правда. — вздохнула Настя. — Так бывает... когда улетают журавли...

После третьего рейса объявили перерыв на обед. Девчата потянулись в тень под орешник. Развязали узелки и котомки. Оказалось, что все прихватили лишнего.

— Или именины у кого? — спросила тетя Варя, оглядывая неизвестно откуда появившуюся скатерть. На ней живописно пестрели помидоры, яйца, цыплячьи ножки, арбуз, яблоки.

Девчата чуточку смешались.

— Кого за уши трепать будем?

— Уж кого же еще? Ксеньку нашу.

— Да ну вас! — дернула плечами Ксения. Она нарезала ломти ситного хлеба. — Давайте лучше Вадима позовем обедать.

И хотя это молчаливо и давно было решено каждой и вся эта еда была потому и принесена в таком изобилии, девушки обрадованно подхватили:

— В самом деле, что ж это мы?!

— Покормить надо, — сказала тетя Варя. — Парень старается...

— Вы уж, Варвара Петровна, сами позовите...

Обед получился на славу. Под шумок пристроился и Федька.

— Да вы ешьте, не стесняйтесь! — угощала Вадима Ксения. Она была оживлена, разговорчива и командовала обедом, будто и в самом деле была именинницей. Впрочем, как знать?.. Сидела она рядом с Вадимом. — Какой-то вы... несмелый... мечтательный!

— Будешь мечты разводить — пропадешь! — поучал Федька, хватая третье яйцо. — Какой должен быть настоящий водитель? Не знаешь? А я тебе скажу. Подколол левака — и в чайную. Крутом тебя официанты: «Что вам угодно? Отбивного или судачка в коробочке?» Вот это жисть!

— Тоже водитель! Шел бы лучше своего мерина запрягать. — сказала Ольга. — Видишь, на комбайне майку вывесили?

— Это мы мигом! — шмыгнул носом Федька и потащил четвертое яйцо.

— Вадим, это не вы потеряли? — спросила Ксения и достала из кармана записную книжку.

Вадим смутился.

— Мы прочитали, — простодушно созналась Настя. — Неужели сами сочинили?

Федька перестал жевать, уставился на Вадима, будто увидел впервые.

— Это так... балуюсь, — сказал Вадим. — Едешь, а навстречу бежит дорога... Ну, и плетешь... Так, для себя.

— А нам нравится. Можно переписать?

Страдные дни бежали незаметно. Надо было вставать чуть свет и потом весь день под знойным солнцем ворошить зерно, таскать мешки, однообразно и бесконечно крутить ручки окутанных тучей половы сортировок. Но шли девчата на ток с какой-то ревностно запрятанной радостью и все чего-то ждали, будто должно произойти что-то хорошее.

Но шли дни, и ничего не происходило. А потом пришла с поля тетя Варя и объявила, что больше зерна не будет.

— Разве уже все убрали? — обступили ее девчата.

Тетя Варя переводила взгляд то на одну, то на другую и не понимала, почему так затуманились глаза у девчат.

Перед вечером грузили машину в последний рейс. Руки не слушались, мешки казались не в подъем. Куда-то запропастилась гирька от весов!

Не поднимая головы, медленно, будто разыскивала иголку, подбирала лопатой остатки зерна Настя. Ее новая кофточка выгорела и полиняла на спине.

Но вот захлопнут борт машины, брошены брезент и дорожная лопата. Вадим оглядел ток. Больше класть нечего. Погружено все до последнего зерна.

Вадим обходил девчат, молчаливых и присмиривших, и пожимал им руки.

— До свидания! До свидания, девушки!

— До свидания, — отвечали сдержанно девчата.

— До свидания, Варвара Петровна.

— Всего хорошего! Спасибо тебе, Вадим! Помог нам управиться. Напишу отзыв в автобазу.

— Вот и конец! — сказала Ксения, кусая кончик своей голубой косынки. Она взглянула в нахмуренное лицо Вадима, и, может быть, впервые улыбка получилась не Ксенина — чужая, виноватая... — А книжечку свою возьмите. — Она вынула из кармана блокнот и протянула Вадиму. Из блокнота выпало несколько пшеничных зерен. — «Птицы лето уносят на крыльях своих...»

Заревел мотор. Машина рывком выскочила из погрузочной траншеи и покатила, грузно переваливаясь на затоптанных бороздах.

На опустевшем, выметенном току тесной кучкой стояли девчата и глядели вслед грузовику.

1960

АМАНИТА ФАЛЛОИДЕС

Впереди, меж поредевших деревьев, замаячило кирпичное станционное здание.

— У нас еще есть время, — сказала Лена. — Пойду нарву цветов.

Сомов поставил к ногам ивовую корзину, на дне которой пестрела кучка влажных пахучих грибов, и, щелкнув портсигаром, закурил.

По сторонам тропинки поднимался по-вечернему притихший лес. Среди сквозных осинок и разлапых кустов орешника уже забродили синева, прохлада и неясные запахи старых пней.

Сомов сошел с тропинки и лег в упругую траву. Она обступила его со всех сторон. Были видны только вершины деревьев. Где-то там, над сумеречным коридором просеки, бесхитростно, в два-три коленца славили зарю малиновки.

Сомов отыскал в ветвях малиновку и долго щупал ее завистливым взглядом.

«У нее все просто, — думал он. — Почирикает-почирикает и полетит куда вздумает. А тут вот... крутись».

Кончался отпуск. Прошел он как-то бестолково. Не отдохнул и ничего не сделал. Собирался засесть за диссертацию, да так и не

собрался. Как-то все нескладно получается. А ведь когда-то ему прочили блестящую карьеру. «У Сомова не голова, а электронная машина». — сказал о нем сам декан.

Правда, на заводе к его мнению прислушивались. Но разве это те масштабы, о которых он мечтал? Дыра, а не завод. По существу, механическая мастерская. Мелкие заказы, мелкая суета. Одно слово, что инженер.

Завтра вот снова на работу. Он уже наперед знал, что скажет директор, увидев его в заводоуправлении. «Ну, как Кавказ? Стоит? А мы тут без тебя запарились. С планом неувязка. Давай, браток, засучайся. Выручай. Сразу быка за рога!» Засучайся... Чертово колесо!

Он до сих пор не мог простить себе, что не поехал на Север, когда защитил диплом. Помнится, даже купил чемодан. Большой, черный, с никелированными застежками... Дома, конечно, вопли, истерика. Уговорили. Набрали каких-то справок. Тетка бегала по знакомым. Черт бы их побрал! Одним словом, полет не состоялся.

Вместо него поехал Сережка Чурилов. Этаким прыщ. Ни одной собственной мысли. Тем только и брал, что зачитывал до дыр учебники. В позалпрошлом году приезжал. Главный инженер металлургического комбината! Меховые сапоги на «молниях», пыжиковая шуба... Расплачивается за пиво — в бумажнике целая пачка сотенных. Герой Клондайка!

Пришла Лена с большим букетом колокольчиков. Она поднесла цветы к лицу Сомова.

— Прелесть-то какая! — сказала Лена. Тоненькая, с покрасневшимся лицом, в простенькой белой блузке, она походила на подростка.

Сомов отвел ее руку, неловко сгреб цветы и накрыл ими корзину.

— Простить себе не могу, что послушался тебя и отказался от путевок, — с раздражением произнес он. — Сам, дурак, виноват: свою голову имей!

— Здесь ведь тоже неплохо, Костя. И потом, ты сам знаешь, не могли мы оставить больную маму.

Сомов встал и, подняв корзину, пропустил жену вперед.

— Вот так всегда: мама, папа, дядя или племянница. А о тебе и собственная жена подумать не хочет... Поглядишь, кто только не едет! Какие-то завхозы, лавочники...

— Не надо, Костя... Смотри, какой вечер!

— Нет, нет, в самом деле! Вот я инженер. Нужный государству человек. Так сказать, мозг индустрии.

— Ну, допустим...

— И вдруг отказываюсь от возможности как следует отдохнуть. Отказываюсь от путевок! Их тут же, разумеется, сцапали. Кому и что я этим доказал? Никому! Ничего! Навредил себе, и если ты способна развить мою мысль, то и государству.

Лена зябко вздернула плечами: «Ну, что ему еще надо? Это невыносимо! А все считают, что мне просто повезло!»

Не оборачиваясь, она жестко сказала:

— По-моему, ты сам на себя вешаешь медали. Причем чужие...

Сомов замолчал. Он с раздражением глядел на торопливо мелькавшие впереди спортивные тапочки Лены. «Вешаешь медали!»

— Не понимаю, откуда у тебя появилась постоянная потребность унижать меня? — наконец сказал он. — И вообще, что ты от меня хочешь?

— Ну пожалуйста, я прошу тебя...

Вышли к станции уже в сумерках.

На перронной площадке в ожидании поезда толпился разный люд с мешками, чемоданами, кошелками. В стороне под развесистым вязом балагурили парни и девчата. Наигрывала гармошка.

Сомов побежал за билетами.

Лена опустилась на край корзины. Лес ее утомил, и теперь она была рада людям, с удовольствием ловила простодушные звуки гармошки, приглядывалась к пассажирам.

Напротив, под фонарным столбом, остановился невысокий человек в защитном дождевике и белой парусиновой фуражке. Он торопливо порылся в карманах и, поднеся к свету бумажку, стал читать. Лена взгляделась в его наполовину затемненное козырьком лицо. Неужели Саша Островнов? Она хотела окликнуть, но человек сердито сунул бумажку за пазуху и заспешил к вокзалу, давя сапогами хрустящий шлак.

Когда вернулся Сомов, Лена с каким-то оживлением сказала:

— Знаешь, кого видела? Кажется, Сашу Островнова.

У Сомова настороженно вздрогнули брови.

— Что он тут делает? Ах, да! Он же теперь председатель колхоза! Удельный князь! По-моему, мы даже грибы собирали в его лесу. Увидит — отберет. — усмехнулся Сомов. — Не разговаривала?

— Да нет...

— Ну и хорошо!

Еще на заводе Сомов невзлюбил Островнова. Считал его демагогом и вообще несерьезным человеком и удивлялся, как его еще терпели в должности начальника механического цеха. Но неприязнь к нему еще больше обострилась, когда их, начальников и мастеров цехов, вызвали в партком. Надо было одного специалиста послать в деревню. «Подумайте, товарищи, — сказали им тогда, — мы вас не неволим. Завтра, если кто решит, скажете».

В те дни в цехе Сомова монтировали новые термические установки. Сомов был уверен, что это его не коснется. Директор не станет рубить сук, на котором сидит. На всякий случай зашел к директору. Он не за себя боялся. Пусть это все видят. По существу, цех из-за вынужденного простоя выключился из производства. Высказал кое-какие дельные соображения по монтажу. Директор слушал, одобрительно кивал головой. Сомов успокоился: значит, не тронут.

В коридоре встретился Островнов. Сомову показалось, что тот был чем-то взволнован.

— Директор у себя? — спросил Островнов.

Сомов кивнул, а про себя злорадно подумал: «Ага, забегал! То-то...»

На другой день Сомов узнал, что Островнов сам вызвался поехать в колхоз и просьбу его удовлетворили.

С того дня Сомов почему-то еще больше возненавидел Островнова, как когда-то однокурсника Сережку Чурилова.

..Лена удивленно посмотрела на Сомова:

— Не понимаю тебя, Костя. Старый заводской товарищ, работает в деревне. Было бы интересно поговорить...

— Все это так. Но, понимаешь... Мы устали. А он увяжется ночевать, придется пить водку. Они тут, в деревне, без этого ни шагу. У меня же завтра дела. Нужна свежая голова. Нет, нет, как-нибудь в другой раз!

Подошел поезд. Сомов торопливо подхватил корзинку и заспешил в самый хвост состава.

Вагон был почти пуст. Сомов и Лена прошли в самый конец и выбрали место у открытого окна.

Тишину полоснул резкий протяжный свисток. Где-то впереди приглушенно откликнулся паровоз. Мимо окна, заглядывая в купе, будто кого разыскивая, проплыли матовые станционные фонари.

— Константин Аркадьевич! Леночка! Вот так встреча!

Сомов и Лена резко обернулись. У входа в купе стоял Саша Островнов.

— Чуть было не опоздал. На ходу вскочил в последний вагон.

— Фу ты, напугал... Появился как нечистый дух. — Сомов přátельски улыбнулся. Рука полезла за папирсой.

Саша сел на лавку, снял фуражку и, как это делал раньше, провел пятерней по волосам. Лицо его обветрело, нос облупился, и весь он, в этом жестком шуршащем плаще и больших кирзовых сапогах, выглядел забавно.

Сомов, выплясывая пальцами на портсигаре, по-вороньи, одним глазом, быстро оглядел Островнова. «А ведь эти сапоги могли достаться мне», — подумал он и уже бодро и покровительственно заговорил:

— Читал, читал в газетах. Разворачиваешься. Молодец! Мы, все заводские, рады за тебя!

— Саша, расскажите, как вы там живете? Как работаете? — попросила Лена.

Саша, смущаясь, стал рассказывать.

Сомов, прислонившись спиной к перегородке, курил, слушаю и вдруг спомнил:

— Сознайся честно: не жалеешь?



— Что поехал? — переспросил Островнов. — Некогда жалеть. Да, собственно, и не о чем.

— Ну, конечно, — засмеялся Сомов, — сейчас скажешь: передний край борьбы, доверено большое государственное дело и прочее. Ты у нас демагог известный. Я шучу, конечно. Не обижайся. Собственно, все мы решаем большие государственные дела. Ты вот теперь в деревне, я — в городе. Случись мне оказаться на твоём месте, я бы тоже, может быть, увлекся. Но все-таки... Если говорить объективно. Деревня есть деревня. Знаешь, эти самые керосиновые лампы, сверчки за печкой... А по ночам собаки...

Островнов посмотрел на улыбающегося Сомова.

— Ну, чего ты на меня так смотришь? Ей-богу, терпеть не могу позы.

Сомову почему-то хотелось выдать жалобу. Но Островнов не отвечал, и это его бесило.

— Ты на чем хоть спишь? И вообще, какое самочувствие, скажем, когда ночью остаешься наедине с самим собой?

— Самочувствие самое обыкновенное, — добродушно сказал Саша, — сплю как убитый. Если, конечно, доберусь до койки. А вообще-то спать некогда. Вот подал в Тимирязевку. Сiju ночами, штудирую почвоведение. Интересная, оказывается, наука!

— М-да... Не женился еще?

— Пока нет.

— А как с этой проблемой устриваешься?

Саша покраснел.

— Константин! — Лена резко повернула голову, губы ее побелели. — Какой же ты... Какой же ты хам!

Сомов метнул в ее сторону холодный взгляд, но тотчас приятельски заулыбался, обращаясь к Островнову:

— Уж и покраснел! Мальчик! Ну, ладно, не буду, не буду. — Сомов хлопнул Сашу по плечу. — Ты зачем хоть в город?

— Да вот надо добывать цемент. Строим механическую мастерскую. Каркас поставили, а дальше — нечем.

— А я, брат, в ваши уголья по грибы ездил.

— Отчего же не зашли? Посмотрели бы на наши керосиновые лампы.

— Не знал, что ты здесь хозяйничаешь, а то зашел бы... — соврал Сомов.

Он нагнулся, выволок из-под лавки корзину и, передав цветы Лене, опрокинул корзину на столик.

— Если приготовить с уксусом, перчиком да лавровым листом, пальчики оближешь!

На столе пестрой горкой высились грибы, чуть вздрагивавшие от движения поезда. Веселые пестрые сыроежки, оранжевые на длинных белых ножках подосиновики, тугие дородные боровики и еще какие-то.

Саша сунул нос в самую кучу и с наслаждением раз-другой потянул могучий грибной дух.

— Как пахнут, проклятые! Я ведь тоже любил грибы собирать. Даже завел грибную литературу. Теперь вот некогда. А вы первый раз, наверно?

— Своими руками впервые. — рассмеялся Сомов.

— Оно и видно.

Саша вытащил из вороха бледно-золотистый длинношешый гриб и протянул его Сомову:

— По-ученому: аманита фаллондес. Ядовитый.

Сомов откинулся к перегородке, курил и вертел перед глазами гриб. Он держал его за тонкую ножку, как бокал с вином.

— Аманита фаллоидес... Замысловато. А как по-русски?

— По-русски: бледная поганка. Яд не уступает змеиному.. Коварный грибок! Не дай бог обмануться. У него такое милое свойство: съешь его — и двое суток ничего не чувствуешь, яд действует только на третьи сутки. И тогда уж никто и ничто не спасет.

— Неужели нет никакого средства, противоядия? — встревоженно спросила Лена.

— Нет, Леночка, нет. Так что уж лучше не экспериментировать!

Скороговоркой стучали колеса. За окном, освещенным рассеянным лунным светом, тускло серебрилось пшеничное поле. Где-то у самого горизонта чуть приметно мерцали огни.

Лена ничего этого не видела, не замечала и того, как ветер, врывающийся в окно, сердито трепал ее волосы.

ЯРОСЛАВНА

Поезд приближался к Путивлю.

В глубине ночи мерцали огни незнакомого города. Они гасли и появлялись снова меж черных силуэтов деревьев, обступивших насыпь.

Рябинин нетерпеливо провел рукой по стеклу.

«Может быть, один из этих огоньков светится в ее окне», — размышлял он, вглядываясь в черный просвет отпотевшего окна.

Все это время он хранил память о девушке-путивлянке, так внезапно промелькнувшей перед ним и оставившей ощущение чего-то недосказанного...

Вспомнились серые, поросшие чахлым вереском пески на том берегу Вислы. Ночью их рота незамеченной переправилась на вражескую сторону.

Она сама вызвалась сопровождать роту и пришла в часть из медсанбата вечером, перед самой переправой. Там, на крошечном плацдарме, он и увидел ее впервые. Тоненькая, с тяжелой

косой над негнушимся воротом солдатской шинели, она рыла свой окопчик рядом с его укрытием. Песок оползал и засыпал ячейку. Рябинин подошел.

— Переходите в мой окоп, — предложил он.

Она выпрямилась и жестко сказала:

— Это что еще такое?

— Ничего... Я отрою себе другой.

— Я сама...

Рябинин молча схватил ее лопату и потянул к себе. Она прижала ее к груди.

— Не смейте! — жарко дыша в лицо, шептала она. — Я сама... Слышите?

Но Рябинин продолжал тянуть, руки ее ослабли, разогнулись, и она выпустила лопату.

— Марш в укрытие! — повелительно сказал Рябинин. — И постарайтесь вздремнуть. На рассвете нас обнаружат, и тогда...

Она подняла с земли санитарную сумку и юркнула в ячейку.

Рябинин быстро отрыл новый окоп и улегся навзничь. Над головой в просветах облаков мерцала одинокая звезда. Напряженная ночная тишина окутала берег. Сквозь песок глухо отдавались шаги наверху. Шепотом переговаривались бойцы, позвякивали лопаты.

С бруствера посыпался песок. Рябинин приподнялся. Над окопом на курточках сидела медсестра.

— Можно я к вам? — попросилась она и спустилась в укрытие.

Рябинин потеснился.

— Подождите, давайте положим под голову сумку. Она с ватой... Вот так... Руку не убирайте. Она не мешает...

Рябинин оставил руку, и она положила на нее голову. Мягкие волосы касались его щеки. От них веяло тревожащим душу теплом. Рябинин закрыл глаза.

— Вы ничего не подумайте... — прошептала она. — Просто страшно одной в яме. Глухо, темно... И эта звезда над головой... Как в могиле.

Рябинин лежал, не открывая глаз, весь в настороженном внимании к незнакомой девушке, неизвестно как и откуда занесенной в эти пески войной. Он бережно провел по ее волосам.

— Почему вы не острижете косу? На фронте это неудобно...

— Теперь уже ни к чему. Скоро все это кончится. Ведь скоро? Правда?

— Да. Теперь уже скоро!

— Даже не верится... А с вами совсем не страшно.

— Мне тоже...

— А вы разве боитесь?

— Один всегда думаешь об опасности. А сейчас просто ни о чем не думаю. Одного только хочется: чтобы немцы нас подольше не тревожили. Вот так лежать рядом... долго-долго...

— Мне тоже. А ведь сейчас, наверно, какой-нибудь фриц наводит орудие в нашу сторону. Может быть, даже именно сюда, в этот окопчик.

— Пусть наводит...

— Если вас ранит, я вас перевяжу.

— Хорошо, — это прозвучало наивно, и Рябинин рассмеялся.

Он бережно погладил пальцами ее щеку. Она перехватила руку и прижала ладонью к своей щеке.

— А эту звездочку, наверно, видать из нашего окна, — задумчиво сказала она.

— А где ваше окно?

— В Путивле. Слыхали про такой город? «В Путивле плачет Ярославна, одна на городской стене...» Помните?

— Помню, — сказал Рябинин. — Когда-то учили.

— Есть у нас высокая-превысокая гора над рекою. В старину там стояла крепость. Я там всегда учила стихи. Почему-то лучше запоминались.

Внезапно с бумажным шелестом взвилась и повисла над землей ракета. Под ее зыбким светом закачались холодные пески, заматались тени по окопу. Пролетел снаряд и с тяжелым вздохом вонзился в берег. В нескольких шагах вскинулся фонтан грязи и огня. Потом еще и еще... С бруствера в окоп, дробясь о сапоги, посыпался песок.

Медсестра поднялась на колени и потянула санитарную сумку.

— А я думала, еще не скоро... — сказала она виновато. — Надо идти. — И уже с бруствера крикнула: — Зовите меня Олей! Ладно?

К полудню прибрежные пески были избиты снарядами, как пыльная дорога дождем. Немцы несколько раз бросались в контратаки. Рота держалась, но несла большие потери. Все перемешалось: песок, люди, осколки. Зыбкие окопчики обрушивались от сотрясения и погребали заживо. Убитые лежали тут же, в траншеях и на брустверах. Раненых Оля и два санитаря оттаскивали к воде: надеялись переправить на ту сторону. Их складывали в камышах среди воронок, в которых кружилась мутная вода и плавали пилотки.

Случилось это внезапно и как-то слишком просто: рвануло, подбросило, даже не успел ничего подумать. Придя в сознание, Рябинин увидел над собой чье-то лицо, вернее одни глаза. Большие, обезумевшие от чужой боли глаза. И горячий ветерок дыхания. «Это я, Оля! Я сейчас, я быстро... Стисните зубы...» Больше Рябинин ничего не помнил.

Он еще лежал в госпитале, когда закончилась война. Пырялся написать Оле письмо, но не знал адреса. И вот спустя почти год подвернулся случай побывать в Путивле. Один московский музей предложил ему написать картину на тему «Слово о полку Игореве». Он с радостью ухватился за предложение музея, в котором теперь работал художником-реставратором, выпросил командировку и уехал.

Поезд медленно подошел к маленькому вокзальчику.

Рябинин стащил с полки багаж и сошел на шлаковый перрон. Выяснилось, что это всего лишь станция и что до города надо было ехать еще километров двенадцать. Он подождал ходивший туда крытый грузовик и добрался до города только к рассвету.

• • •

Единственная путивльская гостиница оказалась маленькой и тесной, с общими номерами, уставленными жесткими железными койками. Администраторша сказала, что лучше, если он снимет себе частную квартиру. Рябинин попросил оставить вещи и вышел на улицу.

Путивль вовсе не был похож на тот сказочный город Китеж, каким он представлялся в дороге. Тихие, раздольные улицы, заросшие густой травой и подорожником. Домики с резными наличниками застенчиво прятались за палисадники и кусты сирени. По ту сторону заборов цвели сады и кудахтали куры. Плядя на все это, было трудно заставить себя думать о Ярославне. Палисаднички и куры никак не вязались с героической темой. Да, по правде, ему сейчас не хотелось об этом думать. Бродя по улицам, он поглядывал на окна, на прохожих, с тайным замиранием сворачивал в переулки. «Вот сейчас сверну, — загадывал он, — и вдруг навстречу она!»

Заходил в райвоенкомат. Усатый капитан просмотрел картотеку военнообязанных медиков, нашел какую-то Ольгу Николаевну Савченко и, вопросительно вскинув брови, сказал: «Больше никаких Ольг у нас не числится. Вашей сколько лет? Ну вот видите! А эта уже на пенсии. Сожалею, но ничем не могу помочь».

Уже под вечер, устав от бесцельного хождения, он решил поспрашивать квартиру. Какая-то улочка неожиданно вывела к обрыву. Далеко внизу блестела река — широкая, петлистая, с заливами и рукавами, с желтыми пятнами песков в излучинах. На самом берегу реки в белой пене садов виднелись кровли. Было похоже, что домики захлестнула набежавшая на берег огромная пенистая волна. Волна отхлынула, а пена так и осталась, запутавшись в ветвях яблонь и черешен.

Рябинин подумал, что неплохо бы поселиться там, внизу, снял пиджак, сунул в карман галстук и стал спускаться по едва заметной тропке, цепляясь за кусты и с трудом удерживаясь, чтобы не побежать. Под конец он все же не сумел сохранить равновесие, выпустил из рук кусты, сорвался и побежал опрометью, увлекая за собою известковую осыпь. С разбегу он врезался в садовую ограду. Плетень затрещал. В саду забрехала собака.

Обогнув изгородь, Рябинин оказался перед мазаной хатой с надвинутой по самые брови соломенной папахой. Рядом с хатой на плетне сохли вентера. Пахло тиной и рыбой. Под изгородью с писком и стрекотом носились ласточки, на лету хватая мошкару, привлеченную речными запахами.



Рябинин заглянул через изгородь. Под навесом на опрокинутом лукошке сидел старик. Он вязал какую-то снасть. Деревянный челнок неторопливо сновал вокруг дощечки с нанизанными на нее ячейками.

Заметив Рябинуна, старик опустил вязанье, поднялся с лукошка и пошел навстречу, широко, по-медвежьи расставляя ноги.

— Здравствуй, отец, — сказал Рябинин. — Нельзя ли напиться?

— Кричи дужче! Не чую! — мотнул головой старик.

— Напиться бы, говорю.

— Попыть? Це можно. — Он подошел к плетню и оперся о колья тяжелыми кистями рук. — Поки живу, вода в Сейму не пересыхала. На всех хватать.

Хозяин вынес из сеней медную кружку, сделанную из пушечной гильзы. Рябинин выпил все до дна.

— Никогда не пил такой вкусной воды, — похвалил он, возвращая кружку. — Северная вода жестче.

— Сеймська водыця!.. А ты що за людына?

— Художник я. Из Москвы.

— Ото, дывлось, незнайомый. Своих, путивльских, я всех знаю. Командировочный чи по дилу якому?

— Хочу про старину написать картину. Про Ярославну, про жену здешнего князя Игоря.

— Ну-ну! — кивнул старик и посмотрел на реку прищуренными глазами, очевидно, по давней привычке человека, всю жизнь прожившего на берегу.

Он вышел из-за плетня, опустился на бревна у завалинки. Бревна были подняты со дна реки — черные, без коры, отполированные до тусклого угольного блеска. Из таких делают скрипичные грифы. Рябинин присел рядом. Старик, цепко обхватив пальцами колени и свесив тяжелую волосатую голову на грудь, о чем-то думал. У него было широкое, грубое, заветренное лицо с напыльями под глазами, какие бывают вокруг дупел, с редкими, но глубокими морщинами, похожими на трещины в коре старого дуба. Вид

у старика был древний, но не дряхлый. Казалось, на каких-то предпоследних годах он задубел, старость остановилась, не в силах одолеть эту глыбу. Злая коса нашла на камень, звякнула и сломалась.

— Я сам у одного князя робыв, — сказал наконец старик. — Дуже любыв цей князь порыбалыть... Якость мы спиймалы з ным щуку. А вона ось така здоровенна! Поклалы в човен. А щука та, як дремане та й за борт. Ну, князь и опоясав мене веслом. Двое ребер вышиб...

Описля цього мы князя в лугах перейняли. Революция була. Тикав ночью. Забачив вин мене промиж хлопцив, каже: «И ты, Лукьяныч, з нымы, с басурменами, заодно? За щуку вымещаешь?» — «Ни, — кажу, — не за щуку, пан князь». — «А за що?» — «Сам чуешь, князю, революция». Ну й пальнув вин в мене, як раз в самую грудыну. Наскризь... А ты про якого князя говорыв?

— Про князя Игоря, — улыбнулся Рябинин. — Это, отец, давно было, очень давно.

— Такого не памятаю, — сказал Лукьяныч. — Хиба ж всих запамятаешь? Чи мало тута всяких ляхив перебувало?

Внизу под песчаным спуском, усыпанным ракушками, тихо плескалась вечеряющая река. В черной воде на дне лодки блестела, точно оброненная монета, отраженная звезда.

— Ну, а до мене по якому дилу? Попыть тильки, або ще що маешь?

— Хочу узнать, не сдаете ли комнату. Понравилось мне у вас. Место хорошее. Тихое.

Старик долго мял пальцами бороду, что-то обдумывая, и наконец сухо сказал:

— Кимнату поки не сдаемо. Соби треба.

— Мне не так комнату, как место для работы, — попросил Рябинин. — Работать и в саду можно.

Старик хмуро молчал. То ли ему чем-то не понравился Рябинин, то ли еще по какой причине, только видно было: не хотелось старику пускать в дом непрошеного пришельца. Рябинин встал: пора было уходить.

— Куда це ты? — спросил старик.

— Пойду еще поспрашиваю.

— Та що там пытаты? Заоставайсь. — И сказал в открытое окно: — Жинко! Дарья Васильевна! Звары-ко ухы. Чоловик заночуе.

•••

Утром Рябинин принес из гостиницы свои вещи. В дальнем конце сада он облюбовал укромное местечко, где можно было расположить свою походную мастерскую. Спать в горнице отказался. «Не зима!» — пояснил он, и ему поставили раскладушку под навесом. Все устроилось как нельзя лучше.

Но с работой не ладилось. Он никак не мог сосредоточиться. Что-то ему мешало, куда-то тянуло. Просидев понапрасну час-другой перед чистым куском эскизного картона, Рябинин бросал все

и уходил из дому. Он часами бродил по городу, сворачивал в незнакомые улицы и поглядывал на окна.

Однажды он зашел в краеведческий музей. Здесь было прохладно, сумрачно и урюмо-тихо. Под стеклом лежали какие-то кости, бронзовые гребни и браслеты, осколки глиняных горшков, свитки желтого, объединенного мышами пергамента, толстые на медных застежках книги. На стенах висели сабли, кольчуги, темные потрескавшиеся картины с чуть проступающими пятнами лиц. В углу стоял серый каменный идол с пустыми глазницами и маленькими рахитичными ручками, сложенными на животе. Идол глупо и нагло ухмылялся.

Все это кладбище древностей — вещей, неведомых судеб и биографий, осколков чьей-то далекой, таинственно промелькнувшей жизни — наводило на грустные размышления. Приходили рассуждения о том, что человек на фоне этой непроглядной тьмы веков всего лишь жалкая спичка: вспыхнул и погас...

Рябинин еще раз покосился на ухмыляющегося идола и с облегчением вышел на улицу.

В одном из переулков у подножья крепостной горы Рябинин присел на крылечке какого-то дома. Напротив дома был отрыт колодец. Девочка в куцем пестром платье с трудом крутила ручку ворота. Когда ручка поднималась вверх, она вставала на цыпочки и из больших калош высывались розовые пятки.

Рябинин подошел, помог вытащить ведро и спросил:

— Послушай... Может, ты знаешь... Где-то здесь живет Оля... Тетя Оля, медицинская сестра. Она была на фронте.

— А фамилия как?

— В том-то и дело, что фамилии я не знаю...

Девочка с любопытством глядела на Рябинина, а тот стоял растерянный и смущенный, не зная, что еще добавить, какие назвать приметы. Он помнил Олино лицо, помнил большие серьезные, несмеющиеся глаза. Но как сказать обо всем этом? И вдруг, обрадовавшись, добавил:

— Фамилии не помню, но у нее большая коса. Такая светлая, вот как твоя. Только еще светлее. Она закручивает ее на затылке... Ну, вспомни!

Девочка пожала плечами.

Дома его спросили: где был, что видел?

— Так, — уклончиво ответил он. — Знакомился с городом.

•••

•Все может быть гораздо проще. — думал Рябинин, промазывая холст вторым слоем грунтовки. — Вышла замуж и уехала куда-нибудь•.

Несколько дней, стараясь больше ни о чем не думать, он писал маслом. Работа отвлекала.

Он изобразил Ярославну на гребне крепостного вала. Синее небо, бело грудные облака. Степной ветер гнет ромашки на крепостном валу.. Ярославна призывно простирает руки ввысь к торопливо бегущим облакам. Вся ее легкая, едва касающаяся земли фигура, облаченная в старинную русскую одежду, развеваемую ветром, была написана на фоне неба. И это еще больше подчеркивало окрыленную устремленность женщины. Казалось, она хотела взлететь и унести след за облаками:

*Обернусь я, бедная, кукушкой,
По Дунаю-речке полечу
И рукав с бобровою опушкой,
Наклонясь, в Каяле омочу.*

Но когда полотно было почти закончено, Рябинин вдруг охладел к нему. Все казалось манерным, плакатным. Особенно не нравилась сама Ярославна.

Рябинин взял скребок и провел им по полотну с угла на угол.

Первой мыслью было уехать в Москву. В сущности. Путивль его больше ничем не удерживал. Оли он не нашел и, по-видимому, не найдет. В Москве же он собрал во сто крат больше материалов, чем дал ему этот сонный дрянной городишко, где о Ярославно даже школьные учителя и музейные работники имели самое смутное представление. Вечером за ужином он сказал старикам, что собирается домой.

Но на другой день он подошел к Дарье Васильевне, которая что-то полола на грядках, и попросил у нее ножницы.

— Зачем тебе?

— Хочу нарезать нового холста.

— Раздумал ехать?

— Да, поработаю еще. Что-то, мать, не ладится у меня.

— А ты пока брось, коли не ладится. Поразвейся. Съезди с Лукьянычем порыбачить. Вентерю поставьте. У нас в монашеской протоке лини водятся.

— Нет, что-то не хочется...

— Ну, как знаешь. А ножницы возьми сам. У меня руки грязные. — И она показала выпачканные землей ладони. — Они лежат в маленькой комнате на столе, в картонной коробке.

В этой комнате Рябинин еще не был. Он приоткрыл дверь, вошел и с любопытством огляделся. В углу белела свежеприбранная кровать. У раскрытого окна стоял небольшой стол под чистой льняной скатертью. Стол и подоконник были засыпаны вишневыми лепестками. Наверно, их нанесло в открытое окно. Они белой мозаикой покрывали стопку каких-то книг и крышку большой черного дерева шкатулки. Рядом лежала картонная коробочка поменьше. На шкатулке стояла девичья фотокарточка в простенькой тисненой рамке. Вид у комнаты был опрятный и все же какой-то нежилой.

Рябинин подошел к столу, взял со шкатулки фотокарточку, поднес к глазам.

Это была Оля...

Радостно-ошеломленный, чувствуя, как захватывает его какая-то горячая волна, глядел он на фотокарточку. Вскинутые брови. Большие удивленные глаза. Девически полные губы полуоткрыты. Казалось, она хотела что-то сказать, но так и не успела...

— Ну что, нашел ножницы? — крикнула из сада Дарья Васильевна.

«Ножницы? Какие ножницы?.. Ах, да!..» — спохватился Рябинин и машинально приоткрыл черную шкатулку.

На ее дне лежала аккуратно заплетенная, свернутая вдвое коса...

•••

Неизвестно, где он бродил в этот день. Вернулся домой осунувшийся, неразговорчивый. От ужина отказался.

— Что-нибудь случилось? — встревожилась Дарья Васильевна.

— Нет, мать. Ничего. Просто устал.

— Или весть какую недобрую получил из дому?

Рябинин промолчал.

— Ну ладно. Не буду бередить. Только я-то вижу...

Теперь он пропадал в саду безвылазно. Возвращался домой, когда темнело. Он был давно не брит, молчалив и рассеян. Он съедал ужин и тотчас шел под навес. Каждое утро перед восходом солнца он уходил куда-то. Соседи говорили, что видели его на крепостной горе. Сидит, обхватив колени руками. Старики переглядывались и вздыхали.

Между тем Рябинин работал жадно, одержимо...

Он не писал, а, как говорят в таких случаях, лепил — клал мазки торопливо и, казалось, небрежно, будто торопился не упустить, как можно скорее схватить все время ускользающий образ.

С картины глядела женщина переполненными чужой болью глазами. Ветер треплет раскрытые волосы. Рука, подавляя крик, прижимает к губам тугой изгиб косы. Небо в тревожных багровых всполохах, в сизых дымах далеких пожарищ.

*Туча надвигается от моря
На четыре княжеских шатра. <...>
Быть сегодня грому на Каяле...*

Где-то позади, на заднем плане бегут воины не то с пиками, не то со штыками, и нельзя было понять, то ли это Игоревы дружинники, то ли еще кто...

*Русский стан сомкнулся перед боем —
Щит к щиту — и степь загородил.*

«Не знаю, возьмет ли музей? — думал Рябинин, глядя на почти законченную картину. — Ну да черт с ними!»

Дарья Васильевна пожаловалась Лукьянычу:

— Который день зову обедать — не идет. Да и погода вон стала портиться. Позвать бы...

— Выходить, дело так, — задумчиво сказал старик. — Негоже, чтоб остывало.

Они прошли в сад.

Рябинин, взъерошенный, перепачканный красками, с пучком кистей в руке ходил перед картиной. Накрапывал мелкий дождик. Он шелестел в листьях, глухо барабанил по полотну.

Художник молча посторонился. Старики остановились перед полотном. Они стояли рядом притихшие, с опущенными плечами. Потом Дарья Васильевна как-то странно, не то испуганно, не то растерянно, взглянула на Рябинина и вдруг, подобрав сморщенные, собранные в оборочку губы, заплакала:

— Все ждали, все думали: вот приедет, вот постучится... Уж и война кончилась, и солдаты домой поприходили. А ее все нет...

— Ну, годи, Одарко! — нахмурился старик. — Годи, кажу! А ты, сынку, того... — голос Лукьяныча задрожал. — Переходь в Олесину кимнату. Переходь... Чого там берегты...

1961

БАГУЛЬНИК

По перрону сквозил сырой ветер. Март уходил без солнца, хмурый и слякотный, и еще было много зимних шапок и воротников. Но кой у кого уже пестрели в руках первые тюльпаны. Желтые и алые пятна среди темных пальто. Их оранжерейную негу берегли в целлофановых обертках к приходу дальневосточного скорого.

Вика пробралась среди встречающих в самый конец платформы. Нити подъездных путей уходили в серую мглу ненастья и далеко блестели мокрой накатанной сталью. Вика подняла воротник, засунула руки в карманы пальто, прислонилась к бетонной опоре.

Вчера она получила странную телеграмму. Были названы только номер поезда, вагон и подпись — Полужняк. Клавдия Антоновна, Викина свекровь, принявшая телеграмму, вошла в комнату с удивленно поджатыми губами.

— Это что же... родственник или родственница? — спросила Клавдия Антоновна, но вышло так, будто для нее это было неприятным открытием.

— Не знаю... Нет... — неуверенно проговорила Вика, силясь вспомнить, кто такой или кто такая Полужняк. Когда-то у нее было много знакомых в Сибири и на Дальнем Востоке... Однокурсники по институту. Но потом связь с ними постепенно оборвалась — просто так, за обветшанием прежних привязанностей.

— Странно... — пожалала плечами Клавдия Антоновна, и по тому, как она ожидающе остановилась у стола, Вика чувствовала, что

телеграмма вызвала у нее раздражение. Перечитывая телеграмму, Вика видела на темной полированной крышке стола кулачок све-крови, усыхающий, в рыжих крапинках, с золотым болтающимся кольцом на безымянном пальце. За все четыре года замужества Вика никак не могла привыкнуть к этой женщине с аккуратной укладкой седых волос, властностью и холодной степенностью напоминавшей горьковскую Вассу.

— Может быть, это ошибка? — предположила Вика. — Недоразумение.

— Ну какое же недоразумение? — растягивая слова, возразила Клавдия Антоновна. — В телеграмме все ясно, голубушка. И твоя новая фамилия по мужу, и адрес. Кто-то очень хорошо осведомлен о тебе... Если бы он был из твоих давнишних знакомых, которых ты могла запомнить, телеграмму послали бы на Каланчевку, где ты жила раньше.

Среди ее прежних институтских друзей не было Полужняков. Но, возможно, кто-нибудь из девчат вышел замуж и теперь по мужу была эта фамилия. Девчонки, конечно, все о ней знали, и даже то, что у нее сегодня день рождения. Ну как же не знать. Это все было при них. Замуж она вышла на четвертом курсе. А государственные уже сдавала... Она тогда еще стеснялась своей широкой кофты, которая, конечно, ничего не скрывала, а своим нелепым видом еще больше обращала на себя внимание. Все, разумеется, видели — и девчонки, и ребята. Вика вспомнила, как Юрка, молчаливо влюбленный в нее однокурсник, нескладный большерукий капитан факультетских баскетболистов, увидев ее впервые в необычном наряде, наивно заметил, что эта кофта ей не идет, а потом, поняв, смутился, покраснел и куда-то убежал с последних лекций.

— Я, право, не знаю... — сказала Клавдия Антоновна. — Виктория, ты, пожалуйста, не истолкуй неверно. Но к нам, сама видишь, нельзя. Леонард Андреевич совсем плох. Ему нужен покой. И Борису надо заниматься. У него ведь теперь такая работа.

— Но я даже не знаю, кто это, — сказала Вика.

— Нет, нет, детка, — перебила Клавдия Антоновна. — Пойди на вокзал и все объясни. Что за люди, не понимаю: если в Москве есть мало-мальски знакомые, десятая вода на киселе, сразу мчатся и считают себя как дома. Мы же ни к кому не вламываемся!

— Еще ведь ничего не известно...

— Ну, не знаю, не знаю, — устало поморщилась Клавдия Антоновна. — Надо поговорить с Борисом. Как он. Чтоб потом не думали, что я воспрепятствовала.

В тот день Борис пришел поздно, Вика уже засыпала, она слышала, как, сопя и отдуваясь, Борис стаскивал ботинки. От него несло шашлычным дымом и горелым луком. Он грузно повалился на свою кровать, стоявшую рядом с Викиной, и она почувствовала на плече его потную руку.

— Дрыхнешь, — бормотал он, расталкивая ее. — Ну и наплевать... Подумаешь! Мы, может, тоже... Не больно нуждаемся...

Вика не отвечала. После защиты кандидатской Борис все чаще приходил вот таким.

Проснулась Вика на рассвете. В серое окно однообразно и скучно барабанила мокрая крупа. Утро занималось обыкновенное, как вчера, как всю эту последнюю ненастную неделю марта, и она сначала не вспомнила, что сегодня день ее рождения. И даже часы, жестяно протренькавшие в гулкой и полутемной от тяжелых гардин гостиной, не напоминали ей о семейном празднике.

Эти старинные австрийские часы подарил ей в день свадьбы Борисов отец, Леонард Андреевич. На дубовом пне грациозно восседал длиннокудрый пастушок в гольфах и высоких башмаках. Раз в сутки на маленькой скрипочке пастушок наигрывал «Сказки Венского леса». В тот вечер в разгар веселья Леонард Андреевич неожиданно пригласил Вику на вальс, сказав, что если это его последний вальс, то пусть он будет с самой прекрасной дамой. И он поцеловал Викины пальцы. Он был в черном старомодном фраке, с белой чистой бородой, наполовину закрывавшей черный атласный галстук, был постариковски красивый и предупредительный и довольно легко закружил Вику по комнате. Потом налил Вике и себе по бокалу шампанского и подвел к часам, до того прикрытым накидкой на черном пианино. «Выпьем, — сказал он, — за то, чтобы каждый день вашей новой жизни начинался с вальса! С этих чудесных сказок!» И Леонард Андреевич вложил в ее руку тяжелый золоченый ключ от часов. Они присели, и он, все еще тяжело дыша и прикладывая ко лбу белый надушенный платочек, сказал, что передает эти часы Вике и Борису как символ благоденствия, передает, что греха таить, не без грусти, потому что они с Клавдией Антоновной свое уже оттанцевали. «Ничего не поделаешь: время! Теперь ваша очередь».

Вика была в восторге от подарка, и от самого Леонарда Андреевича, и от всех нахлынувших событий, и она весь вечер не выпускала ключ из своей вспотевшей ладошки. Но потом часы эти очень скоро ей надоели, даже стали раздражать не столько своим фальшивым треньканьем, сколько тем, что Леонард Андреевич каждый раз, когда она забывала их завести, укоризненно качал белой бородой и выговаривал: «А «сказочки» надо заводить. К сожалению, у них только суточный запас».

Вспомнив о дне рождения, Вика тихо задумалась, прихватив край простыни губами. Муж и Татьяна еще спали. Меж деревянными прутьями качалки торчала маленькая Тагьянкина ступня с глянцево обтянутой розовой пяткой. Борис спал полураздетый, с распушенным галстуком на багровой, напряженной тяжелым сном шее. Посередине спальни валялись его грязные ботинки. Она видела их в зеркале трельяжа, сразу шесть ботинок в разных ракурсах, размноженных гранями зеркал. Прислушиваясь к самой

себе. Вика ощущала тревожное беспокойство. Пробегал какой-то холодок при мысли, что вот ей уже двадцать пять. Четверть века... Почему-то жизнь представлялась ей в виде яблока, разрезанного крест-накрест. «Каждый кусочек и есть четверть века». Вика уже съела одну такую четвертинку, и от нее остался привкус терпкой кислоты и горечи. А с завтрашнего дня примется за вторую. Начинать было неприятно и боязно...

Первое время замужества Вике нравились ее домашние заботы и хлопоты. Она как-то не теряла их смысла и получала удовлетворение. Она отдалась дому и семье с искренней готовностью вновь испеченной домашней хозяйки и молодой женщины. С удовольствием, даже с каким-то аппетитом гладила мужнины рубашки, несла их легкую, воздушную, еще теплую, еще пахнущую крахмалом и утюгом стопку на вытянутой руке в спальню и там, полная пристального и любовного внимания к своей работе, раскладывала на чистых полках нового шкафа. При этом она видела себя в зеркале — свои желтые, солнечные глаза среди веснушек, вдруг обильно высыпавших на носу и щеках, вздернутый живот, упорно натягивавший талию студенческого платья, и она, смущаясь самой себя, со счастливой удивленностью вглядывалась в свое материнство.

По утрам Вика шла в институт. Спокойная и умиротворенная, она даже чуть свысока относилась к своим подругам, жизнь которых теперь казалась ей неорганизованной суетней — эти постоянные разговорчики о ребятах, эта ревнивая забота о собственной внешности, беготня по дорогим парикмахерским и дешевым портнихам.

Лекции она высиживала аккуратно, но сразу же после них бежала домой. Вечером возвращался из своего института Борис, тогда еще бледнолицый и застенчивый аспирант Боренька, настойчиво и предупредительно ухаживавший за ней перед женитьбой, и уже с порога, вешая на олений рог шляпу, приветливо говорил: «Ну, как мы тут живем? Есть что-нибудь вкусненькое?» Вкусненькое, разумеется, было. Уж Вика старалась! Когда же с Каланчевки приходила Викина мать за бельем на стирку, почему-то шепотом говорившая в квартире, Вика, вся просияв, усаживала ее на кухне, пила с ней чай и, не замечая многозначительных взглядов Клавдии Антоновны, щедро угощала гостью, вынося из столовой все, что могла найти к этому случаю. Вике тогда казалось, что она — главное зубчатое колесо в этом доме, вокруг которого вращались и окружавшие ее люди, и вещи. Она так и не заметила, как потом все перешло в обратное вращение. Завтра она примется за вторую четверть своего яблока: поведет в садик Татьянку, потом — завтрак для Бориса, потом — второй завтрак для Леонарда Андреевича, потом — магазины, авоськи... И когда она догрызет эту четверть, ей сравняется пятьдесят. Борис, может быть, заберется еще на одну-две ученые ступеньки. А она... ей просто будет пятьдесят, и больше ничего...

Последнюю четверть яблока она оставит недоеденной: это редко кому удастся.

С горечью размышляя обо всем этом, Вика сквозь свои мысли пристально разглядывала лицо мужа. Она рассматривала его не спеша, изучающе, как скульптуру. Схваченное мертвенным сном, лицо Бориса затвердело в неопределенной маске с полураскрытым ртом, с изломанным профилем крупного носа. В полупьяном забытьи, оставленное мыслями, оно было неприятно своей физиологической упрощенностью, было лицом самца, неприятно чужое, незнакомое и не вызывало у Вики ни чувства родства, ни симпатии. К нему совсем не клеилось его кандидатство. «Вот этот человек — мой муж, — в каком-то третьем плане, за прочими мыслями, думалось Вике, глядевшей, как на потной залысине билась синяя узловатая жилка, от толчков которой вздрагивал пучок смятых подушкой волос. — Мой муж... Муж...» И чем больше твердились эти слова, тем дальше ускользал, расплывался их привычный и понятный смысл. «Мой муж... Борис Леонардович... Кандидат наук Бурковский...»

Раньше, будучи студенткой, она испытывала трепетное благоговение перед всякими учеными степенями. В этом не было никакой тайной корысти, одно чистое святое преклонение. Но когда ее Борис сам стал кандидатом, это звание утратило для нее привычную святость. Весь Борисов научный подвиг свершался на ее глазах и при ее участии. Борис не особенно усидчиво писал свою диссертацию, тянул и морщился, как школьник. Она рылась за него в цитатах, подбирала литературу, перепечатывала рукопись на машинке. Во всей этой затянувшейся работе было не столько научного горения, сколько дыма.

Утром Борис, заспанный, помятый, в шлепанцах и пижаме, нашел ее на кухне, когда она готовила завтрак, схватил в объятия вместе с ножом и луковицей, которую она собиралась крошить, и ткнулся в щеку сонными сухими губами.

— Ну, поздравляю, поздравляю...

Вика легонько шевельнула плечами, освобождаясь от объятий.

— Что тут у тебя вкусенького на сковородке? А, бифштекс по-капитански! Дело! Лучку побольше, мамуля, лучку!.. Сегодня, разумеется, надо будет собраться.

Вика не ответила.

— Размахиваться не будем. Самый узкий кружок. Я уже кое-кому сказал.

— Борис! — Вика повернулась от сковородки. — Прошу тебя, не надо!

— Не понимаю...

— Мы недавно собирались — на Восьмое марта.

— Ну то восьмое, а сегодня двадцать восьмое.

— Опять будет все то же и все те же...

— Мамуля! — Борис игриво щелкнул в воздухе пальцами. Легкий щелчок пастушьего кнута. — Мамуля! Ты капризничаешь!

— Я... устаю...

Такого Вика раньше никогда не говорила. Борис слышал это от нее впервые, и, может быть, потому он, несколько озадаченный, довольно долго молча переваривал это слово.

— Глупости! — наконец сказал он. — Посидим, поговорим, посмеемся. Это же для тебя!

— Для меня ли?

Борис развел руками. Вика видела, как он искренне обиделся.

За завтраком, обычно проходившим при участии Клавдии Антоновны, которая пила только чай, Борис сидел уже выбритый, в чистой накрахмаленной сорочке, лицо его, посвежевшее после бритья и душа, обрело значительность, стало вполне кандидатским лицом; он снова вошел в свой чин, как в мундир, и будет блистать в нем там, на кафедре, в глазах зачарованных студентов. Клавдия Антоновна самолично намазывала ему бутерброды.

— Ты показала Борису телеграмму? — спросила у Вики Клавдия Антоновна, когда Борис уже встал из-за стола.

— Нет. Он пришел вчера поздно.

— Послушай, Борис, к Виктории едет какой-то Полужняк. — Клавдия Антоновна вопрошающе посмотрела на Вику. — Просит встретить на вокзале.

— Кто такой?

— Она не говорит.

— Я просто не знаю, — сказала Вика. Она протянула Борису телеграмму.

— Гм... Полужняк... Ну и что? Может быть, это даже не он, а она. Пусть встретит.

— Борис, ты не думаешь, что говоришь! — изумилась Клавдия Антоновна. — Ах, боже мой! Ну куда мы его? Куда? Отец совсем плох, и у тебя теперь такая работа. А он, наверное, еще и с женой. Или даже с детьми.

— Клавдия Антоновна! — взмолилась Вика. — Не надо! Прошу вас! Это же ужасно!

— Как это не надо? Прежде чем приглашать, следовало бы, голубушка, спрашивать. Ты не одна...

— Никого я не приглашала. — У Вики навернулись слезы. — Борис!

— Ай, ну что Борис! — Он посмотрел на часы. — Уже половина десятого. Побегу.

— Вы напрасно волнуетесь, — едва сдерживаясь, сказала Вика Клавдии Антоновне. — Никто сюда не придет.

Когда Вика собиралась на вокзал, Клавдия Антоновна сказала:

— Долго не задерживайся. Сегодня твой день рождения. Ты будешь нужна.

...Встречающие притоптывали и поеживались на пронизывающем ветерке. Налетел мелкий колпчий дождь, сыпавший косо и порывисто. Вика стояла у края платформы, втянув голову в воротник. Ей хотелось видеть, как будет подходить дальневосточный скорый.

Из всех поездов Вика когда-то больше всего любила этот. За то, что он выбрал себе самую дальнюю дорогу.

Тогда она еще жила у трех вокзалов. По ночам с балкончика четвертого этажа, где стояла ее раскладушка, она слушала, как уходили поезда. В тишине уснувшего города, то за Казанским, то за Ярославским, раздавался стук колес, размноженный эхом каменных домов и переулков. Под него она засыпала, и парусиновая раскладушка, подвешенная между землей и небом, становилась ее вагонной полкой. Днем же она иногда заглядывала в вокзал. Ее волновали длинные ряды касс, из окошек которых выдавались беспроектные лотерейные билеты счастья, графики расписаний, тяжелые поскрипывающие чемоданы и волшебный голос под гулками сводами, объявлявший поезда. В каждом, кто входил в вокзал, таилась дорога, и Вика, остановившись у билетных касс, смотрела, кто и куда покупал билеты. Иногда брали на ее поезд до самого конца, и она вся замирала, будто ей самой вручали этот билет. Она глядела на счастливого, как на героя, и даже иногда провожала его до самого вагона. Так, однажды она провожала морского офицера. У него были седые виски и седые, коротко подстриженные усы, а лицо, наоборот, было темное, заветренное, с красивой худобой и сухостью, и к нему очень шли белый воротничок сорочки и белый круг фуражки. Он был ладен, свеж и мужественно-суров, как обдугая ветрами черно-белая морская птица. Он был красив той таинственной жизнью, которая угадывалась за всем его обликом. Вика ходила за ним по пятам, тайно влюбленная, глядела, как он пил минеральную воду, и ей тоже хотелось этой воды, потом купил в киоске томик Стейнбека, которого она не читала, и она записала себе эту книжку, чтобы взять в библиотеке. Она даже, сделав независимый вид, посидела с ним рядом на диване, внутренне цепенея от его близости. Он уехал, так и не узнав, что эта большеглазая девчонка в черном форменном фартуке со школьным портфелем провожала его до самого вагона и потом еще стояла неподалеку от его окна до последнего звонка.

В те далекие счастливые времена девчонка-подросток еще не могла себе представить, что бы она делала, оказавшись на другом конце дороги. Просто хотелось прилепиться носом к окну и ехать, ехать...

Лишь потом все определилось: она поступила в геолого-разведочный институт.

В институте все дышало будущей дорогой: карты горных массивов и схемы пластов, образцы пород и бюсты знаменитых землепроходцев. И уже на первом курсе были нетерпеливо куплены рюкзаки. Вика тоже купила...

Он висит теперь в ванной под потолком: туда складывают белье для стирки.

Вика вспомнила, как три года назад проводила свой курс на Восток. Она, отяжеленная Татьянкой, едва добралась до вокзала за несколько минут до отхода поезда... К вагонам с настежь распахнутыми окнами было не пробиться. В окна без конца совали цветы. Их несли целыми охапками. Букеты сваливались на всех полках вперемешку с рюкзаками, чемоданами, сетками с яблоками и прочей снедью. Какой-то парень, должно быть из энергетического, высунув из окна вагона гитару, отчаянно, наотмашь бил по струнам, и ребята, сгрудившиеся за его спиной тесной кучкой, обнявшись и навалившись на парня сзади, с нарочитой бодростью выводили больно хлестнувшие Виду слова знакомой песни:

*В дальний путь мы провожать их выйдем,
Им простор земли далеко виден:
Ленты рек, озер разливы...
До свиданья, птицы! Путь счастливый!*

Растерянная и смятенная, Вика стояла за краем людского при- боя. Ей хотелось напоследок хотя бы посидеть в этом поезде со своими. Но она даже не знала, где они, в каком вагоне. Лишь случайно кто-то заметил ее, и она услышала, как ее звали хором: «Вика, Вика! Ви-ка!» Потом сквозь толпу пробился Юрка и подвел ее к окну. Вика до сих пор помнит наступившее неловкое молчание. Ей показалось, что ее жалели. Она не знала, что сказать, у нее выступили слезы, и тогда Юрка серьезно, даже мрачно проговорил:

— Поедем, Викуха, с нами. Честное слово!

— Юрочка, куда же я такая? — растерянно улыбнулась Вика.

— А что? Подумаешь!

— Я вас всех очень люблю, родные мои. Но что поделаешь? Так вот случилось.

Юрка хмуро пробежал глазами вдоль вагонов. Раздался гудок отправления. Поезд медленно тронулся. Девчонки закричали: «Пиши, Вичка! Приезжай, Вичка!» И вдруг кто-то схватил в ладони ее голову, больно сжал пальцами виски и уши и порывисто поцеловал раз, другой, третий, куда попало — в лоб, глаза, щеки... Она видела, как Юрка в три прыжка догнал вагон, ухватился за опущенную раму, в него вцепились изнутри, и он прыгнул в окно, высоко вскинув ноги в белых баскетбольных тапочках.

Поезд ушел, многоруко плескаясь, а она потом еще долго стояла вот здесь, на конце платформы, глухая от щемящей пустоты. «А как же я? Как же я?» За ее спиной были Москва, дом, Борис. Но что-то уже изменилось, что-то ушло с этим поездом. Вика никак не могла, не было сил оторваться от опустевших рельсов и повернуться к Москве.

Под вечер, с трудом добравшись домой, она почувствовала себя плохо, и ее увезла неотложка. Жаркий августовский день разразился

ливнем и грозой. Вика помнила только, как ослепительно вспыхивала и снова исчезала в темноте белая спина врача, сидевшего рядом с водителем, и это белое отдавалось в ней мучительной болью.

На рассвете рядом с ней положили розоволицую, со светлым пушком на темени девочку.

...Дождь не переставал. Мелкие брызги при порывах ветра сквозь чулки колочае секли ее по ногам. Но она не уходила. Внутренне сжавшись, она ждала поезд с грустной отрешенностью. Так вот странно вплелись в ее жизнь и этот вокзал, и эта платформа, откуда она только провожала или встречала, но еще никто не провожал и не встречал ее. Теперь вот ехал какой-то Полужняк, и это будило в ней воспоминания об институтских годах и растерянных друзьях.

Объявили прибытие.

Поезд неслышно и как-то неожиданно выкатился из серой дождевой мглы. Проплыл мимо электровоз, по-человечески устало вытирая свой мокрый лоб стеклоочистителем, потянулась серая масса вагонов, тихо вызванивая колесами.

Вика скользнула глазами по окнам шестого вагона и выжидающе, не спеша пошла следом.

Остановившись поодаль, она наблюдала, как высаживались пассажиры. Любой из них мог оказаться Полужняком. И этот бородач с огромным вздутым рюкзаком, который он опускал со ступенек за ремни, и высокий мужчина в оленьем треухе и короткой медвежьей шубе, и сошедший вслед за ним толстяк, и даже тот якут, коренастый и чинный, в серой велюровой шляпе, который еще только протискивался с чемоданом к выходу.. Но бородач, взвалив на спину рюкзак, тотчас зашагал к выходу; мужчину в шубе и приехавшую с ним девочку лет двенадцати обступила шумная толпа встречающих; его обнимали и спереди, и сзади, трясли сразу обе руки, он широко и белозубо улыбался, косился на всунутый в петельку шубы красный тюльпан и все поправлял на носу роговые очки, которые в пылу объятий то и дело задевали шапками и рукавами; толстяк же не спеша поставил чемодан на асфальт, взглянул на перронные часы, перевел по ним стрелки своих наручных и, ни на кого не глядя, захрумкал по платформе новенькими, обшитыми кожей бурками.

Среди всех поездов московских вокзалов у сибирских экспрессов были какие-то особенные, свои пассажиры. Вика давно это заметила. Даже не лицом, не одеждой, а чем-то неуловимым. Они были разные, как и пассажиры с рижских, минских, кишиневских поездов, — спокойные и оживленные, суровые и веселые... Но спокойствие у них было какое-то свое, сибирское, и суровость и веселость — тоже. Над ними будто витал дух их необозримого края, дух тысячеверстных дорог и бездорожья, дух масштабов и щедрости земли, на которой они так широко, размашисто работали и жили. И даже сюда, в Москву, их поезд приходил не с востока, а с севера, через Ярославль, через костромские и вятские глухомани, потому что после

тех расстояний, которые он покрыл от берегов Тихого океана, этот ярославско-костромской крюк для него теперь не околица.

Пассажиры все выходили, их тут же расхватывали встречающие, платформа наполнилась и бурлила, и за эти несколько минут встречи с поездом, встречи с чужой радостью Вика и сама как-то отмякла душой, будто вдохнула чистого снежного воздуха. Теперь ей было немножко обидно, что все эти люди проходили мимо и не имели к ней никакого отношения, и она, все больше загораясь общим возбуждением, ревниво глядя в дверь вагона, высматривая своего, ей лично адресованного пассажира. И лишь когда на перрон сбежал летчик в фуражке гражданской авиации, стал озирается по сторонам и, заметив одиноко стоявшую Вику, вопрошающе посмотрел на нее, она внутренне встрепелась, догадалась, что это, наконец, и есть ее Полужняк.

Летчик, еще раз озабоченно посмотрев вокруг, направился к ней. И пока он, высокий и грузный в своем длинном распахнутом кожаном пальто на каком-то сером меху, с чемоданом и с большим газетным свертком в руках, делал эти несколько шагов к ней, Вика чувствовала себя совершенно смятенной под пытливым взглядом этого незнакомого, уже не молодого человека с широким, заветренным до кирпичной красноты лицом и редкими рябинками на лбу и крупном широком носу.

— Кажется, на всем перроне больше никого нет похожего на вас. — низким, чуть хриловатым голосом еще на ходу сказал летчик. — Вы самая похожая на Вику.

Он поставил к ее ногам чемодан и первый как-то просто, без всяких церемоний, протянул руку.

— Я получила вашу телеграмму. — сказала Вика, несмело отвечая на пожатие.

— Наверно, гадали, кто да что? — сказал летчик, сдвигая фуражку на затылок и с высоты своего огромного роста с нескрываемым любопытством разглядывая Вику.

— Я и теперь решительно ничего не понимаю. — чуть усмехнулась Вика. — Как вы меня узнали в этой сутолоке?

— Так вот: глянул — и узнал. — сказал Полужняк, — стоит смущенная, перепуганная девочка... Одна... Вас напугала моя телеграмма?

— Нет, почему же... Я только не знала, от кого. У меня нет знакомых в Свердловске.

— Это только телеграмма, — сказал летчик. — А сам я с Сахалина.

— С Сахалина? — обрадовалась Вика. — На Сахалине две мои подруги.

— Где же? — оживился Полужняк. — В каких местах?

— Одна в Охе, другая жила в Поронайске, но потом, кажется, вышла замуж и куда-то переехала. Вы, случайно, не муж?.. — почти с уверенностью спросила Вика.

— Нет... То есть, конечно, муж... Но совсем в другом плане.

Оба рассмеялись, и Вика почувствовала, как от первых же слов с этим незнакомым человеком из ее волнения уходят все неприятные примеси: ожидание неизвестности, робость, незнание, как себя держать.

— Что же мы стоим? — спохватилась она. — Давайте присядем, что ли?

Они сели на перронную скамейку. Летчик придвинул к скамейке чемодан, положил на него газетный кулек, достал из кармана папиросы.

— Но почему же вы не самолетом? — спросила Вика, несколько освоившись. — Сейчас все летают из тех краев. Теперь это принято.

— У летчиков — не очень. — сказал Полужняк, раскуривая в широких ковшах ладоней папиросу.

Вика, наблюдавшая за ним, отметила про себя, что в нем совсем ничего не было от аса, того налета изыска в осанке и одежде, отпечаток которого накладывает вождение дальних комфортабельных лайнеров на большинство московских летчиков. Не говоря уже об откровенных воздушных пижонах, сходящих по трапу в лихо заломленной фуражке, с дымящейся сигаретой на краешке губы и кожаной курткой, болтающейся за спиной на оттопыренном мизинце. Видно, он был из тех сибирских воздушных извозчиков, которым не до пижонства на глухих тасжных трактах. И не будь на нем форменной фуражки, он не меньше походил бы и на лесоруба, и на сплавщика, и на боцмана какого-нибудь буксира.

— А я думала, пилоты первыми пользуются таким благом. — сказала Вика.

— Я, например, в том случае. — ответил Полужняк, — если надо срочно. Но если есть время, предпочитаю по старинке, поездом.

— Понимаю. Это что-то профессиональное. — сказала Вика. — У меня мама работает на конфетной фабрике. Она терпеть не может конфет.

— Не знаю, как насчет конфет, а мне всегда хочется посмотреть на землю поближе. Так вот запросто завалиться на полку: ни тебе высотометров, ни облачности, за окном обыкновенные сосны, разъезды, земля, люди, кружку пива на станции выпить — это же удовольствие. А то иногда слетаешь в Москву — вроде бы нигде и не был... Я вот теперь в отпуске, взял путевку в Крым. Ни разу не ездил. Надо бы, конечно, самолетом. Но не удержался, поехал поездом. Полпутевки разбазарил на дорогу. Ну и шут с ней, — простодушно махнул рукой Полужняк. — Зато проехался, посмотрел. Через всю страну.

— Первый раз встречаю такого летчика-землелюба. — улыбнулась Вика. — Обычно хвастают...

— Ну что ж, молодежь — оно конечно... В облака рвется. Но все мы на земле прописаны. Я ведь ее, по существу, и не вижу. Все время петляю над океаном. Вода и небо.

— Почему петляете?

— Работа моя такая. Селедку всякую караулю. Знаете, как птицы морские кружат, орланы, высматривают рыбу. Иногда мы вместе кружим над косяком.

— И они не боятся самолета?

— Ничуть. Забираются выше или ниже, но от косяка не уходят.

— Это должно быть очень интересно — охотиться за рыбой.

— Как вам сказать? Скорее азартно. Как всякая охота. Чем дольше не попадается косяк, тем злее ищешь. Иногда встречаешь дичь и покрупнее. Например, полосатиков.

— Это что же такое?

— Так у нас называют полосатых китов.

— Разве их видно с самолета?

— Здорово видать! Даже когда они ныряют и уходят под водой. Они плывут, совсем как подводные лодки. Темные сигары в зеленоватой воде. Когда-то приходилось охотиться и за лодками. Я ведь еще в войну начал летать над океаном. Уже двадцать лет над Тихим. Сначала лодки, теперь — селедки, — улыбнулся Полужняк. — Так вот и летаю, пока не кончится горючее или не окликнут с базы. Тогда уж напрочно засяду на своей горбуше. Это я Сахалин так называю.

— Почему горбуша? — засмеялась Вика.

— А он похож на большую горбушу перед нерестом, — тоже усмехнулся Полужняк. — Не замечали? Если глядеть на карту — и хвост, и спинной плавник, и даже верхняя челюсть крючком загнута, как у брачной горбуши.

— Правда, — сказала Вика. — я тоже заметила: Сахалин на рыбу очень похож.

— У наших сахалинских айков есть даже легенда. Из океана в Амур шел косяк горбуш метать икру. Весь косяк вошел в устье, только самая большая горбуша никак не могла протиснуться. И до сих пор она терпеливо трется у материка.

От каждого слова Полужняка, говорившего вовсе не затем, чтобы удивить, как-то само собой веяло необозримостью тех краев, откуда он приехал, и это радостно будоражило Вика, как давно прежде, когда она еще девчонкой провожала морского офицера. В ней еще не остыло волнение ожидания, а у платформы по-прежнему стоял дальневосточный экспресс с разгоряченными колесами, пробежавшими через всю страну, и это отзывалось в ней чувством светлой праздничности.

— Вы так рассказываете, что мне тоже захотелось в море! — весело сказала она. — Хоть сейчас.

Полужняк снисходительно улыбнулся Викиному порыву.

— Ну какое сейчас море? Море сейчас во льдах. А над Тихим ревет пурга. Мы добирались до Хабаровска почти шесть суток. Все сахалинские самолеты на приколе. Едва проскочили перед очередной пургой. Вот летом — пожалуйста. Приезжайте, покружу вас

над Тихим. — Полужняк озабоченно посмотрел на Вику. — Вы совсем промокли. Пойдемте лучше куда-нибудь под крышу. — И неожиданно предложил: — Хотите, пообедаем вместе?

— Нет.. не знаю, — растерялась Вика.

— Прошу вас, — сказал Полужняк. — У меня скоро поезд. Что ж мы так и будем мокнуть под дождем?

— Ну, хорошо, — кивнула Вика.

— Но раньше позвольте вручить вам вот это...

Летчик развернул газетный кулек, уже изрядно промокший, и протянул букет, вдруг польхнувший под серым вокзальным небом искрами фиолетово-розовых цветов. Это было так неожиданно, что Вика даже зажмурилась.

— Это мне? — тихо спросила она. — Какое чудо!

Она никогда не видела этих цветов и теперь изумилась их неожиданности, их волнующей незнакомости. Даже на ощупь у них были жесткие, почти провололочные стебли. И маленькие, крепкие, навощенные листья. И все у них было диковато-грубое. Но зато сами чашечки, робко и редко сидевшие на жестких ветках, были так тонки и нежны, что трепетали даже от Викиного дыхания. Они казались вырезанными из фиолетово-розовой папиросной бумаги. От этой грубой суровости и тонкой нежности цветов веяло грустной, щемящей прелестью.

Вика благодарно посмотрела на Полужняка.

Освобожденные от бечевы и газетной обертки, цветы, будто вновь ожившие, расправлялись под мелкой моросью дождя. Вика чувствовала, как стебли пружинисто разжимали пальцы.

Они вошли в ресторан вокзала, сели за свободный столик у окна.

— Может быть, немного вина? — предложил Полужняк.

— И еще что-нибудь под цветы, — попросила Вика. — Мне жаль класть их на подоконник.

Официантка принесла вазу.

Все в зале посматривали на букет.

Он стоял на столике, еще влажный от дождя, в тепле вокзала от цветов неуловимо веяло дикой свежестью далекой земли.

— Мне кажется, — задумчиво сказала Вика, разглядывая багульник, — им нелегко дается это нежное цветение.

— Да, они растут в сопках, на каменистых россыпях, — сказал Полужняк. — Корейцы говорят: если хочешь понять душу земли, посмотри на ее цветы. У них багульник считается священным. Однажды я снимал комнату у старой корейки, и она каждый год ходила после снегов в сопки, чтобы срезать веточку багульника. Она никогда не приносила много. Только одну ветку. Она говорила: «Для двух человеческих глаз, понимающих красоту, достаточно одной ветки багульника».

Вика некоторое время наблюдала, как Полужняк разминал над портсигаром, а затем раскуривал папиросу. Он был в но-

веньком черном форменном костюме, еще топорщившемся жесткой портняжной утюжкой, но в то же время кое-где измятом, наверное, за дорогу, пока лежал в чемодане. Над грудным карманом пестрело несколько колодочек каких-то орденов, в которых Вика не разбиралась. Пострижен он был по-старомодному, и рядом с красноватой заветренной кожей висков и скул жестко серебрилась седина, коротко состриженная машинкой. Но Вику удивило в этом с виду таком обыкновенном человеке его неожиданная, совершенно не вяжущаяся с внешним обликом чуткость, его какое-то целомудренное, серьезное и очень непосредственное рассуждение о красоте. И она, теперь уже рассчитывая на эту чуткость и проницательность, осторожно сказала:

— Эти цветы нельзя дарить просто так. Обязательно только в торжественных случаях. Например, на свадьбу. Или когда... очень любишь...

Летчик усмехнулся:

— Я вас понял... Но не подумайте... Я тут ни при чем. Просто меня попросили передать вам эти цветы. Только и всего.

— Передать? Мне? — встрепенулась Вика.

— Насколько я понял, у вас на Востоке есть большие друзья.

— Да, есть... были. — не сразу ответила Вика, чувствуя, как влажнеют глаза. — Когда-то учились вместе в институте.

— Почему же были? Вы сами сказали, что эти цветы нельзя дарить просто так... Значит, кто-то очень помнит о вас...

— У меня сегодня день рождения. — смешавшись, тихо сказала Вика.

— Вот как! Выходит, привет за десять тысяч километров поспел как раз вовремя!

— Я даже не знаю, от кого. — сказала Вика, но про себя уже почти была уверена, что это, конечно, все Юрка.

— Мне передали их под Хабаровском. — сказал Полужняк. — У вас там никого нет?

— Раньше не было... Может быть, теперь. Они ведь все геологи...

— И вы тоже?..

— И я... тоже... — краснея, сказала Вика.

Полужняк посмотрел на нее своими острыми, внимательными глазами.

— Вы смотрите на меня так, будто я предательница. — вовсе смутилась Вика.

— Нет, почему же? — мягко сказал Полужняк. — Давайте лучше выпьем за день вашего рождения. Я не знал, я бы тоже вставил в этот букет свою веточку багульника. Это действительно торжественный повод.

— Спасибо. — поблагодарила Вика.

— И еще выпьем за этого парня.

Вика опустила глаза.

— Разве он не назвал себя? — спросила она через некоторое время.

— Получилось как-то все неожиданно. Мы даже не успели переговорить. Перед самым отходом поезда на станцию заскочил газик. Весь залепленный снегом. И радиатор, и ветровое стекло. Смотрю, из машины выпрыгивает парень. Побежал вдоль поезда, полушубок нараспашку, заглядывает в окна. Я как раз стоял в тамбуре. Подбегает ко мне: «До Москвы?» — «До Москвы». Запыхался, хватая ртом воздух. «Дружище... Сделай одолжение... передай вот это... по адресу... Я сейчас напишу». Он сунул мне пучок прутиков и стал быстро шарить по карманам полушубка. Поезд тронулся. Парень побежал следом, достал блокнот и на бегу кое-как набросал адрес. «Не забудь, поставь в воду! — крикнул он мне, отставая. — В воду поставь!..» Я еще видел, как он стоял на платформе и шапкой вытирал лицо. Ну, а цветы... В Новосибирске они стали оживать. В Свердловске выбросили бутоны. Парень, видно, рассчитал все точно.

Оба помолчали.

— У меня осталась его бумажка. — Полужняк протянул листок из блокнота. — Может быть, можно узнать по почерку. Но едва ли... Я с трудом разобрал.

На листке кривыми буквами с проколами от карандаша был написан Викин адрес. И больше ничего...

«Ну конечно, Юрка, — с грустной и трепетной горечью подумала Вика. — Только он мог сделать такое... Милый, непокорный чудак».

Полужняк курил, Вика нервно теребила край листка из блокнота. Потом Полужняк взглянул на часы:

— Ну, мне пора.

— Можно, я провожу вас на вокзал? — попросила она.

Уже вечерело. На туманной площади плавилась желтые круги огней. Они взяли такси и доехали до Курского. Крымский поезд заканчивал посадку. Летчик пожал Викину руку и вошел в вагон.

— Приезжайте к нам! На наш рыбу-остров! — помахал он с площадки. — Мы еще погоняемся за китами!

Вика грустно улыбнулась.

Она постояла на перроне, глядя затуманившимися глазами на убегающий красный фонарик хвостового вагона, потом медленно, машинально спустилась в тоннель и вышла на площадь, тускло блестящую мокрым асфальтом, мокрыми горбами автобусов и такси, мокрыми плащами и зонтиками привокзальной сутолоки. Ее останавливали, спрашивали, где она купила «такие прелестные цветы» — никто не мог сказать их названия, — но Вика проходила мимо, не задерживаясь, потому что объяснять было долго и не хотелось.

Она отыскала кольцевой автобус, доехала до площади Восстания и оттуда пошла к дому, на бульвар у Никитских. Домой идти не хотелось. Она прислонилась к чугунной ограде напротив. Сквозь редкие голые ветки кленов ярко светились окна ее квартиры на

втором этаже. Горела большая люстра. Значит, в зале уже гости. С холодной тоской она подумала, что опять соберется все та же компания. Друзья дома. Борисовы друзья. Ее будут поздравлять. Но не ее саму, вот такую, как есть, а с ее «ужасно симпатичной квартиркой» в старом дородном особняке, с ее ореховыми кроватями-близнецами. («Где вы достали такую роскошь? А мы до сих пор спим в обнимку») И, разумеется, с Борисовым кандидатством. Ей нанесут духов и всяких безделушек. Борис тоже подарит что-нибудь вроде электрического кофейника с золоченым ситечком у носика. Он всегда старается подарить что-нибудь оригинальное и полезное в доме. Например, поваренную книгу в белом пластмассовом моющемся переплете. Или особенный обеденный сервиз, из которого ест сам и никогда не моет... Ее поздравят в прихожей и потом будут на кухне придумывать что-нибудь «вкусненькое».

Все это будет называться днем ее рождения.

Она наперед знала, кто будет и что будет. Придет эта молодящаяся Руфка, сбросит шпильки, залезет на тахту и весь вечер будет выставлять литые чугунные коленки. «Мальчики» начнут подавать ей со стола закуски, она натывает в соусницу крашенных окурков и запихнет ее под тахту. Придет этот подающий надежды Модильяни с Серпуховки. Набравшись, мрачно уставится на копию с Лагорио на стене, спрашивая, когда они наконец вышвырнут ко всем чертям этого Левиташку. Не пропустит случая Генка со своей рыжей секретаршей и, как всегда нахально, останется с нею ночевать. Выползет «посмотреть на молодежь» сам Леонард Андреевич. Выпив пару рюмок, он весь вечер, как метрдотель, покровительственно просидит в уголке, оглаживая бороду. После трех бутылок начнется обычное перетряхивание всяких «измов». Модильяни полезет срывать Лагорио, и Руфка закричит со своей тахты: «Мальчики! Довольно политики. Скушно! Я сама видела Насера. Ну и что? Давайте лучше послушаем Гюшку».

Все набросятся на Гюшку за то, что он опять не захватил гитару. Гюшка возьмет со стола две вилки и под них, расставив локти, безголосо и картаво, ломаясь, начнет сыпать «Фартовую девчонку» или «Опять попутали на деле...».

После этого задремавший Леонард Андреевич бодро вскочит и картинно раскланяется со всеми: «Очень было приятно... Честь имею...» Уходя, он самолично заведет свои «сказочки» на завтра и поучительно скажет: «Гимны приходят и уходят, а вальсы остаются. Так-то, уважаемая молодежь! Вечная мелодия!»

Это называлось посидеть в тесном кругу — и на Восьмое марта, и Первого мая, и в День Победы...

С нависшего клена падали тяжелые капли, и Вика чувствовала, что промокла и начинает дрожать. Но она не могла заставить себя перейти улицу и войти в то тепло напротив. Она видела, как за спущенными шторами мелькали темные силуэты. Немые и беззвучные, они

странно и бессмысленно появлялись и исчезали в высоких стрельчатых окнах. Все, что там происходило, отсюда, с улицы, казалось прозрачным и неживым. Но Вика знала, стоит ей подняться по лестнице, как все это будет озвучено, приобретет запах, цвет, форму, и черные растопычатые силуэты станут живыми Гошками и Руфками.

И когда совсем рядом под навесом деревьев засветился зеленый огонек, Вика с какой-то холодной решимостью шагнула наперерез и подняла багульник.

«Хорошо, что я сказала маме забрать к себе из садика Татьянку», — вдруг обрадовалась она, когда машина уже мчалась по бульвару.

— Куда едем? — не оборачиваясь, бросил водитель.

— Пожалуйста, на Каланчевскую.

— Это у трех вокзалов, что ли?

— У трех вокзалов.

Она ехала молча, забившись в темный угол пустой гулкой машины. Мокрые звездочки багульника дышали в ее лицо запахами талого снега, таежного ветра, растергой в пальцах горькой и терпкой молодой корой и еще чем-то тревожащим и неотвратимо зовущим.

1963

УЛИЧНЫЙ ПЕВЕЦ

Среди маленьких чистильщиков сапог Антонио — самый знаменитый в Неаполе. Этого мальчугана с копной смоляных волос, насмешливыми, черными, как маслины, глазами можно было видеть на набережной Санта-Лючия. Он называл себя свободным предпринимателем, подразумевая под этой шуткой возможность раскладывать свои нехитрые инструменты на любой улице когда угодно. Сапоги и ботинки, побывавшие под искусной щеткой Антонио, всегда отливают таким веселым глянцем, будто на их носках поселилось само неаполитанское солнце.

Но не этим завоевал он славу знаменитого чистильщика. Собственно говоря, работы у него бывает так мало, что в иной день ни одной лиры не упадет в запыленную шляпу, которую он клал на мостовую у ящиков со щетками. Счищать же грязь с американских ботинок он отказывался. Когда к нему подходил янки и молча ставил ногу на ящик, смеющиеся глаза Антонио мгновенно меркли, а пальцы сами собой сжимались в кулаки... Для такого случая у него был запасен хороший ответ. Увидев на солдате красные ботинки, он доставал черную ваксу и говорил:

— Другой нет. Только что кончилась.

Иной раз за это доставалось, но Антонио всегда был рад, что оставлял заморского гостя с носом.

Славу этому мальчишке принесли песни. Они рождались у него сами собой, свободно, как морская волна. И так же, как волна,

жили недолго. Сидя на набережной, щедро поливаемой зноем, он слагал песни о древнем старике Везувии, молча глядящем на разоренный нищий город. Пел о море, по берегу которого в часы отлива бродили голодные безработные, собирая ракушки и моллюсков; о себе самом, бездомном мальчишке, сыне погибшего бойца славной партизанской дивизии имени Гарибальди. Иногда в его шляпу падали скромные монетки, брошенные от всего сердца слушателем-неаполитанцем. Но пел он не ради денег. Нет! И, конечно, не ради славы...

Одну из этих песен он особенно любил. Начиналась она словами:

*Я смеюсь над богачом-банкиром
Пусть в кармане дыры
Вместо лиры,
Пусть в желудке
Нет ни крошки хлеба,
Пусть мой дом —
Бездонный купол неба,
Пусть я беден
И не знатен родом,
Но зато я —
Со своим народом...*

Эту песенку скоро подхватили все мальчишки-чистильщики.

Ранним утром Антонио усаживался на краю набережной и, весело горланя, любовался голубой далью залива. Море, отшумев зимними штормами, усталое и притихшее, нежилось на солнце. По его зеркальной поверхности, подгоняемые легким попутным бризом, скользили рыбацьи лодки. А вслед за ними, взяв курс на Капри и Сорренто, отчаливали нарядные пассажирские парходики.

Но в это мартовское утро он не увидел привычной картины. На рейде, густо дымя, стояло около трех десятков военных кораблей. Они зловеще серели на горизонте.

Мальчик нахмурился. Он знал, что всякое появление американского судна в порту несет городу несчастье. Пьяные матросы устраивали драки, били стекла в витринах магазинов, приставали к прохожим и высмеивали все, что было дорого неаполитанцу. Однажды они даже сбросили с набережной такого же, как он, чистильщика только за то, что тот нечаянно мазнул щеткой по брюкам, когда чистил ботинки янки. Упавший повредил ногу о торчащую из воды сваю, а янки ржали на всю гавань, глядя, как мальчишка барахтался в воде... Сегодня же прибыла целая эскадра. Что-то будет!

К причалу стали подходить военные катера. Янки высаживались на берег.

«Знает ли Фарабосси? — подумал мальчик. — Надо поскорее сообщить ему».

Фарабосси — безработный, бывший портовый грузчик, недавно вернувшийся из тюрьмы. Он был арестован за то, что в прошлом году вместе с другими портовиками организовал демонстрацию в защиту парламентской неприкосновенности коммуниста-неаполитанца Паоло Беллони. Мальчик знал, что Фарабосси живо интересуется такими событиями, как сегодня... Когда в воздухе пахло грозой, он говорил Антонио: «Ты мне сегодня понадобишься».

— Эй, парены! — раздался окрик на ломаном итальянском языке. — Пошел прочь отсюда!

По набережной шли два американских солдата в белых касках, на которых вырисовывались буквы «МП» — знаки военной полиции. Не дожидаясь, пока они приблизятся, мальчик быстро собрал свой ящик и шмыгнул в ближайший переулок.

В городе тоже чувствовалось что-то неладное. По главной магистрали проносились военные мотоциклы. Взад и вперед шныряли переполненные полицейские джипы.

На углу проспекта Реттифило Антонио встретил своего приятеля Марио.

— Слышал, в Неаполь прибыл Эйзенхауэр? — мрачно сказал Марио. — Вон как полиция всполошилась. Боятся, как бы его не освистали...

— Знаю. — сдержанно ответил Антонио. — А ты куда?

— В Мерджеллину. Там собираются демонстранты. Пойдешь?

— Нет, мне надо еще кое-куда зайти...

Через четверть часа Антонио уже был у грузчика. В тесной камерке, уютившейся в подвальном этаже разрушенного бомбой дома, было накурено. Сквозь дым Антонио не сразу разглядел нескольких портовиков, которые только что о чем-то спорили.

— А, старый дружище! — приветствовал мальчика Фарабосси. — Ты мне как раз сегодня очень нужен. Рассказывать ничего не надо, все уже знаю. А понадобился ты мне вот зачем. Знаешь высокий нежилой дом на виа Орарио? Ступай туда и последи, чтобы минут десять после двенадцати дня там не появлялось ни одной подозрительной личности. Если что — дашь знак: запоешь свою любимую... Действуй! Возьми мои часы.

Город волновался. У здания университета Антонио видел, как полисмены старались загнать в аудитории высыпавших на улицу студентов. За углом визжал полицейский свисток. Слышалась отчаянная ругань. Поднявшийся ветер гнал по улице невесть откуда появившиеся листовки. Пробриться к центру было невозможно. Всюду стояли усиленные американские и итальянские патрули. То и дело попадались переодетые полисмены. Привычный глаз маленького чистильщика узнавал их без труда.

Пробравшись задворками на виа Орарио и отыскав указанный дом, Антонио на углу перекрестка разложил свои инструменты.

Сердце его напряженно стучало. Он не знал, что должно случиться за те десять минут, о которых говорил портовый рабочий, но догадывался, что произойдет что-то важное. И успех этого дела будет зависеть от него.

Улица в этом месте была сравнительно немногочисленной. Лавки и магазины стояли с закрытыми окнами и дверями, и торопливые прохожие не задерживались около них, как в обычное время. Раза два на углу появлялись полицейские.

Когда часы показали двенадцать, мальчик осторожно покосился на многоэтажный дом, стоящий от него справа через дорогу. Это было мрачное здание с облезшей штукатуркой. Внимание мальчика привлекли три человеческие фигуры, осторожно пробиравшиеся по крыше. Они что-то тащили за собой, похожее на лестницу.

«Началось!» — решил Антонио и, придав себе веселый беззаботный вид, стал внимательно наблюдать за улицей, изредка посматривая на часы, зажатые в кулаке. Ему хотелось еще раз взглянуть на крышу, узнать, что делают эти трое. Но он не смел: боялся своим взглядом обратить внимание прохожих.

Как медленно часы отсчитывают время! Минуло всего только пять минут, и мало ли что может произойти за остальные пять... Из соседней мастерской часовщика осторожно вышел господин в сером. Постояв некоторое время, незнакомец не спеша подошел к Антонио.

— Любезный, — обратился он к чистильщику. — Наведи глянец.

Антонио быстро взглянул на ботинки клиента и убедился, что они совершенно не нуждаются в чистке.

«Только бы не посмотрел вверх, — мгновенно промелькнуло в голове маленького чистильщика. — Его надо постараться отвлечь разговором». Антонио быстро сунул часы в карман, схватил щетку и спросил:

— Вы каким пользуетесь кремом? Я вам рекомендую «Олимп». Эта новинка всего неделю как появилась в Неаполе...

Незнакомец не отвечал. Мальчик поднял голову и побледнел... Господин в сером смотрел на крышу..

И вдруг неожиданно для самого себя срывающимся и каким-то чужим голосом Антонио запел:

*Я смеюсь над богачом-банкиром.
Пусть в кармане дыры
Вместо лиры...*

В ту же минуту сверкнувший на солнце ботинок господина со всего размаха врезался в лицо маленького певца. Песня оборвалась... Дикая, нестерпимая боль сдавила сердце мальчугана. Тотчас почти над самым ухом раздался истерический полицейский свисток, и мимо с ревом промчались мотоциклы.

«Успеют ли спрятаться?» — как пойманная птица билась тревожная мысль в мозгу мальчика. Он с трудом поднялся и повер-

нул окровавленное лицо к дому. Там уже толпились полицейские и стоял человек в сером. Они, задрав головы, злобно и беспомощно таращили глаза на стену, где над карнизом висела огромная с двухметровыми буквами надпись: «Эйзенхауэр, убирайся вон!» Эти слова, насыщенные жгучей ненавистью трудового народа Неаполя к американским оккупантам, сурово смотрели по верх соседних домов, по верх волнующихся улиц и были хорошо видны на главной трассе, по которой в закрытой автомашине поспешал к аэродрому американский генерал...

1952

СНЕГА НАД РОССИЕЙ

Я приподнялся с пола, где мы спали на охапке сена, и взглянул из-за тучного тела Кирилла на печку. Поддувало не светило. К полуночи ветер вытянул из сторожки все тепло и зашвырял окно толстым слоем снега, который мы счищали по несколько раз в день.

Растопив печку, я с трудом открыл сенную дверь, вихрь с размаху ударил в лицо обжигающим колким снегом, ветер перехватил дыхание, зажал рот и отпустил лишь тогда, когда я захлопнул дверь.

Кирилл высунулся из-под полушубка.

— Метет?

— Без лыж отсюда не выберешься.

— Тысяча чертей!

Кирилл сбросил ногами полушубок, подсел на чурбан к печке. Близоруко щурясь на огонь, он растирал щеку, на которой мелкой сеткой отпечатались травинки. Он увязался за мной в эту глушь, где я часто ловил черных горбатых окуней на лесных озерах, но все эти дни бушевала пурга, и мы ни разу не выбрались на лед. Три дня назад хозяин сторожки уехал в область на совещание лесничих, бросив на нас все. Мы остались совершенно одни.

Я поставил котелок со снегом на печку, набросал в поддувало сырой картошки, и, чтобы не томиться от безделья, достал из рюкзака снасти. Кирилл безучастно глядел, как пламя пожирало березовые поленья.

Над крышей стучали на ветру обледенелые скелеты ракушек, и было слышно, как в стену сторожки скреблась когтистой лапой метель.

— Собаку позвать, что ли?

Кирилл набросил на плечи кожух и толкнул дверь. Из сеней доносилось несколько протяжных свистков.

— Заливай! Где ты, дьявол?

Подождав еще немного, Кирилл вернулся в избу весь запорошенный снегом. На красном со сна лице блестели капельки талой воды.

— Наверно, побежал на станцию. Встречать хозяина. Брось ты эти удочки...

— А что делать?

— Не знаю...

Он прошелся взад-вперед по избе, всякий раз останавливаясь перед картой лесхоза, потом достал с полки недавно выпитую коньячную бутылку и долго обнюхивал горлышко.

— Ветер, ветер на всем белом свете! — нараспев проговорил он и швырнул бутылку в угол. — Давай включим приемник?

— Не стоит. Батареи совсем сели. Старик обидится.

— Ты думаешь — он слушает радио, этот медведь?

На тесовом столе стоял еще совсем новенький приемник с серебряным ромбиком именной гравировки на крышке — подарок хозяину от лесхоза. Я знал, что старик дорожил своим подарком и, чтобы не жечь понапрасну батарей, слушал только последние известия.

— Не трогай. Мы и так за эти дни посадили батареи.

Кирилл не ответил. Он подсел к столу, повернул выключатель. Индикатор вяло, будто нехотя, залился зеленым светом. Желтая полоска настройки медленно поползла по шкале. За зеленым глазком сухо потрескивали разряды, попискивали морзисты, сквозь атмосферные шумы отрывисто и тревожно переговаривались порты и застигнутые непогодой корабли. Пробил полночь Большой Бен. Двенадцать низких приглушенных расстоянием ударов. Густой звук был несоразмерен с маленькими Британскими островами. Казалось, от величия империи остался только величавый бой часов на Вестминстере. Торжественно-печальный колокол в атлантических туманах.

Под затухающие звуки Большого Бена выплыл такой же торжественный, медлительный и такой же архаичный голос комментатора Би-би-си. Его бесцеремонно оттеснил суетный итальянец. Он, будто боясь, что и самого тоже схватят сзади за полы, торопливо рекламировал какое-то новое, особенное *pasta asciutta*. Итальянца тотчас смыла волна мюнхенского марша, и было слышно, как тот, уносясь в темные глубины эфира, все еще пытался выговориться. Но рубленый звон меди заглушил слабеющий голос.

— Узнаешь?

— Знаменитый «Марш гладиаторов».

— Смотри, как они опрокинули лоток с макаронами.

— Они всегда начинали с лотков.

— Интересно, какая это станция?

— Париж.

— Странная музыка для Парижа.

— Де Голлю нравится.

Кирилл резким поворотом регулятора смахнул марш. Снова потянулась вереница разноязычных комментаторов.

— Ну-ка, придержи так... Что-то говорят по-русски...

«...Всем известно, что у муравьев высоко развиты общественные инстинкты. Мы удивляемся их организованности, забывая при этом, что их деятельность подчинена не разумной воле, а все той же биологической пружине — рефлексу», — говорил за стеклом индикатора почтенный старческий голос, все время срывающийся на высокие ноты.

— Какой-то орнитолог...

— Чудак! — усмехнулся Кирилл. — Среди ночи вспомнил о муравьях. Папаша, иди спать! Поехали, а?

— Подожди, подожди...

«Легко себе представить, что нынешняя Россия напоминает нам муравейник. Личная жизнь каждого индивидуума целиком подчинена общественным инстинктам. Русские утратили способность понимать прекрасное, наслаждаться жизнью. Их удел — тяжелый муравьиный труд...»

— погоди, Кирилл, это забавно.

«...Их патриотизм — муравьиный. Они слепо жертвенны, как муравьи... И этим они опасны для западной цивилизации...»

... — Вы слушали выступление профессора Чикагского университета».

— Какой-то эмигрантишко.

— Чертов насекомовед!

На сороковых метрах желтая ленточка настройки вошла в полосу джазов, подобно тому как судно входит в субтропики. Кирилл медленно пробирался от станции к станции. В этих широтах было шумно и лихорадочно весело. Лондон выпустил своих знаменитых братьев Миллс. Братья Миллс сделали себе имя на вокальной пантомиме «Джунгли». Это их коронный номер. Мадрид давал модные записи с золотых пляжей Копакабаны. Над Неаполем, как всегда, цикадами стрекотали мандолины.

У зеленого фонарика индикатора, словно ночные бабочки, роились тенора. Они налетали, тесня друг друга, и от легкого поворота регулятора исчезали в темноте ночи.

Европа не спала. Европа веселилась. Она бросила в небо весь свой световой неон. Каждый миллиметр шкалы был забит до отказа.

— Кирилл, что ты без толку крутишь? Ты все превратил в сплюснутую кашу.

— Отстань!

— Но тогда найди что-нибудь настоящее.

— Пожалуйста! «Чико, Чико из Порто-Рико».

Кирилл расхохотался.

— Не валяй дурака!

— Знаешь, наши радиостанции что-то помалкивают. Который час?

— Начало четвертого.

— Молчит Россия!.. Может, ее занесло снегом по самые колокольни?

— Просто спит. Нароботалась.

— Или затаилась и что-нибудь замышляет против западной цивилизации?

— А я понимаю этого профессора. Представь, что кто-нибудь там тоже, вроде нас, шарит по эфиру. Европа не спит, веселится. А Россия молчит. Это, должно быть, очень неприятно... Даже жутковато. Любые сравнения придут в голову.. Помнится, вот так же на фронте. Ночь. Окопы. Их и наши. Они выбрасывают в небо ракеты, шарят по передовой прожекторами, постреливают из пулеметов. А мы не отвечаем. Занимаемся своим делом. И эта тишина в наших окопах больше всего их пугала и лихорадила.

Кирилл снова повернул настройку. Индикатор замигал, закачался. За его стеклом всполошились потревоженные певцы. И вдруг неожиданно:

«Евдокия, ты, что ли?»

Голос грубоватый, окающий, невесть как оказавшийся в самой гуще изысканных шоколадных контраalto.

«Это я, Федор! Федор, говорю! Ты что, не слышишь?..»

Прохотали джазы. В голос говорившего все время вплетался какой-то тенор. Он жужжал вокруг Федора, будто слепень.

«Ала-бам-ба! Ала-бам-ба! Ала-бам-ба!»

«Взял я у прораба выходной!» — кричал простуженный голос.

«Уила-бам-ба! Уила-бам-ба!»

«Выходной! Один день! До переговорной далеко добираться. Я сейчас в поселке не работаю. Линию тянем. Высоковольтную передачу! Ну вот, отпросился и приехал переговорить с тобой...»

«Ты бы приезжала, а? Евдокия! Я тебе работу подыскал. По твоей специальности. Обещали недельку никого не брать на это место... Я серьезно... Что? Не слышу, говорю! Дежурная! Уйми ты эту музыку!»

«Какую работу? Огородник нам требуется... Ну чего ты? Заладила! Тундра, тундра! Слушай, я тебе растолкую. Мы построили электростанцию. Горячей воды до черта! Рядом поставили теплицы. Полторы тысячи квадратных метров. Подвели к ним горячую воду. Будут сажать огурцы, морковку всякую там... Для столовки. Ну и нужен огородник. Так что тебе это подойдет.»

— Кирилл, настрой получше. Этот алабамба прилип как баный лист...

«...Нет, не дали. Пока в бараке. Так опять же из-за тебя. Семейных уже всех переселили в новые дома. А я ни то ни сё. Дадут, а как же! В профкоме так и сказали: «Пожалуйста, хоть завтра. Как жинка придет, так и дадим». А квартиры хорошие. Я был у ребят, видел. Все у них по-людски. Даже в барак идти не хотелось... Приезжай, а? Евдокия?»

Тенор все еще продолжал пританцовывать вокруг Федора, но мы его теперь не слышали. Мы ловили голос из далекого Заполярья, который волновал чем-то своим, нашенским. И виделся нам этот Федор — угловатый, неловкий, с обожженным ветрами лицом, в собачьей шапке и в расстегнутом на груди ватнике. Корявые, с обломанными ногтями пальцы заграбастали телефонную трубку. Он жарко кричал в нее, чертыхался и отмахивался от наседавших теноров.

«Так чего там старое вспоминать? Пора и забывать про это. Как там Вовка?.. С тобой на переговорной? Дай-ка ему трубочку. А сама пока подумай...»

«Вовка, сынок! Это я! Хочешь к палке? Я тебе лыжи сделал. На оленьей шкуре. Настоящие. И ружье у меня есть. Вот скоро весна будет. Мы с тобой на охоту пойдем. Гагарок бить. Тут всякой птицы — пропасть! Палку брось и попадешь. Приезжай, сынок! Посмотришь северное сияние. Не знаешь, что такое? Ну это... В общем, приезжай, увидишь... Красота! Ты чего шепелявишь? Зубы выскочили? Это не беда! Вырастут. В школу ходишь? Молодец. Учись хорошо! А у нас тоже школу открыли. Тут мальчишек много живет. Эвенчата тоже учатся. Кто такие эвенчата? Это здешние. Они всегда тут живут, в тундре. А еще я тебя на аэросанях покатаю. Поедешь со мной на линию? Я и сюда, на почту, на аэросанях приехал. Вот они, под окном стоят. Так что ты зови мамку и приезжай!»

«Кончайте, время истекло».

«Кончаем, кончаем... Так как же, Евдокия? Место ждать не будет. Потом опять пороги придется обивать. Я и так ходил-ходил, уламывал начальство. Распродавайся и приезжай... Или секреты какие завелись? Если что — скажи прямо! Насильно мил не будешь. Ты меня знаешь: упрашивать не люблю. Слышишь. Дусь?.. Дуся?.. Евдокия!..»

Разговор оборвался. Слышался только джаз, однообразно отбивавший ритм. И была странна и нелепа эта музыка рядом с тем именем, которое только что произносил далекий и неведомый Федор — русский человек. Это имя еще витало в нашей сторожке, оно слышалось в неумолчном завывании вьюги, в порывистых ударах ветра в заснеженное окно: «Дуся!.. Евдокия!..»

Джаз продолжал наигрывать. Кирилл пытался очистить диапазон, но снова наплыла какая-то музыка, смешанная со словами телеграфистки:

«Кто вызывал Усть-Таганское? Пройдите во вторую кабину. Таганское! Таганское! Ответьте абоненту!»

«Здравствуй, родной! Наконец-то! Как я рада! Ну как ты?.. Все хорошо?.. Я тебя совсем плохо слышу. Здесь все время мешают... Какая-то дурацкая музыка... Еще два месяца? Так долго! Но вы хоть что-нибудь сделали? Три скважины?.. Ну, я очень рада! И за тебя, родной, и за твоих товарищей. Берегите друг друга. Мы все вас очень ждем!»

«Получили? Там тебе — теплый свитер и шарфик... Ничего, ничего! Пригодятся. Какая у вас погода?.. У нас тоже все эти дни метет. Пока добежала до переговорной, всю залепило».

«Новости?.. Особого ничего. Андрюша Воронков тоже уехал... Я, правда, не знаю. Верочка говорила: как будто на Печору.. Какие-то геодезические работы. Она тоже собирается к нему. Я ей очень завидую... Володя? Что-то не пишет. Он сейчас в Туркмении. В общем, никого из твоих друзей не осталось...»

«...Телеграмму получили... Спасибо, родной... Ребята здоровы, растут... Ты их теперь не узнаешь. Такие чубы отросли! Белые, курчавые. Надо свести в парикмахерскую... Нет, нет. Рано им еще с чубами. Фотокарточку? Сейчас нельзя... Нельзя, говорю, Сашок ходит с шишкой. Упал с санок. Пусть с синяком?»

— Кирилл, прибавь громкость.

— Ничего не поделаешь. Батарей сдают.

«На день рождения малышей у нас были гости... Нет, никого не звала... Одни наши и соседи... Наслушалась комплиментов. Даже уши горели. Все говорят, что хорошо выгляжу! Вот! Понял? Я бы тебе понравилась... Я сидела с гостями и вдруг ясно представила тебя дома, на твоём любимом месте за столом. Наверно, я забавно выглядела, когда размечталась. Все так переглянулись!»

«Я совсем не даю тебе говорить. Это потому, что я очень тебе рада!.. Спасибо, милый! Я тоже...»

«...Эти дни я так тревожилась... Я видела страшный сон... Ну чего ты смеешься?.. Никакой мистики... Просто немножко прихворнула... Так, пустяки... Ну, говорю тебе — ничего особенного... Маленькая температура. Больничный? Не беспокойся... Ну подожди... Дай... Дай рассказать... Лежу на своём кресле, дремлю, слушаю сквозь сон музыку. Исполнялись норвежские танцы. Мои любимые мысли о тебе, твои письма, «Харлинг» — все смешалось... Ты меня слышишь?»

«И вижу — идешь ты по лесу. С непокрытой головой. В лесу — туман. И все-все заросло мхом... И стволы и ветви... Вместо хвои тоже свисает мох. И клочья тумана. Ты идешь, а под ногами снег так и тает. И рождаются ручьи. Чем дальше, тем сильнее ручьи. Они бегут по твоим следам между сосен. И сливаются в один поток. А ты все идешь. И я тебя уже не вижу в тумане. Только слышны шаги и вода. И она смывает твои следы. Я очнулась и долго не спала. И вот сегодня побежала на переговорную».

«Фантазерка? Это не я! Это — Григ. И моя любовь... Неудобно говорить по радио, но я очень скучаю. Очень, очень... Понимаешь? Скорей бы лето! Мы уедем на юг. Правда?.. Не надо никаких путевок... Лучше куда-нибудь на пустынный берег. Чтобы только ты и я, море и солнце. Будем целыми днями валяться на берегу.. Ага!.. Обязательно!.. Полную корзинку.. Мы ее поставим прямо в воду. Чтобы волны в нее плескались... И гроздь будут холодные и в каплях морской воды... А еще...»

Кирилл все время прибавлял громкость. Но батареи садились на глазах. Голос женщины, и без того забиваемый джазами, все слабел и слабел и вдруг совсем истаял... Зеленый глазок потускнел и погас.

Упершись вытянутыми руками в край стола, Кирилл долго и молча глядел на потухший индикатор.

В бревенчатую стену сторожки шквалисто секла метель. Было слышно, как уныло звякало ведро конца цепи на журавле.

— Обидится старик.

— Я пришлю ему целый ящик новых. За Федора и за Грига...

Кирилл надел полушубок и пошел звать собаку.

Заливай вкатился в избушку седой от пороши. Стуча когтями, он обежал комнату, лизнул мне руку, потом, широко расставив все четыре лапы, затряс вислоухой головой, разбрызгивая снег. Снег зашипел на печке. Избушка наполнилась запахом зимы и мокрой собачьей шерсти.

— Где ты шлялся, Заливайка?

Заливай вскинулся, положил передние лапы на грудь Кирилла. Кирилл сгреб собаку в охапку, и они повалились на пол, барахтаясь и разбрасывая клочья сена.

— Покусайся мне! Черта с два! Понял? Понял! Дурак ты вислоухий! — хохотал он, с трудом удерживая в объятиях могучего гончака. — Дудки!

Сторожка наполнилась звонким, как хлопки ладоней, радостным лаем, от которого испуганно вскидывалось пламя в керосиновой лампе.

Смотри и радуйся...

Миниатюры



ДОРОГА К КНИГЕ

Писать книгу — все равно что отправляться в дальнюю дорогу. Будут и непроходимо вязкие места, сокрытые туманом неясностей и сомнений. Придется буксовать в непролазных фразах, блудить в сюжетной чащобе. Встанут на пути и крутые, неподатливые взгорья, на которые поначалу нерасчетливо, по-мальчишески захочется взбежать единым духом, но вскоре выбьешься из сил и остановишься с отчаянной мыслью все бросить... Но встречаются и такие отрадные места, похожие на степные просторы, когда шагать привольно и радостно и заранее видно, куда идти.

И все же самые счастливые минуты те, когда из последних сил взойдешь-таки на гору и поставишь последнюю точку, как знамя победы...

ТВОРЧЕСТВО

Истинный писатель, что олень-пантач: в период творчества сбрасывает рога прежних достижений, которыми красовался среди своих собратьев, забивается в угол, в самую крепь своего бытия, становится жалким и беспомощным перед чистым листом бумаги. И пока в затворничестве пишет книгу, у него нарастают панты содеянного — еще болезненные, не затвердевшие, не опробованные жизнью.

ГЛАВНЫЙ ЛАКМУС

Когда надо конкретно ответить на вопрос: «Состоялся или не состоялся писатель?» — лично я прибегаю к следующему критерию, который, кстати, никогда не подводил. Для меня важно в первую

В самом деле, когда экзаменуют молодого певца, то прежде всего слушают его голос, его исполнительские возможности, а не репертуар. Репертуар — дело наживное...

Разумеется, идейное содержание творчества, его общественная полезность не могут быть сброшены с чаши весов. Это очевидно. И все же — как написана книга — вот главный лакмус! Ибо «о чем» — исправить еще возможно, а вот «как» — это уже пожизненно. Именно от этого качества и зависит — быть или не быть...

«О чем», но без «как» — та щель, через которую всегда старается проскочить бойкая амбициозная конъюнктура, бескрылая серость.

НАЧАЛО ГЛАВЫ

Никогда не писал многоглавых романов.

Мне кажется, что начинать новую главу — все равно что предпринять десантную операцию, свершить бросок на ту сторону неведомого... Сначала хотя бы только мыслью зацепиться за чистый лист бумаги, вчерне, наспех обозначить замысел. А ухватившись, начать окапываться, углублять сюжетные траншеи, налаживать связь с прежде написанным в ожидании главных слов и мыслей.

О ПОЭЗИИ

Настоящая поэзия мне всегда представлялась... хорошо прожаренным ржаным сухарем. И пусть вас не пугает это сравнение. В отличие от сырой буханки хлеба, из него выпарено все лишнее, оставлено лишь сухое концентрированное вещество. Да, о сухарь иногда ломают зубы и дерут рот. Но какая же это поэзия, которую, как размазню, заглатывают, не жуя! Зато не забыть аромата, когда разжуеть кусочек! И дымом, и домом, и полем, и Русью, и вольной волей повеет от каждой его крошки. И ты изумлен: из чего?

Вообще-то многие пытаются разгадать это «из чего?». Из чего рождается поэзия? Откуда в ней этот непостижимый аромат «и дома, и дыма»? И не только разгадать, но и вожаденно проникнуть в ее горячий цех. Иные даже умудряются заручиться контрамарками в виде членских билетов, которыми удостоверяется поэтическая личность. Но, увы, справка, даже с печатью — это еще не подлинное свидетельство. И нет такого учебного заведения, где бы научили, как это делается. Как подделываться — этому еще научиться можно. Но подобная дипломированная мимикрия сразу же линяет, как только она оказывается перед лицом чита-

теля. Мудрая природа искусства избегает опасного перенаселения, которое ведет к пресыщению и девальвации и самого искусства. Один из моих друзей заметил, что если бы все небо было сплошь усыпано звездами, то мы не увидели бы самих звезд. Истинный талант редок и будет редкостью вовеки, и потому он имеет значимость всенародной ценности.

Лес велик, бессчетно в нем деревьев, кустарников и всяких цветов и трав. Каждое из этих растений по-своему прекрасно и полезно. Но в том-то и дело, что их много, потому они своим сообществом и составляют лес. А вот женьшень в этом лесу может оказаться всего один корешок. Или вовсе не оказаться. Видимо, и здесь, в лесу, природа позаботилась о том, чтобы избежать пресыщения, не дать каждому лопуху мнить себя корнем жизни.

КУРСКИЕ ХОЛМЫ

Курская земля... В здешних местах великая русская равнина вдруг начинает холмиться, дыбиться косогорами, откуда радостно и далеко видать окрест.

В глубокой древности эту гряду высот так и не смог одолеть ледник, надвигавшийся из Скандинавии.

Непреодолимой она оказалась и для врага, когда летом сорок третьего, грозя нашей Родине новым оледенением, гитлеровские полчища ринулись в решающее наступление.

Путь фашистскому леднику преградили не только курские взгорья, но и непоколебимые высоты духа защитников этих рубежей.

ИЮНЬ

Июнь — первый летний месяц с юным названием. «Как бы резвяся и играя», молодецки погромыживает он тютчевскими раскатами с внезапными набегами коротких теплых ливней, от которых вовсе не хочется прятаться, а неудержимо тянет разуться и пошлепать босиком по пахнущей дождем дымящейся дороге.

По обе стороны большака разворачиваются неоглядные дали — не просто убегающая к горизонту докучливая ровнота, а размашистая череда холмов: вверх-вниз, вверх-вниз, будто глубокие взволнованные вздохи, словно бы дышала земля и не могла надышаться под благодатным, мирным июньским небом. Где-то, в затридевятьземельной дали, у самого края, уже невнятно синяющие взгорья как бы и сами начинают отрываться от земной

тверди, обращаясь в призрачное скопище облаков. И, сколько видит глаз, все вокруг одето молодой ликующей зеленью: с легкой сивцой зеленеют озимые хлеба, уже пробующие гнать первые ветровые волны; зеленым половодьем растекается по балкам и яружным склонам шалфейно-ромашковое разнотравье, и особенно весело и зелено — зеленее хлебов и трав — лепечет и полощется по межхлебным холмам и овражным овершьям молодой, тонконогий осинник.

И вместе с медвяными волнами зацветающего подмаренника, как сон, как сладкая обволакивающая дрема, бархатно и усыпляюще доносится кукушкино кукование...

Здесь бились за каждый метр, за каждую рытвину. Сколько братских могил на этих холмах!..

ВETERАН

В канун Дня Победы Петр Иванович Костюков, житель хутора Брусы, получил из района повестку с предписанием явиться тогда-то к таким-то ноль-ноль на предмет получения воинской награды.

— Это которая-то будет? — повертел бумажку Петр Иванович. — Сёмая, не то восьмая? Уж и со счету сбился...

— А тебе чего? — разумно рассудила почтарка Пашута, одной ногой подпиравшая велосипед у калитки.

— Уж и пиджак на перекосяк пошел: пуговицы с петлями не стали сходиться... — мучался смущением Петр Иванович. — Я ить только под Старой Руссой и повоевал. А они все вручают и вручают... Вон Герасим, тот до самого Берлина дошел, на ристаге расписался, на него и вешали б...

— Поезжай, поезжай, — подбодрила Пашута.

— Ну, разве что последнюю... Закрою ряд да и баста... На больше меня не хватит: подходит край...

И вот завтра на рассвете ветеран натянет свои остро пахнущие дегтем стародавние солдатские сапоги, хранимые для сих вот случаев, пройдет в них туда-сюда, привыкая и примериваясь к неблизкой ходьбе, потом, поплескавшись под рукомойником-чуруканом, обрядится в летнюю комсоставскую рубаху в четких квадратах лёжки, привезенную племянником аж из самой Москвы, разберет на две стороны остатки своего русокудрия: поменьше — на правый висок, побольше — на проступившее темечко, непослушный пробор смочит с руки чайной заваркой и, оглядев себя в зеркало — обстриженный женой и намытый в бане, подведет некий итог: «Не сказать, что герой, но уже и не лешай...»

И лишь перед самым выходом торжественно и бережно наденет извлеченный из шифоньера, всегда готовый, отутюженный наградной пиджак, ожидавший его на лосевом роге, снимет с меда-

лей целлофановые обертки от сигарет, энергично, до звяка воссиявшей бронзы, одернет его полы и на всю дорогу построжает лицом, помеченным над правой бровью багровым шрамом....

ДАЧА

Мой приятель иногда зовет к себе на дачу. Ну поехал... Стоит какой-то сплюснутый с боков домик под крышей топориком, растут, мешая друг другу, яблоньки, что-то там под ними посажено, что-то вьется кверху, лезет на забор из возделанной тесноты. Все это радует хозяина, и я его понимаю. Но только умом. А душе моей скучно в этой огороженной вольере, среди таких же изгородей и домушек справа и слева, спереди и сзади.

По мне, лучшая дача — это вольная воля, от горизонта до горизонта, где нет ни изгородей, ни калиток.

ЗЕЛЕНый ШУМ

Слышу майский ветер. Он совсем не такой, как в недавнем апреле, марте, феврале... Тогда при усилении ветра появлялся по свист голых ветвей. Теперь же слышится добродушный лепет молодой листвы. Ветер как бы вязнет в кронах майских деревьев, и получается «зеленый шум».

СМОТРИ И РАДУЙСЯ...

В конце апреля в еще голым, сквозном лесу, на возвышенных прогреваемых местах сквозь жесткую подстилку пробивается сон-трава. На нежных опущенных стеблях, как бы еще не окрепших от перворождения, поникше дремлют крупные сине-фиолетовые цветы. Об эту пору растеньице еще без единого листочка: просто стебель и на нем — цветок. Сон-трава так и зимовала под снегом, под опавшими древесными листьями, с уже готовым бутонем, с тем, чтобы, пока вокруг еще нет ни одной травинки, первой пробиться к солнцу, поскорее развернуть бутон и понежиться, подремать в ласковых вещных лучах. Ничего подобного этой яркой, праздничной сини нет во всем пока еще не прибранном, буро-жухлом лесу, и потому так радостно изумишься, когда еще издали, за много шагов, увидишь это диво весны.

Рвать цветок нельзя. Он и сам по себе трепетно-нежный, неприкасаемый и даже под бодрящим апрельским солнцем не в силах приподнять дремотно опущенной головы. Если же его сорвать, то он тут же безвольно поникнет и уснет навсегда... Оттого и назван так — сон-трава.

Но вот все-таки рвут многочисленные посетители вешнего леса! Рвут и вскоре бросают. Бросают из-за этой нежной неприкасаемости растения, а стало быть, из-за его бесполезности и ненужности. Бывает, в воскресный день все лесные тропки, ведущие к электричке, усыпаны завядшими и растоптанными цветами.

А ведь с меркантильной меркой (полезное — бесполезное) мы относимся не только к природе. Это потребительство ныне распространилось и на общение с человеком. Прежде всего прикидывают: что от этого можно иметь? Нужный человек или ненужный? Можно извлечь из него что-либо для карьеры, «для дома, для семьи»? Или хотя бы для гаража?..

Больше того, так стали выбирать себе жениха или невесту...

Рвут и вскоре бросают. Рвут и бросают...

А ведь еще бабушка моя говаривала: смотри, радуйся и не тащи в рот...

ВЕСНА

Я, как врач, каждое утро ставлю градусник весне. Вот уже и апрель, а перелома все нет. Ртутный столб замер сразу же за нулевой чертой и за всю неделю не поднялся ни на одно деление.

Трудные роды у нынешней весны!..

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

Вокруг тополей, голых и неуютных, похожих на огромные исшорканные метлы, воткнутые рукоятками в сугробы, носятся грачи. Они гоняются друг за другом, будто играют в пятнашки и совсем по-ребячьи горланят: «Чур не я! Чур не я!»

Под тополями, по уже просыхающему тротуару, проходит некто в шляпе. Что-то гулко шлепнуло ему в самую маковку. Некто втянул голову в воротник и, заметив в прокуренных усах дворника смехок, смущенно преодолевая досаду, сказал:

— А грачи, тово, прилетели!

— Еще позавчерасы! — с готовностью отозвался дворник. — Вышел я утречком тротуар мечь, а он уже весь прутьями замусорен. Насорили, окаянные. Пнезда, стало быть, ладят. А шляпа ничего, отчистится...

СКАЗ О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

Еще у калитки изба повеяла житным теплом, как бывало на большие праздники. В кухне уже было прибрано, печное устье за-

дернуто занавеской, а на столе, под волглой дерюжкой отдыхали выставленные хлебы.

В детстве я всегда старался не пропустить этого радостного момента. Мать время от времени подходила к таинственно-молчаливой печи, в черной, выметенной утробе которой совершалось нечто необыкновенное, томительно долгое, приоткрывала на пол-устья жестяную заслонку и легкой осиновой лопатой поддевала ближайшую ковригу, разрумняившуюся, глянцево мерцавшую округлой коркой. Она брала хлебину в руки, от жаркости подбрасывала ее, тетешкала, перекладывала с ладони на ладонь, после чего, дав поостыть маленько, подносила к лицу и, будто кланяясь хлебу, осторожно прикасалась к темному жаристому верху кончиком носа. Невольно прослезясь, мать тотчас отдергивала лицо, и это означало, что хлеб еще не в поре, полон внутреннего сырого жара и надо снова отсылать его в печь. Мать сначала робко, а потом все смелее прижималась к ковриге носом, наконец и вовсе расплющивала его, терпя, не уступая внутреннему ржаному пылу. В такую минуту лицо ее радостно расцветало, и она, то ли самой себе, то ли всему дому, объявляла: «Слава тебе...» С легким шуршанием хлебы один за другим слетали с лопаты на выскобленную столешницу, и сначала кухня, затем горница и все закоулки в избе начинали полниться теплой житной сытостью, которая потом проливалась в сени, заполняла собой двор и волнами катилась по улице...

ПРАЗДНИК

Матушка моя, Полина Алексеевна, вступила в наш спор о нынешних празднествах:

— Какой же это праздник, если и в буден день рюмка, и в красное число — тож... Праздник копится в ожидании. Бывало, в пост так надеешься, что в Велик день кажется, будто и петух по-другому кукарекает.

О СЧАСТЬЕ

Один мудрец на вопрос, что такое счастье, ответил, что счастье — это быть искренним. Так неожиданно на первый слух! Ведь принято считать, что счастье в труде, в нужности людям.

Но, поразмыслив, приходишь к согласию: и в труде нужно быть искренним, иначе труд станет обузой.

И людям ты нужен лишь тогда, когда искренен с ними.

ВЕЧЕРНИЙ РЕЙС

Уже надвечер самолет взлетел над Быковым и взял курс в нашу южную сторону.

На высоте трех тысяч метров мы снова увидели солнце, которого там, внизу, когда нас провожали на посадку, уже не было. Снова показавшись над горизонтом в полдиска, оно багрово осветило правый борт и залило салон тревожным отсветом. Был как раз тот момент, когда с земли, уже окутанной сумерками, мы, летящие в пустынном вечеряющем небе, кажемся загадочным раскаленным крестиком.

Здесь еще можно было читать без плафонов, и кое-кто зашуршал страницами. Но я никогда не занимал себя чтивом в дороге, особенно в поезде. Для меня самая лучшая, самая интересная книга — за окном.

Мое место оказалось у иллюминатора по левому борту, откуда закатный свет не мешал смотреть вниз. Я рассчитывал взглянуть на осенние, в разгаре золотой поры березовые леса, которые здесь, под Москвой, пока еще не редкость. Даже с такой высоты должны быть видны их пространные огненные разливы с прожилками дорог, просек и лесных речек. Но под крылом уже надвинулась легкая, кисейная синева, постепенно густеющая к востоку, где небо, готовясь к ночи, обрело свою отрешенную аспидность. Там, под его мерклым покровом, уже зажглись первые огни и пунктирно обозначились невидимые дороги бегущим светом автомобильных фар.

Минут через пятнадцать полета впереди по курсу в загадочной сини земли молнией взблеснула река. По широким, плавным извилам, свойственным большим рекам, я узнал Оку. И сразу же отвесно внизу начал ртутно поблескивать, суетливо петлять левый ее приток — Нара. То, что это на самом деле была Нара, подтвердилось знакомым скоплением огней вблизи ее устья.

— Уже Серпухов, — сказал я тучному соседу, перекатывавшему во рту взлетную карамельку.

— Ну?! Не может быть! — Сосед взглянул на часы. — Мы же только что взлетели.

— И все-таки Серпухов, — настаивал я. Уж что-что, а Серпухов-то ни с чем не мог спутать: в сорок пятом я полгода провалялся в одном из его госпиталей. Да и что там путать: где Ока и Нара, там и Серпухов.

— Если это уже Серпухов, — возразила женщина позади меня, — то что же тогда вон то?.. Видите, впереди?

Действительно, мы еще не потеряли из виду первое скопление огней, как впереди, сначала неясным желтоватым заревом, а потом и бисерной россыпью обозначился другой город.

— Тогда что это, по-вашему?

— Надо думать, это Таруса.

Салон оживился. Сидевшие по борту припали к иллюминаторам. Все оживленно заговорили, зашпорили. Уж слишком невероятной казалась такая сиюминутная близость городов.

В конце концов вызвали бортпроводницу. Та выслушала суть разногласий, улыбнулась и отправилась к пилотам. Но пока она там выясняла, а пробыла она в пилотской не более двух-трех минут, самолет уже летел над вторым светящимся очагом.

— Да, товарищи, — объявила она. — Пять минут назад мы пролетели над Серпуховом. Сейчас под нами Таруса. А впереди уже виден Алексин. Только, пожалуйста, не вставать, всем сидеть на местах.

— Да, правда, впереди опять виден город, — как-то потерянно удивилась женщина за моей спиной. — Какая все-таки маленькая наша Земля... Даже не по себе как-то...

Я забыл сказать, что возвращался с большого форума в защиту мира. Там тоже было сказано о малости и беззащитности нашей планеты. Когда об этом говорят сразу столько авторитетов на многих языках, на душе становится неуютно и тревожно от приведенных цифр и фактов. Но даже тогда так остро и зримо не почувствовал этой малости, как сейчас, когда видел под собой почти сразу три русских города. Живя там, внизу, привычно пользуясь земными мерками, преодолевая земные версты, порой такие трудные и обессиливающие, мы с самого детства обманываемся огромностью нашей обители, ее туманными далями и расстояниями. А она, оказывается, так мала, и все ее километры так преодолимы!

И в наполнившемся сумерками салоне надолго воцаряется сдержанное безмолвие.

МАГИЯ ВЕЛИЧИЯ

Не могу читать Толстого в метро, троллейбусе, трамвае... «Золотого тельца» — могу, а, скажем, «Кавказского пленника» не отважусь. Толстой требует для этого особых условий: и даже не из-за сложности текста, образов, а из-за благоговения к его слову, из-за неповторимого веяния со страниц его книг того очарования, что создает в нашей душе праздник.

Предаваться же этому чувству, праздновать душой походя — грешно и кощунственно.

БАГЕТ

Готовилась какая-то тематическая выставка. Выставком оповестил художников, чтобы представили свои работы для предварительного отбора.

Один мой знакомый, застигнутый врасплох этим мероприятием, принялся чесать затылок, мол, нет ничего подходящего. А все, что есть, уже много раз выставлялось. Думал-думал, наконец раскопал в ворохе старых этюдов какой-то давно набросанный неказистый мотивчик, срочно стал переписывать заново.

— Ну как? — спросил он, ревниво следя за моими глазами.

На мой взгляд, работа не получилась, даже оказалась хуже, чем была на старом этюде, и я прямо сказал ему об этом.

Тогда он напиллил массивного, в ладонь шириной багета с замысловатой лепниной, с чернением под именитую старину и обложил им свою неудавшуюся картинку.

— А теперь?

Он смотрел на меня с надеждой, а мне подумалось, что и у нас, в литературе, иной раз тусклые, невыразительные творения вот так же обкладывают именитым багетом из всяких званий и чинов.

Часто по прошествии лет в памяти остается одна только золоченая рама...

СИЛА ПРИВЫЧКИ

Долгие годы не знал, не ведал черной икры. И вот один волжский знакомый прислал по случаю баночку. Но я ее так и не открыл, а только повертел в руках, поглядел наклейку. А потом она куда-то задевалась, видно, нашлись любители. Так вот и со словарями у меня: долгие годы не заводил никаких словарей, не имел к ним вкуса. А когда однажды преподнесли Даля, то он, вроде той икры, и по сей день лежит без надобности. Не привык я роскошествовать даже в письме, обхожусь тем словарем, что сам нажил. И хотя понимаю, что теперь и не грех бы иной раз на досуге полистать Даля, так просто, — для интереса, для удовольствия, как прочитывают стихи, но не привык как-то... Все надо делать в свое время, пока не окостенели привычки.

НЕ СОТВОРИ КУМИРА

Была просто глина — по ней ходили, ездили, в ненастье ругали, когда она цеплялась за сапоги и колеса. Но чаще не замечали вовсе. Глина существовала так, как если бы не занимала никакого пространства, поскольку она тоже была самой природой.

Но вот из нее вылепили бюст, и бывшая глина потребовала не только места, но и почтительного расстояния около себя. Теперь все ходят вокруг в мягких тапочках и говорят шепотом.

НОВАЯ ПОРОДА

В Аскании-Нова вывели новую породу скота: помесь зубра с обыкновенной коровой. Достижение в том, что гибрид обходится подножным кормом и имеет густой шерстяной покров.

Практический же подтекст таков: не надо кормить и затыкать дыры в коровнике.

ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Идущему по земле видны во всех подробностях мелочи дороги: песчинки, камешки, снующие муравьи, травинки у обочины.

Вознесшемуся же в небо хотя и видно масштабно, далеко и широко, но все под ним затуманено высотной дымкой.

Парящий не видит идущего, и все подробности земного бытия обратились для него в абстракцию.

НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Человека в известной мере можно сравнить с воздушным шаром: к концу пути, когда слабеет полетная сила, приходится выбрасывать из перегруженной гондолы даже самое сокровенное, например, привычку выпить, покурить с другом. Жалко, но что поделаешь: хочется еще хоть как-то протянуть, продлить полет и не так круто грохнуться о землю.

ДОЛГАЯ НОЧЬ В ОКТЯБРЕ

Отправляясь спать, потрогал отопительную батарею: никаких перемен, чугун мертв и, день ото дня холодея, сам поглощает последние градусы тепла.

А на дворе — октябрь. Все больше цепенеет земля, стынют стены домов, и порой слышно, как хрустит ледок под ногами ночного прохожего.

Озябшее воображение уже рисует алокалипсический час, когда можно будет распахнуть окна, ибо по обе стороны стены — изнутри и снаружи — станет одинаково люто.

Так повторяется почти каждую осень. Именно об эту пору вспоминают про отопительную систему, и тогда в этом огромном подземном вентиляционном тромбоне начинает что-то утробно булькать, сопеть, истекать гемоглобиново-ржавой жижей, железно изнуряюще греметь гаечными «попугаями».

Натянув трико, сверх того — шерстяной свитер с нагрудными пингвинами, нерешительно мешкаю перед трехслойным ворохом одеял. Надо в самом деле иметь мужество, чтобы нырнуть под их толщу, где такая же холодрыга, как и в антарктическом сугробе. Наверно, немало теряешь в весе, пока прогреешь эту берлогу и наконец-то продрогло замрешь в ненадежном сне.

Просыпаюсь в предутренней тиши от подсознательного чувства чьего-то присутствия. Чудится, будто кто-то мягкий, теплый, едва весомый устроился на моих одеялах, сообщив и мне уют и расслабляющее тепло. Кому же еще быть: ну конечно, это — хитрован Тихоня, подумал я о котенке, который месяц назад прибил к нашему порогу и уже имел обыкновение запрыгнуть на постель и, осторожно переставляя белые мягонькие тампоники лапок, пробираться ко мне под бок, а то и свернуться калачиком на моей груди, если я, как сейчас, отогревшись, позволял себе простереться навзничь.

Видимо, я позабыл запереться на задвижку, без которой в двери оставался небольшой просвет, и Тихон, просунув в щель лапу, последующими стараниями открыл трудную для него дверь до необходимой гостеприимности. Я не хотел, чтобы эти, в общем-то приятные, ночные выражения привязанности ко мне Тихони сделались бы его стойкой привычкой, особенно когда он через несколько месяцев, став солидным усатым Тихоном, обретет развязную бесцеремонность полного хозяина тахты, а потому, подавив умиление, высвободил руку, чтобы снять с себя незваного гостя. Но Тихона на постели не оказалось...

Однако странное чувство постороннего присутствия так и не покинуло меня. Я всем своим существом ощущал, что кто-то незримый и бездыханный все же объявился в этих четырех стенах. Но кто?

Охота поспать еще часок-другой сама собой прошла, и я, не включая света, лежал в глухой замшевой темноте своего жилья, где слабой синью проступало единственное окно, стекла которого слегка мерцали от боковых лучей невидимого мне дворового фонаря.

И тут новая бесовщинка. На фоне темного окна, как раз там, где сходятся створки, а к шпингалету приторочен горшочек с традесканцией, в ее обникших локонах отчетливо засветился золотистый огонек, как если бы некто, спрятавшись в зарослях, нечаянно пыхнул сигаретой. Вспышка тотчас погасла, но по прошествии четверти или даже полуминуты «сигарета» вспылала вновь, но чуть выше и не-

сколько правее. Потом вернулась прежняя темь, и традесканция снова растворилась в глубокой синеве окна.

Однако по прошествии той же четверти или полуминуты все повторилось: кто-то снова курнул в листве, и следом еще пыхнуло чуть выше и правее... Потом вернулась прежняя темь, и традесканция снова растворилась в глубокой синеве окна.

От всего этого я приподнялся и кулаком подпихнул подушку, чтобы не приливало в голову. Понаблюдав за перемигиванием и не найдя подходящих объяснений, я успокоил себя своим старым и надежным правилом, что если не суетиться, не впадать в мистическую панику и не покрываться испариной, то постепенно все разрешится и обретет трезвую ясность. Именно на этом стоит и развивается миропонимание. И действительно, как только я осенил себя этой истиной, так тотчас и вспомнил, что на том месте, где вспыхивают огоньки, как раз на уровне традесканции, висит на нитке «крокодильчик», которым обычно прищепляют занавески, я же в недавнее летнее время, в знойные дни, когда солнце нещадно било в окно, прикусывал этим зубастым устройством плотный лист бандерольной бумаги и передвигал его вдоль карниза по мере надобности, создавая затененность на своем столе, на листе писчей бумаги. Он-то, поворачиваясь на нитке своим никелем, и отражал свет дворового фонаря — то выпуклой спинкой, то, спустя некоторое время, бочком, на котором у него имелись округлые ушки для скрепляющей оси. Вот и все! Вот тебе и все «кобиясы»!

Да, но кто же заставил вращаться этого «крокодильчика»? Ведь еще вчера он вел себя смирно, и я даже забыл о его существовании. И только этой ночью он принялся «покуривать» под покровом традесканции...

Я выскользнул из-под одеял, подбежал к батарее и с ликующей догадкой цапнул ее рукой.

Так и есть: затопили!

Так вот, оказывается, какой теплый и пушистый пожаловал ко мне Тихон на рассвете...

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Время... Прихожу в смущение, когда попадается на глаза нехитрый прибор: две стеклянные воронки, заключенные в раму противоположно друг другу, подобно двум «дамам пик», у которых одна общая талия. Никакой другой имитатор хода времени так не жесток и беспощаден по своей сути и наглядности, как эти песочные часы. Неумолимая наглядность в том, что часы эти не кружат стрелками, не бархатно и торжественно звонят, не весело и забавно кукукают, а неудержимо текут. И как раз эта теку-

честь, с которой ничего нельзя поделать, и заставляет содрогнуться... Наглядность еще и в том, что когда из верхней воронки в нижнюю побежала первая струйка, мы спокойны и беспечны, как было с нами в юности, когда часы нашей жизни едва только начали бег. Нам тогда казалось, что песку в нашей жизненной колбе еще несчетная уйма. Но по мере отсчета лет песчаный горизонт в стекляшке начинает понижаться все быстрее, и вот тут-то в душу закрадываются смута и тревожная оторопь...

В ожидании праздника

Стихотворения



СЧАСТЬЕ

Привиделось: зовут, зовут меня,
А я никак не затеплю огня...
А за окном стояла непогода
И ветер вторил скорбному сычу.
А я, прижатый теменью у входа,
Ломая спички, разжигал свечу.
— Ну что же ты? Иди! Я недалече!
Ступай смелей! — мне голос из ночи.
Но я все медлил вышагнуть навстречу,
Боясь не донести своей свечи...
Сквозь стон дерев, ветвей костлявых муки
Ловил я голос, звавший горячо,
И чувствовал, как обжигает руки
Сбежавший воск растопленным ручьем...
Так я стоял, согбенный, у порога,
Все ждал безветрия, не чувствуя ожога.
И в затишке руки, истлев дотла,
Свеча моя покорно умерла...
И голос тот затих, и занялись зарницы,
И высветилось месяца ребро.
А утром там какой-то дивной птицы
Я подобрал сроненное перо...

• • •

Год коня!..
Эх, дайте мне поводья!
Грива-вьюга, снег из-под копыт...
Пронесусь я звездным поводомъем
По Руси, которая не спит.
Млеют огоньки среди сугробов,
Колокольный слышен благовест.
Месяц-ковш, налей вина на пробу.
Угости всех путников окрест.
Окропи коней моих на счастье,
Чтоб впопыхах не потеряли путь.
Эх вы, годы!.. Кони белой масти!
Унесите прочь куда-нибудь...
Иль туда, где за чертой далекой,
В окно морозное дыша,
Свеча мерцает одиноко,
Как без причастия душа...

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Голубо и весело:
Солнце — целый день!
Над оградой свесилась
Майская сирень.
Струи тонкой пряности
В воздухе текут,
Будто где-то пряники
К празднику пекут...

СОНЕТ

Лесная тишина. Лишь дальний крик сорок.
У наших ног пылает костерок.
Снежинки робкие на ворсе теплой шубы.
Ладонки тонкие, простертые к огню,
И детски радуются выглавленному дню
Ее зардевшиеся губы..
Но час придет — и это все пройдет,
И след костра сугробом занесет.
Минувший день отложится преданьем,
И, глядя из окна в заснеженный простор,
На дальнем друг от друга расстоянье
Мы будем вспоминать погасший тот костер...
И буду шепотом неповторимое молить,
Чтобы оно смогло все это повторить...

ЗОВ ВЕСНЫ

Умчались зимние метели,
И снова выси посветлели..
И тянет к дальним берегам,
Где волны ластятся к ногам,
Желтеют вымытые дюны,
И облака чисты и юны,
И где, быть может, у воды
Я отыщу твои следы..

Гармония стиля

Очерки, выступления, интервью



ИДЕТ ПРЕМЬЕРА

Хмурый доселе апрель неожиданно выдал такой денек, что сразу растревожил всю деревню. Воздух наполнился горластым петушиным перекликом. На колхозном дворе заурчали трактора и, словно отогревшись жуки, поползли в разные стороны по влажным проселкам, волоча за собой культиваторы и сеялки. Мимо промчался на своем новеньком вишневом мотоцикле комсорг Анатолий Бабанский с каким-то свертком за отворотом плаща (наверное, «боевые листки» или агитплакаты), что-то крикнул мне и покати́л в поле.

Я вволю находился за тракторами, надышался хмельным воздухом разбуженных полей и когда наконец в условленный час вернулся к сельскому Дому культуры, то с удовольствием присел на прохладное цементное крыльцо.

Виктора Петровича Почечихина, художественного руководителя Дома культуры, еще не было. Игравшие в волейбол ребяташки сообщили, что он пошел побриться перед спектаклем.

— Мы сами его ждем, — сказал белобрысый мальчонка с большой болячкой на верхней губе.

— А зачем он вам?

— Мы на духачей учимся. Только вот трубы в читальне замкнуты. А ключи у Виктора Петровича.

— Это что ж, водянку на губе о трубу набил?

Мальчонка хмыкнул, смущенно заулыбался:

— Не. Это я босиком бегал. Она и высютила. Чепуха. Уже засохла.

Я с любопытством посмотрел на карапуза. В нем было не более пяти четвертей росточку. Но держался он с достоинством, словно был чуть ли не капельмейстером.

— На чем же ты играешь? — допытывался я.

— На альте-секунде. Могу и на контрабасе.

— А ноты знаешь?

— Вот еще! А как же!

— Ну-ка, скажи, где соль стоит?

— Какая — первая или вторая?

— Ну, допустим, первая.

— На второй линейке. — по-армейски отчеканил паренек.

— А вторая?

— Выше пятой основной.

— А как ее играть будешь?

— Открыто.

— Ай да молодчина! Ничего не скажешь! Как же тебя зовут?

— Юрка... Юрий Бобрышов. В пятом учусь. Говорят, если хорошо сыграемся, на фестиваль повезут. В Курск.

— Ребята, Виктор Петрович идет!

Мальчишки с шумом сорвались с крыльца и побежали по улице навстречу худруку. Он шел с узелком в руке, из которого торчали парики и бороды, старая фетровая шляпа и еще какой-то театральный реквизит. Карман пиджака оттопыривала коробка с гримом.

— Сегодня, ребята, мне некогда. Сами знаете, идет премьера, — говорил на ходу Виктор Петрович. — Если хотите, без меня позанимайтесь. Вот вам ключи. Только сначала маленькое поручение. Согласны?

Худрук вырвал из записной книжки листок и написал: «Сегодня, 12 апреля, в 8 часов вечера, в колхозном Доме культуры состоится премьера «Будка № 27». Автор пьесы Иван Франко. Играют колхозные артисты. Товарищи колхозники, приходите на спектакль».

— Вот эту бумажку снесете на радиоузел. Пусть передадут по радио два раза. Не забудете?

— Есть передать два раза!

Юрка схватил записку, и ребята наперегонки помчались на радиоузел.

— Мигни — на небо залезут, — улыбаясь, сказал Виктор Петрович. — Что хочешь сделают, только дай поиграть. Ну, пойдете посмотрим, как приготовили сцену.

Мы прошли светлое просторное фойе. Люстры, картины, написанные колхозными живописцами, шелковые занавеси на широких окнах. На стене против входа — стенд с планами и обязательствами колхоза на предстоящее семилетие.

В зрительном зале — торжественная гулкая тишина и полумрак. Виктор Петрович привычно быстро и легко поднялся на сцену и, потянув шнур, раздвинул занавес. Открылся живописный лесной пейзаж с железнодорожным полотном на переднем плане, полосатым шлагбаумом у переезда и будкой у обочины. Над входом в будку цифры «27». Для сельской сцены это выглядело неожиданно богато, добротно, выразительно, а главное, чувствовалось, что делалось с любовью и подкупающей старательностью.

— Повозились мы над декорациями порядком. Сами понимаете — первый наш спектакль. Столько волнений, споров, хлопот! Хотелось сделать как следует. И потом — от успеха спектакля многое зависит. Заинтересует колхозников — значит, и на следующий

придут охотно. А главное, надо, чтобы к нам из зрительного зала пришли новые артисты. Нас-то, любителей, пока раз-два и обчелся. Признаться, у меня давнишняя мечта — создать колхозный театр. Чтобы выступать не только у себя, но и в других селах, а может быть, и в районных Домах культуры. Но это дело будущего. А пока вот сегодня держим первый экзамен.

До начала спектакля оставалось чуть больше часа. И мы спустились в читальный зал, на время превращенный в комнату актеров. Один за другим стали сходить участники спектакля. Первыми пришли Николай и Нина — сельские медицинские работники. Они выступают в спектакле в роли жениха и невесты, и сегодня весь день не расставались, оттачивая сцену объяснения. Все подшучивали над этим обстоятельством, заставляя обоих краснеть и сердиться.

— Чего доброго, они после спектакля и в загс махнут!

Долго ожидать пришлось только Виктора Бобрышова — отца невесты. Он сегодня работал на тракторе и влетел в читальню в своей рабочей блузе, запыленный, прожаренный солнцем.

— Черт возьми! Забыл начало. Всю дорогу вспоминал. И ничегошеньки. Ни единого слова. Все на тракторе повытрясло. Нет ли у вас воды попить? Может, напьюсь — придет на ум.

Он зачерпнул кружкой из ведра, жадно осушил ее до дна, крякнул и заулыбался:

— Ага, есть. Вспомнил. Давайте сюда парик и бороду.

Начали гримироваться. В двери и окна заглядывали любопытные. Пришлось замкнуться, а окна завесить газетами. Толпясь возле единственного крошечного зеркальца, актеры клеили бороды, раскрашивали носы и щеки, чернили брови. И, глядя на выпачканные лица друг друга, покатывались со смеху. Виктор, браваый механизатор, нахлобучил косматый парик, прикрепил клокастую бороду, напялил на себя железнодорожную спецовку, сгорбился, старчески закашлял и заходил по комнате, шаркая тяжелыми сапогами.

— Вот бы сейчас к себе в бригаду в таком виде заглянуть! — И глаза Виктора засветились задорной лукавинкой.

В дверь гримировочной постучали.

— Кто там еще?.. Сюда нельзя!

— Это я, Торчинская! — отозвались за дверью.

— Пустите. Это Ольга Дмитриевна.

В дверь протиснулась полная пожилая женщина.

— Вы уж меня простите, старую. Не могла утерпеть. Дай, думаю, загляну, как там у них дела движутся. Может, в чем пособить надо? Никак, это Вигька стариком обрядился? Ничего, подходяще. Только на спину надо чего-нибудь подложить. Чтобы сутулость была натуральная. А то на сцене забудешь гнуться — и нехорошо получится. Мы, бывало, если кому хромого играть, так на одном сапоге каблук толще набивали. Хочешь не хочешь — хромай.

Сцена — она требует серьезности. А ты, Зойка, старуху играешь, а в белую кофту обрядилась, как молодка.

— Темной кофты, тетя Оля, не нашлось, — оправдывалась Зоя Ерина, исполнявшая роль жены путевого обходчика.

— Не нашлось! А что ж ты мне не сказала? У меня, кажись, и старинный сарафан есть. Надо было сказать.

Ольга Дмитриевна придирчиво осмотрела всех актеров и, видимо, все же оставшись довольной, уселась рядом со мной на диван.

— Пляжу я на них и молодость свою вспоминаю, — обратилась она ко мне. — Я ведь тоже когда-то играла на сцене. Да. Еще в девятнадцатом году начала. Совсем девчонкой была. Что вытворяли, я вам скажу! Сколько жару было! И до сих пор все роли помню. Все-го Островского переиграли. Теперь, конечно, для самодеятельности все удобства. Дом культуры, оркестр, любую декорацию можно сделать. А раньше ничего этого и в помине не было. Мешка — и того негде было достать. Сажей да синькой красили. Зато нутром брали.

Помню, разыгрался голод на Поволжье. Вызывают меня в волость. Говорят: «Ну-ка, Ольга, проверни. Деньги нужны. Людям помочь надо. Голодают». И проворачивали. Два дня роли зубрили. На третий день — генералка. На четвертый — сумка денег. Сцена, я вам скажу, — дело великое. До самой Отечественной войны не уходила я с нее. Когда немцы сюда пришли, так они меня за эту за активность партизанкой посчитали. Все зубы повыбивали. Вот смотрите. Ни одного не осталось. Я, может, и сейчас бы со сцены не ушла, да уже выговор не тот. Шепелявлю. Изувечили, ироды. А любовь к спектаклям все-таки не отбили. Слышу сегодня по радио — идет премьера. Наши ставят. Побросала свои горшки-черепки, прибегла. Потому как перед этим не могу устоять. Тянет.

За стеной, в зрительном зале, громыхал духовой оркестр. Актеры явно запаздывали, и трубачи старались вовсю, занимая зрителей музыкой. Среди всех прочих медных голосов особенно отчетливо выговаривала альт-секунда. И мне казалось, что это обязательно должна быть Юркина секунда — этого неутомного энтузиаста-трубача. Я представил, как торчит его мокрый взъерошенный чуб из-за пюпитра, как отдуваются его округлые, в конопущках щеки и как въедливо сверлит он глазами нотные строчки.

В переполненном зале раз за разом трижды погасли и зажглись люстры. Духачи сложили трубы и заняли отведенные им привилегированные места. Зал затих, нетерпеливо вглядываясь в чуть вздрагивавший темный занавес на сцене. Я протиснулся в ряды и сел вместе со всеми. Хотелось увидеть, как будут принимать колхозники спектакль.

Наконец под шумные и дружные аплодисменты занавес медленно разошелся по сторонам.

По залу прошел гул удивления, любопытства и какой-то нетерпеливой радости.

Из будки вышел старик-обходчик и лопатой стал поправлять балласт на железнодорожной насыпи.

— Дяди, дверь в будке открывается. И песок загребают взаправду.

— Бабоньки, а чей же тот-то дед? А? Не еринский ли? Где-то я такого видела!

— Тише, тише. Слушайте. Он что-то говорит.

Некоторое время все вслушиваются. Но вот по залу снова прокатывается волна возбуждения. Кто-то по голосу узнал в старике актера.

— Да ведь это же Витька!

— Чей?

— Да прицепщик.

— Дяди-ка! Как взаправдашний дед. И не подумаешь!

Мало-помалу разворачивается действие, и теперь уже не мелочи, а сам ход событий захватывает зал. Видно, что спектакль понятен всем, он волнует, заставляет переживать. Кулак-мироед Прокоп Завада (исполнял худрук), лысый, толстобрюхий, с жирным прыщеватым носом, сватается за молоденькую дочь путевого обходчика Зосю. Прокоп похвально богатством, уговаривает стариков выдать за него дочь. А у Зоси есть любимый — молодой, красивый парубок. Зал в напряжении. Я никогда не видел такого искреннего, негодующего протеста. Каждое слово Завады вызывало возмущенные реплики. Особенно у пожилых колхозников. Все забыли, что старик всего-навсего Витька-прицепщик, и только слышны были вопросы:

— Неужто согласится отец? Неужто поддастся на уговоры?

И когда отец, опутанный льстивыми речами Завады, соглашается выдать за него дочь, зал полнится гулом осуждения.

Но вот неожиданно появляется поруганная Завадой женщина, ставшая нищенкой. Она разоблачает кровопийцу и толкает перепуганного Прокопа под поезд. На сцене гаснет свет, грохочет эшелон — и сквозь грохот слышен предсмертный крик Завады. Справедливость торжествует.

Зрители горячо откликаются на это торжество. Гремят аплодисменты. Многие долго еще сидят на своих местах уже после того, как занавес закрылся.

Спектакль удался. Его смотрели и воспринимали как кусок жизни. И это была победа молодого колхозного драматического коллектива. Я слышал, как обсуждали его тут же по выходе из зала, и потом в хатах колхозников, и на фермах, и в стане трактористов.

Из Дома культуры я шел вместе с Виктором Петровичем. Несмотря на поздний час, в избах светились огни, как в большой праздник. Это люди возвращались со спектакля. Я по голосу чувствовал, что Виктор Петрович возбужден и взволнован удачей.

— А представьте, если бы мы поставили спектакль на современную тему? Лучше встречали бы! Скажем, пьесу Валентина Влади-

мировича Овечкина «Навстречу ветру»? Нет, селу обязательно нужны клубы, нужны спектакли. Очень нужны...

Село постепенно затихало. Только было слышно, как за околицей переливисто рокотал трактор да над головами, где-то под самыми звездами, перекликались журавли. Вслушиваясь в их усталый гомон, я думал о том, как много изменилось на земле, раскинувшейся под их крыльями. Как много на ней появилось нового, хорошего...

1959

РЕМОНТИРОВАЛИ ТЕАТР

Ремонтировали прежнее здание областного театра имени Пушкина.

Замечу между словом, что имя нашего театра хотя и славное, но несколько абстрагированное, поскольку великий Пушкин в Курске никогда не бывал. В Бессарабию его ссылали и везли через Киев, а на Кавказ в те времена ездили через Воронеж. Так что упоминание Пушкина на курских театральные афишах ничего не добавляет к известности и славе Александра Сергеевича. А вот великий Щепкин и родился в Курской губернии, и лицедействовал на курской сцене, а потому имя знаменитого реформатора русского сценического искусства на фронте нашего театра было бы столь же уместно, достойно и патриотично, сколь разумно употреблено имя Волкова на театре в Ярославле. Тем временем неиспользованное должным образом имя нашего земляка сразу же подхватили расторопные соседи — белгородцы и назвали свою сцену в честь Михаила Семеновича Щепкина, да еще, сказывают, заказали бюст знаменитого актера, дабы водрузить его на площади перед театром.

Но это к слову. Касательно же ремонта хотелось бы предварительно упомянуть, что здание театра видно из моего окна: за купами обстриженных тополей — краснокирпичное, аскетического облика строение на манер позднего предреволюционного модерна, издали похоже, по правде сказать, на теплоцентраль, особенно если рядом возвести высокую трубу. О его ремонте я узнал, однако, не по тому, как с грохотом сбрасывали прохудившиеся листы кровельного железа или прогнившие стропила — а в наше строящееся время всегда где-нибудь ухает и грохает, — а по совершенно непредвиденному обстоятельству.

Иду однажды в обеденное время по прилегающему к театру пионерскому парку и вижу бегущего навстречу человека в синей олимпийке.

Вообще-то в парке всегда много бегающих. В урочные часы бегают всем классом ученики из соседней школы, студенты-медики и просто добропорядочные сограждане, большей частью из тех, кто страдает избыточностью собственного «я». Почтенные старцы и те

иногда бодро трусят, шаркают кедами по дорожкам. Один такой седовласый марафонец даже огрузил себя дополнительным весом. Перед тем как отправиться в парк, он сначала наведывался на соседнюю стройку (в то время как раз начинали закладывать девятиэтажку на Блинова, где ныне разместилось цветное телеателье), обертывал газетами два кирпича и, придерживая их под мышками, пускался в пробег, горделиво перехватывая взгляды прохожих: мол, каково? Отбегавши свое, старичок непременно возвращался в сторожевую будку, предупреждал: «Кирпичики я положил на место, спасибо!»

И вот вижу: трусит навстречу еще один марафонец в застиранной олимпийке, почерк бега нетвердый, с явным отклонением от прямой, словом, такое впечатление, будто передвигает ногами из последних сил. Поравнялись, гляжу, а у него деревянный брус на плечах. Этаким увесистый, сантиметров двенадцать в поперечнике и метров восемь в длину. Брус упруго играет, толчками придавливает марафонца к земле, и тот вынужден передвигаться мелкой семенящей скоробежкой на полусогнутых, вроде китайца. Но что совершенно непостижимо — во рту бегуна вопреки всякому здравому рассудку торчит сигарка. Ясное дело, с таким грузом да еще с сигаретой долго не пробежишь...

— Сигарету! Выплюнь сигарету! — подсказываю я сочувственно легкоатлету.

Марафонец мутно, загнанно зыркает в мою сторону из-под низко надвинутой кепки, и до меня долетает глухо и малоразборчиво:

— Пш-ш-ел ты к...

Однако через несколько шажков окурок все-таки сплевывает.

Я провожаю его взглядом, но тот ни разу не останавливается, не передыхает, а пробегает всю аллею до конца, не мешкая перемакивает улицу возле больницы Семашко и все той же китайской трусцой, мелькая кепочкой, пускается вниз по Перекальского.

И вдруг меня запоздало осеняет:

— Ба! Да ведь это же театр ремонтируют!

Спустя какое-то время, возвращаясь из парка, заглядываю через ограду на театральное подворье. И верно, ремонтируют. Двор завален сброшенным железом, старой рещтовкой, щепой, свежим кирпичом и тесом, кучами извести и песка. Но самой работы не видно и не слышно, несмотря на то, что обеденное время давно уже минуло. Из-под тополя, сохраняющего затененную прохладу, доносятся голоса. Человек восемь — десять ремонтников обступили верстак, на середине которого виднелось закопченное ведерко, должно быть, с вареной картошкой, вокруг него огурцы, яйца, перья лука, ломти хлеба, несколько бутылок пива, частью опорожненных. Но, судя по резвому разговору с матерком и хохотом, ремонтники пили не одно только пиво...

Вскоре объявляется и тот самый марафонец в кепочке. Вид у него встрепанный, на спине хэбэшной олимпийки — темные пропотелости.

— Ну как, нормально? — спрашивают его.

— Порядок... — радостно отвечает он.

Сразу несколько человек кидаются наливать ему пива, тот жадно выливает два стакана подряд, утирается кепкой и, принимая из чьих-то рук уже зажженную сигарету, добавляет:

— Тяжелая, гада!

Разговоры внезапно обрываются: это подходит администратор — грузный, бочкообразный мужчина с полосатым галстуком по округлому животу.

— Ну что, братцы, опять сидим?

— Да мы только сели.

— Ну да, только...

— Перекусить тоже надо. От одной работы кони и те падают.

— Падают не от работы, а вот от этого дела. — администратор пнул ботинком пустую бутылку, и та завертелась волчком, будто в передаче «Что? Где? Когда?»

— Ты, шеф, не шуми. Лучше картошечки молодой попробуй. А то, если хочешь, плеснем...

— Срок, братцы, заваливаем! — Администратор сцепил пальцы и возвел руки к небу. — Ведь к первому октября театр вынь — да положи. Совесть надо иметь. Ну, братцы... товарищи... Хотите, я вам абоне-менты на весь сезон выдам. С женами... с тещами... С кем хотите. А?

— Ладно, мужики, давайте уважим. — первым проявляет сознательность марафонец, выказывая приподнятое настроение, должно быть, оттого, что удалось спереть брус. Бывает такое состояние: после удачного дела хочется всех обнять и всех уважить.

— А чего он... Совесть... — строители нехотя расходятся от ведра с картошкой... — Как что, сразу — совесть...

— Ну все: мир-дружба! — Марафонец засовывает топор за брючный ремень, готовно и бодро лезет по стремянке на крышу.

И администратор благоговейно смотрит ему вслед, говоря себе, что надо бы не забыть завтра же отметить его в приказе как сознательного труженика. В пример остальным.

1985

БОГАТЫРСКАЯ СИМФОНИЯ

КАРТА РАССКАЗЫВАЕТ

В детстве мы любили простую, но увлекательную игру. Расстилали на полу карту нашего Союза, и, пока кто-нибудь, отвернувшись, считал до десяти, мы старались загадать ему самое незаметное название. Это были города, реки, острова, береговые мысы или горные вершины, затаившиеся в глухих «медвежьих углах».

— Салехард! — раздавался приказ, и неутомимый путешественник — указательный палец — отправлялся на поиски. Он то забирался на самый юг, куда-нибудь в сердце Памира, который даже на карте сурово и мрачно темнел сгустками неприступных хребтов, то петлял соболиными тропками в путанице таскных буреломов, то обшаривал каждый уголок Тихоокеанского побережья, и неумолчная волна плескалась у самого ногтя. Мы упивались музыкой загадочных названий, встречавшихся на тысячеверстных путях поиска.

Мыс Дежнёва, гора Благодать, оазис Мургаб... Мы старались вспомнить все, что знали об этих местах. Воображение рисовало рев пурги над обледенелым чукотским утесом. Брызги волн замерзали на лету и падали на камни с жалобным звоном битого стекла. На утесе, упершись грудью во встречный ветер, с непокрытой головой, белой от снега, стоял легендарный казак Семен Дежнёв. Он жадно вглядывался в неясную пустоту открывшегося пролива. Там, за снежной мглой, зловеще шуршали льды и тяжело вздыхал океан, упорно не сдаваясь стуже.

Казалось, что этот отважный человек, удививший потомков, и поныне стоит на одинокой скале, увековеченный бессмертием своего подвига.

Воображение переносило нас в подземные кладовые седого Урала. Нас водил по причудливым лабиринтам бажовский умелец Данила, получивший ключи к этим богатствам от самой Хозяйки Медной горы. Мы прикасались к холодным пластам железных руд, еще не воплотившимся в машины; своды гор отсвечивали дымчатой зеленью малахита, под ногами хрустели, будто морская галька, россыпи самоцветов.

А через мгновение мы уже мчались над воспаленным ликом Каракумов. Пески, пески, пески... Взыбленные ветром. Раскаленные до удушья. Ни капли влаги, ни мгновения жизни. Смерть. И вдруг, как в сказке, за барханом зеленый остров. Небо подпирают пирамидальные тополя. Они выстроились по берегам арыков. Они охраняют от жадного солнца драгоценную жизнь бегущей воды. Здесь вода — неоплатная ценность. И пока она бежит — будут каждую весну белым расцветать урюк и розовым — персики, каждое лето поля будут пениться хлопком, каждую осень шумные базары будут полниться изобилием.

И вот уже воображение водило нас среди ворохов ананасных дынь — мякоть их холодна и душиста, — среди звонких кованых кувшинов с ледниковой водой, среди пестрых ковров и восточных песен. А в тени древних усыпальниц отдыхали верблюды, изредка позванивая колокольчиками. Они еще не успели стряхнуть с себя пыль и песок. Они только что пересекли черту осады. За той чертой поднимают головы барханы и жадно глядят на маленький островок жизни, облизывая сухими языками ветров верхушки тополей и чинар. Оттуда, из равнодушного и безжалостного безмолвия,

доносились заунывные, сжимающие сердце звуки. Они похожи на безутешное рыдание заблудившегося ребенка. Так плачут пески. Плач их страшен. Рассказывают, будто, случилось, какая-нибудь женщина не выдерживала этого зова и уходила на поиски. Оттуда она уже не возвращалась.

Обо всем этом рассказывала нам карта.

Но о многих местах мы просто ничего не знали и глядели, вчитываясь в их названия, с трепетным и сладким замиранием перед еще не разгаданной тайной. О них пока молчали школьные учебники. Молчали книги в сумрачных библиотеках. Может быть, они еще ждали своих исследователей, летописцев и покорителей.

С тех пор у меня сохранилось чувство пристального внимания ко всем «медвежьим углам». Игра в загадки породила неодолимое желание посмотреть на все своими глазами. Хотелось узнать, что же представляет собой все то, что прячется на карте в самые укромные уголки нашей страны. Захотелось посмотреть на тех смельчаков, которые добровольно поселяются за тридевять земель, где-нибудь за чертой полярного круга, в пекле пустыни или в неприступных горах. Кто они, как живут и что делают — знакомые герои наших детских забав?

Этот рассказ будет об одном из таких непонятных и загадочных названий в глухом, нехоженном краю, которые мы когда-то разыскивали на карте.

Давайте и теперь развернем эту карту. Мы отправимся на восток. За Волгу. За Урал. За распаханную целину, где непуганные дрофы бродят по соседству с тракторами. За черные, пыльные копры карагандинских шахт. За выцветший от зноя белесый Балхаш. За Турксиб, где станционные постройки обросли наступающими барханами, с которыми неусыпно воюют экскаваторы, не давая песчаной пурге замести паровозное депо или клуб железнодорожников. Дальше, дальше! К самой границе с китайским Синьцзяном. Там, в путанице коричневых штрихов отрогов Тянь-Шаня, среди белых пятен, обозначающих вечные снега и ледники, будто нечаянно обронено крошечное колечко, которым на карте принято отмечать города и поселки. Рядом с этим колечком прямо по горным кряжам и снежным шалкам написано короткое слово «Текели».

Но в то время, когда мы, мальчишки, увлекались игрой в географические тайны, этого слова вовсе не было на карте. Были только горы.

Горы стояли, остро подпирая пиками знойное полнившее небо. На них даже издали было жутко смотреть от этой кинжальной остроты вершин. В надменной неприступности они тысячелетиями стояли в стороне от человеческих судеб. У их подножий рушились и возникали вновь династии и ханства, перемещались целые народы, кипели яростные битвы, засыпались песками и снова прокладывались караванные пути. Они равнодушно и безучастно глядели на эти волны человеческих страстей.

Когда же, случалось, в горы проникал человек, он брел, озираясь, охваченный смутой неизвестности. Он чувствовал себя так, будто попал в нежилое, разрушенное временем здание. Тесные ущелья напоминали бесконечные коридоры с обвалившимися потолками. Вместо кровли зияли узкие полоски неба. По ночам сюда, в клубящиеся туманом провалы, боязливо заглядывала луна. Она обливала мертвым голубым светом причудливые глыбы камней, и скалы холодно искрились прожилками кварца.

Неосторожный шаг обрушивал каменные лавины, и тогда в гулких стенах ущелий металось и дико хохотало эхо.

Человек шел озираясь, потому что не чувствовал себя здесь хозяином. Хозяевами были орлы — эти мрачные жрецы развалин. Они даже не взлетали при виде человека. Они лишь удивленно вскидывали метровыми крыльями и щелкали острыми ножницами клювов.

Кажется, что когда-то в самом изначале веков среди этого хаоса мертвых глыб застряла колесница времени и века остановились в однообразном грохоте водопадов, в нескончаемом сиянии снегов. И сами орлы казались тысячелетними.

ТАЙНА ТЕКЕЛИЙСКОГО УЩЕЛЬЯ

Избасар был неутомимым охотником. Он пробрался дальше всех по узкой долине, на самом дне которой скакала по камням взмыленная речка Текелинка. Он выследил несколько стад архаров и недалеко от того места, где бараны обычно спускались на водопой, сложил из плоских плит осыпей свою охотничью хижину. Здесь он жил безвылазно все лето, до тех пор, пока осенние снежные бури не прогоняли его вниз.

Иногда он пробирался в глубь ущелья. У входа в него возвышался утес, вершина которого напоминала своим контуром лежащего на скале сфинкса. С высоты своего пьедестала, у подножья которого с ревом проносилась стесненная река, сфинкс вглядывался в долину, будто мифический страж, оставленный природой, чтобы оберегать от людей тайны, скрытые в самом сердце горной страны.

В ущелье было пасмурно и сыро от постоянного водяного тумана. Он оседал на утесах, и камни тускло отсвечивали мокрыми гранями.

В этом глубоком сумрачном провале остро ощущался недостаток солнца. О том, что оно по-прежнему сияло над миром, можно было догадаться лишь по ярко озаренной голубизне неба да по мимолетным вспышкам косых лучей, скользившим над головой по отвесным стенам ущелья. Лишь в полдень солнцу удавалось подсветить свинцовую воду реки.

Как-то Избасар вернулся из очередной вылазки с искаженным ужасом лицом. В тот же день он завалил вход в свою хижину камнями и ушел на равнину. В горах он не появлялся целый год. Что он

там увидел, Избасар никому не рассказывал. Он только хмуро поглядывал в сторону острозубого силуэта хребтов, синевшего на горизонте, и сокрушенно щелкал языком.

Только следующей весной Избасар снова поселился у входа в ущелье. Но с тех пор больше ни разу не решался углубиться в эту черную пасть шайтана. Да и незачем было туда ходить. Путь опасен, а дичи никакой. Лишь орлы перекликались где-то над головой, скрытые нависшими над пропастью тучами.

Однажды Избасар сидел у своей хижины и свеживал матерого барана. Покончив со шкурой, он отрубил затем голову и принялся осторожно снимать тяжелые ребристые рога. Один из них был чуть оцарадан пулей. Пуля, попав в рог, срикошетила и все же убила барана, перервав ему сонную артерию. Но Избасар недовольно покачал головой. Стареть стал. Еще сезон, другой — и больше он не придет сюда.

Избасар опалил голову барана на огне и бросил ее целиком в казан. Голова архара у охотников считается лучшим лакомством. Затем он влез на плоскую крышу хижины, чтобы пристроить для просушки снятые рога. И вдруг, взглянув на долину, увидел далеко внизу три точки. Это были люди. Они пробирались каменистым берегом реки вверх по ее течению. Кто такие? Куда идут? Избасар не притушил огня на всякий случай, но проверил, заряжена ли винтовка. Он ожидал людей не со страхом, а с удивлением. И когда путники, заметив его, стали подниматься к хижине, старик, соблюдая обычай, вышел навстречу. Все трое были тяжело нагружены тюками, какими-то ящиками и другими непонятными вещами.

— Ну и забрался ты, старина! — сказал один из них, долговязый, с тяжелыми волосатыми запястьями рук. Он свалил с плеч мешок и, вынув из кармана платок, старательно вытер тоже волосатое, небритое лицо. — К самому черту на кулички.

— Что такое «на кулички»? — спросил Избасар, и его глаза спрятались в добродушных морщинах улыбки.

Волосатый неопределенно повертел над головой пятерней. Все — и хозяин и гости — рассмеялись общепонятному жесту.

Пришельцы прожили в хижине Избасара два дня. Все это время они занимались странными делами. Лазали по окрестным горам, собирали камни, крошили их молотками на длинных рукоятках, а потом разглядывали осколки в стекла, похожие на донышки от бутылки. Долговязый больше возился в реке. Он приносил воду в пузырьках, наносный песок и потом долго колдовал над своей добычей, разложив на плоском камне ящик с какими-то стекляшками и приборами.

— Идем по верному следу, — сказал волосатый, разглядывая на свет какую-то черную жижу на дне пузырька.

Старик сидел на корточках и, щурясь, тоже разглядывал пузырек. Какой-такой след увидел там этот человек? Никакого нету следа. Одна грязь.

— Скажи, ты ходил когда-нибудь вверх по Текелинке?

Старик с опаской покосился на угрюмый силуэт сфинкса и уклончиво ответил:

— Архар нет в ущелье. Зачем ходить?

— О, там такой зверь спрятался — почище твоего архара! Найдем — все люди заговорят о нем. Скажут: «Какого зверя выследил Избасар!» — Долговязый дружески хлопнул обескураженного охотника по коленке и весело громыхнул звонко-медным смешком.

Всю ночь Избасар беспокойно ворочался на вытертой медвежьей шкуре. А утром, когда отряд укладывал свое снаряжение, старик решился.

— Я знаю, что ты ищешь, — сказал он долговязому. — Я покажу дорогу.

Шли весь день. Вернее, весь день карабкались по скалам. В горах наступило время таянья снегов, и река грохотала в полную силу. Этот грохот, размноженный обрывистыми кручами, наполнял ущелье до самых краев и поглощал все остальные звуки, даже шум камней, осыпавшихся под ногами. Избасар шел впереди, находя старые, опробованные выступы и карнизы. У поворотов он останавливался и поджидал спутников, чтобы те видели, как он пройдет над опасным местом.

На ночлег остановились на узкой галечной россыпи, намытой рекой. Усталость валила с ног. Спали прямо на голых плоских бульжниках под неумолчный рев воды. Она бесновалась в нескольких шагах.

Проснулись от промозглой сырости. Над головой бледно голубела рассветная полоска неба. Но внизу было еще непроглядно, как на дне глубокого колодца. К полудню ущелье расширилось. Обрывистые скалы по сторонам реки сменились горбатыми увалами сравнительно спокойных очертаний. На их склонах темнели острые пирамиды тянь-шаньских елей. А за увалами, за темной каймой лесов, белели снежные короны главных хребтов. Они громоздились совсем рядом. От их обледенелых пиков веяло холодом вечных снегов. Где-то там, под толщей глетчеров, рождалась Текелинка, и этого тайного рождения реки еще не видел ни один человек. Но, глядя на запретные выси, человек во все времена испытывал смутный, неосознанный зов вершин.

— Черт возьми, — сказал долговязый, пристально ощупывая взглядом сощуренных глаз неприступные склоны исполинов и, очевидно, мысленно прокладывая туда дорогу. — Пляжу я на все это громадье, и так и хочется вскарабкаться на самую маковку. Посмотреть бы, что оттуда видно. Пожалуй, половину Китая. Честное слово, просто не верится, что где-то совсем рядом, за этим хребтом, лежит любопытная и загадочная страна.

Избасар повел отряд влево от реки по крутому склону увала. Через полчаса подъема среди каменных глыб и редкого ельника наконец от-

крылась плоская широкая терраса. За ней снова громоздились скалы, разделенные глубокими расселинами. Старый охотник, остановившись, долго вглядывался в подножья беспорядочно нагроможденных скал и наконец ткнул обломком пихты в черный провал пещеры.

— Здесь!

Вход в пещеру был полузавален обрушившимися камнями. Разведчики, сложив с себя снаряжение и запалив смолистые пихтовые сучья, поочередно протиснулись внутрь. Зыбкий красноватый отсвет факелов спугнул извечную темноту, и она заплясала, прячась за неровности и заползая в расселины. Пахнуло склепной сыростью и тяжелым, нагоняющим оторопь, запахом тлена. Разведчики осторожно пробирались вглубь, вытягивая перед собой горящие сучья. То и дело под ногами попадались темно-серые куски руды. Местами она сплошь покрывала землю. Было похоже, что кто-то уже пробовал добыть ее в недрах горы и, вынося наружу, просыпал по дороге.

Шли молча, внимательно осматривая каждую пядь. Неожиданно под ногами открылась черная глубина колодца. Три руки с горящими головешками потянулись к его широкому отверстию. Глаза напряглись, ощупывая едва освещенное дно.

И вдруг с чьих-то губ сорвался неуверенный шепот:

— Плядите, кажется, человек!

Глаза освоились со зловещим мраком ямы, и все трое, стискивая друг другу руки до хруста и боязливо вытягивая шеи, глядели вниз. Там, на обломках руды, тускло серел скелет. На раскинутых руках от одного запястья до другого через грудную клетку протянулась ржавая цепь кандалов. Кости правой руки сжимали рукоятку какого-то орудия, похожего на кирку.

Никто в эту минуту не мог сказать, когда погиб этот человек и сколько погибло.

Может быть, это пытались сделать еще древние китайцы, а может быть, другие люди других времен. Но они пришли в это суровое царство снежных вершин не хозяевами, а с цепями на руках. И горы поглотили их в толще своих богатств.

НАДПИСЬ НА СТЕНЕ

Возле хижины Избасара громоздились ящики и тюки, ветер трепал походные палатки, дымились костры, в долине бродили стреноженные вьючные лошади. Перепуганные архары покинули свои обжитые места. Старик возвращался с охоты с пустыми руками. Но Избасар медлил оставлять урочище. Новая жизнь долины чем-то удерживала его.

По вечерам старик кипятил полный казан черного, как нефть, чая, вытаскивал из хижины шкуры, расстилал их у костра и поджи-

дал гостей. На огонек постепенно собиралась шумная компания: горноразведчики, проектировщики, взрывники, инженеры, дорожные и строительные рабочие. Казан с чаем быстро вычерпывали котелки, жестяные кружки, азиатские пиалы. Загорались жаркие споры, сыпались колочие шутки. Бивуачная жизнь, окруженная дикой горной природой, и размах предстоящего дела поддерживали в этих самых разных по характеру людях, съехавшихся сюда со всех концов страны, какую-то общую неугасающую возбужденность.

Иногда приходил, если случалось, что он оказывался в лагере, а не пропадал, как всегда, в горах, старый приятель Избасара Олег Александрович — тот самый долговязый геолог, с которым Избасар когда-то пробирался к пещере в верховьях Текелинки. Это был удивительно непоседливый человек. Его длинные ноги и огромные павианьи ручищи, наверное, вызвавшие бы тайные смешки в гостининых уютных столичных квартирах, здесь, в горах, оказались подходящими инструментами. За эти месяцы лагерной жизни в долине геолог облазил все окрестные кручи и пропасти. Он возвращался, пошатываясь под тяжестью рюкзака. Собранные образцы пород складывались в палатке под двойную войлочную кошму, на которой спал геолог.

В ненастные дни Олег Александрович замуровывался в палатке, перебирал образцы пород и заносил их номера на геологическую карту. Или, поглядывая сквозь дымок своей трубки на разложенные перед ним пестрые камни, что-то писал в толстой клеенчатой тетрадке. В эти часы через брезент палатки прорывался его густой, рокошущий бас. Он напевал свою любимую:

*До самой далекой планеты
Не так уж, друзья, далеко.*

Подсаживаясь к огню и распалая углем черную свистящую трубку, Олег Александрович подтрунивал над старым охотником:

— Какого я вчера барана видел! Каждый рог по пуду, не меньше. Велел Избасару передать салям.

Уязвленный охотник, однако, не обижался. Он давно привык к шуткам геолога. К тому ж он уважал загадочного, но смелого человека. Однажды Олег Александрович сказал Избасару, что решил забраться на самую макушку снежной горы, которая возвышалась в нескольких километрах от лагеря. Избасар думал, что он шутит. Никто и никогда еще не решался взойти на ту гору. Еще в детстве он слышал, что на той вершине не снег лежит, а стоит белая юрта самого шайтана. Но геолог, взяв себе в напарники еще одного смельчака, действительно отправился на вершину. Вечером все видели, как высоко в небе, над тускло мерцающей юртой шайтана, салютом взвились одна за другой три разноцветные ракеты. Они разрезали темноту стремительными огненными полосами, которые, постепенно загибаясь, заканчивались яркими цветками

вспышек. Избасар изумленно смотрел на медленно падавшую осыпь гаснущих искр, и его борода дрожала от волнения.

— Нет архара. Ушел архар. — развел руками охотник. — Джаман дело. Избасар тоже уходить будет.

— Зачем же уходить? — возразил Олег Александрович. — Мы тебе дело найдем почище, чем драть шкуры.

— Надо мало-мало подумать, — сказал Избасар с достоинством, но все видели, как обрадованно заблестели его глаза.

Олег Александрович вытянул к огню длинную ногу в простом юфтовом ботинке, ковырнул носком догоравшие валежины. Огонь ярко вспыхнул. Казан тоненько зазвенел от закипающего чая.

— Понимаешь, старина? Мы пришли сюда строить город. Город будет по всем правилам. И никто не поверит, что здесь совсем недавно торчали одни каменные глыбы и можно было на каждом шагу сломать себе шею. Вот что мы задумали, аксакал.

Избасар слушал, улыбался и согласно кивал головой. Но он тоже не верил. Он знал — это была выдумка. Этот человек всегда говорит забавные истории. Но слушать его интересно, как акына.

Неверие старика подзадорило Олега Александровича. Он поднялся, выхватил из костра головню и, подойдя к стене Избасаровой избышки, освещенной прыгающим отблеском огня, стал писать черными угольными буквами:

Люди! Здесь раньше стояла только эта хижина. Теперь вокруг нас — город.

— Слушай, старик, сохрани эту надпись, — сказал геолог и бросил головешку в костер.

СФИНКС УСТУПАЕТ ДОРОГУ

Все эти дни возле скалы-сфинкса, у подножья которой с оглушительным клекотом вырывалась из ущелья Текелинка, копошились люди. Отсюда, из лагеря, они казались черными точками. Они забрались на горбатую спину исполина, спускались на веревках к его лапам, простертым над тесниной. На вьючных лошадях к подножью скалы отвозили какие-то ящики. Наконец в небо взвилась предупредительная ракета. Все высыпали из своих палаток. Избасар, не понимая, что случилось, тоже устремился с толпой. Люди остановились на южном конце лагеря. Они вглядывались в мрачный силуэт чудовища, словно нарочно прикованного к скале, чтобы оберегать вход в царство заоблачных вершин.

— Сейчас твоего идола — тово! — с каким-то злорадством выкрикнул в ухо Избасара молодой подрывник и, проведя себя по шее ребром ладони, смачно прищелкнул языком. — Понял, дед?

Парень опрометью побежал вниз, неся какой-то маленький ящичек под мышкой, и скрылся среди камней.

Взмыла в небо вторая ракета. И тотчас над сфинксом неистово и широко развернулся бурый всер из дыма и пыли. Избасар видел, как каменный истукан приподнялся на дыбы, будто хотел взглянуть, кто посмел его потревожить, но тут же медленно, неохотно развалился на огромные глыбы и окутался пылью и дымом. Все это произошло в полной тишине. Мгновение безмолвной гибели скалы было похоже на волшебство. Лишь когда сфинкс рухнул, по долине прокатился тяжелый грохот взрыва и зашелестела у ног людей сухая трава, прижатая к земле докатившейся волной.

Так начался штурм Текелийского ущелья. Он продолжался долгие месяцы. Взрывчатка безжалостно крошила все, что вставало на пути полотна будущего шоссе и железной дороги.

Избасар стал водить вьючные караваны. Вместе с двумя другими погонщиками и тремя дожинами крепких коротконогих лошадей он уходил из лагеря вниз по течению Текелинки и там, в предгорьях, забирал приготовленные грузы. Это было оборудование, взрывчатка, одежда, продовольствие и много другого снаряжения.

Их доставлял в предгорья маленький маневровый паровоз. С каждым рейсом Избасар встречал поезд все ближе и ближе к лагерю. Паровоз нетерпеливо подгонял путейцев, следуя за ними по свежееуложенным, еще совсем не обкатанным рельсам. Караванные кони испуганно прядали ушами, когда, медленно вращая красными колесами, мимо прокатывался их стальной собрат. Машинист, очевидно с глухой равнинной станции, никогда не видевший гор, с любопытством озирался. Отроги подступили к полотну так близко, что увидеть их маковки можно было, только высунувшись наполовину из паровозной будки.

— Эй, борода! — кричал Избасару машинист. — Далеко ли еще до лагеря?

Очевидно, парню не терпелось поскорее добраться до еще не построенной станции где-то там, среди хребтов. Но он не мог умчаться туда без рельсов и вынужден был дожидаться, пока дорожные рабочие не проложат путь.

Избасар поднимал над головой руки с растопыренными пальцами, показывая машинисту, сколько еще осталось.

Наконец брюхатый локомотивчик, разукрашенный елками и курачом, подкатил под самую Избасарову избушку. Люди, побросав свои дела, ринулись ему навстречу. Промкогласное «ура» переклестнуло за соседние отроги. Обрадованные строители выволокли машиниста из будки и азартно подбрасывали его чуть ли не под самую паровозную трубу. Оторопевший машинист таращил глаза, глотал воздух и отбивался букетиком только что подаренных цветов. С этого дня Избасар больше не ходил с караваном вниз по Текелинке. Там ему больше нечего было делать. Вьючных лошадей заменил паровоз. Теперь Избасар водил свой копытный поезд в противоположную сторону, где в ущелье, все дальше и дальше, грохотали взрывы дорожной стройки.

Лагерь, который неизвестно кто окрестил кордоном номер один, быстро наводнялся грузами. Маневровый паровозик старательно и неумолимо, будто маленький черный муравей, втаскивал в горную долину эшелон-гусеницу. С платформ и вагонов сваливали кирпич и цемент, бревна и доски, камнедробилки и бетономешалки, тракторы и подъемные краны, муку и консервы. Часть этих грузов предназначалась на второй кордон, но пока туда не было дорог. Их только прокладывали через ущелье. И грузы — шахтное оборудование и строительные материалы — накапливались на первом кордоне, подобно тому, как концентрировались в прифронтовой зоне главные, ударные силы наступления.

Весь этот огромный, с каждым днем расплывшийся лагерь, хаотически заваленный грузами и материалами, никак не мог определиться в поселок. Улицами служили запутанные лабиринты между штабелей досок, леса и тавровых балок, каких-то баков и ящиков, наспех сколоченных навесов и заборов. На столбах белели торопливо намалеванные стрелы с надписями: «Столовая», «Баня», «Парикмахерская». Но, даже следуя указателям, свежему человеку было мудрено разыскать все эти неказистые, приземистые временки, затерявшиеся среди неразберихи огромной стройки.

А в главном штабе стройки, маленьком бараке, все стены которого снаружи были заклеены приказами, объявлениями и сообщениями, проектировщики и чертежники с воспаленными от бессонных ночей глазами уточняли будущий облик города горняков. С чертежных досок один за другим снимались листы ватмана. На них были вычерчены шахтные стволы и штольни, корпуса обогатительной фабрики и теплоэлектроцентрали, транспортные эстакады и подъездные железнодорожные пути, улицы жилого поселка, клубы, магазины, столовые, скверы, детские ясли, школы — все, без чего нельзя добывать руду.

Так на карте нашего Союза в глухом нехоженном краю рождался маленький кружочек, которым принято обозначать города.

КОНЕЦ ИЗБАСАРОВОЙ ХИЖИНЫ

Избасар старательно завернул ружье в старый халат. Затем собрал остальные вещи: шкуры архаров и медведей, войлочные кошмы, круглый, на коротких ножках стол, высокий медный чайник с журавлиным носиком и старинной чеканкой на боку, казан и маленький сундучок с охотничьими принадлежностями.

— Все, что ли? — оглядывая пустую хижину, сказал помогавший Избасару парень в брезентовом комбинезоне. Парень был излишне серьезен и озабочен, и эта серьезность никак не вязалась с его белобрысым вихром, торчавшим, как у донского казака, из-под козырька фэззушной фуражки, и путовичным носом в маковую крапинку, оставшимся от недавнего озорного детства.

— Айда! — махнул рукой Избасар.

Он был одет по-праздничному: веселая полосатая рубаха, черный вельветовый жилет и мягкие бараньи ичиги. На бритой голове отливала серебром расшитая тюбетейка. Избасар надел все это по случаю важности события и сам был тоже важен и приподнято возбужден.

Вдвоем они перетащили вещи к стене соседнего дома.

Заметив суету, на пустыре стали собираться любопытные: возвращавшиеся с ночной смены рабочие, ребяташки, соседи Избасара. Они толпились возле избушки и хозяйственно обсуждали, с чего лучше начать.

Приземистая, с неровными стенами, сложенными из плит известняка, хижина смахивала на вросший в землю сарайчик. На ее плоской крыше пророс гоций, побуревший курай. Хижина стояла между новыми двухэтажными домами. Чистенькие, свежестукатуренные, с ребристой белой крышей, они весело поблескивали широкими вымытыми окнами. От их белоснежного и стройного соседства хижина казалась еще более убогой и жалкой. Она торчала, словно гнилой зуб в ряду белых крепких зубов. Но ее терпели, как реликвию, до той поры, пока не была застроена вся улица. Теперь на всей улице остался единственный этот пустырь, и хижину наконец решено было сломать.

Избасару было жаль расставаться со своим жильем. В лучших домах он никогда не жил и с беспокойной мыслью думал о предстоящем переселении. Он вспомнил, как пришел в эту безлюдную долину много лет назад, как таскал на ремнях огромные плиты и складывал из них эти стены. Долгие месяцы он не встречал ни души и жил здесь наедине с молчаливыми горами. Лишь на зиму уходил на равнину, в аул, чтобы продать добытые рога и шкуры и повидать семью. Вспомнил, как встречал в своей хижине первых людей, разведывавших нелегкую дорогу к руде. Он тогда еще не знал, что эти люди бесцеремонно нарушат извечный покой горного края и поломают его жизнь — трудную жизнь бродячего охотника.

Избасар в последний раз обошел свое жилище и остановился у боковой его стены. На желтоватых камнях виднелась черная надпись. Никто не знал, что старый охотник тайком подновлял ее. Он нажигал острую палку и старательно обводил непонятные знаки. От многократной обводки буквы едва походили на самих себя.

Избасар поманил паренька в брезентовом комбинезоне и сказал: — Читай. Промко читай.

И паренек, не понимая, зачем это нужно, стал читать, с трудом разбирая исковерканные слова:

**ЛЮДИ! ЗДЕСЬ РАНЬШЕ СТОЯЛА ТОЛЬКО ЭТА ХИЖИНА.
ТЕПЕРЬ ВОКРУГ НАС — ГОРОД.**

Избасар слушал и торжественно поглядывал на собравшихся. Эти слова, начертанные на его хижине, были теперь и его словами. Он не мог их прочитать раньше, не сумел удержать в памяти, но всегда помнил, что в них говорится о чем-то очень важном. И потому берег их от дождей и ветров. Избасар первый пришел сюда и видел, что тут было.

Все невольно обернулись, будто хотели удостовериться, действительно ли это так.

Люди молча и пристально, словно впервые, вглядывались в знакомую панораму. Долина, чуть подернутая вуалью утреннего тумана, смешанного с дымками паровозов, наполнилась могучим гулом сотен работающих механизмов. Кутаясь в розовый пар, подсвеченный солнцем, тяжело вздыхала турбинами электроцентраль. Подвешенные на стальных опорах провода монотонно и глухо гудели, будто потревоженные басы рояля. Они гордыми взлетами и плавными спусками, не признавая ни скал, ни пропастей, уходили в туманную синь к рудоносной горе по ту сторону ущелья. Где-то бодро вскрикивал маневровый паровоз, отвечая на певучий рожок составителя. По вагонам прокатывался бутылочный звон буферов, и вслед за тем доносилось тяжелое, отрывистое уханье локомотива, берущего с места груженный рудой состав. Звякали ковшами экскаваторы, вгрызаясь в котлованы, громыхали самосвалы, визжали лесопилки. На кружевной эстакаде, будто повисшей в небе, постукивали на рельсах вагонетки. Время от времени они опрокидывались, и тогда было слышно, как с грохотом обвала сыпалась руда в приемный бункер обогатительной фабрики. Лязг железа, шипение пара, свистки паровозов, клекот стремительно мчащейся на дне долины Текелинки покрывал ее властный, ни на мгновение не затихающий гул. Было слышно, как с тяжелым, глухим, будто подземным, грохотом ворочались гигантские шаровые мельницы, установленные в каскаде фабричных корпусов, сбегавших по склону. День и ночь, не зная усталости, фабрика, как фантастическое чудовище, ненасытно заглатывала руду и пережевывала ее своими стальными челюстями.

А здесь, на жилых улицах, текла своя очень мирная и тоже своему деловая жизнь города-новосела.

Мимо проехал грузовик. Из его кузова торчали ножки стульев, парусиновые днища диванов, полированные бока шкафов. Он остановился у соседнего с избушкой дома, с окон которого только вчера смыли известь. Из подъезда выскочил управдом — юркий седенький старичок в очках, похожий на портного. Он забрался в кузов и, оглядев мебель, накинулся на шофера.

— Ведь не бревна везешь — вещи! — шумел управдом. — Вон как шифоньерку расписал. Как я такую людям в комнате поставлю? Понимать надо. Лихач!

По уличным столбам, будто майские жуки, ползали монтеры. Они снимали старые фонари с жестяными абажурами и подвешивали новые — круглые и матовые. Это какое-то немужское деликатное дело

они выполняли нерасторопно, смущаясь воздушностью и хрупкостью стекла и, видимо, чувствовали себя на виду у всей улицы так, будто украшали елки праздничными, требующими особого внимания игрушками. Внизу толпились вездесущие ребяташки и, затаив дыхание, глядели на работу монтеров, явно переживая.

На школьном дворе, словно мураши, копошилась детвора. Туда самосвалы навозили земли, и теперь школьники разравнивали ее на каменистой площадке, очевидно, собираясь развести огород.

Люди смотрели на все это с удивлением открытия чего-то нового в привычном. Многие из них приехали в Текели только теперь. Им казалось, что все это так и было. И лишь ветхое жилище старого охотника за архарами открывало перед ними самую первую страницу.

Между тем Избасар уже где-то раздобыл лом и забрался на крышу избышки. Поплевав на руки, он азартно размахнулся. От карниза отвалилась глиняная глыба и повисла над дверью на переплетенных корнях курая. Избасар сбил ее ногой и принялся долбить рядом. Крепкая, запеченная солнцем глина не поддавалась.

— Давай-ка я попробую, — предложил кто-то из толпы.

— Не надо. Я сам.

— Дверь снять бы.

— На кой она ему теперь сдалась...

На улице послышался тяжелый лязг гусениц. Воинственно задрав лопату-таран, к пустырю подкатил бульдозер. Из кабины выскочил паренек, помогавший выносить из хижины вещи.

— А ну-ка, дед, слазь. Нечего там...

Развернувшись и опустив таран, бульдозер медленно двинулся к хижине. Лопата уперлась под самый низ стены, бульдозер злобно всхрапнул мотором и навалился. По стене, словно черная молния, проскользнула трещина. Жалобно заскрипело дерево. Сухой курай закачался на крыше, и вдруг его бурая шапка поползла и с грохотом обрушилась на бульдозер. Машина исчезла в облаке едкой желтой пыли. Только было слышно, как разъяренно ревел мотор и громыхали камни.

— А теперь, дед, зови на новоселье, — весело сказал бульдозерист. В его мальчишеских глазах еще горели огоньки недавней схватки. — Ключ от квартиры не потерял?

Избасар полез за голенище ичига и, хитро улыбаясь, вытащил за ремешок большой никелированный ключ.

РУДА ПОШЛА!

Шоссе вползло в ущелье серой распластанной змеей. Солнечные зайчики покинули никель на автомашине. Мы въехали по узкому карнизу, вырубленному в скалах, в царство синих теней и туманной мглы. Ветровое стекло тотчас отпотело.

На пути то и дело открывались отвесные провалы. Машина неотвратно мчалась им навстречу, но в самое последнее мгновение круто разворачивалась и ныряла за скалу.

Иногда на той стороне ущелья, где-нибудь на круче, показывался туманный силуэт мачты высоковольтной передачи. И тут же вторая такая же мачта проносилась мимо на нашей стороне. Тяжелые жилы проводов, гудя и покачиваясь, провисали над ущельем. Было непостижимо, как удалось монтажникам перекинуть их через бездонную глубину. Потом мачты надолго исчезали из виду. Им не по пути с петливой дорогой.

Мы ехали с первого кордона на второй — в поселок текелийских рудокопов.

Олег Александрович вел машину свободно, привычно. Тяжелые волосатые кисти его рук спокойно лежали на белой рулевой баранке. Половина лица скрывалась полями парусиновой панамы. Виднелся только загорелый костистый подбородок и глубокая складка, протянувшаяся вдоль впалой щеки. Над его трубкой, кривившей угол рта, флегматично вился сизый дымок. Геолог вел машину как-то подомашнему, и чувствовалось, что на этом шоссе, подвешенном между небом и землей, для него не существовало неожиданностей.

За одним из поворотов, внизу под нами, вдруг показалась цепочка узкоколейных платформ. С высоты поезд казался игрушечным, будто был составлен из ящичков от спичечных коробок, наполненных землей. Он пробирался осторожно, словно сомневался: продолжают ли рельсы за очередным поворотом.

Я попросил остановить машину. Мы вышли к самому обрыву и долго смотрели, как эшелон, извиваясь то полудугой, то зигзагами, обходил выступы скал.

— Руда пошла! — сказал Олег Александрович.

Он стоял на обрыве, поставив одну ногу на камень, опершись на согнутое колено локтем, и глядел вниз со спокойной сосредоточенностью хозяина. В этих простых словах: «Руда пошла!» коротко и как-то очень буднично выразился итог героического подвига людей, штурмовавших ущелье. Но в спокойном голосе разведчика недр я уловил горячую удовлетворенность, потому что уже не раз слышал эти же слова во многих других местах от многих других людей, подводивших короткую черту под завершенной работой. Вот так же сказал бы: «Чугун пошел!» металлург, взглядываясь в сверкающую лавину огня и металла, только что хлынувшую из лётки доменной печи. Или строитель, прислушиваясь к обвальному грохоту пущенных турбин, сказал бы: «Вода пошла!»

Два скупых слова, как выражение непреклонной воли, звучат на степных дорогах, в таежных дебрях, в кромешной тундре, в горах и пустынях — во всех нехоженых углах. Слова величайшего наступления!

Последний вагон скрылся за выступом скалы. На задней площадке белой птицей замелькал платок. Нас заметили на обрыве.

Олег Александрович вынул изо рта трубку и ответно помахал ею в воздухе.

— Наталка покатила, — сказал Олег Александрович, снова сядя за руль. — Единственная девушка на нашей дороге. Кондуктор. Вы ничего не слышали о ней?

— Нет, а что?

— О! — вскинул бровь геолог.

И он рассказал вот какую историю про Наталку.

Наталка приехала на рудник вместе с добровольцами откуда-то из Приднестровья. Она не была той классической украинкой — с темными, как ночь, глазами, с косами, уложенными на голове тяжелой короной. Наталка — невеличка ростом, сероглаза, стрижется коротко, по-мальчишески. Она озорна и непоседлива. Но зато пела бесподобно, как истая украинка. Она привезла с собой те самые красивые песни вишенной, тополевой Украины, от которых, когда слушаешь, почему-то становится не по себе. Бывало, вечером заберется с ногами на подоконник в горняцком общежитии, обхватит руками колени, закинет голову, прислонится затылком к косяку и начнет тревожить песнями душу. Притихнут в комнате подружки. Слушают, света не зажигают. Жарко пыхают под окном папироски собравшихся парней. А она поет. И задумчивые песни с берегов хуторских ставок под сонными тополями летят и гаснут в темной тьянь-шаньской ночи.

Подружки ее работали на стройках и в столовых, и лишь она одна попросилась на транспорт. Может быть, потому, что не любила сидеть на одном месте.

В тот день Наталке выпало ночное дежурство. Она приняла его от своего сменщика в полночь. Маленький состав в десяток открытых вагонов отвалил от подножья рудоносной горы и скрылся в темном коридоре ущелья. Поезд шел медленно, притормаживая. Прожектор на паровозе, ощупывая дорогу, скользил по нависшим обрывам, выхватывая из темноты одинокие ели, одетые в сизо-зеленые шинели и похожие на застывших часовых.

Было холодно. От грохочущей где-то внизу реки тянуло сыростью. Наталка закуталась в черную шинель, глубоко засунула руки в рукава и, поставив локти на бруствер, от нечего делать следила, как на убегающих из-под заднего вагона рельсах поблескивал отсвет красного фонаря.

Наталка уже много раз ходила с рудой и знала дорогу до мельчайших подробностей. Даже ночью она могла определить, где, в каком месте находится эшелон. Прошли третий поворот — половина пути. За ним начинается крутой спуск. Поезд проходит этот участок, едва вращая колесами. Можно соскочить, спуститься к реке, напиться и опять догнать.

О том, что начался уклон, Наталка догадалась по коротким, сдерживающим толчкам. Машинист начинал притормаживать

сильнее. Но сегодня он что-то уж слишком неровно ведет. После каждого толчка поезд быстро набирал скорость. Машинист снова резко притормаживал. Наталку прижимало к стене будки, но тотчас отбрасывало.

«Что он там сегодня?» — хватаясь за брус, думала Наталка.

Но вот после очередного толчка поезд рванулся и покатил, все ускоряя бег. Проходили секунды, шпалы, мелькавшие в красных отсветах фонаря, сначала не быстро, так что их можно было отсчитывать одна за другой, постепенно стали вылетать из-под вагона все стремительнее и вот уже совсем зарябили, замельтешили в глазах.

«С ума сошел, гонит как! — Наталка озлилась на машиниста. Неясное беспокойство охватило ее. — Ну тормози, черт!»

Но машинист почему-то не тормозил. Эшелон понесло. Все больше набирая скорость, шарахаясь из стороны в сторону на крутых поворотах, поезд мчался вниз. Справа — отвесная стена, слева — обрыв.

Наталка, преодолевая ветер, рвавший с нее платок, высунулась из будки. Но в темноте ничего нельзя было разобрать. Лишь далеко впереди торопливо рыскал по скалам пучок света, вырывающийся из прожектора на паровозе.

Внезапно из грохота мчащегося состава вырвался тревожный рев паровозного гудка. Он нарастал, поднимался все выше и, достигнув какой-то душераздирающей ноты, покотился за эшеленом, заполняя собой ущелье. Рев железными тисками сдавил голову девушки. Наталка вся съежилась, ждала, что вот-вот гудок оборвется. Но он не смолкал. Поезд, швыряя из стороны в сторону вагоны, грохотал, мчался и дико, обезумело ревел в кромешной тьме.

«Что-то случилось!»

Наталка сильным рывком откинулась в будку, подбежала к тормозному колесу и начала закручивать его. Почувствовав сопротивление ворота, она остановилась.

Вагон, увлекаемый тяжелым составом, задрожал, скользя по рельсам на остановившихся колесах. Не теряя времени, девушка сбросила шинель, нащупала железные скобы на боковой стене будки и стала карабкаться вверх. Ветер ударил в лицо, перехватил дыхание. Казалось, вот-вот он оторвет ее вдруг потерявшие силу руки от скользких скоб и сбросит ее с вагона. Закусив губы, она напряглась, подтянулась, мешком перевалилась через борт и упала в жесткие комья руды. Переводя дыхание, Наталка на четвереньках переползла вагон, нащупала его противоположный край и спустилась по стенке вниз, на буфера.

«Что же это такое, что же это такое?» — спрашивала она себя, стискивая зубы, чтобы не стучали.

Держаться было не за что, и, чтобы не свалиться, она теснее прижалась спиной к стенке. Оглушенная предчувствием беды, грохотом и неумолчным, зовущим на помощь ревом паровоза, она

стояла на лязгающих буферах и соображала, как быть дальше. И наконец решилась. Она оттолкнулась спиной от стенки и упала вперед на вытянутые в пустоту руки. Пальцы тотчас судорожно вцепились во что-то, в какое-то железное ребро или раскосину. Наталка прощупала ногами буфера и, не выпуская из рук опоры, перебралась на другой вагон. Здесь все повторилось сначала. Снова карабканье по стене и спуск на буфера. Снова, холодея от страха, простирала вперед руки и падала на них, хватаясь за первый попавшийся выступ. На третьем вагоне она оказалась в тормозной будке, завинтила штурвал и, отдышавшись, полезла дальше.

Когда был завинчен четвертый тормоз, поезд остановился. Спотыкаясь, добежала до ревущего паровоза, вскарабкалась в будку. Будка оказалась пустой. К рукоятке гудка был привязан брючный ремень, другим концом захлестнутый за тяжелую совковую лопату. От этой пустоты в будке и оглушительного призывного вопля брошенного паровоза ей стало страшно. Она закрыла лицо руками и заплакала. Ее трепала нервная лихорадка.

Машинист добрался до состава на рассвете, страшный, с разбитым лицом и изодранной одеждой. Растрепанные волосы покрылись изморозью седины. Он полоумно взглянул на Наталку, белые бескровные губы прошептали: «Жива?». Обмякший, он опустился на землю, прислонясь спиной к паровозному колесу.

Придя в себя, он осмотрел паровоз, отпустил тормозные колодки на вагонах и поднял пары. Всю дорогу не разговаривали. И только когда впереди завиднелся корпус обогатительной, машинист сказал:

— А ремень это я затем, чтобы предупредить тебя. Я думал, что ты тоже прыгнешь. А ты вот...

...Мы некоторое время ехали молча. Олег Александрович выдохнул облако дыма, на миг заслонившее собой ветровое стекло. Он тут же притормозил и приоткрыл боковое стекло, чтобы проветрить кабину.

МАЛЕНЬКАЯ РЕСПУБЛИКА ГОРНЯКОВ

Поселок появился неожиданно, как все, что встречалось на этом извилистом шоссе. На самом дне глубокого ущелья, вдоль kloкочущей реки, потянулись белые двухэтажные дома. Их нарядный вид никак не вязался с угрюмым окружением хребтов. Дно ущелья было настолько узко, что строить дома пришлось длинной цепочкой вдоль берега реки. Да и эта полоска ущелья была с боем отвоевана у Текелинки.

Битва с непокорной рекой продолжалась и теперь. Строители дрались за каждый метр ровной поверхности. Самосвалы сбрасывали в реку камень и щебенку. Они постепенно оттеснили Текелин-

ку к противоположному склону, сужая русло. Река злобно огрызалась. Она вскидывала белые гребни пены, выворачивала сброшенные камни и с грохотом уносила их вниз.

А на свеженасыпанной дамбе уже закладывались новые дома. Медленно чертя воздух длинными стрелами, трудились башенные краны. В будке одного такого крана я заметил девушку-мотористку в голубенькой блузке и в золотистом подсолнухе волос. Она только что подала наверх раствор, и теперь у нее была минута передышки. Девушка высунулась из окна, достала пакетик со спелым урюком и принялась лакомиться. Прежде чем положить урючину в рот, она разламывала ее янтарную мякоть, не спеша доставала косточку, а затем, заложив ее меж пальцев, стреляла в мутные воды Текелинки... Так детишки бросают конфеты в клетку льва в зоопарке.

Мы приехали в маленькую республику горняков, смело и вызывающе разместившуюся под самой юртой шайтана.

Я поселился в просторной, необжитой квартире Олега Александровича. Геолог редко бывал дома, и квартира, как прежде палатка, служила ему всего лишь базой, где он готовил свои поисковые экспедиции или обрабатывал материалы. В комнате скорее жили камни, чем сам геолог. Вперемешку с книгами и со свертками карт они заполняли столы, шкафы, подоконники. Олег Александрович ухитрился даже втащить на второй этаж целый обломок скалы. На нем, настороженно приоткрыв крылья и вытянув голову, будто готовясь взмыть в небо, сидел орел, сбитый метким выстрелом геолога.

Я тоже почти не бывал дома. Захватив альбом, я бродил по ущелью и набрасывал все, что попадалось на глаза.

Я любил заходить в дома горняков наугад. С виду они были одинаковые, как инкубаторные цыплята. Но уже за порогом у каждого дома начиналась своя жизнь. Я попадал в шумные семьи с дедушками и внучатами. От седой бороды и от солнечного детского смеха одинаково веяло какой-то особой силой жизнеутверждения. Чувствовалось, что живущий в такой квартире горняк осел в этом диком ущелье так же прочно, основательно и на вечные времена, как коренной москвич где-нибудь на Красной Пресне.

Бывал и в холостяцких жилищах, где галстуки и книжки лежали на столах рядом с недопитым чаем и свертками колбасы. Сюда еще должно заглянуть солнце. Может быть, хозяину повезет, и в дом придет та самая Наталка — отчаянная голова, кондуктор с рудничного поезда, накричит на присмирившего парня за беспорядок и тут же смутится своей горячностью. А может, застенчиво войдет и та девушка в чистенькой голубой блузке, что с высоты башенного крана поглядывала ясными глазами в стремнину Текелинки.

В одних домах меня охотно приглашали к столу, потому что и стол был как стол — с добротной скатертью, с хорошей, еще не разрозненной посудой, и на самом столе было... Одним словом, хозя-

ин и хозяйка никак не хотели меня отпускать. В других — хозяева тоже приглашали, но делали это с извинениями на каждом шагу.

Я понимал и это состояние, потому что все еще находилось в узлах и чемоданах, да и столом служил все тот же чемодан. В таких квартирах, вместо огурчиков, выращенных на насыпной грядке, меня угощали осмотров жилья. «Вот здесь мы поставим кровать для нашего Витюшки», «Это — кухня. Правда, удобная?», «А здесь — душ. Без душа — как без рук. Что ни говорите — работа не из чистых». И я замечал, как у новоселов пропадало смущение и лица светились радостью.

Чаще всего я бывал в рудничной экипировочной. В часы пере-смен она наполнилась сутолокой надземной станции метрополитена.

Здесь шуршали жесткие брезентовые куртки, смешивались чумазы и умытые лица, скрещивались в пожатии черные и белые руки. Здесь пахло рудой и газком карбидных фонарей. Их синий огонек желтел от табачного дыма и испуганно вздрагивал от вспыхнувшего вдруг громового хохота, вызванного каким-либо острым словом.

Мне нравилась непосредственность этих парней. Я вместе с ними спускался в шахту и потом долго рассказывал всем, считая это чуть ли не подвигом. Они же спускались туда каждый день и по дороге спорили о «Двух бойцах» или «Трех товарищах», говорили о купленных мотоциклах или за что-нибудь ругали председателя рудкома. Затем разбирали свои перфораторы и расходились по забоям.

Над их головами висела многосотметровая махина горы. Ветер шумел в лапах сумрачных елей. А выше, под самым небом, на остро-розубых скалах, вили свои гнезда орлы. Но горняки не думали об экзотике. Мне же, свежнему, изумленному всем этим человеку, приходилось думать и о тучах, кутающих вершины, и о самой горе, и о людях, работающих в ее толще. Я думал о том, как эти ребята, не заискивая перед природой, а решительно взяв ее под уздцы, пришли в эту горную страну, тысячелетиями хранившую могильное спокойствие, прорыли вдоль и поперек рудоносную гору, залили ее подземные коридоры электричеством, пустили по ним электропоезда, и, между прочим, в минуты отдыха, отложив на время отбой-ный молоток, крутят сигарки и, покуривая, этак житейски, как все рабочие на всей земле, сплевывают себе под ноги.

Куда еще смелее?

Но моя фантазия оказалась жалким чахлым ростком по сравнению с тем дерзким замыслом, который задумали текелийские горняки.

Прорыть трехкилометровые коридоры в горе и рубить там руду для них оказалось мало. Рубить руду? Не много ли это для нее чести? Не слишком ли это церемонно? И они решили взорвать гору изнутри! Вывернуть наизнанку ее нутро.

Этот фантастический замысел был осуществлен на одном из участков шахты. Специальная бригада выбрала под рудоносным пластом всю породу. Чтобы пласт не обрушился на головы смельчаков, они время от времени оставляли каменные подпорки. Все остальное между этими подпорками было вывезено на поверхность. Образовалась огромная подземная зала, сводом которой служила руда. Проходчиков сменили взрывники. В каждом столбе, подпиравшем потолок, они просверлили шпуры и заложили взрывчатку. Проверив запалы, взрывники поднялись на поверхность. Шахта на время обезлюдела.

Утром, когда я еще не успел уйти из дому, поселковое радио предупредило: «Ровно в десять будет произведен взрыв. Все обязаны покинуть шахту и ее ближайшие окрестности. В жилых и служебных зданиях открыть окна и двери. В помещениях снять со стен часы, картины и репродукторы».

Поселок замер в напряженном ожидании. На улице и в районе шахты были выставлены пикеты.

Я стоял у раскрытого окна и поглядывал то на гору, ничего не подозревавшую о «троянском коне», то на свои часы. Секундная стрелка, как биение сердца, толчками двигалась к назначенному часу.

В пустом доме царила мертвая тишина. Вдруг на столе мелко и жалобно зазвенела ложка в чайном стакане. В тот же миг весь дом шатнуло резким толчком.

Комната наполнилась неясным, зловещим гулом отдаленного горного обвала. Я ухватился за подоконник и еще успел заметить, как из всех отверстий, пробитых в склоне горы, вырвались бурые клубы пыли. Но тотчас что-то ударило меня в грудь и отбросило в глубину комнаты. Вокруг меня заметались в вихре сквозняка свитки геологических карт. Когда я снова заглянул в окно — гора дымилась, как потухающий вулкан.

Тысячи тонн руды были обрушены. Теперь осталось только выбрать ее и погрузить в вагоны.

И мне вспомнился тот обушок, который был найден вместе с цепями в яме у подножья этой горы.

БОГАТЫРСКАЯ СИМФОНИЯ

В один из субботних вечеров я сидел за письменным столом в пустой гулкой квартире Олега Александровича и приводил в порядок записи своего текелийского дневника. Вокруг моей тетрадки громоздились камни. Среди них — молчаливых и безликих — я чувствовал себя одиноко. Камни заговаривали только с их повелителем. Он, как факир, взмахивал над ними невидимой волшебной палочкой, и камни, искрясь вкрапинами руд и сверкая гранями,

начинали сплетать упоительные легенды о загадочном и скрытом крае. Я тоже брал в руки этих заколдованных «шехерезад», задумчиво вертел, рассматривал их под светом настольной лампы, но они с презрением отвергали мое общество и упорно хранили молчание. Я растерянно возвращал их на место и озирался по сторонам. В полутемной комнате всюду таились все те же камни — гордые отпрыски величавых вершин. И вдруг в сумраке угла я наталкивался взглядом на две светящиеся точки. Это были янтарные глаза чучела.

Вглядевшись, я начинал различать и неясный силуэт угрюмой птицы. Орел, готовый каждый миг взмыться в небо, зорко следил из темноты за моими движениями. Казалось, он охранял все эти сокровища, пока хозяина не было дома.

Геолог просил не ожидать его сегодня. Он ушел на четыре дня в разведку с целой группой и если не вернется завтра, то задержится еще.

Вдруг в дверь постучали. Стук был робкий, неотчетливый. Я подумал, что ослышался. Но стук повторился, и я пошел открывать.

На пороге стоял Избасар. Он был одет в старый ватный чапан, туго перепоясанный патронташем. За плечами поблескивал ствол ружья.

— Салям алейкум, старина! — обрадовался я. — Почему с ружьем?

— Как — зачем? — радостно засиял Избасар. — Архара стрелять. Горняки говорят: приезжай, покажи, как барана стрелять. Завтра пойдем. Хозяин дома?

Я ответил, что Олег Александрович в горах. Избасар укоризненно покачал головой.

Охотник снял у порога ичиги и прошел в комнату, мягко ступая в шерстяных носках. Он долго оглядывался на геологические образцы. Потом сказал:

— Только архар не бегают.

Я вскипятил чай. Избасар пил из чашки, зажав ее в обеих ладонях, и не спеша выкладывал новости. Потом он рассказал, как однажды, приехав на рудник, спускался в шахту. Сначала никак не хотел. Боялся. Думал, что там темно и надо лезть на четвереньках, как в той пещере, которая его когда-то напугала. Но его уговорили горняки. «Ведь должен Избасар посмотреть своими глазами на тот клад, который он нашел», — сказали они. И он согласился. На него надели робу, шлем, повесили на грудь фонарик. Он облазил все забои и штреки и очень удивился, увидев под землей элеватор. С тех пор он всем рассказывал об этом — и в родном ауле, и случайному охотнику где-нибудь на привале в горах, и теперь вот мне.

— Как в городе! — заключил он.

На рассвете, когда я еще спал, Избасар исчез. Он пошел скликать местных охотников-горняков на вылазку за дикими баранами.

Весь воскресный день я провел, как всегда, на улицах поселка. Они были оживлены. Маленькая республика горняков отдыхала. На набережной играли дети. Они делали из бумаги галок и пускали их над рекой — чья перелетит. Возле клуба, в крошечном сквере, прогуливалась молодежь. Ей в поселке скучновато. Клуб еще не отстроен. Многие на вечер уезжали с автобусом на первый кордон. Там и просторней, и многолюдней, и веселей.

Клуб стоял на возвышении — нарядный и любовно сделанный. Широкая лестница, открытая терраса, колонный вход, большие окна, лепной фронтон — как все новые рабочие клубы в поселках. Леса уже были сняты. Осталось только кое-что доделать внутри, и, пожалуйста, вывешивай афишу.

Уже под вечер я сидел в цветнике и делал зарисовку клуба. Неожиданно с шоссе свернула грузовая машина с огромным тесовым ящиком. Машина остановилась у клубного подъезда. На боках ящика была намалевана черным огромная ваза и внизу надпись: «Не кантовать».

Собрались любопытные. Они гадали, что это могло быть? И вдруг по кольцу людей, окружавшему машину, прокатилось радостное: «Рояль привезли!»

Слова: «Привезли рояль» полетели по поселку. Они неслись с таким событийным звучанием, как примерно когда-то прокатилась весть по Москве: «Метро пустили!»

Вскоре к машине нельзя было пробиться. Бежали ребятишки, степенно карабкались на гору старики, часто останавливаясь, будто бы осмотреться. И так же, как когда-то при ломке старой Избасаровой хибарки, полетели советы, как лучше начать разгрузку. Кто-то, обрадованный осенившей его мыслью, крикнул:

— Ребята, айда за краном! Мы его мигом!

На него тут же зацыкало с десятков голосов:

— Тебе — все краном! Привык ворочать. Больно горячо запущен.

— Тут краном не способно. Чего доброго, уронить можно, — резонил чей-то хриловатый старческий басок. — Вон и посуда на ящичке намалевана. Стало быть, краном — никак нельзя. Надо на руках.

— Верно! На руках его! — с готовностью подхватили многие.

— Мы его — мигом! — Я узнал задорный голосок того, что только что хотел бежать за краном.

Открыли все три борта. Откуда-то появились длинные толстые доски. Их прислонили к днищу кузова. Десятки рук потянулись к ящичку. Многие никак не могли протиснуться к нему, но вместе с другими, навалившимися на груз, азартно кричали: «Раз-два! Взяли!» Ящик медленно заскользил по доскам.

— Полегче, хлопцы! Полегче! Лишние, не мешай-сы!

На последней трети досок, когда уже стало удобно взять ящик снизу, его подхватили и понесли. Толпа расступилась, смешиваясь, и повалила следом.

Прибежал запыхавшийся заведующий клубом с ключами от помещения. Он распахнул двери и, стоя на высоких ступеньках, несколько картинно, видимо от переживаемого волнения, широко взмахнул ключом и крикнул, как Кутузов на Бородино:

— Сюда, ребята!

Но ребята опустили ящик на землю, и один из них, черный чубатый горняк, отирая рукавом разгоревшееся лицо, крикнул на завклубом:

— Чего командуешь? Петро, неси топор.

Петро, поборник кранов и всякой прочей техники, умчался за топором. Заведующий пришел в ужас.

Бегая от одного к другому, он стал отчаянно взывать к милосердию:

— Понимаете ли вы, что это такое? Это же концертный рояль! Тысячами пахнет. С меня за него голову снимут. Государственное имущество!

— Отойди, говорю! — насутился чернявый. — Мы тоже государственные.

Завизжали гвозди под топором. Ящик стали вскрывать.

Когда все доски были разобраны, внезапно наступила тишина. Люди, как замороженные, стояли перед сверкающим чудом. Никто не решался хотя бы пальцем притронуться к незапятнанному сиянию черного лака на боках инструмента. И только крышка рояля, всего лишь на одно мгновение отразившая изумленные лица горняков, стала матовой. Она запотела от взволнованного дыхания окруживших рояль людей.

— Сыграть бы... — робко шепнул кто-то.

— Это верно.

Черноволосый отомкнул крышку клавишей и неуверенно поднял ее. Блеснула бело-черная панель.

— Кто умеет играть? — спросил он, окидывая всех взглядом.

Люди затоптались на месте. Все молчали.

— Зря, выходит, разломали ящик.

— Дайте пройти, товарищи. — послышалось где-то позади. — Что случилось?

К роялю протискивался Олег Александрович. Еще издали я заметил его парусиновую измятую панаму. Лицо было небрито и черно от загара. Выйдя на свободное место, он остановился. Его усталые в морщинках глаза вдруг стали какими-то солнечными от внутреннего тепла обрадованной души. Он весь воспрянул. Одним движением плеча сбросил с себя тяжелый, сутуливший его долговязую фигуру рюкзак, протянул перед собой руки и поочередно на каждой закатал рукава по самый локоть. Кто-то принес строитель-

ные носилки. Олег Александрович поставил их на бок, присел и беззвучно положил свои сильные руки на клавиши. Люди жадно и ожидающе следили за каждым его движением.

— Я вам сыграю «Богатырскую симфонию» Бородина, — мягко объявил он и обвел взглядом людей. Он чуть заметно волновался. Потухшая трубка мелко вздрагивала в плотно закрытом рту.

Он немного помедлил, будто вспоминая мелодию. Потом вскинул обе руки, дробно и торопливо прошелся пальцами по клавишам. Рояль звучал отлично.

Геолог подождал, вслушиваясь, пока замрет долго не хотевшая улечься «ля». Когда звук почти совсем истаял, он вдруг энергично взял басовый аккорд и неторопливо, очень плавно повел мелодию. Рояль запел. В его сверкающем корпусе гулко забили, накатываясь одна на другую, смешиваясь и снова накатываясь, волны торжественных звуков. Они были сильны, мужественны и неторопливы, как набат. Черные волосатые кисти рук геолога, привыкших иметь дело с обломками скал, переворочавших тонны породы, рук, один вид которых на белых клавишах рояля вызвал бы брезгливую усмешку в кругу ценителей изящных вещей и манер, внезапно перевоплотились, стали гибкими и необыкновенно подвижными. Вместе с тем в них не было подчеркнуто эстрадной торопливости и позы. Эти сильные руки были под стать вызываемой ими то задумчиво-мужественной, то торжественно-суровой мелодии. Они были красивыми в эту минуту.

Музыка, переполняя до краев рояль, разливалась, ширилась и росла. Звуки то плескались тихой речкой на песчаной отмели, то глухо шумели спелыми хлебами на степном раздолье, то грозно раскатывались отдаленным громом. А в них вплеталась какая-то бесконечно знакомая всем песня, очень понятная и очень близкая. Но какая — никто никак не мог вспомнить. И напряженно вспоминая эту неуловимую песню своей родины в своей душе, люди слушали, иногда глубоко вздыхая, иногда глухо откашливаясь в кулак, чтобы перебить что-то, подкатившееся к самому горлу.

Между тем в ущелье спустился вечер. Горы посинели и отодвинулись в темь. В поселке вспыхнули огни.

Я слушал величавые раскаты рояля и вглядывался в лица живых, осязаемых героев моих давнишних забав... Географические тайны. Вот они, совсем рядом.

Обыкновенные, простые люди. Какой-то пожилой горняк, с обвислыми седыми усами на темном, в угольных крапинках лице посадил себе на плечи, чтобы лучше было видно, внучку. Громадная заскорузлая пятерня горняка сжимала детскую ручонку, в которой зажато недоеденное яблоко. Рядом с ним тот самый чернявый, что вскрывал рояль. Брови насуплены, лицом суров и неприступен, а пальцы мнут и мнут пустую папиросную пачку. У его плеча неспокойно вертится фээзушная фуражка. Паренек то и дело озирается.

будто ищет кого-то. Стоит Избасар, опершись обеими руками на дуло винтовки. Рядом с его грузной, в ватном чапане, фигурой совсем тоненькой и хрупкой кажется Наталка в своем летнем штапельном платице с голубой газовой косынкой на стриженных волосах...

Обыкновенные простые люди, с виду не богатыри и не герои. Но каждому хочется пожать руку. Пожать руку всем, кто создавал эту богатырскую симфонию. Вон она за их плечами переливается тысячами огней. Огни янтарными бусами просыпались вниз по ущелью, вдоль улиц, засветились в окнах домов, на шахте, в здании компрессорной станции, они карабкаются куда-то вверх и перемигиваются над отвалами и узкоколейками, проложенными по карнизам рудоносной горы, бегут фарами автомашин, режут темь прожекторами подъемных кранов и экскаваторов, вспыхивают голубыми молниями электросварки. Они порхают светлячками на шлемах горняков, идущих на смену, и стремительно мчатся по ущелью, буравя черную нефть ночи немигающими глазами паровозов. Световая азбука труда!

А сколько таких огней зажглось в этот вечерний час на необозримых просторах страны! Сколько глухих нехоженных углов осветилось волей вот этих, вот таких же простых людей, что собрались здесь у рояля! Сколько новых кружков появилось на карте. И сколько еще появится!

Я читал эту световую азбуку, нащупывал за нею неясное сияние снежных вершин и думал: «Какой пророк, какой ясновидец мог бы предсказать, что все это будет — и город в горах, и ароматные матиолы перед клубом, и будет звучать концертный рояль под черным тьянь-шаньским небом? У кого хватило бы фантазии на то, чтобы предположить, что когда-нибудь эти грозные пики будут слушать Бородина?»

ПЕСНИ ГОР

Мне случалось ездить по беспокойным и утомительным дорогам предгорий Джунгарского Алатау. Дороги эти стремительны и петлисты, как горные речки. Врезанные в скалы, каменистые, они и в самом деле похожи на пересохшие русла. Когда в горах бушует внезапный ливень, в теснины дорог, случается, прорываются потоки воды. С грохотом подпрыгивая и взметая грязно-желтые брызги, мчатся смытые булыжники и обломки скал. Застигнутая в такой теснине, отара в страхе шарахается, обезумевшие овцы карабкаются вверх по отвесным обрывам, спасаясь от смертоносной лавины. И горе шоферу, если в эту страшную минуту в машине что-нибудь заест.

Эти дороги только для коней с крепким сердцем и машин с надежным мотором. Но местные шоферы, привычные к крутому нра-

ву гор, водят автомобили на хорошем газу, и случайные пассажиры стискивают зубы, чтобы на ухабах не откусить язык.

Как-то я пробирался на джайляу, куда в начале мая перекочевали отары каратальских колхозов. После долгого ожидания попутной машины наконец на поднятую руку остановился доверху заваленный тюками серый от пыли ЗИС. В кабине уже сидели двое, и шофер-кореец, обнаженный до пояса, жилистый, черный, как мореный дуб, сверкнув браслетом часов, показал на кузов. Я забрался на тюки, и мы поехали.

Двадцать километров пути по горной дороге изматывают больше, чем тысяча по асфальту. На подъемах ЗИС натужно выл, чихал синим удушливым дымом и, грузно осев на задние рессоры, метр за метром карабкался к перевалу. Я представлял, как шатуны двигателя, обливаясь горячим маслом, из последних сил вращали коленчатый вал. Каждую секунду в сердце машины могло что-то не выдержать, оборваться... В заднее окошко кабины я напряженно и ревностно следил за шофером. Лица его не было видно. По спине, между подвижных лопаток, стекала струйка пота.

На перевалах водитель останавливал машину, выпрыгивал из кабины и опускался у обочины по-корейски на корточки. Машина, остановленная на короткую передышку, все еще вздрагивала. Очевидно, это бурлила в трубках радиатора вскипевшая вода.

Мы выкуривали по папиросе и трогались дальше. За каждым перевалом начинался крутой извилистый уклон. И это ничуть не лучше подъема. Снова напряженное ожидание чего-то, снова руки судорожно хватались за веревки на тюках. Машина скрипела всем кузовом, колеса скользили по камням. Впереди на поворотах то и дело открывались провалы, откуда доносился зловецкий грохот горной реки. Передний буфер буквально повисал над обрывом, машина медленно вырुливалась, тесно прижимаясь бортом к нависшей скале, и на тюках трещала обшивка, раздираемая об острые выступы.

На последней трети спуска шофер давал машине волю, и она напропалую мчалась вниз. Ветер перехватывал дыхание, появлялось ощущение какой-то пустоты, как при падении на качелях. Раза два мой дорожный чемоданчик срывался с кузова и летел вниз под откос, перевертываясь и подпрыгивая...

Я наперечет знал все эти перевалы. Их нельзя было не запомнить, и потому с облегчением наконец отсчитал последний. Машина скатилась в просторную по-майски зеленую долину. Внизу, рассыпавшись на множество рукавов, чешуйчато серебрилась на галечных перекатах одна из рек Семиречья — Каратал.

У шаткого деревянного моста приютилась чайхана — неказистое строение из дикого нетесаного камня с плоской глиняной крышей. Но ни один проезжий не пренебрег ее гостеприимством. Шоферы таскали четвертушками камер ледяную воду и заправляли бурлящие радиаторы. Кони осторожно тянули ее сквозь зубы и то

и дело переводили дух: так студена была вода горных ледников! И все мы с наслаждением смывали едкую белесую пыль горной дороги. А от чайханы тянуло дразнящими запахами. Старик-дунганин, мурлыча что-то себе в усы и щурясь от дыма, хлопотал у открытой жаровни, поворачивая на шомполах бараньи шашлыки, не забывая при этом поглядывать в казан, где томились дунганские манты, обжигающие рот огнем красного перца.

Все, кто оказывался здесь в эту минуту, как давно знакомые, сидели за длинный тесовый стол под открытым небом. За дымящейся пиалой с темно-зеленым казахским чаем встречались самые разные люди: шоферы, скотогоны, коробейники, развозившие на вьючных лошадях товары для отгонщиков, охотники за архарами, геологи, дорожные рабочие и другой разный люд, кого приводила сюда горная дорога.

Скоро пути разведут их по своим делам. Одни спустятся в Каратальскую долину, где, будто огромные застекленные рамы парников, поблескивают рисовые чеки. Там, в долине, солнце, не знающее туч, и хрустальная вода арыков делают чудеса на плодородной лессовой земле.

Мне приходилось держать в руках восьмикилограммовые корни сахарной свеклы. Из одного такого корня можно добыть полтора килограмма сахара. Я видел, как казахские ребятишки, состязаясь в ловкости, перепрыгивали через арбуз, величиной с добрый валун. Сколько было торжествующего хохота, когда кто-нибудь из них, заднувшись, кубарем скатывался с полосатой и гладкой спины арбуза.

Я знал старого уйгура-садовода. Он привозил на станцию на маленьком черном ослике плетеные корзины с яблоками. Это был знаменитый семиреченский апорт — темно-бордовый, с душистой зеленоватой мякотью, искрящейся на изломе. Возле уйгура — большого шутника и выдумщика — всегда собиралась толпа.

— Кому яблоки бесплатно? — нараспев выкрикивал он. — Подходи, бери. Подходи! Кто в карман одно яблоко положит, тот денег не плати. Кто два положит, тот забирай моего ишака.

Некоторые соблазнились, пробовали засунуть апорт в карманы и отходили посрамленными: ни в какой карман яблоко не лезло.

— Я не виноват, я не виноват, — разводил руками садовод, прищелкивая языком. — Пришей карман большой и забирай моего ишака.

Тех же, кто отправится в горы, ждут другие богатства: самоцветы и горные пастбища, леса тянь-шаньских елей и цветные руды, альпийский мед и круторогие архары. Каждый находил там себе дело по сердцу и пробирался опасными тропами с обушком геолога, кочевым кошем табунщика, с топором лесоруба, ружьем следопыта или песней акына.

Мне тоже надо было в горы, и я, разглядывая сидящих за столом, искал себе попутчика. Он появился неожиданно.

— А, Сейтгали!

Это воскликнул чайханщик, и все обернулись на его голос. Чайханщик, широко раскинув руки и улыбаясь так, что его черные смеющиеся глаза почти совсем зажмурились, мелкими шажками спешил навстречу двум всадникам, подъехавшим к коновязи. На низкорослой буланой лошади в деревянном седле с высокой лукой прямо и крепко сидел сухой старый казах. Он был одет в синий стеганый чапан и белую войлочную шляпу, края которой надрезаны над каждым ухом и обшиты кругом полоской кожи. Две такие же полоски перекрепчивали тулью. Узкое и сильно сдавленное с боков лицо, продубленное солнцем и ветрами, с выражением какой-то странной неподвижности, заканчивалось совершенно белым пучком бороды. Позади с седла свисали на обе стороны два мешка из бараньих шкур. Казах сопровождал мальчик лет девяти в такой же войлочной шляпе и живописном жилете из бордового бархата.

Всадники спешили. Мы потеснились за своим столом. Чайханщик принес чаю.

— Куда путь держим, Сейтгали? — суетился он возле казаха. — Опять на джайляу? Ай-яй, как далеко! Надо много кушать, много чаю пить.

Старик в ответ тряс бородкой, макал ее в пиалу. С бороды сбегали капельки чая и падали в чашку.

И тут только я сообразил, что старый казах ничего не видит. В темной глубине морщин были утоплены неподвижные белесые, будто обмороженные глаза. С холодной сосредоточенностью они глядели поверх наших голов в глухую каменную стену чайханы.

Этот человек, лишенный самого великого блага — видеть мир собственными глазами, неподвижный и отчужденный, казался здесь чужим и лишним. Пристроившись на уголке стола, он молча сидел среди живого разговора и здорового добродушного смеха. Он не видел этих людей, от которых веяло неистощимой полнотой жизни, энергией и жаждой деятельности. Какой-то геолог, давно не бритый, с облупленным носом, на котором пар от чая шевелил остатки кожи, похожие на кусочки папиросной бумаги, обгрызал крепкими белыми зубами палку с шашлыком и разглядывал истертую геологическую схему, разостланную на коленях. А рядом один водитель доказывал другому, как ближе проехать к озеру Алакуль. Отодвинув еду, он жестким, синим от мазута ногтем большого пальца чертил на досках стола путь к этому озеру и сердито ерошил чуб, когда друг качал головой в знак несогласия.

Я понимал нетерпение и горячность этих людей. Этот край никого не оставлял равнодушным. Всякого, кому довелось его увидеть, он удивлял, как удивляет неожиданно открывшаяся с высоты горного перевала панорама ландшафта. Богат, неповторим и неизмеримо огромен встает он перед взором! И человек, пораженный своим открытием, так и остается в неизменном состоянии востор-

га и восхищения. Это чувство влюбленности и порождает в людях нехощимую энергию.

Здесь все делается с юношеским увлечением. Я видел, как строители, подвесив над пропастью стометровый акведук, по которому была пущена вода в соседнюю засушливую долину, в порыве победного восторга швыряли свои шапки в бетонный желоб, и поток воды стремительно мчал их — засаленные и пыльные кепки арматурщиков и бетонщиков — над туманной глубиной покоренного ущелья.

И я, поглядывая на слепого, думал о горечи быть вот так отрешенным от окружающей жизни. Очевидно, и все остальные, обнаружив слепоту казаха, испытывали то же чувство удручающей неловкости, потому что постепенно затихли разговоры и люди уткнулись в свои тарелки.

Меня кто-то тронул за плечо. Я обернулся. Это был чайханщик. — С ним поедешь. — он кивнул на слепого. — Я скажу ему.

Я удивленно вскинул глаза на чайханщика.

— Сейтгали дорогу знает, как я свой казан.

Чайханщик о чем-то пошептался с казахом, и тот, выслушав, встал из-за стола. Я подошел к нему. Он снял с руки камчу — короткую плетть с бараньей ножкой вместо рукоятки — и молча протянул ее мне в знак расположения. Затем он отвязал повод лошади, на которой ехал мальчик, и, придерживая стремя, указал мне на седло. Как только я устроился, старик, ухватившись руками за луку седла, одним быстрым движением вскочил на коня. Конь нетерпеливо затанцевал, пятясь и приседая на задние ноги. Сейтгали протянул руку мальчику, и тот, опершись ногой на стремя, вскарабкался и уселся позади старика на мешках. Сейтгали прищпорил коня, и мы тронулись в путь.

Сразу же за чайханой дорога круто повернула к угрюмым хребтам Джунгар. Слева бурлила река. Когда на ее пути встречались плоские плиты, отшлифованные тысячелетиями, вода перекатывалась через них широкими и тонкими струями, настолько тонкими и прозрачными, что сквозь них, словно через какое-то непрерывно струящееся жидкое стекло, упругое и гибкое, отчетливо виднелся каждый валун, каждая расщелинка на речном дне. Брошенный в струю бульжник отскакивал от нее, как от резины. У выступающих на поверхности камней вода теряла свою бирюзовую прозрачность, вспенивалась и шипела, будто в нее подбросили соды. Мельчайшие брызги носились в воздухе, и с берега на берег изумрудно-розовым полудужьем перекидывался мостик радуги. Река неумолчно грохотала, заглушая цокот копыт.

Сейтгали ехал впереди, пустив лошадь торопким шагом. Сидел он все так же прямо, сосредоточенно, будто к чему-то прислушивался, но по тому, как он уверенно погонял коня, подбадривая его пятками своих мягких сапог, трудно было поверить, что это ехал слепой всадник. Я удивлялся его неожиданному преобразению.

Наверно, он чувствовал себя за столом куда хуже, чем на коне. Он свободно обходился без поводья. Я не замечал, чтобы мальчик, сидевший позади, помогал находить дорогу.

Мы поднимались все выше и выше по чуть обозначенной каменной дороге. Она вилась по узкой террасе, повисшей над рекой. Местами к дороге вплотную подступали отвесные скалы, и она настолько суживалась, что издали казалось, будто путь вовсе обрывался. По спине пробегал неприятный холодок страха. Я судорожно впивался коленями в бока лошади. Конь, видимо, чувствуя неуверенность седока, нервничал, косился на стремнину, тревожно всхрапывал. Не раз я был готов остановить коня и повернуть обратно.

Но Сейттали как ни в чем не бывало покачивался в своем седле, выказывая полное равнодушие к головокружительным обрывам. И только мальчик теснее прижимался к его негибаемой спине и отворачивался к скалам. Черт возьми, знал ли этот человек, что его правая нога буквально висела над пропастью?

Очевидно, знал, потому что, когда скалы отступали, Сейттали снова подгонял пятками свою буланку и та послушно прибавляла шаг.

Я ехал и думал об этом удивительном человеке. Кто он? Какая нужда заставляет карабкаться опасными тропами? Как он, не видящий ушей своего коня, ориентируется среди этой путаницы хребтов и ущелий?

С дороги вспорхнули какие-то серовато-бурые птицы величиной с голубя. Они, то часто махая крыльями, то планируя, бесшумно полетели к противоположному склону. Вслед за ними, четко вырисовываясь на зеленой траве, скользили их тени.

Сейттали придержал коня и долго вслушивался.

— Кеклики. — сказал он, провожая стайку осмысленным взором. Казалось, старик прекрасно видит каждую из птиц и остановил коня только затем, чтобы полюбоваться их красивым легким скольжением в недвижимом воздухе горной долины.

Справа и слева на склонах затемнели тянь-шаньские ели — высокие, стройные и гибкие, как кипарисы. Лес становился все гуще, потом снова поредел, постепенно уступая место открытым пространствам. Начинались альпийские луга. Они покрывали склоны и гребни пологих увалов веселым ситцем майских цветов и разнотравья. Все вокруг радостно пестрело и зеленело. И только отдельные крутые уступы скал, нависавшие над долиной, были не прикрыты этой пышной зеленью, будто у природы не хватило трав и цветов, чтобы задрапировать и спрятать эти угрюмые исполины.

В глубокой впадине у подножья одной из скал забелел первый снег. Странно было его видеть буквально в каком-нибудь полуметре от беспечно цветущих куртинок анемонов, оранжевых цветов купальниц, нежно-розовых розеток горных астр.

Из-под кромки плотно слежавшегося снега бежала серебристая ниточка талой воды. Попрыгав по камням и поиграв с солн-

цем прозрачными струями, ручей вскоре прятался под травами и выдавал себя лишь тем, что на бегу раскачивал склонившиеся над ним цветы.

Сейтгали сошел с юня, спустился к ручью. Он стал на колени, разогнул травы и, зачерпнув сложенными корытцем ладонями прозрачной студеной воды, поднес ее к губам. Но тут же настороженно поднял голову. Со скалы посыпались мелкие камешки.

— Архар, — шепотом сказал Сейтгали.

Я осмотрел скалу, но ничего не увидел.

— Там, наверху. — сказал Сейтгали, продолжая держать воду в ладонях. Просачиваясь сквозь пальцы, она торопливыми каплями сбегала к нему на халат.

— Там должен архар-баран стоять. Сторож. Много-много архар пить приходил. Испугался, убежал. Один сторож не убежал. Будет посмотреть, когда человек уйдет.

Лишь вглядевшись, я с трудом различил высоко над нами среди нагромождения острых выступов голову вожака стада — неподвижную и массивную, словно вытесанную из камня. Свесив над обрывом тяжелые ребристые рога, баран сторожку глядел вниз. Мне показалось, что он смотрел на Сейтгали. Я перевел взгляд на старика: сощуренные глаза Сейтгали пристально вглядывались в архара.

Я был изумлен. Казалось, на время пути к Сейтгали внезапно вернулось зрение. Он свободно управлял своим конем, безошибочно определял летящую птицу, находил тонкую струйку снеговой воды, прокладывающей себе путь в бесконечном море цветов, распознавал затаившегося среди камней дикого барана. Как в своей юрте — давно привычные вещи, узнавал он чуткой ощупью своей души все, что было в этом необозримом горном крае.

— Тут много-много архар. — сказал Сейтгали, прислушиваясь к неуловимым шорохам в скалах, и снова поднес ладони к губам. Руки были пусты. Старик не заметил, как из них вытекла вода. Видеть, как пересохшие губы слепца тянулись к пустому ковшу ладоней, было нестерпимо больно. Я вернулся к своей лошади...

По дороге я спросил:

— Как это случилось, Сейтгали-ата?

Он понял мой вопрос и, с трудом подбирая слова, начал рассказывать.

Вот что он мне поведал.

Случилось это, когда в Семиречье пришла революция. В то время Сейтгали работал у бая Каримбека. Вместе с другими батраками он пас его тысячные отары. Много лет провел Сейтгали в седле, гоня байских овец по заснеженным степям низовий Каратала. На лето он уходил с ними в горы. У Сейтгали был один дырявый кош. Но, где бы он ни разбивал его, — везде кош стоял на байской земле. У Сейтгали был свой конь. Но он тоже ходил по чужой земле и щипал чужую траву.

Раз в месяц приезжал на тырла Каримбек, чтобы пересчитать скот. Сам Каримбек считать не умел. Поэтому он привозил с собой муллу — эту хитрую рыжую лису. За услуги Каримбек отдавал мулле лучшего барана, и поэтому мулла особенно старался. «Аллах все видит, — говорил он, выгоняя с тырла овец. — У него не только каждый человек, но и каждый баран на счету. И горе тому, кто вздумает обмануть аллаха!» Сейтгали тоже не умел считать. Поэтому он всегда оказывался обманщиком. Удивлялся Сейтгали: ни одного барана не пропадало, а мулла говорит, что недостает трех.

Кочуя вдалеке от людского жилья, Сейтгали ничего не знал о революции. Но весть о ней уже скакала через барханные пески и глухие урочища. Услышит это непонятное слово джигит, седлает коня и скачет в степь. Свистит ветер в сухой траве, слепит глаза колючий снег, холодно. Но в груди у джигита это непонятное слово: и греет оно сердце, и томит сладкими думами. «Говорят люди, революция всех баев прогоняет. Ай, джаксы!»

И встречаются на кургане два джигита, и кричит один другому под лисье ухо малахая:

— Люди говорят: революция всех баев прогоняет.

— Ай, джаксы!

От стойбища к стойбищу, от юрты к юрте, от джигита к джигиту...

Сейтгали не знал, что надо делать, когда приходит революция. Но вот однажды ночью в лачугу, сложенную из кия — толстых плит слежавшегося овечьего помета, в которой коротали зиму пастухи Каримбека, пробрался незнакомый джигит. Губы его запеклись от скачки. Пастухи с тревогой смотрели на вошедшего. Какие вести?

Вести были недобрые.

— Каримбек приказал поднимать отары, — сказал он. — Каримбек решил бежать в Китай. Туда все баи угоняют свои гурты. Вы тоже пойдете со скотом.

Сейтгали не знал, что надо делать, когда приходит революция. Но он совсем не хотел уходить из родных мест вместе с баем. Он не сторожевой его пес. Пусть Каримбек уходит один. Это даже лучше. Хорошо, когда в степи не будет ни одного такого живодера. Только как же так? Уйдут баи и угонят из степи весь скот. Очень плохо, совсем джаман, если в степи не будет отар. Пусть баи уходят без отар. И Сейтгали понял, догадался, что надо делать, когда приходит революция. Он поделился своими мыслями с другими чабанами. Той же ночью ушли из урочища отары. Шли совсем не в ту сторону, куда повелел Каримбек.

Всю ночь гнали чабаны скот. А на рассвете их настигли люди Каримбека. О, если бы у Сейтгали было ружье! Но у Сейтгали ничего не было. И он упал с коня, срезанный пулей. Пуля вошла в переносье и вышла в затылок...

Его подобрала какие-то незнакомые джигиты. Но Сейтгали не умер. Он был силен и крепок. Он выжил. И только глаза остались мертвы...

Очень давно ушли все баи из степей Джеты-су. Но скот остался. И это радует слепого Сейтгали. Много-много стало скота в их ауле. И в других аулах тоже много. Увидел бы Каримбек — лопнул бы от зависти. И вот Сейтгали едет туда, на джайляу, где пасутся отары каратальских колхозов. Он часто бывает у чабанов, потому что хочет знать, как делают они свое дело. Он хорошо знает туда дорогу — каждый изгиб, каждый подъем. И старый конь Сейтгали тоже не ошибается. Сейтгали даже может подремать в седле, когда устанет. А мальчик — он только учится ездить в горах. У маленького Нурсепа нет ни отца, ни матери. Сейтгали взял его себе. Вдвоем веселее. Теперь вот мальчик подрос, и Сейтгали хочет сделать из него настоящего чабана. Хорошее это дело! Пусть ездит, привыкает к горам.

С высоты перевала вдруг открылось самое сердце Джунгар. Горы были похожи на огромное стадо каких-то фантастических животных. Видны были только одни их спины — покатые, с седловинами, горбатые, двугорбые, с зубчатыми гребешками, как у ископаемых ящеров. Самые высокие белели снегами, будто были покрыты сединой тысячелетий.

Горы толпились вокруг глубокой котловины, уже наполнившейся вечерним туманом. Было похоже, что все это стадо исполинов собралось на водопой и, опустив головы, пило из огромной чаши зыбкую пелену туманной дымки.

Мы спускались в долину. Залаяли собаки, запахло едким вязким дымком. Неясно забелели кубышки юрт. Это было летнее стойбище чабанов. Тут и там по склону, меня очертания, сползали серые пятна отар. Овец сгоняли к тырлам на ночевку.

— Сейтгали приехал! Сейтгали приехал! — завидев нас, кричали ребятишки.

Они бежали нам навстречу пестрой радостной гурьбой. Мелькали и позвякивали монетки на разноцветных жилетах, ветер трепал пушистые пучки перьев дрофы, укрепленные на самых маковках расшитых узорами тубетеек. С залившимся лаем, путаясь под ногами, бежали сухопарые овчарки.

Дети окружали Сейтгали, теребили полы его чапана, висли на стремянах. Самые бойкие на ходу забрались в седло и облепили старика.

Возле юрты, которую нам отвели для ночлега, уже собирались всадники. Прямо на траве, рядом с большим костром, разостлали несколько верблюжьих кошм, набросали горки подушек, прикатали круглый столик на коротких ножках. Самые старые и почтенные чабаны взяли под руки гостя и усадили его на почетное место у костра. Старики сели рядом, молодежь осталась стоять поодаль в знак уважения к старшим.

Я всегда умилялся трогательной предупредительностью чабанов-казахов. Терпеливо ожидали они, пока гость отдохнет и насытится. Молча отхлебывали из своих пиал терпкий зеленый чай.

и лишь изредка кто-нибудь осведомлялся: здоров ли сам? Гость благодарил, и все довольно кивали головами. А спустя пиалу или другую снова любезно интересовались: здоров ли конь? Потом, подложив под бока подушки, чабаны неторопливо рассказывали гостю новости. А Сейтгали, опустив руки на колени, слушал и кивал белой, будто выстиранной, бородкой.

Но вот он встал и пошел к своему коню. Чабаны оживились. Они давно ожидали этого. Сейтгали принес к юрте кожаные мешки. Он высыпал на стол стопу книг. Он всегда привозил на джайляу эти гостинцы. Ему поручал заведующий колхозной красной юрты. Из темноты, из-за спин стариков, к книгам потянулись смутные руки. Замелькали пестрые обложки, зашелестели страницы. Книжки быстро рассовали по пазухам чапанов и ватников. Никто не записывал, кому досталась какая книга. Когда снова придет на стойбище Сейтгали, все до единого тома будут сложены в его юрте. Так было заведено.

Но это был не главный гостинец Сейтгали. Об этом тоже все знали. Ради него-то и собралось здесь столько народу. Вокруг огня сидели в терпеливом ожидании аксакалы, рядом с ними примостились вездесущие ребяташки. За ними, не решаясь присесть, стояли парни. А где-то в тени юрты перешептывались быстроглазые кызынки и пожилые женщины. Никто не попросит Сейтгали об этом. Они понимают — это не так просто. Гостю надо собраться с мыслями.

Над горами взошла луна. Будто оцинкованные, тускло заблестели снежные вершины. А внизу, на дне котловины, пролитой ртутью засеребрился ручей. Сейтгали сидел, перебирая пальцами на коленях, и в его застывших глазах, сухих и холодных, трепетно дрожало по маленькой луне.

Все ждали. Наконец рука Сейтгали потянулась к кожаному мешку, и в лунном свете блеснул отполированный бок домбры. Разговоры и шепот стихли. Жадные глаза устремились на пальцы слепца.

Сейтгали ущипнул струны, будто проверяя их готовность, и прикрыл глаза. Бархатистый приглушенный звук задрожал в чуткой хрустальной тишине горного воздуха.

Вдруг Сейтгали с силой, наотмашь ударил сразу по обеим струнам указательным пальцем, и струны мгновенно исчезли, растворились в гулком напряженном дрожании. Домбра запела. Она клокотала от внезапного бешеного ритма, похожего на стремительную скачку аргамака.

Неожиданно звук оборвался. Но мелодия не исчезла. Ее тотчас подхватил высокий и сильный голос — страстный и вдохновенный. Без слов, без переходов, одним протяжным, каким-то воинственным выкриком. Это было своеобразным голосовым аккордом, вслед за которым градом просыпался речитатив песни.

Лицо Сейтгали преобразилось. Исчезла его напряженная скованность. Серые клокастые брови то взлетали вверх, будто кры-

лья птицы, то сурово хмурились. В уголках оживших глаз непрерывно вспыхивали и гасли лучики морщин. Длинная седая борода дрожала, когда в горле акына кипела песня. Когда же он смолкал, слушая домбру, борода ложилась на гриф и путалась в гудящих струнах.

Я не понимал всех слов песни: так она была горяча и стремительна. Но живой струящийся напев, темпераментное чередование звуков домбры и человеческого голоса зажигали и приковывали, как магнит.

Я знал, это была импровизация. Акыны редко перепевают чужие мелодии. Услышать песню акына — значит увидеть ее рождение. Только что оторванная от сердца, она проливалась наружу обжигающей струей мысли и чувства.

Сейтгали не жаловался на свою судьбу. Он пел что-то такое, что радостно волновало. Я видел, как у людей горячо блестели глаза.

— О чем он поет? — спросил я соседа-чабана.

Чабан ответил не сразу. Захваченный песней, он не слышал моих слов. Я подергал его за рукав и повторил свой вопрос.

Хорошую песню поет Сейтгали-ата. Ай какая песня! Джаксы песня! Все его считают слабым человеком, жалеют. Но он совсем не слабый. Когда звучит его домбра — сдвигаются камни. Сейтгали очень сильный человек. Потому что песня его помогает людям. Один раз люди захотели построить мост через ущелье. Но ущелье было такое широкое, что даже орел не осмеливался перелететь через него. И люди растерялись. Тогда Сейтгали взял домбру, которую всегда возит с собой по дорогам Джеты-су, и запел. Горы дрогнули и сдвинулись. И люди построили мост через ущелье.

И это правда, — добавил чабан. — После я сам ездил по тому мосту.

Весь вечер Сейтгали пел свои песни. Они летели над дремлющей глубиной долины. Они отдавались в гулких скалах далеким многоголосым эхом. И чудилось мне, будто Сейтгали и в самом деле пробудил от вечного сна горные пики, и теперь они послушно подпевали акыну. Пел Сейтгали, и пели горы. Люди слушали. Лица их светились счастьем.

Чтобы не мешать, я сел в тени юрты и, закрыв глаза, вслушивался в своеобразную переключку человека и горных высот. И грезились мне в этих напевах то стремительный бег водопадов, то тихий шелест цветов на горных пастбищах. Эти песни были сотканы из всего того, что улавливала из биения окружающей жизни чуткая, всевидящая душа певца. Он пел о своей земле. По ней он ходил, как хозяин, не нуждаясь в поводьях. Кто-то принес и положил на колени акына ягненка. Чем еще могли отблагодарить простые пастухи за песни? Ягненок, перепуганный людьми и светом костра, забился, жалобно заблеял. Старик бережно прижал его к груди. Пальцы погрузились в мягкий белый дым шерсти. Корявые, черные пальцы старого человека перебирали шелковистое

руно, и ягненок, почувствовав ласку этих пальцев, вдруг ткнулся лобастой головкой в колени старого чабана и затих. Сейттали осторожно поставил барашка на кошму. Неуверенно переступая на высоких непослушных ножках, ягненок побежал к тырлу. Старик сидел, прислушиваясь к удаляющемуся бляению ягненка. В его глазах отразилась глубокая дума. И кто знает, о чем размышляет старый чабан? Может, он вспоминал то далекое время, когда впервые гнал отару по степи, охваченной бурей революции? А может, слагал новую песню о новой жизни?

1959

•РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ...•

Я взял эти слова из популярной журналистской песни не случайно. Воистину, пути газетчика неисповедимы!

Расскажу об одной такой корреспондентской дороге. Было это давно, в марте 1952 года. Передо мной поставили задачу — организовать полосу из авторских выступлений комсомольцев деревни Сухая Рыльского района, где тогда руководил колхозом известный председатель, дважды Герой Социалистического Труда Федор Павлович Максимов. На поездку, сбор и подготовку материалов мне давалось... три дня.

Я оделся потеплее согласно пословице: марток — надевай трое порток, сел в утренний рабочий поезд и покатил. Пока ехал до Льгова, продумал план полосы. Там пересел на автобус. В заснеженный Рыльск добрались с запозданием. По моим расчетам, я сегодня же должен был попасть в колхоз, с тем чтобы завтра на рассвете вернуться в райцентр к утрешнему автобусу.

Побежал в райком комсомола попросить какую-нибудь машину. Меня сразу же огорошили:

— Какая машина? Занесло все дороги.

— Может, лошадь есть?

— И лошадь не пройдет. По дороге в Сухую лога занесло до самого верха. Ночуйте. А там что-нибудь придумаем.

Как это — ночуйте? Я даже взмок от безвыходности положения. А не позвонить ли в редакцию и сказать, что так, мол, и так, проехать нельзя? Но это означало подвести газету, товарищей. Нет, только не это! И мысль лихорадочно искала решение.

«Льжи!» — вдруг осенило меня.

Льжи мне принесли. Правда, плохонькие, с растрепанными ремнями, но это был все-таки «транспорт». Я заскочил в ларек, купил себе на всякий случай кусок колбасы, булку, запихнул за пазуху и побежал.

Дороги и на самом деле не было никакой. Свежая, волнистая от наметей целина уходила к горизонту. Я ориентировался по теле-

фонным столбам, по пояс утопавшим в сугробах. Других примет пути на Сухую не было.

Экономя строчки, не буду рассказывать, как тяжело, неудобно было бежать в ватном длиннополом пальто, обшитых кожей войлочных бурках, как градом катил пот из-под шапки, как неожиданно рвались лыжные ремни, отнимая драгоценные минуты. Да и лыжник я был не ахти какой, чтобы хвастаться этим своим марафоном.

Времени для передышек не было, и я с тревогой поглядывал на солнце. Это самое солнце беспокоило меня больше всего. От него во многом зависело, какой быть полосе — со снимками или без них. Если приду вечером, то полоса будет слепой. А это нежелательно, это просто плохо, когда на газетной странице один только текст.

Наконец внизу, в широкой долине, открылось долгожданное село. Я надал палками и помчался вниз, вихря за собой легкий морозный снег.

До заката солнца оставалось примерно около часа. Первым делом я попытался сделать снимки. Снял панораму села для заголовка, заглянул на колхозный двор. Мне повезло. Здесь всю кипела работа. Стучали молотки в кузнице, в амбарах пролопачивали семена. Колхоз, несмотря на метели, готовился к севу. Щелкал все, что видел. — потом, думаю, отберу. Наконец багровый шар светила спрятался за косогор, и село окуталось синевой сумерек.

Пошел в правление. Здесь как раз собиралась вечерняя планерка звеньевых, бригадиров. Многие из них были комсомольцами. Разговор был очень важный, интересный, и я, присев в уголке, со вниманием слушал, набирался впечатлений. После совещания, которое закончилось поздно вечером, попросил нескольких молодых парней остаться, чтобы написать с ними нужные мне материалы.

Наконец все было сделано. Я был по-настоящему счастлив. Теперь-то полоса у меня в кармане! Теперь-то все в порядке!

Разошлись часу в двенадцатом ночи. Комсорг предложил идти ночевать к нему.

Я устал, хотелось спать, но ночевать наотрез отказался. А если дороги не расчистят?

И я попрощался, стал на лыжи и пошел из села. Собственно, не пошел, а с трудом поволочил ноги. Да к тому же надо было взбираться на гору.

Шел всю ночь. Встречный морозный ветер жег лицо, руки. Чтобы сокращать путь, пытался не обходить овраги, а пересекать по прямой. Раза два срывался и летел куда-то в снежной кутерьме. Потом искал лыжи, шапку, вытряхивал из-за шивороты снег.

В Рыльск пришел на восходе солнца, неся лыжи на плече: потерял один ножной ремень. Завернул в безлюдный еще райком ком-

сомола, бросил ложки в угол, побежал на автостанцию. Автобус урчал, готовый отправиться. Только во Льгове, ожидая поезд, вспомнил, что у меня за пазухой колбаса с булкой, которые я пронесил почти сутки. Съел и выпил подряд девять стаканов чаю! Такая одолела жажда. Потом завалился на полку вагона и проспал как убитый до самого Курска. Приехал домой в семь вечера. Всю ночь готовил полосу: проявлял пленку, печатал фотографии, обрабатывал выступления комсомольцев-колхозников. А утром материалы и снимки уже лежали на столе редактора.

Я рассказал это не в свою похвальбу. Другие товарищи по газете, возможно, тоже могли бы припомнить подобные случаи. А то и поинтереснее. Я руководствовался главным образом той мыслью, чтобы показать нашим читателям, как порой добываются те строчки, которые предстают перед ними каждое утро на страницах свежей газеты, еще пахнувшей типографской краской. Не знаю, как другим, а нам, газетчикам, очень приятен запах этой самой краски.

1969

ГАРМОНИЯ СТИЛЯ

— Евгений Иванович, в издательстве «Советская Россия» у вас вышла новая книга «За долами, за лесами». Как она рождалась?

— Книга сеялась, сеялась и высеялась... Она сложилась из рассказов, тщательно отобранных. Рассказ удачным получается тогда, когда писатель как можно меньше выдумывает. Рассказ — это что увидено, пережито. Содного погляда он не получится.

— Что вы скажете о рассказе как жанре литературы?

В рассказе, как в любом жанре искусства, неизбежна специализация. Ни один художник не может написать рассказ обо всем: вчера — о рабочих, сегодня — фантастическое, завтра — о колониальной политике. Он, конечно, может это сделать, но успех придет только тогда, когда напишет о том, что хорошо знает.

Специализация неизбежна. Она имеет свой резон — дает возможность литературе выиграть во времени, в решении тем: что мне ехать в деревню, если я там живу; или зачем мне ехать в Магнитогорск, если я там не живу. Специализация ускоряет процесс познания жизни. Знание темы — очень важно: если знаешь и любишь народ, нужно знать и «болезни» его.

У меня четыре книги не были специализированы, я их считаю расплывчатыми, неконкретными. И они никого не трогали. Стоило написать только два рассказа, социально звучащих, — и все журналы откликнулись. Это говорит о том, что когда пишешь вообще, никого не задевает. По-моему, такое было и с другими писате-

лями. Жизнь заставляет отбрасывать побочные темы, брать главные, которые составляют основу творчества.

— *Что приводит вас к мысли написать рассказ, как вы всматриваетесь в жизнь?*

— Вещь непременно должна быть продуманной.

Рассказ может быть написан сразу, по непосредственным впечатлениям, и написан по старым впечатлениям, отложившимся в складках памяти. Правил о том, как рождается рассказ, не существует. Как-то написал я рядовой рассказ — «На рассвете» — традиционный по замыслу: как предполагает начать свою работу человек, выбранный председателем. В разговоре председателя и матери речь идет о несоответствии жизни в городе и в деревне. Если в городе ботинки стоят два рубля двадцать копеек, то в деревне — три рубля.

Сейчас правительство уравнило цену, а раньше было так, хотя непонятно почему.

Мать рассказывает, как одна женщина выложила две пачки сотенными за одну шубу. Для нее это удивительно; на такую сумму она могла бы купить корову или дом... То, как была куплена шуба, — тема нового рассказа. Зарождение новой темы — как ветка, на которой три почки: одна засохла, другая, а из третьей развились листочки...

В рассказе «На рассвете» большое место отведено разговорам, это опасно: можно впасть в болтовню. Так случилось с моей повестью «Затмение луны». Первая часть, я считаю, получилась — в ней мало болтовни; вторая часть — слабее. Мы почему-то считаем, что искусство должно поучать слушателя, читателя. Это исходит из нашего желания получить поскорее результат от воспитания. Но мы забываем, что назидание надоедает. «Шуба» — рассказ, как мне думается, удачный именно потому, что в нем нет назидания.

— *Как, на ваш взгляд, формируется внутренний мир писателя?*

— Опыт писателя, его внутренний мир формируется из частного опыта. Важно, как он провел детство. Детство занимает постоянное и важное место и в творчестве. Это — первооснова формирования мировоззрения. Дальше — от обстоятельств: куда повлечет тебя жизнь.

У меня все это происходило довольно своеобразно. По природе я — романтик. У меня были игры, которые сам придумывал. Было увлечение кораблями. Были Майн Рид, Жюль Верн. Была потребность души в высоких сферах, хотя детство было голодное и полураздетое. Я научился рисовать стихийно. Это тоже была попытка удержать в своих руках человека, воспроизвести его. Но это не сделало меня художником-романтиком. Когда я

работал в областной газете, стал писать. Сейчас могу сказать, что это были вещи легкомысленные, незрелые, несамостоятельные, робкие.

— *Вы так же, как и Виктор Астафьев, были на войне. Почему для вас эта тема не стала главной, как у Астафьева?*

— Видите ли, я не чувствовал себя достаточно зрелым для того, чтобы взяться за тему войны. О войне хочу написать по-своему, никого и ничего не повторяя. В замысле — повесть о солдате, о том, как в период отступления он шел деревнями и нашел ребенка, которого взял с собой... Это своеобразное понимание темы, когда и выстрелов нет, а война: состояние бойца, гуманные качества характера, через это показать силы народные... Наиболее свободно я себя чувствую на «деревенской» теме. Мое романтическое воспитание каждодневно сталкивалось с суровыми картинами быта. Родственники по материнской линии у меня и сейчас живут в деревне: все они прожили трудовую жизнь, когда я приезжал, видел, как нелегко им все досталось. Кроме того, поскольку я был газетчиком, много ездил. В общем, могу сказать: о деревне знаю все — что воткнуто в застрехе, где сверчок живет, чем топят, что едят... Так что личный деревенский опыт в сочетании с конкретным опытом жизни — может питать еще долго.

— *Вы много ездили, много видели. Что вас больше всего поразило, запомнилось?*

— Поражает не то, что хочется, чтоб человека поразило. Меня поразила старушка, продающая цветы, которую я видел десять лет назад. И до сих пор на том же месте она продает цветы.

Я видел Кижки. Они меня не поразили, хотя, конечно, могу сделать вид, что удивлен.

— *Как вы стали литератором?*

— В литературу потянуло потому, что это оказалось моим подлинным призванием. Хотя, конечно, бывает: даже если ты и хочешь стать писателем, это не всегда близко к исполнению. А бывает, что ты и не думаешь, а становишься им.

— *Всегда ли вы получаете удовлетворение от своего труда? Можно ли сказать: ваш труд — ваша радость?*

— Очень часто мне кажется, что рассказ не получился, и вместе с тем у меня не было ни одного забракованного рассказа. В основном я всегда сам чувствую, что у меня так, а что не так. Могу сказать о своей вещи, как о чужой. Я работаю так: двадцать листов в корзину, один — в дело. Пишу строка к строке — если она корявая, не могу писать дальше. Получается сразу как бы начистую. Если я страницу перевернул, к ней уже не возвращаюсь. Очень много читаю себе вслух написанное, чтобы не обрывался музы-

кальный настрой, определенная интонация. В каждом рассказе должен быть фон музыкальный, первые два абзаца настроены на определенную волну. В рассказе «За долами, за лесами» первые фразы — настроечные. Если эти фразы уловлены, рассказ будет прочитан. Это та самая стилистическая магия, когда мысль внутренняя, глубоко спрятана; та гармония стиля, которая критиками почти не оценивается. Отсюда и моя производительность: самое большое, о чем я могу мечтать, — три рассказа в год; и каждый рассказ как бы от другой матери. В общем, написать рассказ — все равно что родить ребенка. Зато уж потом, когда работа сделана, — тебе легко и все тебе друзья.

1968

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА IV СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Меня причисляют к писателям-«деревенщикам». Хотя я и не разделяю такой искусственной градации, тем не менее действительно черпаю свое вдохновение в «поэзии российских деревень».

Еще в начале шестидесятых годов в рассказе «За долами, за лесами» свою курскую землю, в отличие от рубленого, деревянного Севера, я называл соломенно-плетневой Русью. Поезжайте по Курщине теперь! За десять с небольшим лет тысячи сел перестроились заново. Нынешнее село, не говоря уже о самих колхозах и совхозах, стало ненасытным потребителем гвоздей, стекла, цемента и особенно красок. И меня по-хорошему волнует эта разбуженная потребность нашей деревни в цвете, звонких красках, в радости бытия. В решениях мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС, помнится, ничего не говорилось специально о красках, тогда решались самые насущные проблемы села, а смотрите, какие непредвиденные ответвления и побег дала жизнь, как повернуло ее к эстетике, когда намечены верные решения в самом главном!

Всего о нынешней деревне не рассказать в коротком выступлении. Об этом нужны не разговоры, а книги. Книги нужны не только для того, чтобы отобразить эти перемены, но и затем, чтобы поразмыслить над новыми проблемами, которых несколько не убавилось.

Так вот — о книгах. Несмотря на остроту и важность многих и многих проблем, книг о современной деревне, на мой взгляд, маловато. Нет у нас теперешних, сегодняшних «Районных будней», «Липягов», «Капли росы», коими зачитывались мы еще совсем недавно.

Настоящий художник не может позволить себе пописывать просто так, ради одного удовольствия, тем паче без всякой связи

с жизнью, пренебрегая ее течением. Он живет и борется в литературе не ради самой литературы, а — через ее посредство — ради утверждения жизни и справедливости.

Русская литература — думающая, выстраданная, она заставляла думать и свой народ, являясь его нравственным и эстетическим зеркалом. Никакой другой литературе в мире так не верил никакой народ, как верил своей литературе народ русский. Так уж исторически сложились роль и значение художественного слова в народных чаяниях и надеждах! <...>

Советская литература полностью переняла эту высокую миссию от своей классической предшественницы. Взятая на вооружение Коммунистической партией как средство воспитания народа, она с неослабным вниманием вглядывается в жизнь, познавая простого человека труда, его нравственные и духовные глубины. <...> Гражданская заинтересованность нашей литературы в делах страны такова, что, честное слово, по многим лучшим ее проблемным произведениям можно смело принимать государственные решения.

Недавно в «Комсомольской правде» лауреат Ленинской премии журналист Василий Песков писал:

«Агроном и писатель Гавриил Николаевич Троепольский публично предупреждал: «Осушение земель в нашем краю пониженной влажности — большая ошибка. Надо остановиться!». Не послушались. Продолжали искать «резервные гектары» для пашни там, где искать их не следовало».

Василий Песков из-за недостатка места не сказал, но я знаю, как этот мужественный писатель, Гавриил Троепольский, один сражался против неразумной кампанейщины на протяжении ряда лет и какие синяки и шишки получил он в этой неравной схватке. Но не отступился.

А в общем, дорогие товарищи, во многих наших достижениях на сельскохозяйственных рубежах есть немалая писательская лепта — тех самых озабоченных буднями нашей деревни писателей, которые не глядели ни на какие синяки и шишки ради главного — блага нашего народа, благополучия нашего государства.

В специальном постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» исчерпывающе разъяснено, какой должна быть наша критика. Я лишь в заключение скажу следующее: писатель — это огромная всенародная ценность. Я позволю себе сравнить его с пахотным полем, которое в хороших, умелых руках, при бережном его возделывании будет долго и плодотворно давать устойчивые урожаи.

1975

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РСФСР

Как писатель я черпаю вдохновение в своем курском соловьином краю. Я переносил на страницы книг образы простых людей, которых встречал на пашнях и в избах, людей, заровнявших воронки и окопы недавней войны и вновь обративших поля сражений в поля мирного созидания.

Я ставил перед собой весьма скромные творческие задачи, довольствовался рассказом или маленькой повестью и вовсе не рассчитывал, что они получат столь теплый прием за пределами Курщины. Но, оказывается, я ошибался, недооценивая душевной чуткости и тонкости остального российского читателя, порой удаленного от моего писательского стола на тысячи километров и раскрывавшего книгу где-то за далью сибирских лесов, за степной ширью Дона и Кубани.

Присуждение Государственной премии РСФСР было для меня волнующей неожиданностью. Это высокое и всенародное признание окрыляет, придает новые силы и желание поскорее вернуться к своему писательскому верстаку. Но вернуться уже с еще большим чувством ответственности перед читателем, который, как я теперь понимаю, внимательно следит за каждой моей строкой.

Что я собираюсь писать в самом ближайшем будущем? По-прежнему откликаться на злободневность, на сегодняшние запросы нашей жизни. Как писатель-фронтовик время от времени буду писать о войне. Но не просто о баталиях, а стараться выявить новые и новые духовные сокровища советского народа, одолевшего самое злобное, самое кровожадное чудовище во всей истории человечества.

И по-прежнему буду писать о деревне, поскольку тема «человек — земля» самая любимая, самая волнующая для меня, являющаяся чутким исследовательским инструментом социальных и нравственных проблем. <...>

1976

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА V СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Дорогие товарищи! Как вам известно, меня и еще некоторых писателей причисляют к так называемой «деревенской прозе». Получается так, что существуют просто писатели и просто поэты, свободные граждане нашей литературы, которые вольны избирать любую тему или же вовсе не избирать никакой. И никто с них за это ничего не спросит. И существуем мы, «деревенщики», с которых спрашивается многое. Правда, говорят, что назвали нас так вроде бы не совсем удачно, обещали чем-то заменить это название.

но оно так и присохло. Ходить в «деревенщиках» уже тем неудобно, что за провинность одного из нас критики секут всю деревенскую прозу оптом. Так сказать, для профилактики. Так что писателей названного профиля украшают не только книжицы и книжки, но и не проходящие синяки и шишки. Однако надо полагать, что это придаст им определенный запас гражданской прочности. Не знаю, по этому ли поводу в Воронеже некогда ходила присказка, что, мол, за одного Кочербитова двух Некочербитовых дают..

Сколь помню послевоенную «деревенскую прозу», с самого ее зарождения (а родоначальником таковой справедливо будет считать Валентина Овечкина). столь же давно подвергается она на своем пути постоянным нападкам всякого рода перестраховщиков и ревностных радетелей бесконфликтности в литературе. И такие нападки понятны и диалектически закономерны, потому что уж больно щекотлива и непроста деревенская тематика, как непростой оказалась сама жизнь, ее породившая.

Эти перестраховочные нападки начались еще с самого Овечкина, когда тот, одержимый страстью переустройства нашей деревни, еще не сняв окопной гимнастерки, написал свою горячую и благородную повесть «С фронтовым приветом», во многом предопределившую его «Районные будни». И вот что начертал на ней некий критик:

«Пысанина т. Овечкина... лежит по-за межами художной литературы. Це наскризь шкидлива и ворожа пысанина...»

И это обвинение было брошено писателю-коммунисту, кто еще юношей в начале двадцатых годов возглавил коммуну и был ревностным устройтеlem колхозной жизни до последнего своего часа.

Вспоминается и тот момент, как перепугались издательские чиновники, когда Валентин Овечкин положил на их стол первые, дышащие жаром овечкинского сердца главы «Районных будней». «Что вы! Как можно! Это же против нас!» — воздели они руки. И лишь редакция «Правды» сразу поняла, о чем эти волнующие страницы. Помню, как в те дни «Правда» передавалась из рук в руки, словно окопный «боевой листок», а Валентина Овечкина наперебой зазывали на партийные собрания в райкомы, колхозы, совхозы и машинно-тракторные станции. А какая шла к нему почта! Ежедневно на крыльцо его льговского дома поднималась замотанная почтальонша, грохая на стол тяжеленную сумку. — так рукоплескала страна мужеству и негибавшей отваге писателя.

Был период, когда местные воронежские чины не подавали руки Гавриилу Николаевичу Троепольскому за его повесть «В камышах». Не здоровались потому, что агроном и писатель Троепольский публично предупреждал: «Осушение земель в нашем краю пониженной влажности — большая ошибка. Надо остановиться!» Не послушались. Продолжали спрямлять реки и речки, обезвоживать луга, тем самым неразумно высушивая не только землю, но и душу самого земледельца.

Возможно, лауреат Ленинской премии журналист Василий Песков помнит эту печальную историю и то, как ему пришлось выручать писателя через «Комсомольскую правду», где в поддержку Троепольского была напечатана серия очерков против бездумной политики спрямления рек и самонадеянного обращения с природой.

Текла по нашей курской земле речка Полная. Одно только название чего стоит! Пол-на-ая! И верно, вода в ней стояла вровень с берегами. И колыхались, млели, благоухали по ее лугам тучные травы, отъедались на этой вольнице колхозные стада, вольготно обитали здесь выдры, норки, дикие утки, а тем паче всякая рыба.

Но вот и до Полной дошел мелиораторский зуд. Кому-то не понравилось, что речка делает по лугу всякие выкрутасы, занимает много полезного места. Понаехали экскаваторы, бульдозеры, кусторезы, гусеничные мотыги и прочая рекоспрямляющая техника. Речку Полную всем скопом быстро обуздали, вытянули в струнку, более чем на метр понизили ее уровень, а тем временем заодно осушили окрестные старицы и болотца, срезали наголо все кустики и поемные ольховнички, и стало вокруг лысо, голо и сиротливо, как на луне. И скорбно бежит теперь по этой выутюженной луговине уже не Полная, а переполовиненная, униженная и спрямленная река, обложенная глиняными безжизненными отвалами. Говорят, будто бы у входа в новое русло перерезали ленточку и трубы играли туш, и это должно было символизировать победу над стихийными и неразумными силами природы. Но была ли победа? Не рано ли было бить в барабаны? Посеяли на том нивелированном лугу клевер. Однако клевер вымок и вымерз. Тогда посеяли свеклу. Свекла тоже не прижилась. Пробовали занять луг еще чем-то, но и тут ничего не получилось. Должно быть, не хватило ума и уменья. И тогда плюнули и махнули на все рукой. И поперла по лугу колючка, задымила по осени зловещим пухом. Потом долгие годы на Полной — ни зверя, ни птицы, ни рыбы, ни травы, ни стогов, ни овощей. Одним словом: спрямили!

Я рассказал о Полной на тот предмет, что подобных мелиораторов напоминают некоторые наши критики. Уж очень им иногда не терпится выправить того или иного писателя. Приложивши аршин, сделать так, чтобы река творчества не петляла, на их взгляд, излишне прихотливо и своенравно меж естественных берегов народной жизни, а чтобы мчалась она без всяких излишеств, никуда не сворачивая, по четко отшнурованному руслу.

Подобные попытки выправить творческое русло писателя не единожды предпринимались по отношению к таким зрелым и глубоко мыслящим художникам, как Александр Яшин, Федор Абрамов, Василий Белов и Виктор Астафьев, Василий Шукшин и Сергей Залыгин. В чем только их не обвиняли: и в упоении

патриархальщиной, и в искажении правды, и в незнании психологии современного крестьянина, и вообще в отрыве от современности. Как тут не вспомнить былые рапповские замашки, когда вот так же обвиняли во всех смертных грехах первого нашего «деревенщика» Михаила Шолохова!

Не так давно среди писателей-«деревенщиков» были приняты новые выправительные работы. Я имею в виду минувшую дискуссию о путях развития «деревенской прозы».

Эта, с позволения сказать, дискуссия началась примерно так, как зачинаются ночные уличные потасовки. Сначала выпускают юнца, и тот, перегородив дорогу ничего не подозревавшему почтенному отцу семейства, нахально требует: «Дай закурить!» И если прохожий мешкает, юнец наотмашь бьет его по физиономии.

Именно с таким умышленным зачином и был выпущен на перекресток, по первому впечатлению, не вполне совершеннолетний зачинщик. Для нанесения превентивного удара он имел при себе нижеследующее (цитирую):

Первое. «Как ни странно, наша «деревенская проза», почитающая себя народной, демократической и стихийной, проявляет одновременно некий снобизм, аристократизм, пренебрежение к «черной» стороне жизни, не связанной с хрестоматией».

Второе. «Почему не помнят ревнителю «элитарно-деревенской» школы, что путь искусства, скажем, толстовского, проходил через политику и экономику тоже?»

Вот такие две пощечины!

И лишь потом до вас вдруг доходит, что тут, в этих цитатах, что ни слово, то вызывающая ложь, что ни поворот мысли, то оскорбительное извращение.

Во-первых, это что же за этакое чучело — народная стихийно-демократическая проза? Ничего себе ярлык! Так и чудится за этими словесами патлатая, расхристанная фигура батьки Махно.

И я даже мысленно не могу представить в рядах этой расхристанно-стихийной литературы таких последовательных борцов за общенародное и общегосударственное дело, какими являлись и являются писатели Валентин Овечкин, Гавриил Троепольский, Леонид Иванов, Сергей Крутилин, Федор Абрамов, Сергей Викулов, Михаил Алексеев, Анатолий Калинин, Виталий Закруткин, Сергей Зальгин, Петр Проскурин, Василий Шукшин многие, многие другие почтенные писатели-«деревенщики».

Вот она, подлинная полевая гвардия! Других школ я не знаю. Выходит, что это они проявляли снобизм, аристократизм, пренебрежение к «черной» стороне жизни? И вообще — что подразумевается под этой «черной» стороной? Уж чернее борозды, чернее и потливее этой крестьянской работы быть ничего не может. И вышеупомянутые писатели тем и завоевали всеобщее признание, что

постоянно и непременно окунались в самую гущу, в самую «черноту» повседневной жизни и труда своего народа.

Это они-то оказались ревнителями «элитарно-деревенской» школы? Это они, что ли, создали и создают летопись преобразования советской деревни, одновременно прячась от политики и экономики?

И разве можно всерьез воспринимать нижеследующее: «Русская литература всегда была равнодушной к тому пласту жизни, где зарождалась политическая, государственная идея, а писала «маленького человека» — станционного смотрителя».

Позвольте, кто мог сказать столь вопиющую неправду? В том-то и дело, что особенностью русской литературы, поставившей ее в ряды крупнейших литератур мира, как раз и является то, что она с самых своих начал не была развлекательной словесностью. От «Слова о полку Игореве» до «Войны и мира» русская литература пронесла через века священный образ Родины и думы о ее судьбе.

Что же касается советской литературы, в том числе и деревенской, то можно с гордостью сказать, что мы сегодня оставляем потомкам такое художественное наследие, по которому, как по самым достоверным источникам, можно изучать и нашу историю, и нашу политику, и экономику, и духовную культуру.

Я не знаю, в каких застольях услышаны подобные сентенции, но могу с полной гарантией сказать, что приведенные цитаты никакого отношения к «деревенской прозе» не имеют, а следовательно, и не имеют права быть вынесенными на общественную дискуссию. Равно как и то утверждение, будто «наша литература не торопится заметить Нечерноземье» и вроде бы «она даже недовольна самим термином «Нечерноземье», полагая, что весь набор политико-экономических преобразований слишком мелок, сиюминутен, «нелитературен», недостойн «фиксирования».

Тут уж воистину «це наскризь шкидлива и ворожа пысанина».

Посрамив таким образом «деревенскую школу», погрязшую, как утверждается, в лени и «желании духовного комфорта, легкого хлеба и приятного вернисажа», устроитель потасовки сжалился наконец и решил трудоустроить некоторых представителей «деревенской снобической школы». И даже сообщил адресок. Где-то в Рязани (цитирую): «...оператор на диспетчерском пульте, нажатием клавиш дающий и отнимающий воду у целого сельскохозяйственного района, — вот объект для нравственного исследования». И далее сказано: «Неужели словотворческий дар Белова... отступит перед этой задачей? Неужели эпическая прозорливость Распутина и Астафьева сомкнет веки перед этим «технократом-крестьянином»?»

Вот так вот... Дескать, вставай, Распутин, поднимайся, Астафьев, неча пребывать в духовном комфорте и есть легкий дармовой хлеб... Что вы там сейчас сочиняете? Это все ваше подождет, это не

главное. А главное — ступайте под Спас-Клепикн и опишите оператора кнопочного полива.

Как видите, тут все наивно и инфантильно. Если в конечном счете не грустно. И хочется в ответ сказать: не балуй, парень, словесными кнопками...

Рановато нам разговаривать со своим народом на железном, легированном языке, к чему так страстно призывает зачинатель дискуссии. Рано! Не поймет нас простой рабочий люд. Да и никогда не поймет нечеловеческого лязгающего языка. Все это от лукавого.

Так же как от лукавого и все попытки некоторых слабонервных критиков спрямить течение художественного процесса, упростить его, зарегулировать трубами, каналами, акведуками и кнопками.

По поводу такого спрямления позвольте в заключение прочитывать стихи известного нашего поэта, только что напечатанные в «Комсомольской правде»:

*Есть прямота, как будто кривота
Она внутри самой себя горбата
Жизнь перед ней безвинно виновата
За то, что так рисунком непроста*

Партия избрала нас, писателей, себе в помощники по духовному воспитанию народа. Планы партии вдохновляющи, задуманное ею грандиозно. Вот почему мы должны быть выше всяких школ и школок, выше надуманных и мелочных противостояний. Вот почему мы обязаны объединить свои силы для воплощения в жизнь общенародных чаяний.

1980

ПРОБЛЕМЫ «ПРОВИНЦИАЛЬНОГО» ПИСАТЕЛЯ

На нашей курской земле существует какая-то тайна: не заводится у нас литературная грибница. Писательская организация есть, в ней тринадцать человек, средний возраст — пятьдесят семь лет. Давно создано и литературное объединение. Правда, литературное объединение сначала было не «чисто курским», входили в него Брянск, Тула, Орел. Но центр был у нас, сюда приезжали на собрания, потому что тут было мощное, еще довоенное ядро. Позже начался процесс отпочкования, мы все стали самостоятельными.

Курскую область в стране знают. Она производит железную руду, сахар, электроэнергию, но главная статья нашего экспорта, как ни странно, — рабочая сила. Мы до сих пор даем объявления по переселению, несмотря на то, что сами испытываем дефицит в рабочих руках и приглашаем на КМА молодежь из других союзных республик.

Однако в Карелии, Калининграде, на Дальнем Востоке, на Камчатке — курянин на куряnine. И молодые писатели не исключение. Они начинают с азов, с кружков, мы их поддерживаем, а как только становятся на ноги, возникают проблемы с квартирами, трудоустройством, публикациями. Мы упираемся в простые житейские вещи и помощи у власти предержавшей часто не находим. Недавно был случай: приняли человека в Союз писателей, встал вопрос, чтобы он переехал из района в областной центр. Идем к начальству просить квартиру, получаем отказ. Что ж, молодой писатель уехал из области, нашел себе другое место жительства. Много рассеялось наших: Убогий, Трошин, Евсеев — это только за последние годы. Иван Евсеев у нас учился в педагогическом институте, писал стихи, пробовал писать прозу. Как-то пришел с рассказом «Сено». Звонкий рассказ получился, просторный. С ним он поехал в Москву. Залыгин сразу взял его в Литературный институт. После Литинститута Евсеев вернулся в Курск, у него семья здесь, но не встретил понимания... Помыкался, помыкался и уехал. Теперь заведует отделом в журнале «Подъем», печатается, его имя на слуху.

Такое отношение у нас не только к молодым писателям. С Овечкиным и то проблема. Очень долго ходили по разным инстанциям, чтобы назвать улицу его именем. Но нам не то чтобы отказывали, но упорно отмалчивались. Напишем бумагу, изложим соображения — а бумагу под сукно. И с Овечкинскими чтениями тоже шло со скрипом, опасались, вдруг они выльются неизвестно во что.

Нельзя вокруг памяти Валентина Владимировича Овечкина взяться за руки и танцевать какие-то лялюшки. Не тот это человек. И мы не вправе его забывать: принципиальные вопросы, которые он поднимал в своих произведениях, к сожалению, временем еще не сняты. И не секрет, что некоторым ох как не хочется до сих пор вспоминать об Овечкине.

У нас в здании писательской организации стоит бюст Овечкина. А ведь место ему на улице, чтобы люди видели, могли поклониться. Он всей своей судьбой заслужил это. Бюст к установке готов. Мы нашли его в художественном фонде, в хламе, стоял никому не нужный. Почему его не выставил художник в свое время? Нельзя было, это Овечкин, он стрелялся, Би-би-си передавала, что он стрелялся. Мы с Голубевым раскопали этот бюст, притащили сюда, и, как беглый в посольстве, скрывается он у нас. Значит, кое-кому до сих пор спокойнее не привлекать внимания к имени писателя-коммуниста Валентина Овечкина, не тревожить его взрывоопасных для бюрократов идей.

В годы застоя у многих молодых было отбито желание заниматься литературой, потому что они не могли себя реализовать.

Да и жалкое зрелище — жизнь провинциального писателя. Это особая жизнь, немосковская. Читаю рецензию на фильм о Ломоно-

сове, начинается она с того, что в те давние времена все зависело от того, как поведет бровью стоящий над тобой, от кого ты зависишь... А в провинции много ли изменилось? Вот как поведет бровью высшее областное начальство, так и определится твоя судьба. Причем бровь эта всегда очень пристально наблюдает, как бы чего писатель не выкинул. Наше государство устроено централизованно, и все ориентированы на Москву. Поэтому если писатель живет в области, то местное начальство, как правило, его не признает писателем качественным. Раз ты живешь на периферии, раз ты не в Москве, значит, ты — Ванька. Очень надеюсь, что произойдут перемены, двери приоткроются. Начинают приоткрываться. Но все же нас, писателей, держат на определенном расстоянии. Числимся на уровне обыкновенных чиновников: одни, допустим, по почтовому, а эти по писательскому ведомству, но не больше. Эдакие областные писари.

У нас в Курске писатели — люди немолодые: шесть участников войны, инвалидов трое. Я, кстати, не инвалид, хотя и покуроченный на фронте, но не хочу ходить, шапку ломать. За других пошел, по простому житейскому делу. В магазинах очереди, с продуктами тяжело, писатели старые, у них больные жены. Женщины как-то быстрее выходят из строя, мужики крепче, а на женщинах — и базар, и стирка, и внуки. Так вот, попросил я за них: прикрепите куда-нибудь — ни красной, ни черной икры, никаких изысков не надо, кусок мяса, скажем, ну, творога... Говорят: вам дашь, тогда и художники придут, актеры — на всех не напасешься...

Курские писатели — люди не зажиточные, вынуждены жить таким циклом — через семь лет одна книжка. Трудновато. С базара не прокормишься.

Сошлюсь на свой пример. Полмиллиона в год дают мои книжки государству чистой прибыли, и не требую я ни станка, ни экономистов, ни электроэнергии, ничего — только тишина и лист бумаги. Ну, представьте, корова чистой голландской породы, а сена ей не дают. Что же с нее молока-то требовать...

Нет пророка в своем Отечестве... А стоит кому-то из Москвы появиться, проездом в Саратов, его в обкоме партии принимают. Как же — московский литератор!

Или приезжает делегация — человек шесть-семь, посещает наш местный союз, а в обком пойдем — начинается сортировка: вы проходите, а вас не надо. С ними беседуют, а мы возле дверей на улице ждем.

Когда говорим, что в Весьегонске или Старице издавались журналы, то и Москву не грех вспомнить. Двадцать детских изданий было, а сейчас остались «Мурзилка» и «Веселые картинки». Стыдно. Раньше на все сословия выходили журналы, и цены разные были. Были люди не просто только энтузиасты, а просвещенные люди. От них исходило это благо, они многое брали на себя. А у нас на

бытность, а через полгода становятся неузнаваемыми. Стыдятся своего происхождения, стыдятся спеть, стыдятся родных мест и отца с матерью.

Я думаю, серьезнейшие вопросы мы сейчас поднимем. Все ориентированы на Москву, один «Огонек» получает десять тысяч рукописей в год. Москва завалена рукописями, а, скажем, Воронежское издательство — к нему отношение как к издательству второго сорта. Если там будешь напечатан, то не будешь замечен. Никакая критика не обратит внимания, книга будто бы и не выходила. Нужны усилия, чтобы издательства, все без исключения, имели равные права. И в оплате гонорара тоже. И еще — местный произвол чрезвычайно велик, там могут «порезать», как хотят. А что творится с журналами? В Новосибирске более-менее дела обстоят благополучно. «Сибирские огни» — старый, с хорошими традициями журнал. Он многое брал на себя и удовлетворял и писателей, и читателей. А в центре России что мы имеем? «Дон» — на восемь крупнейших областей и краев. «Волга»?

У нас часто говорят о серой литературе. Когда оратор говорит о серой литературе, он автоматически себя исключает: он не серость, а серость те, кто сидят в зале. И все начинают оглядывать друг друга: кто же серость? Это к перестройке имеет прямое отношение. У нас промышленность на юдживении у государства. Все хватают государство за лацканы: «Дай! Дай! Дай!» А нужно, чтобы государство содержалось промышленностью. В переложении на издательское дело — писатели на шее у государства. Все «дай, дай, дай», ломаются в издательства, в разные инстанции, и конца этому не видно. Здесь нет саморегулирования. Серость тогда вымрет, когда издательства перейдут на самокупаемость. Закон самосохранения будет работать очистительно... К слову, об изданиях. Я член редколлегии «Роман-газеты». Присылают мне список произведений, которые хотят издать. Смотрю, очень многих авторов не знаю. Но я должен выбрать двадцать из них и еще десять кандидатов, а всего в списке примерно человек сто двадцать. Прочитать все, что они написали, невозможно. Тогда я начинаю отбирать по такому принципу: «Ага, этого я знаю, мы куда-то вместе ездили, с этим тоже что-то связано», и я выписываю эти фамилии. А если я отказал, авторы идут к Ганичеву, главному редактору «Роман-газеты», он отказал — идут в Госкомиздат. Тот, кто очень хочет и умеет, дойдет наконец туда, где ему дадут «добро». Только тот ли это будет автор? «Роман-газета» — привлекательное издание, никаких пошлин не берет, никакие сорок, шестьдесят процентов в том случае, если эта вещь уже не однажды публиковалась, не действуют, а тираж полтора-два миллиона. И, как мухи, летят на это издание писатели. А для того чтобы такое положение дел изменить, надо дать

самому изданию право выбора, для этого ему нужен новый статус. Например, читатель, следя за журнальной и книжной продукцией, должен сам выбрать эти двадцать фамилий и прислать в издательство открытку. Разумеется, это один из вариантов.

Опасно, когда хорошее начинание сводится к мероприятию. Тогда вокруг него появляются ловкачи, проныры, бюрократы и прочий люд. А практика семинаров, когда начинающие встречались с людьми опытными и все это было незаорганизованно, существовала. В Чите в шестьдесят пятом году мы собрались на региональное совещание писателей Сибири и Дальнего Востока. Семинар длился примерно семь дней. Я могу назвать его результаты: Валентин Распутин, Александр Вампилов, Вячеслав Шугаев, Геннадий Машкин. Все эти ребята прошли через мои руки. Саша Вампилов читал свою первую пьесу, которая называлась «Ярмарка», уже потом она появилась как «Прощание в июне». Была первая читка у Геннадия Машкина. Он представил на семинар «Арку» и «Белый пароход».

1988

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

— *Довольны ли вы своей издательской судьбой? Как вы оцениваете книгоиздательскую ситуацию в стране?*

— Утверждение Франсуа Мориака о том, что гении, рожденные в провинции, едут умирать в столицу, имеет, видимо, тот смысл, что душа галльского поэта не может достичь совершенства вне прелестей блистательного Парижа — без триумфальной устремленности Елисейских Полей, дымковой легкости творения Эйфеля, без феерических бульваров, тонущих в смеси ароматов от Кристиана Диора и лимузинного бензина и, конечно, без этого пьянящего очарования мимолетных взглядов и улыбок, внушающих божественное чувство возвышенного парения.

Что и говорить. Париж прекрасен, и в нем во все времена найдется то сокровенное, ради чего готовы отдать свои жизни вождельные барды. И все же древней Лютеции куда как далеко до нашей матушки Москвы, если сравнивать их по числу скопившихся тут служителей изящной словесности. На сегодня официально учтено свыше двух тысяч столичных профессиональных авторучек, не считая прочих разных любительских самописов и самописок. Это примерно столько же, сколь разбросано оных по всей остальной Руси от Куршской косы до Берингова пролива. Если в самой России один сочинитель приходится на тысячу двести квадратных километров, то в Москве невозможно бросить какой-либо предмет, не попавши в такового.

В иных московских пределах, например в Переделкино, скопление гениев и дарований достигает зоопарковой плотности. Человек с вдохновенным взором здесь столь обыкновенен, что каждого из них, стоящего в очереди за недозрелыми помидорами, знающая всех в лицо стационарная продавщица может бесцеремонно одернуть: «Нечего копаться, бери подряд, не Пушкин поди...» И человек терпит, не важничает, берет, что дают, что выделяют на творческий контингент.

Московский гений готов терпеть и гораздо большие унижения и неудобства, нежели нелюбезность овощной продавщицы. Так, по результатам последней ревизской сказки, хранящейся в анналах Московской писательской организации, тридцать один процент, то есть почти каждый третий московский сочинитель, не имеет даже личного письменного стола, главного своего пристанища, и творит, как правило, в ночное время на кухонном столе среди кастрюлек.

Да простят меня Большой театр и оба МХАТа, овеянный легендами Тверской бульвар и окуджавский Арбат, родной брат парижского Монмартра, простят меня Останкинская башня и Алла Пугачева тож, но, увы, все-таки не ради них рвется в столицу и обременяет ее своим скученным присутствием российский сочинитель, не ради московских красот и достопримечательностей бросает он в провинции жену и родных деток, вступает в поспешный брак с московскими метровладелицами или тайно ютится на брошенных зимних дачах; не ради «божественного чувства высокого парения» идет он на всяческие прописочные ухищрения и вовсе не для того, чтобы умереть в столице вообще, как к тому стремится каждый патриотически настроенный француз, а заставляет его идти на все эти мытарства и лишения сложившаяся книгоиздательская ситуация в стране. И уж если придется ему умереть, то он предпочел бы — у порога какого-либо столичного издательства.

Все это вовсе не гротеск, а реальная, зримая гримаса нашей всеобщей зацентрализованности, поразившей в том числе и книгопечатное дело.

Великий экспериментатор Никита Хрущев, не любивший лошадей, парусники и поэтов, под конец своего экспериментаторства взял да и прихлопнул почти все областные книжные издательства и альманахи, служившие живительными отдушниками немалому числу российских литераторов. Трудно теперь судить, почему он так поступил, кто подсказал, надоумил сотворить такую злую поруху. Некоторые полагают, будто Хрущев сделал это в отместку, посорившись с непослушной интеллигенцией. Трудно судить, ибо сказано: «Чужая душа — потемки...»

Как бы то ни было, а злополучный вентиль, дотоле исправно подававший кислород периферийному книжному делу, был роково

повернут. И с тех пор литературная Россия стала медленно хиреть и задыхаться.

Хрущев давно почил, а кислородный вентиль так и остался в прежнем положении — вот уже четверть века! За это время он настолько поржавел, что многие попытки снизу поворотить его на «добро» до сих пор не имели успеха. А сверху никто не хочет пачкать о него руки, полагая, что чем тише мыслящая жизнь в провинции, тем меньше хлопот.

И что же? В нашей черноземной зоне, например, это привело к тому, что огромный регион, объединяющий Воронежскую, Тамбовскую, Липецкую, Белгородскую и Курскую области с населением свыше восьми миллионов человек (целая просвещенная Швеция!), тускло зырит огонек единственного маломощного ЦЧО — издательства, не способного удовлетворять все запросы и потребности территориально закрепленных писателей. Многие из них издаются не чаще, чем раз в шесть-семь лет.

Все это вынуждает писателей покидать отчие места в поисках лучшей доли. Так, из Курска, потерявшего собственное издательство и альманах, уехало, а вернее бежало, все молодое и талантливое. Иван Лепин оказался в Перми (при тамошнем издательстве), Иван Евсеенко перебрался в Воронеж, заполучив место в «Подъеме», Юрий Убогий облюбовал Калугу, до которой достает московская электричка, а такие, как Александр Гворов, Алексей Шитиков, Владимир Трошин, Валентина Сженова, махнули прямо в Москву и кто как зацепились за ее белокаменные, но не очень ухватистые стены.

Но и вышедшая в региональном издательстве книжка чаще всего не приносит морального удовлетворения. Появляется она на свет какая-то ущербная, будто безысходно больная — от мертвенной серости самой бумаги, от непропечатанной тусклости оттиска строк, неряшливой смазанности заставок и гарнитур, наконец, от хронической безвкусицы во внешнем ее одеянии.

В большинстве своем рожденная во взаимной нелюбви между издательством и автором, в долгом препирательстве, отказах, жалобах и волоките, в скарденности бухгалтеров и технической немоци типографий, в итоге замученная, невзрачная, нестышно и незаметно разойдетя она по местным торговым точкам и дальше по сельским глубинкам, где на сельповских полках лежать ей почти не востребованной рядом с банками кабачковой икры и ссохшимися кирзовыми сапогами и тихо и безвестно умирать там, не промолвивши своего слова, может быть, и выстраданного когда-то и кем-то...

Но и удачно изданная, без заметных изъянов, она все равно обречена на безвестность, потому как редкие критики заглядывают в провинцию, заведомо полагая, что в оных водах обитает лишь мелкая никчемность и что солидная рыба может водиться лишь в столичных заказниках.

И они, критики сего дня, в общем-то, правы.

Да, там, в столичных ухоженных вольерах, действительно нагуливаются не в малом количестве дородные, златоперые, обвешанные аксельбантами и прочими знаками внимания караси. Но туда же, к более доступным и сытным жировкам, набежала и всякая прочая отощавшая российская рыба в изрядном числе, вопреки нарушению естественного баланса.

— Нередко можно услышать, что в нашей литературе идет «гражданская война». Согласны ли вы с таким утверждением? Если да, то каким вам видится установление мира в этой войне?

— Вообще-то всякий творческий процесс, и не только в литературе, не может проходить без внутренних борений. В этом смысле он напоминает бродящее сусло, где непременно протекают какие-то возмущения, крутоверти, внезапные выбросы, что-то поднимается кверху, а что-то опускается вниз. То есть происходит вполне нормальный процесс творческого развития. И все это для того, чтобы выбродило кристально чистое вино истинной гармонии!

При этом внешняя среда — социально-политическое устройство общества — является важнейшим катализатором. Она, эта среда, способна подогреть и ускорить такое брожение. Но может и замедлять, и даже губительно воздействовать на ход процесса.

В условиях жесткого централизованного режима внешняя среда всегда агрессивна, и потому агрессивен и сам творческий процесс. Нормальное борение идей перерастает в нелюбезное противоборство, которое при определенных обстоятельствах обретает облик воистину пороховых баталий. Таковыми обстоятельствами, способствующими агрессивным всплескам, являются наши так называемые «оттепели», при которых размораживается не имевшая прежде выхода и потому опасная накопленная энергия взаимного неприятия.

Таким образом, можно сказать, что нет и никогда не было мира под литературными оливами, с самого нашего социалистического начала и даже того раньше.

Вспомним хотя бы обстановку двадцатых годов — времена заносчивого Пролеткульта:

*Ну Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!*

Вернувшийся с полей подлинной Гражданской войны Дмитрий Фурманов растерянно сетовал на окружение «...случайных, закулисных, конспиративно действующих и все предрешающих группочек, приобретающих себе функции и права каких-то диктаторских центров, неведомо как создающихся...» (Не правда ли, легко узнаваемая нынешняя обстановка? — Е. Н.) Но, втянутый в московские дразги и мордобои, скромный комиссар Фурманов вскоре и сам засучил рукава и принялся отщипывать пощечины: «Бунин — аполитичный барчук. Не видит нового, возрождающегося, это типично для барина-интеллигента». Максимилиан Волошин — «тип последовательного белогвардейца, у которых он все время был «любимцем». «Ахматова — крошечная певица старого умирающего мира» и т. п.

Все эти умозаключения можно было бы принять за борение идей, если бы они в условиях диктатуры не обретали функцию доноса, чреватого выводом объекта на канаву... Что и случилось со многими. А могло случиться даже с такими, как Есенин, Леонов, а позже — Шолохов, тоже зачисленных в список «не видящих нового, возрождающегося».

А возьмем годы шестидесятые, когда сотрудники «Октября» не подавали руки сотрудникам «Нового мира», а новомировцы не здоровались с огоньковцами и не позволяли себе заходить в одно и то же кафе. Печальным «эпизодом» тех конфронтаций явился взрыв фугаса, заложенного в долгий многолетний подкоп под «Новый мир». Волной этого взрыва был-таки выброшен с общественно-политической арены Александр Твардовский.

Кто и кому ныне не подает руки, не ходит в одно и то же кафе и не садится вместе в чистом поле, уведомлять нет надобности по причине общеизвестности. Почти все теперешние журналы и еженедельники полны такими раскладами и пасьянсами.

А что же было между оттепельными потасовками? Может быть, это было время всеобщего миротворения и творческого благоденствия?

Отнюдь нет! Просто нелюбезность уходило в негласность, похожую на подполье, обретало новую тактику, более изощренные способы притеснения и вытеснения. <...>

Эти удары под ребра на виду у всего честного народа без права ответить, дать сдачи испытали многие от подручных литературной инквизиции. Не так давно, например, по спецзаказу была устроена «темная» Володе Крутину за его «Сороковой день». Более всего Крутин был повергнут в недоумение тем, что били вроде бы свои, по виду единомышленники, и, может, потому-то, нанося удары, они улыбались и принимали невинные позы.

Созданный будто бы для миротворящих целей, для всеобщего литературного братства и единогласия так называемый метод социалистического реализма в действительности явился орудием

ем ущемления творческой индивидуальности, рассадником социальной несправедливости, поэтажного расслоения писательской среды, подспудным накопителем смуты. Порожденный деспотической системой сталинизма, этот метод близко копировал исправительно-трудовые зоны — с той же колючей проволокой всяческих запретов (ну, скажем, на каждом два отрицательных персонажа в произведении должно быть не менее трех положительных. Отступление от этой нормы грозило поркой), со сторожевыми вежами по периметру, откуда осуществлялся идеологический догляд и высывались критические пулеметы. Здесь также были свои фискалы, наушники, свои паханы и жалкие субъекты для битья, свои придурки, добровольные ревнители литературно-барачного распорядка и режимных построений в затылок одного другому. Были и свои жертвы, распятые и заклеянные за своеволие и непослушание, каковыми среди многих других оказались и Андрей Платонов, и Анна Ахматова, и Владимир Дудинцев... Ибо всякое высывание за ограду выше-названного метода рассматривалось как попытка бегства, как измена социалистическим идеалам.

Нет ничего удивительного, что как только пахнуло новой оттепелью, многоликая возбужденная масса ринулась выяснять отношения не только с внешней средой, но и внутри себя, между собой, друг с другом, произвольно свертываясь в группы и группки, что в конце концов и вылилось в почти неуправляемую междоусобицу. Тут и личные обиды, и попранное творческое достоинство, и жажда реванша, и необузданный зуд просто так что-нибудь погромить, двинуть в морду, и авантюристические надежды чем-либо поживиться в не очень стерильном потоке перестройки, и львиный рык потревоженной сытости, и... много-много иных нюансов и мотивов, иногда глубоко запрятанных под камуфляжем громких словес...

Все это трудно назвать «гражданской войной», хотя некоторым хотелось бы произвольно обозначить линию фронта и собрать под свои поспешно выкрашенные амбициозные знамена как можно больше «штыков».

Снижение накала страстей мне видится в дальнейшем углублении перестройки, в демократизации наших творческих структур. Например, наш литературный генштаб за годы парникового, ничем не колышимого застоя превратился в инкубатор по искусственному выращиванию литературных генералов, предоставляя им убаюкивающий уют административных кресел и всяческие привилегии: тортоподобные дачи, персональные «Волги», палаты Четвертого Главного чазовского управления, шезлонги на Золотых Песках и в Карловых Варах, развлекательно-тряпичные поездки по странам и континентам, запанибратскую вхожесть во все издательства и журналы, закулисное делание друг из друга лауреатов

и героев и проч., и проч. Не случайно даже в новом проекте Устава СП СССР генералитетом высказано высочайшее пожелание избираться на занимаемые им должности не менее чем на десять лет! Спасибо и за это, ибо в не столь отдаленные времена их превосходительства восседали пожизненно.

И это, когда в той же Москве, как я уже говорил, не каждый писатель имеет свой письменный стол, а многие в провинциальной бесправной глубинке, не имея возможности издаться, порой влачат жалкое существование на грани бедности.

В общем, я за такое различие между писателями, которое отражается в содержании их книг, а не в бликах раздутой значимости и самомнения.

Я — за здоровую, открытую, естественную конкуренцию всех талантов, которая и обеспечит устойчивое и плодотворное сосуществование.

— *Ваша оценка Первого съезда Советов? Довольны ли вы его результатами? Как вы оцениваете выступления делегатов — писателей, публицистов?*

— Если вообразить демократическую систему в виде некоего символического дерева, под сенью которого после долгих лет бесплодного пути к зыбким миражам будущего хотелось бы устроить наше благоденствие, то, применительно к этому образу, я отметил бы (разумеется, весьма условно и субъективно) среди делегатов съезда несколько приметных групп.

Первая — те, кому не терпится поскорее снести все прежнее и на том месте посадить уже готовое дерево — с раскидистой кроной и разветвленной корневой системой, — такое, чтобы сразу же приносило желаемые плоды. Идея сама по себе пленительна, но инфантильна и, следовательно, утопична. Впрочем, как несбыточными оказались и все наши прежние нетерпеливые желания: «Сезам, откройся!»

Вторая группа — те, кто, предостерегая первых, полагает, что зрелое, плодоносящее дерево демократии в один прием посадить невозможно, поскольку взрослые деревья не выносят пересадки, тем более в неподготовленную почву (а я бы от себя добавил: почву, где заступ все еще горестно стучит об останки неприбранных и неучтенных... Эта вторая группа осмотрительно призывает брать саженец по плечу, который был бы способен сперва хотя бы уцелеть в незнакомой ему субстанции (добавлю: если его, бог даст, не сомнут, не затопчут по причине своей же безалаберности и нерадения, а то по чьему-то злому умыслу), а уж только тогда выбросит он свои первые побеги, потянется ввысь.

И наконец, в третью, плотно сбившуюся, хотя и невеликую числом, группу сошлись те, кто не желает иметь дела ни с какими хлипкими демократическими деревьями, а предпочел бы оставить

прежнюю бетонную пирамиду, хорошо ими обжитую, которая в силу конструктивных особенностей хотя и не способна простираť живительную сень к своему подножию, зато еще издали блистает своей сиятельной вершиной. (Что и говорить, отменно прочная конструкция, сработанная еще во времена Великого царства Верхнего и Нижнего Нила, и весьма удобная для поддержания всеобщего послушания и похвального единомыслия!)

Разумеется, между этими группами существуют промежуточные, переходные, тяготеющие то к одному, то к другому мнению. Иные вроде бы и не против самого древа, но хотели бы поместить его на вершине пирамиды, чтобы оттуда, с руководящей высоты, нисходила благотворительная демократическая благодать. Однако в этом варианте, заметили бы мы, нет ничего оригинального, ибо попытка создать подобный гибрид уже имела место в недавней отечественной преобразовательной практике. Например, при Никите Хрущеве.

Замечены и такие плюралисты, которые предлагают завезти саженцы из заморских питомников, не беря, однако, в резон того народного прнсловия, что «не всяко семя да в землю». Импортный саженец, судя по рекламным проспектам, может, для кого-то и хорош, но, как полагают не в последних рядах съезда, нам все же больше подходят свои, морозостойкие проростки — такие надежнее.

Все эти идеи и есть проявление долгожданного плюрализма, свободы слова, гласности, о чем мечталось в долгие годы заданной одинаковости мышления. И это хорошо! Ибо плюрализм обнажает истину! А как говаривали древние — истина дороже живота своего. Но плюрализм обнажает не только истину, но и самого истца. И становится очевидно: кто есть кто... А это тоже важно, очень важно!

Что же касается выступлений на съезде писателей и публицистов, то последние проявили себя гораздо продуктивней. Просто в силу своей профессии они ближе к трибуне, нежели писатели, ремесло которых — дело молчаливое, уединенное. Впрочем, у каждого это весьма индивидуально.

— *Налицо падение интереса к чтению. В чем вы видите причины этого процесса? Есть ли из ситуации выход?*

— Я так не думаю. Напротив, «налицо» небывалый взрыв всеобщего интереса к печатному слову! Вспомним, какие волнения в стране вызвала известная попытка ограничить подписку на газеты и журналы, иными словами, командно-волевыми, чиновными мерами сдержатъ возросшую тягу людей к печатному слову. Да и головокружительный взлет тиражей периодических изданий говорит сам за себя. А посмотрите, как удлинлись очереди у газетных киосков! Нет, чтение стало занимать в нашем быту гораздо больше

времени, нежели прежде. К печатному слову потянулись даже те, кто еще недавно был равнодушен к такому занятию.

Другое дело — кого и что нынче читают?

Вот тут следует признать, что это не Гюголь, не Чехов, не Толстой и не Пушкин в первую очередь... Однако такое читательское отклонение вовсе не означает, что долго и верно служившая нам классика вдруг уронила свой престиж, вызвала массовое разочарование в своей абсолютной ценности. Вовсе нет! Великие книги не выброшены за ненадобностью, не снесены в букинистическую лавку. Они по-прежнему трепетно тешат наши души даже одним своим молчаливым стоянием на книжных полках. Мы только временно отложили свое обращение к ним.

Отклонение читательского интереса вполне объяснимо. Внимание общества переключено на «злобу» дня, коей как раз и полны сегодняшние более мобильные печатные формы, нежели книги. И было бы настораживающим, опасным признаком апатии и гражданской деградации, если бы люди не проявляли интереса в первую очередь к бурно протекающим общественно-политическим процессам, определяющим дальнейший путь страны, судьбу нации и каждого входящего в нее народа, состояние отечественной истории культуры, веки ближайшего и перспективного будущего. Весь этот каскад проблем, выплеснувшийся иззаперти, задевает каждого и требует незамедлительного собственного отношения, а следовательно, и поступков.

Проводником насущных проблем и неотложных идей как раз и является живое слово, в том числе печатное, пахнущее свежей типографской краской, за которым люди толпятся у киосков и выходят на бурлящие площади. Пласность, рожденная перестройкой, становится внушительной материальной силой!

Сдерживавшая ее плотина, в основание которой заложены замшелые монолиты сталинского деспотизма, рассчитанная своей высокомерной прочностью на вечные времена, эта твердыня многие и многие годы накапливала за своей толщиной энергию попоранного народного духа, спрессованную долготерпением и долгомолчанием в критическую субстанцию, вобравшую в себя и кровавый разгул чрезвычайной опричнины, и распятие на дыбе коллективизации исконных радетелей земли, изгнание и распыление по лику бескрайней и несправной мачехи-России целых народов, насильственное обращение всякой творческой мысли, всякого сыновнего шевеления ума в серое единомыслие Беломорканала и Колымы, — все это и многое другое, составившее всенародное лихолетье, вдруг ринулось в проран перестройки, став одновременно и разрушительной, и созидательной силой, как и всякая иная разбуженная энергия.

Слово о правде властно влечет к себе еще и потому, что оно, и только оно, будто целебный источник, растепляет занемевшую душу.

смывает коросту многолетней мимикрии, приросшую маску двуличия, освобождает от душевного ужеподобия, возвращает прекрасное чувство свободы, простора и, наконец, ни с чем не сравнимую радость открытого общения, ибо ничто так не деформирует, не убивает в человеке человеческое, как проволочный режим разобщенности, немоты и келейного одиночества, квартирно-этажной расфасованности. В этом глухом вакууме безмолвия, в котором мы пребывали долгие десятилетия, будто древоточцы, разъедают и превращают в труху человеческое — неизбывные сомнения в собственной значимости, в верности избранных критериев добра и зла, в цели и ценности самой жизни. В результате каждый начинает чувствовать себя отщепенцем, изгоем, заведомо виноватым пред ликом любого современного властью имущего Понтия Пилата.

Воистину сказано: в начале было Слово. Оно было в начале каждой революции. Оно же ищет пути к истине и в революции наших дней, в начале нового мироздания.

Говоря об этом столь патетически, я ни на минуту не забываю, что под знамена гласности проникли, приспособились к шагу и трубадуры недавнего застоя, и бойкие маркитанты, промышленяющие сомнительным жареным, дабы в общем походе набить подходящую мощну. Все они при удобном случае не прочь ухватиться за поднятое судьбоносное древко.

Что же касается фундаментальной литературы, оставленной на таких полках, то ошибочно полагать, будто она не участвует в нынешних общественно-политических процессах. Перестройка вряд ли была бы возможна, если бы мысль о ней не внушалась, не подпитывалась могучим нравственным потенциалом, заложенным в тома лучшей нашей прежней и современной словесности. Большая литература всегда с нами и в нас. Она лишь требует мира и тишины для ее углубленного прочтения. И такое время придет!

1989

ОБОСОБЛЕНИЕ — НЕБЕЗОБИДНО

Искусство, в том числе и литература, всегда было, есть и будет ареной соперничества, сферы, под внешне блистательным куполом которой стиснуты одновременно все человеческие страсти, добродетели и пороки. Здесь всегда неотступно маячат Моцарт и Сальери — эти роковые антиподы, символы неприятия. Черные и Белые любого вида творчества. Никто не считает себя Сальери, напротив, все признают в себе только Моцарта. Но волею судеб роли заранее распределены, возможно, еще с колыбели, и нам остается лишь обреченно исполнять оные, так и не познав, что мы есть на самом деле. И в этом — жестокая необходимость художественного

бытия. Ибо одно только Белое — бесплодно. Так же, как и всякий иной цвет. И лишь сопоставление способно создать драматургический импульс, а следовательно, и само искусство. Как это ни парадоксально, но без Черного и Белого, без контрастов нет побуждающих условий для динамики, нет движения вперед, нет поиска средств самоутверждения, а стало быть, нет и обретений. Обо всей этой гегелевщине очень кратко и просто сказано в нашем народе: «На то и щука, чтобы карась не дремал».

Этот закон непререкаем и пребывает в силе, пока будет биться в человеке позыв к самоутверждению, к потребности творить.

Что же нам остается?

Нам остается единственное: проявлять мудрость и добрую волю, чтобы не дать арене творческого соперничества превратиться в поле брани, не позволить захлестнуть себя стихией распрей и унижительных потасовок, чем всегда чревата всякая утрата самоконтроля, печальным итогом которой являются непредсказуемые потери, прежде всего общей культуры.

Симптомы этой деградации уже ясно обозначились. Они прежде всего в сомнительной тенденции распада нашего единого творческого союза на группы и группки, ассоциации и гетто и прочие удельные отмежевания, в утрате разумной корректирующей инициативы, которая должна исходить прежде всего от союзного руководства.

Всякое творческое обособление в условиях социальных изломов — явление не такое уж безобидное. Ибо оно неизбежно проявляет стремление не только к самообороне, но и к нападению. В силу этого оно невольно становится скоплением настороженности, недоверия и всякого рода предвзятостей, а если эта обособленность замкнулась еще и на национальной консолидации, то неизбежно прибегнет к раздуванию самых опасных и трудногасимых очагов расового противостояния.

В этом смысле мне кажется сомнительной идея выделить для ленинградской группы «Содружество» журнал «Ленинград». Забаррикадившись, обнеся себя рвом и частоколом, эта группа, как, впрочем, и всякая другая, получившая в свои руки журнал, превратит его в крепостную мортиру, из которой станет палить из-за укрытия фугасами, начиненными не самыми продуманными аргументами. В ответ полетят такие же разрушительные и смертоносные фугасы. В Москве, например, уже давно раздается такая ожесточенная межгрупповая канонада.

Этого ли мы хотим?

Печалит меня и то, что даже сама Москва, ее писательская организация пожелала обрести частокольную автономию, отделившись от остальной литературной России, рассчитывая иметь не только свои личные журналы, но и личные дома творчества, материальные фонды и прочие натуральные хозяйства, не подумав о том, что тем

самым ослабляет и без того обезглавленную, разобщенную и трудно живущую русскую провинцию со всеми ее населяющими народностями. А если обособится еще и Сибирь? Что же тогда назвать Россией? Не создаем ли мы исторические предпосылки для той скорбной ситуации, что предопределила нашествие Батыева?

1989

ВРЕМЯ СВЕРИТЬ ОРИЕНТИРЫ

В дни работы XXV областной партийной конференции в Курском обкоме КПСС состоялась творческая встреча с лауреатом Государственной премии РСФСР писателем-земляком Е.И. Носовым. На встрече присутствовали делегаты конференции, представители творческих союзов, общественность города.

Праздником благородства души назвал это событие председатель областного Совета народных депутатов, первый секретарь обкома партии А.И. Селезнев. Он поздравил Евгения Ивановича с присвоением высокого звания Героя Социалистического Труда и пожелал побольше таких встреч, на которых проливалась бы широким потоком доброта человеческая.

Несколько часов терпеливо, мудро и доказательно разговаривал с аудиторией Евгений Иванович. Вопросы задавались из зала, поступали в письменном виде, и, казалось, нет им конца... Больше всего людей интересовало отношение писателя к нравственному состоянию общества, его прогнозы возрождения духовной культуры.

— Культура — это среда обитания души, и утрата ее для человека все равно что утрата почвенного слоя земли, нарушение экологического равновесия в природе. Когда нарушается равновесие духовное, человек становится морально хилым, рахитичным, начинает метаться. Отсюда — водка, преступность, тюрьмы...

Остаточный принцип по отношению к культуре — глубокая ошибка, сравнимая с преступлением. Мы рубим нацию под корень. Но начинать возрождение нашего больного общества непосредственно с культурной политики мне кажется утопией. Культуру нельзя восстановить за пятилетку. Нужна долгая и упорная работа школы, семьи, церкви, и результаты ее будут не завтра.

А вот что бы мы могли продвинуть более энергично — это конкретное дело, которое обязательно надо найти для народа. Мы никак не можем принять верных решений, определить формы организации, потому настоящее дело у нас и не движется. Именно на это должно быть направлено нравственное воспитание.

Е.И. Носов пользуется огромным авторитетом у своих земляков, и они выдвигали его кандидатом в народные депутаты РСФСР. Но писатель отказался регистрироваться, справедливо полагая, что его дело — писать книги, в которых он может с не меньшей остротой и публицистичностью, нежели с трибуны парламента, поднимать любые вопросы.

И действительно, его произведения давно вошли в сокровищницу национальной литературы, по ним ставятся спектакли и снимаются фильмы. К Евгению Ивановичу часто обращаются студенты ВГИКа, желающие экранизировать тот или иной рассказ для учебной работы, молодые режиссеры. И хотя опыт у них еще невелик и у писателя практически нет надежды на глубокое прочтение или литературной основы, Носов соглашается.

— Мне очень хочется помочь молодым людям, выходящим на творческую дорогу. Пусть они еще не профессионалы, но я вижу, с какой открытой душой берутся за работу эти ребята. И ради этого я терплю моральный ущерб, видя потери, многого недосчитываясь в их фильмах.

Вот, например, экранизация «Усвятских шлемоносцев» — картина «Родник». Когда режиссер А. Сиренко писал сценарий, его, видимо, смутило, что в повести о войне не происходит почти никаких событий, персонажи не стреляют, не ходят в атаку... И он дописал от себя эпизод, своеобразное вступление к фильму, как они совершают какой-то подвиг. Это у меня вызвало протест. Я ведь хотел показать мирную сущность русского солдата, который может убить только через силу, против воли. Да и не была готова к войне наша армия, поднятая по тревоге, на восемьдесят пять процентов состоящая из крестьян — необученных, неумельх. Это труженики на войне, а не солдаты.

Фильм «Родник» вышел на экраны в 1981 году, когда международная обстановка была напряжена до предела, и если бы он удался, считает Евгений Иванович, то стал бы еще одним свидетельством наших миролюбивых настроений, неагрессивности советского человека. Но молодого режиссера поставили в жесткие рамки, ему не хватало ни киноплёнки, ни времени. Почти все съемки приходилось делать на натуре, потому что на декорации не было денег. Людей для участия в массовках руководители хозяйств отпускали со скрипом, цыгане, дававшие напрокат лошадей, требовали платы.

И тем не менее на третьем фестивале молодых кинематографистов Москвы в 1982 году фильм «Родник» получил Главный приз, А. Сиренко — награду за режиссерскую работу и лучший сценарий, а год спустя — премию Ленинского комсомола.

«Усвятскими шлемоносцами» заинтересовался и Курский драматический театр, сам писатель остался доволен постановкой.

Но когда пришел новый главный режиссер, ее сняли с репертуара, потом пытались восстановить, однако неудачно.

Сергей Никоненко снял фильм «Цыганское счастье» по произведению Е.И. Носова, но боязнь, что фильм из-за социальной остроты авторского текста может быть положен на полку, вынуждала его смягчать какие-то детали, нюансы, что вело к искажению жизни.

Творческая встреча началась с показа фрагмента из фильма режиссера А. Бибарцева по рассказу Евгения Ивановича «Объездчик», что сразу же создало атмосферу, настроило аудиторию на чуткое восприятие творчества своего земляка.

— Это рассказ о курской деревне 50-х годов — послевоенной, разоренной, о судьбе уникального Стрелецкого заповедника. Во времена Хрущева многие заповедники были уничтожены, но наш каким-то чудом сохранился, хотя подлежал распашке: поднимать целину в те годы было поветрием. И вот за статусом Стрелецкой степи спрятался человек, развращенный войной... Увы, не все возвращались героями, безнравственность бойни делала безнравственным ее участника. И заповедник для него — это возможность обретения власти, утверждения себя с позиции силы.

Е.И. Носов хорошо знаком с деревенской жизнью, с пристальностью исследователя изучает процессы, происходящие в ней на протяжении десятилетий. Герои его произведений — живые, конкретные люди, хотя и не напрямую списанные со своих прототипов. Например, в деревенских женщинах узнаются тетушки писателя, уже почти все умершие. Не раз обвиняли их в самогоноварении, грозили, но ведь занимались они этим от великой нужды. У каждой было по пять — девять детей, а где взять денег? Их в деревне не водилось совсем.

— Такая была жизнь, и никуда от нее не денешься. Начав не так давно переосмысливать нашу историю, самую большую вину мы возлагаем на период застоя. Но ведь наша семидесятилетняя история была застойной. И потому свои размышления в «Литературной газете» я начал со зловещей фигуры Сталина, затем попытался определить роль Хрущева. Брежнев, в общем-то, ничего не добавил к деяниям своих предшественников.

В ответ я получил много писем, мне крепко досталось от читателя за Никиту Сергеевича. Конечно, личность неординарная, интересная, он много сделал для незаконно репрессированных. Но когда я думаю о том колоссальном ущербе, который Хрущев нанес сельскому хозяйству, окончательно добив деревню...

Сейчас предлагаются разные пути выхода из экономического тупика. Один из них — внедрение частной собственности. Я при ней не жил, и безоговорочным сторонником быть не могу. Знаю только, что у этой системы много пороков, и обращаемся мы к ней

не от хорошей жизни. Но если внедрять частную собственность, то осторожно и выверенно, ибо выброси нас резко на рынок — мало кто уцелеет.

Сейчас, например, курский писатель может издать примерно одну книгу в семь лет. Но какой-никакой, а прожиточный минимум есть, писательская организация заботится. При частной же собственности придется самому продавать... Конечно, кто-то сумеет обогатиться, но появятся и очень бедные люди.

Долгое время Е.И. Носов был членом редколлегии журнала «Наш современник». Но недавно ушел оттуда вместе с В. Астафьевым, Г. Троепольским и некоторыми другими писателями.

— То, что происходит сейчас вокруг этого журнала, представляется мне борьбой сытых бар, стремящихся друг друга сместить, подвинуть, свести счеты. И все это прикрывается рассуждениями о свободе, благе народа... Не верьте! Журнал становится знаменем какого-то экстремистского движения, все назлектризовано. Приезжаю, меня встречают с вопросом в глазах: с кем ты? Да ни с кем я, ни в одну группировку не вхожу.

Спекуляция на гласности и плюрализме к хорошему не приведет. Я уже писал об этом в «Курской правде», о той безликой толпе, которая пройдет и по нашему городу, если подогреть темные инстинкты. Что такое толпа? Да это могут быть просто пацаны, которые от скуки, от безделья, лишены перспективы, неизвестно что натворят.

Литература должна мощно противостоять бездуховности. Но меня беспокоит, что в ней почти ничего нет для детей. Она все время попадала в такие социальные катаклизмы, когда было не до детского читателя.

Более того, сейчас в учебниках классическим произведениям Маяковского, Шолохова, Фадеева резко противопоставляются имена Платонова, Мандельштама, Булгакова. Я хорошо отношусь к этим писателям, но тот же Платонов не может быть базой для воспитания, он трудно воспринимается школьниками. И если мы будем в учебной программе ориентироваться на модные имена, это принесет большой ущерб. Думаю, такая крайность возникла в результате текущей ситуации, но когда мы насытимся обрушившимся шквалом публицистики, надеюсь, снова начнем читать литературу.

Предназначение русской литературы всегда было высоким, ответственным. В самые тяжелые моменты общество обращалось к своим писателям с доверием и надеждой, стремясь найти ответы на волнующие вопросы, сверить свои нравственные ориентиры. Так было и на этот раз.

Беседу вела Т. Антипенко
1990

СКУДНАЯ ЖИЗНЬ — СКУДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

— Евгений Иванович, вы живете и работаете вдали от столичного шума, оставшись на родной курской земле, хотя многие писатели при первой же возможности устремляются в Москву. У столичной жизни есть преимущества, и вам как писателю, имеющему и читательские симпатии, и общественный вес, нашлось бы в Москве достойное место. Тем более что вы являетесь секретарем правления Союза писателей РСФСР, членом различных издательских советов и редколлежий центральных изданий. Так что же удерживает вас в Курске?

— Да, преимущества у столичной жизни есть, и они не сводятся лишь к каким-то бытовым удобствам, метро или ассортименту в магазинах. Особое положение, которое занимает Москва, объясняется системой централизации, укоренившейся в нашей стране.

Демократический централизм, положенный в основу партийных отношений, копируется всеми другими государственными и общественными структурами. Литература также строится на основе демократического централизма. В Москве сосредоточены издательства, редакции наиболее солидных журналов и газет, расположены «руководящие литературные органы». Здесь можно наладить личные контакты, благодаря чему проще решаются вопросы, связанные с публикацией написанных вещей, творческими командировками или какими-то житейскими проблемами.

Привлекает и сам статус «столичного писателя». Посмотрите, как в области принимают любого залетного московского литератора — ему и лучший номер в гостинице, и машина к подъезду, и угощение по высшему разряду. А он, может, всего лишь издержавшийся Хлестаков, проездом в Саратов. Но «столичный» для обкома — уже виза, поскольку сам он повернут лицом к центру. И только если кого-то из местных напечатают в Москве или скажут о нем доброе слово в центральной прессе, тогда, может, и областное начальство на него внимание обратит.

Так что для провинциального писателя в Москве немало соблазнов, которыми многие и прельщаются. Однако в столице можно и выделиться, и затеряться.

Не отмеченные ярко выраженным талантом писатели, перебравшись в центр, быстро нивелируются, теряют себя, свой голос, и интерес к ним утрачивается. Многие из них живут воспоминаниями и, по сути, уподобляются эмигрантам. Так, Бунин, живя в Париже, писал об оставленной им России.

На такое не пошли Астафьев, Белов, Распутин. Они остались верны своей жизни и сохранили свою самобытность.

— Значит, жизнь в провинции тоже имеет свои преимущества? Именно на родной земле писатель находит источники, питающие его творчество, краски для своих литературных полотен?

— Да, такие преимущества есть, но их очень трудно реализовать. Главным образом потому, что негде печататься. Хрущев в свое время подрубил основу нашего писательского дела — ликвидировал местные издательства. Литературная провинция как бы онемела. И голос к ней так и не вернулся. Даже теперь, несмотря на объявленную гласность.

Вместо того чтобы в глубинке создавать культурные очаги, в недрах которых зарождались бы новые литературно-художественные издания, как, скажем, «Сибирские огни», неистовые ревнители уничтожили и то, что было.

Возьмем, к примеру, нашу Центрально-Черноземную зону. Она включает пять густо заселенных областей, а вся литературная жизнь вертится вокруг одного-единственного журнала «Подъем» и маломощного Воронежского издательства. А ведь по площади и населению мы можем сравниться со Швецией. Мыслимо ли, чтобы там печатная продукция выходила в таком же объеме и такого же качества?

Конечно, у провинциального писателя, не имеющего всесоюзной известности и не обладающего достаточной пробивной силой, чтобы одолеть центральные издательства, очень мало шансов увидеть свои произведения напечатанными раньше, чем через семь-восемь лет после их написания. Да и сам процесс издания весьма унижен: редактор, оглядываясь на «цензора» из обкома, выколачивает все сколько-нибудь живое. Нужно ли удивляться, что некоторые писатели на второй, третьей книге, выходящей, когда им далеко за сорок, уже сломлены? Кто-то находит себе другое занятие, кто-то спивается, кто-то уезжает если не в Москву, то в другие города, где есть хоть какая-то литературная жизнь.

Невозможность издаваться, долголетнее нищенское существование приводят к своеобразной деформации: писатель перестает писать и начинает выступать. А поскольку денег за выступление по линии областного бюро пропаганды литературы платят не так много, то приходится вертеться, чтобы прокормить себя и работников бюро пропаганды.

Получается замкнутый круг: прокормиться можно, лишь много выступая, свыше ста раз в год, но выступления не оставляют времени для серьезного писательского труда. Да и гораздо легче заработать деньги выступлением, чем, скажем, написанием очерка или рассказа. Писатель превращается в говорителя. И когда мы наконец выбили разрешение на издание своего литературного альманаха, разжились бумагой, то оказалось, что трудно сформировать даже первый номер — нет ярких произведений. Скудность жизни приводит и к скудности творчества.

— Но и на Западе мало кто из писателей может прожить лишь на литературные заработки. У каждого есть еще какой-то более устойчивый источник доходов. Очевидно, причина творческого застоя не столько вне, сколько внутри самого писателя. А встречи с читателями все-таки нужны. В то время, когда мы говорим о падении культуры, нужно пропагандировать литературу, прививать интерес к книге. Особенно в глубинке, где не так велик выбор культурных мероприятий.

— Я тоже за то, чтобы пропагандировать литературу. Но против того, каким образом это сейчас делается. Ведь, стремясь заработать, писатели чаще всего выезжают небольшими «бригадами», выступая за один день в трех или четырех местах. Нередко такая «встреча с читателями» проходит в обеденный перерыв, когда время ограничено получасом или сорока пятью минутами. Да еще одновременно может выступать милиционер, рассказывающий о правилах уличного движения.

Или приезжают писатели в колхоз в разгар уборки сахарной свеклы. Холодно, люто. Сидят угрюмые женщины с обветренными лицами и огрубевшими от тяжелой работы руками, обрезают свекольную ботву. А поэт им в это время стихи про любовь и природу читает, поглядывая в сторону, где уже накрывается стол для приема гостей. Подобную «пропаганду» я считаю просто безнравственной.

Провинции, деревне нужна совсем иная культурная помощь. В первую очередь надо позаботиться о возрождении местной интеллигенции. Ведь она самая обездоленная, самая бесправная.

Сельский учитель полностью зависит от председателя колхоза: выделит ли дрова или нет, перекроет крышу или сошлет на нехватку материалов. Мужа учительнице найти трудно, а если и выйдет замуж, то супруг вряд ли будет доволен, видя ее с книгой в руках. Из-за маленькой зарплаты приходится обзаводиться коровой, курами, сажать огородик. Тонкий слой культуры, приобретенный во время учебы, быстро тает, грубеют руки и душа. Разве может такая учительница воспитывать в юных душах тягу к прекрасному, прививать какие-то культурные навыки?

А ведь в каждом селе есть энтузиасты, есть люди изначально интеллигентные, хотя порой и не имеющие диплома в кармане. Их бы поддержать, помочь хоть немного. Но чаще всего таких людей засмеют, затравят.

Жил, к примеру, под Обоянью человек, который построил самолет — из лыжных палок, материи, каких-то отходов. И, что самое удивительное, он на этом самолете полетел. Надо ли говорить, как ликовала его душа, особенно когда увидел внизу тещу, идущую в сельпо. Сколько она его пилила и ругала за то, что занимается ерундой!

Но ликование длилось недолго. Приехало начальство, представители органов, и велели они отпилить у самолета крылья. А затем этот человек был вынужден вообще покинуть село. Поселился в Обояни, построил обсерваторию, которая стоит и по сей день, показывает ребятишкам звезды. И больше до него никому нет дела. Хорошо еще, что звезды не отобрали. А как нужен такой светлый человек именно в селе!

Или возьмем, к примеру, судьбу Валентина Овечкина. Он пытался покончить с собой потому, что наткнулся на непробиваемую стену непонимания.

Перечитайте его «Районные будни» — это сплошная боль. Поселившись в маленьком городке, во Льгове, он очень близко все наблюдал: и как толкуются у райкома председательские тарангайки, и как выпрашиваются запчасты, и как вызывают «на ковер» за ослушание, и как диктуют из центра — кому, что и когда сеять.

Овечкин писал письма Хрущеву, надеясь удержать его от неразумных поступков. Он выступал против МТС, которые не помогали колхозам, а разоряли их, писал о звеньевой системе, кукурузе. Но послания эти, конечно, до Хрущева не доходили, вылавливались где-то в канцеляриях и возвращались в область. А здесь подобный образ мыслей не поощрялся. И все завершилось трагическим выстрелом.

Писатель, получивший всесоюзную известность, на курской земле оказался под запретом. Своим выстрелом Овечкин нанес оскорбление местному начальству: как посмел он, известный человек, коммунист, стреляться! И долгое время уже после его смерти мы не могли добиться того, чтобы в Курске появилась улица Валентина Овечкина, чтобы его бюст разрешили вынести из помещения писательской организации и установить у дома, где он жил, или в сквере. Как в такой обстановке можно бороться за возрождение культуры?

Стыдно признаться, сколько пришлось воевать за право проводить Фетовские чтения. На курской земле, в Воробьевке, Афанасий Фет прожил последние пятнадцать лет.

Мы хлопотали в Министерстве культуры СССР, рассылали различные ходатайства, публиковали в прессе коллективные письма, но наталкивались на местную глухоту. Бывший начальник областного управления культуры, оказывается, собирал на Фета «досье» и доказывал, что он крепостник и порол крестьян, а мы хотим устроить к нему паломничество. На каком языке можно общаться с таким чиновником от культуры, утверждающим, что фетовская поэзия мещанская и она чужда советскому народу?

— Но все-таки Фет реабилитирован, так же как Платонов, Замятин, Ахматова и многие другие писатели, попавшие в свое время в черный список. А чиновники от культуры вынуждены, хотя и с бо-

ем, отдавать свои позиции. В центре этот процесс протекает активнее, в провинции — медленнее. И, конечно, должны быть на местах люди, которые смогут отстаивать интересы культуры. Возможно, это и есть одна из причин, почему вы не уехали из Курска?

— Меня удерживает от всякого переезда труднообъяснимая привязанность к родным местам. Из-за этого я никогда не отдыхал на Кавказе, а Крым посетил в последний раз в 1938 году. Приходит летний сезон, люди рвутся к морю, а я не могу даже на месяц покинуть свою Россию, такую, какая она есть, — просторную, с открытым горизонтом, зовущую далью дорог и бесконечностью русских характеров. Если и езжу в Дом творчества, то лишь в Переделкино. Потому что и природа здесь российская, и дела какие-то в Москве можно решить.

— *Любовь к России чувствуется в каждой строчке ваших рассказов и повестей, которые открывают перед читателями удивительные просторы Среднерусской возвышенности, знакомят с работающими, открытыми, добрыми и мужественными людьми. Вместе с тем вы не идеализируете русский народ. В ваших публицистических работах появились герои, весьма отличные от тех, что знакомы нам, скажем, по «Усвятским шлемоносцам». Очевидно, очень больно сейчас писать о деревне, столь близкой вашему сердцу?*

— Не писать больно, а видеть то, что там происходит. Нас губит не столько экономический, сколько моральный кризис. И деревня понесла, на мой взгляд, самый большой моральный урон. Уходят из жизни старики — хранители нравственных устоев, уходят в город молодые, не нажившие еще никакого духовного капитала. Во всем зыбкость, временность, разруха.

Что могут дать городу и вообще обществу деревенские парни, пополнившие ряды рабочих? У них в большинстве своем нет ни трудовых навыков, ни культурной основы, ни самодисциплины, ни уважения к людям. Они узнали вкус самогона с трех-четырёхлетнего возраста, с раннего детства приучились тащить все, что плохо лежит, привыкли общаться лишь с помощью матерных слов, не научились уважению к женщине, не представляют, что, кроме фирменных тряпок, есть и другие ценности. А главное — у них нет, как у потомственных рабочих, профессиональной гордости, уважения к своему труду, без чего никогда не стать настоящим мастером.

Можно ли винить молодежь в том, что она такая? Дети рождаются чистыми, и лишь потом под воздействием окружающей действительности формируются их характеры. А деревенская действительность способна исковеркать не только молодые души.

Сейчас дают людям землю, а ее не хотят брать — некому. Я знаю колхозы без колхозников, где председатель все время смотрит за

горизонт: кого Бог пришлет в помощь? И приезжают на уборку свеклы бригады из Молдавии, а в овощеводов на время переквалифицируются врачи, учителя, студенты, инженеры, оставляя учебу, больных, свои чертежи. Конечно, и они все время смотрят за горизонт: быстрее бы вернуться домой.

Что же мы видим в результате? Грожане стоят в очереди за огурцами, которые все лето не падают в цене, в колхозах запахивают целые поля необработанных овощей. Выкорчевывают сады со знаменитой курской антоновкой — некому убирать, — а затем завозят плохонькие яблочки из-за рубежа. Можно ли на таких примерах воспитать уважение к труду, чувство хозяина своей земли?

Колхозы сами по себе коллективно-крепостные хозяйства, где председатели по отношению к колхозникам — воистину эксплуататоры, а по отношению к райкому, обкому — бесправные рабы. И если они завоеуют доверие «хозяина», будут оказывать ему какие-то личные услуги, то получают новую технику, стройматериалы, фонды, а нет — останутся ни с чем. Такая система взаимоотношений тоже оказывает свое «воспитательное» действие на молодежь.

— *Считаете ли вы, что в настоящее время колхозная система себя полностью изжила?*

— Попытки отстоять колхозно-совхозную систему, предпринимаемые сейчас, возможно, и оправданны, потому что мы пока не готовы ни к чему другому. И можно предположить, что эта система, подобно воздушному шару, если подкачать в него горячего воздуха и сбросить балласт, пролетит еще какой-то исторический период. Но для этого колхозы должны получить реальную свободу.

Кроме изданных законов необходим конкретный механизм перехода к новым экономическим отношениям. Нужен рынок. И не только рынок сбыта сельхозпродуктов, но и оптовый, снабженческий, где колхозы и совхозы могли бы приобрести необходимую технику, удобрения, инструмент.

И надо, чтобы партия наконец осознала, что 6-я статья Конституции отменена и с ее руководящей ролью в деревне покончено. Власть не на словах, а на деле должна перейти к народу. Власть и право самому распоряжаться землей, ресурсами, деньгами. Тогда, конечно, не сразу, но изменится жизнь в деревне, в провинции.

С приходом советской власти власть не стала народной. Центр выкачивал из провинции все: и ресурсы, и продукцию, и людей. Это было бесправное полуколониальное существование, когда без разрешения «сверху» нельзя было и пальцем пошевелить. Провинция примолкла, посерела, остановилась в своем развитии.

Что мы сейчас видим в районных городках? Помпезный райком, а рядом — миргородская лужа со свиньей, взъерошенные, грязные куры. Из новых зданий — разве что школа, больница, уни-

вермаг. Остальное в запустении. Но если бы этот городок жил своей экономической жизнью, если бы народ сам мог решать, как распорядиться своими финансами, то он бы нашел, каким образом заработать деньги и во что их вложить. Наверно, в городе не было бы райкомовского дворца, но были бы дороги, храмы, добротные дома и товары в магазинах.

— Однако, как вы сами говорите, народ, к сожалению, разучился хозяйничать, утратил тягу к земле. Верите ли вы, что с утверждением реальной власти Советов — народной власти — может произойти и переворот в сознании людей, возрождение в них чувства хозяина?

— Этому уже есть примеры, правда, к сожалению, единичные. Народ, подобно самозатачивающемуся инструменту, всегда готов к самоочищению и благотворному труду. Пока еще нация здорова, пока еще рождаются дети, пока есть энтузиасты — есть и вера в будущее.

Беседу вела Л. Фомина
1990

ПРИМЕЧАНИЯ

Валентин Курбатов. «Как все...». с. 5–16

Валентин Яковлевич Курбатов родился в 1939 г. в г. Салаван Ульяновской обл. Окончил ВГИК. Перу его принадлежат исследования о творчестве В.П. Астафьева, М.М. Пришвина, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина, писателей русского зарубежья, о деятелях отечественного искусства. Печатался в журналах «Дружба народов», «Москва», «Наш современник», «Русская провинция». Живет в Пскове.

С. 5. *Я вижу, слышу, счастлива. Всё во мне...* (И.А. Бунин). — Строка из стихотворения Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) «Вечер» (написано 14 августа 1909 г., первая публикация — 1912 г.).

Автор о себе, с. 17–18

Красна родной земли (Вместо вступления), с. 19–25

Впервые опубликовано: Художники Курской земли: Каталог выставки к 50-летию курской организации Союза художников РСФСР. М.: Сов. художник. 1987. С. 3–5.

С. 19. *...великий Дионисий, замыслив расписать новоявленный храм... Заловедная нехоженность Ферапонтова...* — Дионисий (ок. 1440–1502/1503) — русский иконописец. Фрески собора во имя Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (близ Кириллова), выполненные Дионисием с сыновьями, отличаются особой утонченностью и нарядностью письма.

С. 23. *...легендарного Дона и достопримого Днепра, который столь могуч, что, по словам Гоголя, редкая птица долетит до его середины...* — См. повесть Николая Васильевича Гоголя (1809–1852) «Страшная месть» (1832): «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Не зашелает, не прогремит. Плыдишь и не знаешь, идет или не идет его величаявая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. <...> Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мире».

С. 24. *И зашумят, загомонят по курским городам и весям осенние кустодиевские ярмарки.* — В многообразном творческом наследии живописца, графика, театрального художника Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927) особой праздничностью, полнозвучностью, лубочностью письма отличаются работы, составившие серию «Ярмарки», в которых запечатлены сцены крестьянского и провинциального российского быта.

С. 25. *За Москву и за самое себя сражалась эта земля и на своей Огненной дуге в сорок третьем.* — В оборонительных сражениях июля 1943 г. войска советских Центрального и Воронежского фронтов отразили крупное наступление немецких войск групп армий «Центр» и «Юг» и тем самым сорвали попытку

гитлеровцев уничтожить советские войска на Курской (Огненной) дуге. В июле — августе 1943 г. войска Центрального, Воронежского, Степного, Западного, Брянского и Юго-Западного фронтов перешли в контрнаступление и, разгромив 30 дивизий противника, освободили Орел, Белгород и Харьков.

...верно сказал поэт Эдуардас Межелайтис... — Эдуардас Межелайтис (1919-1997) — литовский поэт, автор сборников стихов «Человек» (1961, Ленинская премия 1962 г.), «Барокко Антакальниса» (1971), «Моя лира» (1979), «Монологи» (1981).

НА РЫБАЧЬЕЙ ТРОПЕ

Рассказы о природе

Раздел «На рыбацкой тропе» (так назывался первый сборник Е.И. Носова — 1958 г.) включает рассказы о природе, которая была ему родным домом, о его рыбацких походах, встречах, кострах. Здесь проявилось глубокое знание мира растений, образа жизни зверей, птиц и рыб, тонкая наблюдательность, зоркое зрение доброго, светлого человека, его душевная красота и щедрость.

Эти рассказы характеризуют начальный период творчества Е. Носова. Они печатались во второй половине 50-х — первой половине 60-х гг. в курской газете «Молодая гвардия», в «Курской правде», «Курском альманахе», в журналах «Подъем», «Огонек», «Молодая гвардия», «Наш современник», в «Литературной газете».

Впервые (полностью) опублик.: Носов Е. На рыбацкой тропе. Курск, 1958.

Флора Курской обл. насчитывает около 1300 видов растений, многие из них Е. Носовым не только упомянуты, но и охарактеризованы ярко и точно тремя-четырьмя словами и с этой точки зрения могли бы украсить любой ботанический определитель. Писатель дал художественные образы пейзажной прозы, запечатлевшей и различные сезонные состояния лесостепной природы, и ее «самочувствие» в разное время суток. В самих ненаучных названиях растений, к которым любил прибегать Е. Носов в своих рассказах, отразились выверенные воззрения народа на историю, быт, любовь, человеческий характер.

Многочисленны описания животного, пернатого царства, порой целые страницы отведены различным видам рыб.

Природа в произведениях Е. Носова — не фон и не бутафорская декорация, человек вписан в нее накрепко, как и она — в человека. Друг без друга они существовать попросту не могут. Вся трудовая деятельность людей сосредоточивается здесь вокруг хлебного поля, сенокоса, пастьбы скота, дойки коров, выращивания птицы, весь досуг отдан охоте, рыбалке, собиранию грибов, целебных трав, цветов и ягод, наблюдению над птицей и зверем, уходу за деревом. Любимые герои Е. Носова — это люди труда, рыболовы, охотники.

У Е. Носова есть то, что М. Пришвин назвал культурой «родственного» внимания к личности всяких живых существ. Раздумья о связи человека и природы стали основой многих рассказов писателя (см.: Ланша В. Тонкий художник).

Тропа длиною в лето, с. 29-41

Рашатовый чай. с. 62–67

Встреча у плотины. с. 67–70

Слепой карась. с. 70–74

Как Кузьма топором рыбу ловил. с. 74–77

Что мы видели на песчаной косе. с. 77–81

История, которую я придумал для себя и для Алешки. с. 81–85

Таинственный музыкант. с. 85–87

Как патефон петуха от смерти спас. с. 87–91

С. 90. «Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!» — // А ты, Кукушечка, мой свет, как тянешь // плавно и протяжно...» — строки из басни Ивана Андреевича Крылова (1769–1844) «Кукушка и Петух» (1834).

Как ворона на крыше заблудилась. с. 91–93

Разбой на большой дороге. с. 93–96

Хитрога. с. 96–99

Решайное царство. с. 99–101

Музыкальная шкатулка. с. 101–105

С. 102. На стене плакала Ярославна, когда князь Игорь не вернулся из похода. — Мотив из древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве» (XII в.). Упоминание о «Слове...» встречается в произведениях Е. Носова не раз.

Радуга. с. 105–108

С. 105. ...в поэтических верховьях речки Тускарь, где некогда одновременно творил Фет... — Русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892), продал в 1877 г. свое имение Степановку в Орловской губернии, под Мценском, купил большое имение Воробьевку в Курской губернии, с прекрасным усадебным домом, великолепным парком. Здесь написаны такие лирические стихи, как «Во сне» («Как вешний день, твой лик приснился снова...»), «К ней» («Что постигнет улыбку твою...»), «Ночь лазурная смотрит на сложенный луг...».

Чирок. с. 109–113

Деревянные ласточки. с. 113–115

Зимородок. с. 115–118

Весенний тропик. с. 118–123

Трудный хлеб. с. 123–126

Коварный крючок. с. 126–129

Лесной возани. с. 129–133

Живое пламя. с. 133–135

Заблуга страница. с. 135–137

Воспитатель проселками. с. 137–142

Под старым осовором. с. 142–149

С. 143. ...в Цусимском сражении — Цусимское сражение произошло 14–15 (27–28) мая 1905 г. в Корейском проливе у группы островов Цусима во время Русско-японской войны (1904–1905). Завершилось разгромом российской 2-й Тихоокеанской эскадры. После поражения в Цусимском морском сражении Россия вынуждена была начать мирные переговоры.

С. 144. ...командующий к Георгию хотел представить. — Георгий — Георгиевский крест — награда в Российской империи. Учрежден в 1807 г. для награждения солдат и офицеров, упразднен 10 (23) ноября 1917 г.

Рассвет. с. 149–152

Палтарасыч. с. 152–158

Черный слуга. с. 158–159

Дышит черезгула. с. 159–162

Где просыпается солнце? — с. 162–167

Впервые опубли.: Носов Е. Где просыпается солнце. Курск. 1961.

Тридцать зерен. с. 168–169

Вальд гусь. с. 169–173

Впервые опубли.: Носов Е. Шуруп. Курск. 1962.

Вот наш — солнце. с. 173–175

Вос. с. 175–185

Впервые опубли.: Наш современник. 1985. № 1.

Упа на тропи. с. 185–202

Впервые опубли.: Порубежье (альманах). Курск. 1998. № 3.

С. 190. Почти утраченный сорт еще времен шумных никейских застолий. Эта древняя лоза еще сохранилась в некоторых селеньях по Араксу... Пришедшие потом турки заменили ее никейское название... — Никейская империя — византийское государство в Малой Азии (1204–1261), возникшее после захвата Константинополя крестоносцами (столица — Никея, современное название — Изник). Аракс — река в Закавказье (верховья — в Турции, низовья — в Азербайджане; правый приток Куры).

С. 191. ...как если бы вдушали ключевую водичку, что неслыханно струилась на той стороне, под святой крутизной Коренной обители. — Коренная Курская Рож-

дество-Богородицкая пустынь — мужской монастырь. По преданию, монастырь возник на месте явления чудотворной иконы Божьей Матери (ок. 1300): из-под корней дуба забил святой живоносный источник. Обретенная на курской земле, у корней дуба, икона стала называться Курской Коренной. На месте ее обретения, рядом с источником, на берегу р. Тускаря, в 1597 г. по повелению царя Федора Ивановича и была воздвигнута святая обитель.

Покормите птиц!.. с. 202-216

Впервые опубли.: Курская правда. 2000. 1 и 7 дек.

С. 205. *Птичка Божья не знает // Ни заботы, ни труда..* — Из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы» (1824).

И Александр Яшин напоминает... — Разве можно забывать // Улететь могли б. // Но остались зимовать // Задом с людьми — Из стихотворения русского поэта, писателя Александра Яковлевича Яшина (1913-1968) «Покормите птиц» (1964).

СНЕГА НАД РОССИЕЙ

Из прозы разных лет

Последняя дорога. с. 219-224

Впервые опубли.: Простор (альманах). Курск. 1958. № 7.

Во поле березовька стояла... с. 224-234

Впервые опубли.: Простор (альманах). Курск. 1958. № 7.

Альманч. с. 234-237

Впервые опубли.: Наш современник. 1985. № 1.

С. 234. *...несокрушимую девонскую глину...* — В девонский период геологической истории (четвертый период палеозойской эры, примерно 400 млн лет назад) началось отступление океана. Именно тогда происходило накопление толщ мощных красноцветных отложений.

С. 235. *...в горбатовской третьей армии...* — *...участвовали в «Багратионе», вместе ликвидировали бобруйский, а затем и минский котлы...* — Александр Васильевич Горбатов (1891-1973) — генерал армии. Герой Советского Союза. В конце 30-х гг. был репрессирован. В годы Великой Отечественной войны командовал 3-й армией. «Багратион» — Белорусская наступательная операция (июль — август 1944 г.). Котел (воен.) — полное окружение больших групп войск.

Сучок. с. 237-241

Впервые опубли.: Носов Е. Рассказы. Курск. 1959.

Скворичина. с. 241-243

Впервые опубли.: Наш современник. 1985. № 1.

Кушанка. с. 243-244

Впервые опубли.: Огонек. 1961. № 14.

Майский подарок. с. 245-247

Впервые опубли.: Курская правда. 1960. 31 мая.

Степное лето. с. 247-254

Впервые опубли.: Курская правда. 1960. 23 июля.

Амалгита Фаллоцдес, с. 254–259

Впервые опубли.: Носов Е. Тридцать зерен. М.: Молодая гвардия. 1961.

Ярославна, с. 259–268

Впервые опубли.: Подъем. 1960. № 3.

С. 266. *Обернусь я бедная, кукушкой // По Дунаю-речке полечу // И рукав с бобровою опушкой // Наклонясь, в Каяле омочу.* — Из «Слова о полку Игореве» в поэтическом переводе Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958). Все приводимые далее фрагменты из «Слова...» — в этом переводе.

С. 267. *Туча надвигается от моря // На четыре княжеских шатра... // Быть сегодня грому на Каяле...* — Из «Слова о полку Игореве».

Вагульнич, с. 268–284

Впервые опубли.: Носов Е. Дом за триумфальной аркой. Курск. 1963.

Улычский завод, с. 284–288

Впервые опубли.: Молодая гвардия (Курск). 1952. 30 нояб.

Свага над Россвой, с. 288–294

Впервые опубли.: Мол. гвардия. 1961. 29 авг.

С. 291. — *Ветер, ветер на всем белом свете!* — Перефразированы слова из поэмы Александра Александровича Блока (1880–1921) «Двенадцать» (1917): «Ветер, ветер — на всем Божьем свете!»

СМОТРИ И РАДУЙСЯ...

Миниатюры

Миниатюры Е.И. Носова — выдержанные, серьезные и одновременно глубоко лиричные. Здесь читатель снова встречается с полным слиянием автора и природы, с его отношением к творчеству, книге, с глубоким проникновением в душу человека, его внутренний мир, мудрость самой жизни.

Впервые полностью опубли.: Носов Е. Журавлиный клин. М.: Воскресение, 2000 (цикл «Травный ветер»).

Дорога к книге, с. 297

Творчество, с. 297

Главный лантус, с. 297–298

Начало главы, с. 298

О воззвн, с. 298–299

Курские холмы, с. 299

С. 299. ...когда летом сорок третьего... гитлеровские полчища ринулись в решающее наступление. — 5 июля 1943 г. началась Курская битва; ведя поначалу оборонительные действия, советские войска перешли затем в наступление по всему фронту. Танковое сражение в районе деревни Прохоровка стало крупнейшим во Второй мировой войне.

Нюнь, с. 299–300

С. 299. «Как бы резвяся и играя», молодецки погромыживает он тютчевскими раскатами с внезапными набегами коротких тетлых ливней... — Здесь обывра-на строка из первой строфы стихотворения Федора Ивановича Тютчева (1803–1875) «Весенняя гроза»: «Люблю грозу в начале мая. // Когда весенний первый гром. // Как бы резвяся и играя. // Прохочет в небе голубом».

Ветеран, с. 300–301**Дача, с. 301****Зеленый шум, с. 301**

Название — см. стихотворение Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877) с одноименным названием.

Смотри и радуйся... с. 301–302**Весна, с. 302****Грачи прилетели, с. 302**

Название — см. пейзаж Алексея Кондратьевича Саврасова (1830–1897) с одноименным названием.

Сказ о хлебе насущном, с. 302–303

В названии использованы слова из молитвы Господней «Отче наш»: «Отче наш, Иже еси на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго» (см. также: Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 9–13).

Правдник, с. 303**О счастье, с. 303****Вечерний рейс, с. 304–305****Магия величия, с. 305****Вагет, с. 305–306****Сила привычки, с. 306****Не сотвори кумира, с. 306–307****Новая порода, с. 307**

С. 307. В Аскании-Нова вывели новую породу скота... — Аскания-Нова — биосферный заповедник в Херсонской обл. (Украина). Создан в 1921 г. на основе заповедника, основанного в 1874 г. Ф. Э. Фальц-Феймом. Площадь 11 тыс. га. Животный мир представлен разнообразно: страусы, зебры, антилопы, лошади Прижевальского и др. Более 150 видов деревьев и кустарников. С 1994 г. носит имя своего основателя.

Две точки зрения. с. 307

На воздушном шаре. с. 307

Долгая ночь в октябре. с. 307–309

С. 309. Вот тебе и все «кобиясы»... — «Кобиясы»: см. кобь — волхование, гадание, все худое, злое, негодный человек: Но есть и другое значение: звание, занятие, промысел. От слова «кобь», как пишет В.И. Даль, произошло много производных, в том числе «кобелить», «кобец» и, вероятно, «скоба». У Юрия Павловича Казакова (1927–1982) есть рассказ «Кабиясы» (1961):

«...Жуков... вдруг как бы рассеянно вспомнил:

— Да, не знаешь слова такого — «кабиясы»?

— Как, как? Кабиясы?.. Нет, не попадалось. А тебе зачем, для пьесы, что ли?

— Так чего-то. На ум пришло».

Песочные часы. с. 309–310

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА Стихотворения

Сохранился целый альбом Е.И. Носова с юношескими стихами, написанный еще в 1948 году и украшенный его яркими рисунками. Он сам считал эти стихи несовершенными и не публиковал их, выделив для печати только те, что приведены в этом томе: они написаны уже в 80–90-е гг. Думается, если бы их автор занимался только поэзией, он тоже был бы в первой поэтической десятке...

Впервые опубл.: Книга о Мастере. Курск: Крона, 1998. С. 484–485.

Счастье. с. 313

«Год коня!...». с. 313

В ожидании праздника. с. 314

Совет. с. 314

Зов весны. с. 314

ГАРМОНИЯ СТИЛЯ Очерки, выступления, интервью

Идет премьера. с. 317–322

Впервые опубл.: Курская правда, 1959, 31 мая.

С. 321–322. ...пьесе Валентина Владимировича Овечкина «Навстречу ветру»... — В 1950-е гг. В.В. Овечкин написал несколько пьес — «Навстречу ветру», «Летние дожди», «Время пожинать плоды», «Пусть это сбудется».

Ремонтировали театр. с. 322–324

Впервые опубл.: Молодая гвардия (Курск), 1965, 15 янв.

Богатырская симфония, с. 324–360

Впервые опубли.: Носов Е. Рассказы. Курск, 1959.

«Богатырская симфония» — 2-я симфония Александра Порфирьевича Бородина (1833–1887). Написанная в 1876 г., она открыла героико-эпическое направление в русском симфонизме.

С. 325. ...*легендарный казак Семен Дежнёв*. — Семен Иванович Дежнёв (ок. 1605–1673) — русский землепроходец: в 1648 г. проплыв вместе с Ф.А. Поповым (Федотом Алексеевым) от устья Колывы в Тихий океан и обогнув Чукотский полуостров, открыл пролив между Азией и Америкой. Именем Дежнёва назван мыс на Чукотке.

...*балковский умелец Данила*... — Данила-мастер — герой сказов Павла Петровича Бажова (1879–1950) «Каменный цветок», «Горный мастер». Данила задумал сделать цветок из уральского самоцветного камня сродни живому. Не ведал он, что никакое мастерство не в силах поспорить с созданием Божиим. Эти и другие сказы составили книгу «Малахитовая шкатулка» (1-е изд. — 1939).

«Ряди нескольких строчек в газете...», с. 360–362

Впервые опубли.: Молодая гвардия (Курск), 1969, 6 мая.

Гармония стилей, с. 362–365

Впервые опубли.: Книжное обозрение, 1968, № 12.

Выступление на IV съезде писателей РСФСР, с. 365–366

Впервые опубли.: Сов. Россия, 1975, 13 дек.

Выступление на церемонии вручения Государственной премии РСФСР, с. 367

Впервые опубли.: Лит. газета, 1976, 14 янв.

С. 367. ...*Присуждение Государственной премии РСФСР было для меня волнующей неожиданностью*. — Евгений Иванович Носов в 1975 г. удостоен Государственной премии РСФСР им. Горького за книгу «Шумит луговая овсяница» (написана в 1965 г.).

Выступление на V съезде писателей РСФСР, с. 367–372

Впервые опубли.: Лит. газета, 1980, 17 дек.

V съезд проходил 9–12 декабря 1980 г.

С. 367–368. ...*меня и еще некоторых писателей причисляют к так называемой «деревенской прозе»*. Получается так, что существуют просто писатели и просто поэты, свободные граждане нашей литературы, которые вольны избирать любую тему или же вовсе не избирать никакой. И никто с них за это ничего не просит. И существуем мы, «деревенщики», с которых страшивается многое. Правда, говорят, что назвали нас так вроде бы не совсем удачно, обещали чем-то заменить это название, но оно так и пришло. Ходить в «деревенщиках» уже тем неудобно, что за провинность одного из нас критики секут всю деревенскую прозу оптом. — Окончилась Великая Отечественная, страна поднималась из руин, восстанавливала фабрики и заводы. Но именно это время стало страшным, губительным для русской деревни. Нищало, вымирало, уничтожалось российское село, брошенное за неперспективностью, в угоду «грандиозным» планам «срашивания города и деревни». Все более зыбкими становились связи человека с родной землей, с корнями как основой всего сущего. Тогда, на изломе 50–60-х гг. минувшего столетия, в русскую литературу пришли писатели, громко и открыто сказавшие о бедах родины — большой и

малой. «Деревянные кони» и «Две зимы и три лета» Федора Абрамова, «Последний поклон» Виктора Астафьева, «Привычное дело» Василия Белова, «Из жизни Федора Кузькина» Бориса Можаева, «Живи и помни» Валентина Распутина... Все эти произведения стали классикой, и нелепым кажется ныне стремление иных ревнителей отторгнуть их от великой русской национальной литературы. Просто и точно выразил суть устремлений всех писателей — радетелей об отчей земле — В.П. Астафьев в своей повести «Пастух и пастушка»: «Одна истина свята на земле: материнство, рождающее жизнь, труд хлебопашца, вскармливающий ее».

Ежедневно на крыльцо его (Овечкина) льговского дома... — В.В. Овечкин переселился из Таганрога в райцентр Курской обл. Льгов в 1947 г., чтобы быть, как он сам писал, «в непосредственной близости к колхозной теме». В 1960 г., после горестных раздумий о судьбах русского крестьянства и пережитой трагедии (В.В. Овечкин пытался кончить жизнь самоубийством), писатель навсегда простился с курской землей и переехал в Ташкент.

С. 370. ...*расхристанная фигура батьки Махно.*

Махно (Михно, Михненко) Нестор Иванович (1888–1934) — политический деятель, анархист. В 1918–1921 гг. возглавлял анархо-крестьянское движение на Украине, выступившее под лозунгами «безвластного государства», «вольных Советов». Боролся против германских интервентов, белогвардейцев. Эмигрировал.

Проблемы «профессионального» писателя, с. 372–377

Впервые опубли.: Лит. учеба. 1988. № 2.

С. 372. ...*приглашаем на КМА молодежь...* — КМА — Курская магнитная аномалия, на территории Курской, Белгородской и Орловской обл.

С. 373–374. *Читаю рецензию на фильм о Ломоносове...* — Фильм «Михайло Ломоносов» (1986) поставил кинорежиссер Александр Анатольевич Прошвин (р. 1940).

С. 374. *Нет пророка в своем Отечестве.* — Выражение восходит к евангельскому: «не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем» (от Матфея, глава 13, стих 57); «не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем» (от Марка, глава 6, стих 4); «никакой пророк не принимается в своем отечестве» (от Луки, глава 4, стих 24); «пророк не имеет чести в своем отечестве» (от Иоанна, глава 4, стих 44). Смысл этого выражения: пророка не ценят в его собственном отечестве, в его доме.

С. 375. *Мне как-то попала статья Коменкова.* — Сергей Тимофеевич Коменков (1874–1971) — скульптор, народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, действительный член Академии художеств СССР.

Репина почитайте. — О своей жизни И.Е. Репин рассказал в книге воспоминаний «Далекое близкое».

У Василия Белова мама Анфиса Ивановна — кладь мудрости. <...> Его «Лад» — ее наука... — Очерки о народной эстетике «Лад» В.И. Белова впервые опубли.: Наш современник. 1979. № 10, 12; 1980. № 3; 1981. № 1, 5–7. В.И. Белов писал: «Добрая половина материалов записана со слов моей матери Анфисы Ивановны Беловой».

Писатель и время, с. 377–386

Впервые опубли.: Курская правда. 1989. 21 окт.

С. 377. ...*дымковой легкости творения Эйфеля...* — По проекту А.Г. Эйфеля в Париже для Всемирной выставки 1889 г. сооружена стальная башня высотой 300 м. Она стала символом достижений техники в XIX в.

...древней Лютециш... — Лютеция — древнее поселение паризиев (кельтское племя), на месте которого находится современный Париж. В III в. называлось Паризия.

...от Куршской косы до Берингова пролива. — Куршская коса — песчаный полуостров на юго-восточном побережье Балтийского моря (Литва; Россия — Калининград).

С. 380

Ну Есенин,

мужиковствующих свора.

Смех!

Коровою

в перчатках лаечных.

Раз слушаешь...

но это ведь из хора!

Балалаечник!

Из стихотворения Владимира Владимировича Маяковского (1893–1930) «Юбилейное». Написано в 1924 г., первая публикация: ЛЕФ (М.: Пг.). 1924. № 2. Написано к 125-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837). Сергей Александрович Есенин (1895–1925) — русский поэт.

С. 383. «Сезам, откройся!» — выражение из арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников» (сборник «Тысяча и одна ночь»). Другой вариант — «Сезам, отворись!». Употребляется как шутливое восклицание при намерении преодолеть трудное препятствие.

Ваша оценка Первого съезда Советов. — Первый съезд народных депутатов СССР работал в Москве 25 мая — 9 июля 1989 г.

Воистину сказано: в начале было слово. — «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1).

Обособленно — забезобидно, с. 386–388

Впервые опублик.: Лит. газета. 1989. 6 дек.

С. 386. Здесь всегда неотступно маячат Моцарт и Сальери — эти роковые антиподы, символы неприятия, Черные и Белые любого вида творчества. — Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) — австрийский композитор. Антонио Сальери (1750–1825) — итальянский композитор, с 1766 г. жил в Вене. Легенда об отравлении Моцарта Сальери (она лежит и в основе трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери») бездоказательна и не имеет под собой реальной основы.

Время свернуть орешки, с. 388–391

Впервые опублик.: Курская правда. 1990. 16 июня.

С. 388. Он [А.И. Селезнев] поздравил Евгения Ивановича с присвоением высокого звания Героя Социалистического Труда... — Звание Героя Социалистического Труда присвоено Е.И. Носову в 1990 г.

С. 389. ...Курский драматический театр... — Курский драматический театр им. А.С. Пушкина создан в 1792 г. В 1805 г. именно на сцене Курского театра дебютировал М.С. Щепкин (1788–1863). В этом театре начал свою сценическую деятельность Н.Х. Рыбаков (1811–1878). С гастролями выступали здесь П.С. Мочалов (1800–1848), О.О. Садовская (1849–1919), братья Адельгейм (Роберт Львович, 1860–1934; Рафаил Львович, 1861–1938), А.А. Яблочкина (1866–1964) и др.

С. 390. ...о судьбе уникального Стрелецкого заповедника. — Стрелецкая степь в 20 км к югу от Курска; территория Центрально-Черноземного заповедника.

Скудная жизнь — скудное творчество, с. 392–398

Впервые опубли.: *Московская правда*. 1990. 11 авг.

С. 395. ...Платонов, Замятин, Ахматова и многие другие писатели, попавшие в свое время в «черный список». — Андрей Платонович Платонов (наст. фам. Климентов) (1899–1951) — писатель. Первые публикации Платонова относятся к 1920–1921 гг. (статьи об искусстве). В 1921 г. вышла первая книга Платонова — «Электрификация» (публицистика). В 1929 г. Платонов завершил работу над романом «Чевенгур», однако издать его в то время не удалось. Вышедший тогда же, в 1929-м, рассказ «Усомнившийся Макар» получил резко отрицательную оценку И.В. Сталина. Как следствие — обвальная критика. «Быть отвергнутым мучительно, жить с клеймом классового врага невозможно». — писал Платонов М. Горькому. Лишь в 1980-е гг. увидят свет «Чевенгур» и «Котлован», «Счастливая Москва» и «Ювенильное море». Евгений Иванович Замятин (1884–1937) — прозаик и драматург, эссеист и литературный критик. Литературная слава пришла к нему до октябрьских событий. Бывший большевик, он приветствовал революцию, но очень скоро проявилось его неприятие всего, что предпринимает новая власть: в печати появляются сатирические сказки и полемические статьи писателя. В 1921 г. увидела свет его программная статья «Я боюсь!». «...У русской литературы одно только будущее — ее прошлое», — констатирует Замятин. В ноябре 1931 г. он уехал из России с советским паспортом на руках. Благодаря этому в 1934 г. он был принят в Союз советских писателей, а в 1935-м представлял СССР на Международном конгрессе писателей в защиту культуры, прошедшем в Париже. Однако на родину он не вернулся. Анна Андреевна Ахматова — поэт высокой трагической судьбы. Гибель самых близких людей, аресты сына. И почти двадцать лет вынужденного молчания... Это — до войны. А после — травля, поношение в докладе политического функционера Жданова, в постановлении ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»» (1946 г.; в этих журналах печатались М.М. Зощенко и А.А. Ахматова). И опять более чем десятилетняя опала. Но, как никто другой, она могла сказать: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был».

СОДЕРЖАНИЕ

В. Курбатов «Как все...»	5
Автор о себе	17
Краски родной земли (Вместо вступления)	19
От составителя	26

На рыбацкой тропе *Рассказы о природе*

Тропа длиною в лето	29
Пропавшая заря	41
Ракитовый чай	62
Встреча у плотины	67
Слепой карась	70
Как Кузьма топором рыбу ловил	74
Что мы видели на песчаной косе	77
История, которую я придумал для себя и для Аленки	81
Таинственный музыкант	85
Как патефон петуха от смерти спас	87
Как ворона на крыше заблудилась	91
Разбой на большой дороге	93
Хитрюга	96
Репейное царство	99
Музыкальная шкатулка	101
Радуга	105
Чирки	109
Деревенские ласточки	113
Зимородок	115
Весенними тропами	118
Трудный хлеб	123
Коварный крючок	126
Лесной хозяин	129
Живое пламя	133

Забытая страничка	135
Неспешными проселками	137
Под старым осокорем	143
Рассвет	149
Палтарасыч	152
Черный силуэт	158
Дымит черемуха	159
Где просыпается солнце?	162
Тридцать зерен	168
Белый гусь	169
Бог наш — солнце	173
Нос	175
Уха на троих	185
Покормите птиц!	202

Снега над Россией **Из ранней прозы**

Последняя дорога	219
Во поле березонька стояла... ..	224
Акимыч	234
Сучок	237
Скворешня	241
Кувшинка	243
Майский подарок	245
Степное лето	247
Аманита фаллюидес	254
Ярославна	259
Багульник	268
Уличный певец	284
Снега над Россией	288

Смотри и радуйся... **Миниатюры**

Дорога к книге	297
Творчество	297
Главный лакомус	297
Начало главы	298
О поэзии	298
Курские холмы	299
Июнь	299
Ветеран	300
Дача	301

Зеленый шум	301
Смотри и радуйся...	301
Весна	302
Грачи прилетели	302
Сказ о хлебе насущном	302
Праздник	303
О счастье	303
Вечерний рейс.	304
Магия величия	305
Багет	305
Сила привычки	306
Не сотвори кумира	306
Новая порода	307
Две точки зрения	307
На воздушном шаре	307
Долгая ночь в октябре	307
Песочные часы	309

В ожидании праздника
Стихотворения

Счастье	313
«Год коня!..»	313
В ожидании праздника	314
Сонет	314
Зов весны	314

Гармония стиля
Очерки, выступления, интервью

Идет премьера	317
Ремонтировали театр.	322
Богатырская симфония.	324
Карта рассказывает	324
Тайна Текелийского ущелья	327
Надпись на стене	330
Сфинкс уступает дорогу	332
Конец Избасаровой хижины	334
Руда пошла!	337
Маленькая республика горняков	341
Богатырская симфония.	344
Песни гор	349
«Ради нескольких строчек в газете...»	360
Гармония стиля	362

Выступление на IV съезде писателей РСФСР	365
Выступление на церемонии вручения Государственной премии РСФСР	367
Выступление на V съезде писателей РСФСР	367
Проблемы «провинциального» писателя	372
Писатель и время	377
Обособление — небезобидно	386
Время сверить ориентиры	388
Скудная жизнь — скудное творчество	392
Примечания	399



ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ВОСОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том I

Редактор Т.А. Соколова
Дизайнер Е.Н. Семенов
Компьютерная верстка А.А. Замуруев
Корректор М.Г. Лобанова

Подписано в печать 18.05.05
Формат 60х90/16
Бумага офсет
Шрифт: Bookman
Усл. печ. л. 26,0
Тираж 3000 экз.
Заказ № 1394

ЗАО «Издательство «Русский путь»
109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Тел.: (095) 915-10-47. E-mail: info@tr-net.ru

Отпечатано в ОАО «Типография «НОВОСТИ»
105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 46

ISBN 5-85887-209-3



9 785858 872092 >





По расположению своей мирной натуры,
по скромной непритязательности,
писатель такого склада не мог не отдать дань
и добродушным рассказам о природе,
и даже с благоговейностью к ее
ее многомножественным силам и тайнам,
доступным только внимчивому глазу,
уху, обонянию, осязанию – сокровенностям трав,
кустов, деревьев, мелким плетичьим событиям
и повадкам. Целомудренной неварочности
с природой, интимности с ней, свежим, точным
словам для пейзажных красок . . .

. . . И все страницы Носова сочатся полнозвучными
русскими словами, а в диалогах – живейшим
разговорный язык, в нем и характер каждого
говорящего и достоверно скрестившийся момент.

А.И. Солженицын